

Н О В Ы Й  
М И Р

9

Н О В Ы Й  
М И Р

9

1956

1956

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 9

Сентябрь, 1956 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
П. КАЦЕВ — Заметки директора МТС	3
<hr/>	
СЕМЕН КИРСАНОВ — Семь дней недели, поэма	16
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Из фронтовой тетради, стихи	33
СЕМЕН ГУДЗЕНКО — У памятника. Я здесь с утра... Пейзаж, стихи	34
В. ДУДИНЦЕВ — Не хлебом единым, роман. Продолжение	37
ВИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ — Пролог к поэме «Питер Бэлл». Бессонница, стихи. Перевод с английского Наталии Кончаловской	119
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — Трудная весна. Окончание	121
ИЗ ДАГЕСТАНСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИКИ. Переводы Н. Гребнева	179
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ — В пригородном поезде, стихи	182
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — В Китае. Окончание. Перевод с польского Е. Василевской	184
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	226
Н. Разговоров. Толкать или удерживать?	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. ПЕРЦОВ — О Всеволоде Вишневском	230
С. ШТУТ — У карты нашей литературы	239
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	250
Сергей Львов. После того, как роман прочитан. — Ю. Капусто. «Ухабы». — З. Паперный. Два из двадцати восьми. — Н. Степанов. Путь поэта. — Л. Левин. Именно рассказы. — М. Прилежаева. Книга о труде поэта. — Е. Сашенков. Фриц Иензен — поэт и переводчик.	

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	269
Вал. Зорин. Мифы и факты. — М. Арлазоров. Путешествие на строительную площадку. — И. Горелик. Разгаданный секрет. — В. Болховитинов. Жизнь моделей. — Кандидат химических наук Б. Степанов. Столичный автор в областном издательстве.	
<b>ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО</b>	278
Л. Ланский. Неизвестный фельетон Герцена. — В. Шепелев. Басня «Ослы и Лев».	
<b>РЕПЛИКИ</b>	280
Проф. И. Розанов. Очевидная истина. — И. Рахтанов. Пять окон на улице Горького.	
<b>МЕЖДУ ПРОЧИМ...</b>	282
Печальное единомыслие. — География и библиография.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	283
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

П. КАЦЕВ

*Кандидат технических наук.*



## ЗАМЕТКИ ДИРЕКТОРА МТС

**К**аждый день миллионы советских людей с радостным волнением раскрывают свежие газеты, слушают сообщения, принесённые радио. Вести хорошие, воодушевляющие...

Идёт Большой урожай 1956 года. Небывалые хлеба выращены на бесконечных пространствах поднятой целины, богатые намолоты дают кубанские, украинские комбайнеры, как никогда высок трудовой подъём механизаторов Поволжья, Сибири, Казахстана.

В этом году усилиями народа будет собран обильный урожай. Российская Федерация взяла обязательство дать государству 2 200 миллионов пудов зерна, то есть столько, сколько заготовлялось хлеба по Советскому Союзу в прошлые годы. Сибирь дала слово: положить в закрома Родины один миллиард пудов. На вызов сибиряков ответили хлеборобы Казахстана — ещё миллиард пудов хлеба!

«Возможности позволяют нам в этом году заготовить столько хлеба, чтобы не только удовлетворить текущие потребности, но и положить большое количество зерна в резерв. Если мы этого добьёмся, то при наличии хорошего урожая в будущем году государство сможет уменьшить закупки зерна в колхозах. Тогда колхозы будут иметь ещё более благоприятные условия для развития животноводства. Они будут также продавать хлеб на рынке. Это приведёт к снижению рыночных цен на хлеб и будет содействовать дальнейшему подъёму благосостояния народа». Так говорил Н. С. Хрущёв, выступая на совещании работников сельского хозяйства Казахской ССР.

И всё же в эти радостные августовские дни мне хочется сказать о наших недостатках, о наших нерешённых вопросах. Успехи этого года лишней раз напоминают о том, какие великие возможности таятся в советском сельском хозяйстве и как много они дают стране, народу, когда их своевременно вскрывают и умело приводят в действие.

А сколько ещё резервов в нашей работе, сколько возможностей пропадает втуне? Как мы вымахнем вперёд, если до конца очистим путь от всех коряг, которые ещё путаются в ногах, мешают практикам сельского хозяйства!

...Вот почти три года, как я, подобно тысячам других работников промышленности, пошёл на работу в сельское хозяйство. Три года — немалый срок. За это время многое накопилось, наболело. И сейчас, когда XX съезд КПСС поставил новые, грандиозные задачи в области сельскохозяйственного производства, когда мы перешагнули порог новой, шестой пятилетки, хочется поглубже осмыслить пройденное — что же тобою сделано? — и подумать ещё и ещё, как быстрее и успешнее расти дальше.

### Самое слабое звено

Вспоминаю свой приезд в Мосальск. Поздняя осень. Машина бежит по широкой всхолмленной равнине. Тут и там разбросаны перелески, рощицы, между ними раскинулись колхозные поля со скирдами соломы, стогами сена. Мосальск, раскрывшийся вдруг за холмом, гармонично дополнял этот характерный среднерусский пейзаж.

С первого взгляда полюбились мне красивые места, где придётся теперь жить и работать. Однако бодрое настроение разом упало, когда я ознакомился с хозяйством Мосальской МТС и её порядками.

Не скажу, что меня испугали тесные и грязные мастерские, изношенная техника, нехватка запасных частей, — к этому я был заранее подготовлен. Хуже оказалось другое: вместе со всем этим мне пришлось принимать долги и убытки. Мосальская МТС занимала первое место в Калужской области по пережогу горючего. Менее чем за год перерасход его составил 114 тонн. Убытки исчислялись круглой суммой — 256 тысяч рублей. Что и говорить, цифры неутешительные. Раз в декаду областная газета «Знамя» печатала сводки о ходе работ в машинно-тракторных станциях. Я уж знал, что вверенную мне МТС надо искать в самом низу.

«С какого же конца братья за дело? Как найти и ухватиться за главное звено?» — с такими неизменными мыслями я просыпался по утрам, они терзали меня днём в директорском кабинете, во время поездок по колхозам, не покидали до глубокой ночи.

Ежеминутно возникали какие-то непонятные сложности. Кажется, всё есть в твоём распоряжении: люди, техника, горючее, а работа идёт, в лучшем случае, со скрипом.

Вот позвонил председатель колхоза. Ему срочно нужен трактор. Отдаю распоряжение участковому механику. Механик говорит: «Хорошо» — и уходит. Время — восемь часов утра. Погружаюсь в текущие дела, а их несметное множество.

Телефонный звонок. Снова знакомый голос:

— Товарищ директор, скоро ли будет трактор?

— Разве ещё не пришёл? — удивляюсь я. — Ну, значит, в пути...

Разыскиваю участкового механика, спрашиваю:

— Как давно отправлен в колхоз трактор?

— А он ещё здесь, на усадьбе.

Широко раскрываю глаза и не знаю, что даже сказать механику.

— Да вот посылали за трактористом. Только что пришёл. Начал разогревать двигатель. Мороз-то сегодня градусов двадцать.

— Немедленно отправьте.

Вскоре меня вызывают в райком партии. Через час возвращаюсь обратно и встречаю на дворе участкового механика.

— Ушёл трактор? — спрашиваю не очень уверенно.

— Поехали на нефтебазу заправляться горючим.

— Когда же он наконец уйдёт?

— Теперь уж недолго. Заправится и поедет.

Проходит ещё час. Звонит секретарь райкома:

— Товарищ Кацев, что же вы задерживаете трактор? Нехорошо. Вы же обещали. Заставляете председателя жаловаться на вас.

Выхожу из конторы и отправляюсь на поиски участкового механика. Тот спокойно сидит и курит в диспетчерской.

— Ушёл?

— Заправляется, — невозмутимо отвечает механик.

— Сколько же он будет заправляться? За это время двадцать тракторов заправить можно.

— Да вот искали кладовщика. Еле нашли. Потом выписывали наряд. Теперь уж всё в порядке.

Наконец трактор выезжает из усадьбы МТС. Пока он доберётся до колхоза, день кончится. «Тракторо-смена» потеряна. И удивительнее всего — никого не беспокоит такая медлительность и нерасторопность.

— Погодите, — говорит мне механик, — поживёте у нас — привыкнете.

Может быть, это и есть основное звено — вопросы дисциплины. Я не собираюсь привыкать к существующим здесь непорядкам. Итак, возьмёмся за укрепление дисциплины.

Случай не замедлил представиться. Тракторист Овчинников пережёт сорок килограммов горючего. На другой день в конторе висел приказ: «...За допущенный перерасход горючего трактористу Овчинникову объявить выговор... Удержать стоимость горючего из заработной платы... Предупредить трактористов Мосальской МТС, что все виновные в перерасходе горючего будут нести впредь строгую административную и материальную ответственность».

Весь день у доски приказов толпились возбуждённые трактористы. Пошли разговоры: «Новый-то круто берёт», «Как бы боком не вышло. Разогнать народ легко, потом не соберёшь...»

Обстановка явно обострялась, но я твёрдо проводил свою линию в борьбе с расхлябанностью, не ограничиваясь, разумеется, одними приказами.

Дисциплина в МТС заметно улучшалась. И всё же работа шла не так, как надо. Повидимому, дело было не только в укреплении дисциплины. С каждым днём я всё более убеждался в том, что в организационной структуре МТС есть какой-то порок, который делает её рыхлой, мало оперативной.

Передо мной ежедневно вставали десятки «почему». Почему так сложно маневрировать техникой по колхозам? Почему медленно идёт ремонт? Почему затягивается сев, уборка?..

Немало пришлось поломать голову, претерпеть мытарств, прежде чем я начал понимать, что ахиллесовой пятой МТС является тракторная бригада.

В самом деле, все мероприятия, которые за последние годы проводились для улучшения работы машинно-тракторных станций, почти не коснулись тракторной бригады. В МТС собрали множество специалистов — инженеров, механиков, агрономов, зоотехников. Скажу прямо: штаты раздули непомерно. Образовался большой, громоздкий штаб. А «боевые» подразделения — тракторные бригады, где собственно и решается успех дела, — не получили никаких подкреплений. Как и прежде, чаще всего руководит бригадой малоопытный, малоквалифицированный бригадир, вчерашний тракторист, который не имеет организационных навыков. Ему, конечно, помогают. Но как? В тракторную бригаду то и дело наезжают представители, советчики, указчики, уполномоченные, начальники. Бригадир растерялся под их бурным натиском, чувствует себя неуверенно: все его поправляют или ругают.

А осенью, когда наступает время ремонта, бригадир совсем перестаёт быть бригадиром. Он становится обычным слесарем, растворяется в мастерской. И вст мощному штабу МТС не на кого опереться во время зимнего ремонта, когда решается успех будущего года. Что было бы, если бы в армии весь офицерский состав собрали в штабы, а на передовой линии, в цепи наступления, оставили бы только младший командный состав?..

Первый шаг к укреплению тракторных бригад напрашивается сам собой. Бригадиром должны стать участковые механики. Чем занимается сейчас участковый механик? Тем же, что и тракторист и бригадир. Там, где во главе бригады стоит опытный, знающий человек, участковому механику делать нечего: бригадир всё делает сам. А если попадётся бригадир

слабый, то участковый механик вынужден работать за него, день и ночь он сидит в бригаде, возит запчасти, ремонтирует трактор в борозде.

Совершенно очевидно, что участковый механик (в Мосальской МТС их три человека) — лишнее промежуточное звено при наличии хороших бригадиров. Ликвидация этого звена даст двойную пользу: штаты сократятся, руководство МТС станет ближе к бригаде. Так же не нужны и помощники бригадира, которые или дублируют работу механиков и бригадиров, или же ничего не делают; к тому же приучают бригадира к безответственности: легче всего при неудаче свалить вину на своего помощника.

Теперь, когда машинно-тракторные станции укреплены руководящими кадрами, у нас есть все возможности решить следующую задачу — перестроить тракторную бригаду. Крепкая, постоянная (а не сезонная!) тракторная бригада, возглавляемая опытным, сильным бригадиром, — вот основа дальнейших успехов нашей работы.

### Весьма запутанный вопрос

Чуть ли не каждый день приходится вести такие разговоры.

— Товарищ Фролов, — говорю я комбайнеру, — поедете завтра в колхоз «Объединённый труд» молотить хлеб. Приготовьтесь заранее.

Фролов, обычно аккуратный и исполнительный, делает кислое лицо.

— Конечно, кроме Фролова, работяг нету! Неохота мне итти на эту работу.

— Почему? Разве не всё равно, что делать? — спрашиваю я с невинным видом, хотя заранее знаю ответ.

— Была бы работа, — ворчит Фролов, — а то ведь молотьба. На ней и заработать нельзя.

— Ладно, в следующий раз пошлю на другую работу...

Фролов веселеет и отправляется в колхоз на молотьбу.

Сколько времени и сил убивает директор на споры и уговоры по поводу «выгодных» или «невыгодных» работ! Существует большая неразбериха в оплате труда механизаторов. На ряд работ вообще нет никаких норм, в частности, по ремонту таких массовых машин, как «ДТ-54», «Беларусь», «ХТЗ-7». Этому трудно поверить, но факт налицо. Многие нормы необоснованно завышены, и, хотя нелепость этого очевидна, приходится пользоваться ими. В нормативах указаны III, IV, V и другие разряды работ, в то время как ремонт ведут трактористы, к которым разрядная сетка не подходит. Часовая ставка механизатора на ремонте выше, чем ставка рабочего даже V разряда. Не удивительно после этого, что нас всегда ругают за перерасход средств, отпущенных на ремонт.

Ещё бо́льшая путаница начинается, когда люди МТС выходят в поле, чтобы решать свою главную задачу — борьбу за высокий урожай. Напомню случай с Фроловым, его нежелание молотить хлеб. Недовольство комбайнера было справедливым. Норм и расценок на стационарную молотьбу хлеба комбайнами нет. В прошлые годы мы платили комбайнерам за молотьбу по расценкам обычных молотилок — это было неправильно. Но в 1955 году из области пришло распоряжение, запрещающее производить расчёт с комбайнерами вплоть до получения новых норм. До сих пор мы ждём обещанного, а труд механизаторов не оплачен.

Молотьба хлеба комбайном нецелесообразна и технически: агрегат быстро выводится из строя. Как правило, поработав после уборки на молотьбе, комбайнер лишается премии за сохранность своей машины, к тому же производительность комбайна на молотьбе куда ниже молотилки. Понятно, почему механизаторы всячески уклоняются от такой работы.

Для молотьбы хлеба на комбайне нужно всего шесть — восемь человек, а для обслуживания молотилки — тридцать — сорок. Естественно, что

председатели колхозов добиваются, чтобы МТС молотила хлеб комбайнами. В интересах дела я упорствую, настаиваю на использовании молотилок. Взаимные пререкания затягиваются, глядишь — уже и снег выпал, а в колхозной риге всё ещё лежит необмолоченный хлеб. Минувшей зимой так и получилось в колхозе «Объединённый труд». Исправная молотилка и трактор для неё находились там с конца лета, но колхоз к молотбе не приступил, так как всю свою энергию председатель направил на то, чтобы «выжать» из нас комбайн, хотя и знал, что МТС на это не пойдёт.

Нередко бывает, что и мы становимся на более лёгкий путь. Подталкивает нас к этому та же неурядица с нормами, с планированием.

В настоящее время работа МТС оценивается главным образом по выполнению плана гектаров мягкой пахоты.

И вот обычная сцена. Бригадир тракторной бригады и председатель колхоза выехали весной, перед севом, в поле. Походили, осмотрели участки. Бригадир начинает разговор издалека.

Б р и г а д и р. Н-да! Поле-то большое, а земля-то на нём не ахти какая.

П р е д с е д а т е л ь (вступает в игру). А где лучше? На этом самом поле мы и по сто пудов брали.

Б р и г а д и р. Видно, осенью здесь неважнецкий тракторист пахал. Как это агроном принял его работу?

П р е д с е д а т е л ь. Да уж приняли, ничего не попишешь.

Б р и г а д и р (с хорошо наигранным изумлением). А сорняков-то сколько! Ты только посмотри, сколько здесь сорняка. Ай-яй-яй!

П р е д с е д а т е л ь (делая вид, что не понимает бригадира). Да не больше, чем на других полях.

Б р и г а д и р. Земля-то заплыва как! Недаром снегу много было зимой... Что ж, Павел Павлович, ничего не поделаешь: перепахать всё же придётся, урожай-то надо ведь обеспечивать.

П р е д с е д а т е л ь (тяжело вздыхает). Ладно уж, паши. Будто и в самом деле поле засорённое, против солнца и не разглядишь сразу. Только ты мне за это лучшие сеялки поставишь.

Б р и г а д и р. По рукам.

И мы начинаем пахать и перепахивать. Иногда это действительно вызвано необходимостью, а часто просто гонимся за гектарами мягкой пахоты, за натуроплатой. Конечно, гектары мягкой пахоты можно «нагнать» и за счёт механизации трудоёмких процессов в животноводстве, расширения фронта кормодобывания. Но всё это сложно и, главное, «невыгодно» для механизаторов, для МТС,— все эти работы имеют слишком низкие коэффициенты для перевода их в гектары мягкой пахоты.

Следует ещё добавить, что план, получаемый МТС в гектарах мягкой пахоты, зачастую намного превышает объёмы, которые фактически нужны колхозам. Но коль скоро план спущен, все требуют его безусловного выполнения. И вот тут-то и начинаются «поиски» гектаров. Разумно ли это? В Мосальской МТС есть бригады, где план пахоты не выполнен, а урожай и продуктивность всего хозяйства там лучше, чем в бригадах, которые «нагнали» гектары мягкой пахоты, перевыполнили план и ходят в передовиках.

Возьмём теперь, к примеру, боронование. Если обычно считается, что норма должна соответствовать сложности и трудоёмкости произведённой работы, то в полевых работах это почему-то не учитывается. Скажем, нормы на боронование озимых и боронование зяби одинаковые, хотя каждому ясно, что первая работа куда сложнее и ответственнее. Но МТС «выгоднее» делать работу более простую, хоть и менее полезную, и мы стараемся бороновать по зяби.



Надо как можно быстрее упорядочить все нормы и расценки, коэффициенты перевода в гектары мягкой пахоты; сделать «выгодными» все работы, которые производит МТС. В этом я вижу важнейшую задачу планирующих органов.

Кстати, ещё об одном «узком» месте, мимо которого нельзя пройти. Речь идёт о комбайнере. Может быть, покажется странным, но я считаю, что надо упразднить эту должность.

Сейчас комбайнер работает лишь во время уборки, самое большее месяц в году. Курс взят на то, чтобы уборка урожая продолжалась не более семи—десяти дней. Значит, комбайнер будет работать ещё меньше. Остальное время он ничем не загружен, да и сам считает, что ничего не должен делать: «Я комбайнер!»

По-моему, лучше всего будет, если механизатор научится работать и на комбайне, и на тракторе, и на других машинах. В Мосальской МТС мы организовали курсы трактористов. Комбайнеры с радостью записались на эти курсы и учатся теперь водить трактор.

Конечно же, всё это предельно просто. Но, тем не менее, до сего времени это проблема, которая ещё ждёт своего решения.

### Споры, которых не должно быть

Полное взаимопонимание, тесный, рука об руку, деловой контакт между МТС и обслуживаемыми ею колхозами чаще всего решают успех общего дела. Не могу пожаловаться, отношения Мосальской машинно-тракторной станции с колхозами вполне нормальные. И тем обиднее бывает, когда вдруг появляется какое-либо «яблоко раздора», из-за которого приходится трепать друг другу нервы. Дело доходит и до крупных споров. Причиной этому обычно бывает опять-таки несовершенство существующей системы финансовых расчётов.

Наиболее часто приходится спорить с председателями колхозов зимой. Дело в том, что почти все зимние работы ведутся в ущерб МТС и государству. Ставки натуроплаты очень низкие — пол-литра молока за тонно-километр пробега трактора. При таком положении колхозы заинтересованы использовать тракторы (а зимой в наших условиях могут работать только мощные «ДТ-54» и «С-80») на любых транспортных работах. Нужно перевезти сто штук кирпича на кладку печи — дайте трактор. Понадобилось доставить сено на конюшню — то же самое... Заслышав тархатенье трактора, колхозные лошади весело ржут в стойлах: они уже знают — это железный конь привёз им сено. Лошади стоят без дела, зато план механизации работ перевыполнен, и мы щеголяем высокими показателями.

Вместо того чтобы возить полезные грузы — лес, навоз, минеральные удобрения, — порой приходится посылать тракторы за всякой мелочью за сто и более километров, причём по хорошему шоссе, где вполне можно проехать на колхозной автомашине. Но ведь эксплуатация трактора почти ничего не стоит колхозу — своя машина обойдётся дороже. К весне же трактор будет разбит дальними поездками, придётся тратить десятки тысяч на дополнительный ремонт — куда больше, чем будет заработано на натуроплате.

Немалые споры с председателями колхозов возникают из-за оплаты за услуги машинно-тракторной станции.

Есть гарантийный минимум (хлеб), который даёт механизаторам колхоз, и есть денежная оплата, получаемая ими от государства. Беда здесь в сложности самой системы начисления заработка. Существует великое множество так называемых дополнительных оплат: за выполнение тех или иных работ в срок, за выполнение их до срока и т. д. и т. п. Наверное,

и те, кто вырабатывал эти многочисленные «за» и «до», не разберутся в них толком, а механизаторы и подавно. Часто они совсем не представляют себе, сколько получают за ту или иную работу. А это, в конечном счёте, плохой стимул материальной заинтересованности.

Кроме того, получение гарантийной оплаты хлеба почти всегда связано с рядом трудностей. То председатель колхоза, желая навести «экономию» в хозяйстве, затягивает под всякими предлогами выдачу хлеба, то он не даёт лошадь трактористу, чтобы тот отвёз заработанный хлеб домой, то норовит дать хлеб посорнее («Не нравится — очищайте сами!»). И, наконец, самое главное: механизаторам зачастую не нужно столько хлеба. Они вынуждены продавать излишек на рынке. Иной раз слышишь от них: «Надоело, право, возиться с этим хлебом. Лучше бы всё содержание получать только в МТС. А хлеб пусть идёт государству».

Нередко бывает так. Район давным-давно выполнил поставки зерна, область уже отослала рапорт в Москву, а МТС всё ещё не может закончить сбор натуроплаты. Конечно, директор МТС, прекратив работу в колхозе, мог бы заставить любого нерадивого председателя колхоза произвести должные расчёты. Но практически это невозможно. Какие бы недоразумения ни происходили между колхозами и МТС, всё равно обслуживать колхозное производство нужно, и районные организации заставят нас работать в этом колхозе.

XX съезд партии указал на ошибки экономистов, которые отрицали значение себестоимости в производстве сельскохозяйственных продуктов. В практической жизни мы то и дело сталкиваемся с себестоимостью, с различным пониманием её значения. Нужны чёткие и ясные ответы на многие запутанные вопросы экономики сельского хозяйства. Не имея этих ответов, мы зачастую не знаем, полезно или нет то, что мы делаем. Может быть, то, что кажется невыгодным с точки зрения МТС (например, те же зимние работы), на самом деле выгодно с точки зрения государства. И наоборот, иногда нам кажется, что мы стоим на страже государственных интересов (к примеру, когда гонимся за гектарами мягкой пахоты), а на самом деле мы выступаем против них. Нам надо знать, как действует закон стоимости в условиях существования в деревне двух форм социалистической собственности — государственной (машинно-тракторные станции) и колхозной.

### О правах и обязанностях

Ежедневно из Калуги приходят в адрес нашей МТС десятки инструкций, телефонограмм. Только из областного управления сельского хозяйства за 1955 год поступило 1 287 писем и телеграмм. Большинство посланий составлено в угрожающем тоне с перечислением строгих кар, которые последуют, если данное указание не будет выполнено.

В первые же недели моей работы в МТС я испытал чуть ли не нервное потрясение от этих грозных «молний». «У вас недопустимое отставание по вспашке зяби. Примите срочные меры...» Назавтра такая же телеграмма, только три слова новых: «Предупреждаем последний раз...» На третий день: «До каких пор вы будете мириться с недопустимым отставанием по вспашке зяби. Немедленно...»

На полях уже выпал снег, а телеграммы о зяби всё идут и идут. Наконец поток их прекратился: очевидно, в Калуге тоже выпал снег, и руководство, посмотрев в окно, решило, что теперь уже всё равно дела не выправить. Я перечитываю груды телеграмм и с трепетом жду наказания, которое должно последовать. Но вот раскрываю областную газету и узнаю из сводки, что Мосальская МТС (в результате «недопустимых отставаний!») перевыполнила план вспашки зяби.

Взыскание я всё же получил. Правда, не за зябь, а за перерасход по строительству дома, построенного ещё до того, как я приехал в Мосальск. Спустя некоторое время ещё один выговор: от областного исполнительного комитета за общую бесхозяйственность, допущенную в 1954 году, за пережог 114 тонн горючего, за перерасход 256 тысяч рублей. Вместе с долгами прежний директор передал мне и свои взыскания.

Это были первые взыскания, полученные мной за двадцать лет трудовой деятельности. Увы, они не были последними.

Я рассказываю об этом не для того, чтобы излить личную обиду. Нет, в обоих случаях больше курьёзного, чем горького. Но иногда случается так, что начинаешь сомневаться в правильности своих действий. Ломать сложившиеся в Мосальской МТС порядки (вернее, беспорядки) было нелегко. Как я уже говорил, первым делом здесь надо было взяться за укрепление трудовой дисциплины. Пришлось очистить МТС от прогульщиков и пьяниц. Уволенные начали жаловаться во все инстанции, обвиняя меня в грубости и чуть ли даже не в самодурстве, в том, что я несправедливо наказываю и увольняю хороших людей, давно работавших в МТС. Нелегко было слышать такие обвинения в свой адрес. Однако партийная организация МТС и в этом поддержала меня. С мнением коммунистов согласился и райком партии.

Учиться руководству — не простое дело. В Мосальской МТС бывает главный инженер областного управления сельского хозяйства В. Романов. Первый раз он приехал в прошлом году перед весенним севом. Пробыл у нас несколько дней, ознакомился с положением дел, провёл беседу с механизаторами. Указал на наши недостатки, отметил положительные стороны работы, рассказал о положительном опыте других МТС. Чувствовалось, что это умелый, знающий руководитель, который не прячется за инструкциями, умеет анализировать и обобщать факты. Вот это — конкретное живое руководство.

К сожалению, можно привести и противоположные примеры. Приехал к нам однажды заведующий сельскохозяйственным отделом обкома партии товарищ Никольский. Походил по МТС, просмотрел документацию — не поругал, не похвалил. Пробовал я попросить у него совета, как лучше работать, — ничего конкретного не ответил.

Как же всё-таки руководят нами? Думается, что основной недостаток здесь состоит в том, что нами чересчур много руководят, слишком уж опекают. И в этом деле было бы полезнее: лучше меньше, да зато лучше, имея в виду конкретность, своевременность, знание положения вещей на месте.

Очень часто мы получаем примерно такие распоряжения: «Немедленно составьте годовые отчёты колхозов», «Обеспечьте создание в колхозах детских яслей». Всё должна делать МТС! Иные председатели колхозов именно так и представляют себе функции машинно-тракторных станций.

То и дело приходится слышать нарекания:

— МТС не обеспечила урожая.

— МТС допустила потери хлеба...

А ведь по существу МТС, полностью отвечая за урожай, вместе с тем бессильна, к примеру, повлиять на колхоз, который не вывозит навоз в поле, не хочет брать минеральные удобрения. Второй год мы не можем решить с колхозами вопрос о полевых станах. Тракторная бригада у нас не имеет ни полевого стана, ни склада для горючего, ни кухни, ни красного уголка. А бригады у нас большие, есть по семь—восемь тракторов. Что же получается? Каждый тракторист живёт у себя дома. Едет на своём тракторе домой ночевать. Трактор стоит около дома.

Далее. МТС должна вести контроль за хозяйственной деятельностью колхозов. Но и тут мы бесправны. Есть у нас колхоз имени Кирова. Инструктор-бухгалтер МТС провёл ревизию работы председателя этого

колхоза товарища Косорлукова. Было установлено, в частности, что колхоз отправил на рынок в Москву двенадцать автомашин с картофелем, а выручка оприходована только с восьми машин. Косорлуков не мог отвести, куда девался остальной картофель. Акты ревизии мы передали в райисполком — никаких последствий. Думается, что решение партии об Уставе сельскохозяйственной артели поможет навести порядок и в этом вопросе: колхозники смогут полнее, активнее контролировать деятельность своего правления.

Мало прав у директора МТС и в финансовых вопросах. Тут уместно рассказать про общежитие наших механизаторов.

Придя в это общежитие впервые, я понял, почему механизаторы вправе сетовать на нас. Грязные тёмные комнаты оклеены засиженными мухами газетами. На полу лужи воды, картофельная шелуха. Трактористы спят на нарах вповалку, не раздеваясь. Ни книг, ни газет, ни радио.

Вместе с парторганизацией мы мобилизовали все силы, чтобы раздобыть средства на капитальный ремонт общежития. И вот теперь оно отремонтировано. Появились новые кровати, тумбочки, вешалки, электричество. По вечерам в комнатах раздаётся уже не ругань, а стук костяшек домино.

Казалось бы, сделано самое простое дело, но с каким трудом оно досталось нам! Вспоминаю историю покупки постельных принадлежностей. Оказывается, директор имеет право приобретать только так называемый жёсткий инвентарь (столы, кровати и т. д.). А мягкий инвентарь — матрац, подушку — купить не может. Пришлось встать на путь (в который раз!) нарушения финансовой дисциплины. Оформили расходы на постельные принадлежности по другим статьям. Очередная ревизия непременно отметит это в акте — возможно, я получу очередное взыскание, но зато механизаторы отдыхают на новых матрацах. Кстати: за грязь в общежитии Мосальской МТС, за старое тряпье на нарах никто никогда никаких взысканий от областного управления не получал.

Другой пример. Много лет вода на усадьбу МТС доставляется на лошадях. Нужен артезианский колодец. Из года в год нам отказывают в финансировании этого строительства. Так же годами решается вопрос о переносе нефтебазы на другое место, в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Послали множество писем в область. И вот результат. Государственный пожарный надзор узнал из наших писем об опасном расположении нефтебазы. Приехал ревизор, составил акт, и меня подвергли административному штрафу.

Ну, думаю, зато теперь-то областное управление сельского хозяйства непременно поможет нам в этом вопросе. Ничуть не бывало. В этом году также не отпустили средств для нефтебазы. Я теперь помалкиваю, не пишу писем. Не дай бог, пожарный надзор узнает, что нефтебаза стоит на старом месте, и будут меня штрафовать регулярно в течение всего года.

Все эти факты, курьёзные и грустные, разные по своему значению и масштабу, говорят об одном: назрела необходимость пересмотреть организационную и финансовую структуру МТС, чтобы привести её в соответствие с требованиями сегодняшнего дня.

### Почему Иван Овчинников не бережёт свой трактор?

Укоренилось мнение, что в МТС существует хроническая нехватка запасных частей. Я много размышлял на эту тему, делал кое-какие выкладки. И пришёл к такому выводу. Машинно-тракторные станции получают слишком много запасных частей. Так много, что невольно напрашивается вопрос: что мы сеем на колхозных полях — хлеб или запасные части?

Нормы на получение запчастей непомерно велики. Например, ежегодно положено по нормам: один радиатор на пять тракторов, пять блоков на

сто тракторов. Но ведь эти детали изнашиваются очень мало. Выходит, нам планируют аварию?

И всё же запасных частей в самом деле не хватает. Недостаёт их и в Мосальской МТС. Почему же так? Только потому, что мы плохо обращаемся с техникой, требуется и столь много запасных частей. И наоборот: получаем их много и потому так плохо обращаемся с техникой. Выбраться из этого заколдованного круга будет нелегко. Вчерашнему колхознику, ныне трактористу, постоянному работнику МТС, многое в заводских традициях кажется в диковинку. У него ещё не воспиталось той обязательной любви к машине, какая, скажем, есть у кадрового рабочего к своему станку. Разумеется, со временем всё это придёт. Суть тут в другом, и очень существенном.

У тракториста нет особых стимулов для должной заботы о своём тракторе. Как-то во время весеннего сева я проверял работу одной из бригад и обратил внимание на возмутительное состояние трактора «СХТЗ-НАТИ», закреплённого за Иваном Овчинниковым. Припомнилось, что на тракторе поразительно часто меняются подшипники ходовой части — детали весьма дефицитные, которые приходится добывать с трудом. Я остановил трактор, открыл пробки и воочию убедился, что смазки там и в помине нет. Двигатель был покрыт слоем грязи. Возмущённый, я пригласил распекать тракториста за варварское отношение к технике.

Овчинников невозмутимо слушал, потом заявил с усмешкой:

— Если я буду проводить все ваши техходы и ежедневные осмотры, то ничего не заработаю. Мне пахать надо.

— При таком уходе трактор совсем встанет. Тогда и вовсе ни рубля не заработаешь.

— Ничего. Как-нибудь дотяну до осени. А зимой я же и буду ремонтировать трактор. Чем больше ремонта, тем лучше.

К сожалению, в словах Овчинникова было немало горькой правды. Тракторист не в такой уж степени, как это должно быть, материально заинтересован в сохранности своей машины. Добросовестный рабочий, бережно ухаживающий за трактором, и нерадивый тракторист, добывающий свой трактор, находятся в одинаковых условиях. Более того, тракторист, который не бережёт машину, оказывается в лучшем положении — он зарабатывает больше, чем тот, кто проводит все технические уходы: у него было больше времени «гнать» гектары. Замечу кстати, виноваты и наши конструкторы: в тракторах и других сельскохозяйственных машинах совершенно не применяются системы автоматической и централизованной смазки, давным-давно известные во всех отраслях машиностроения. И вот трактористу приходится ежедневно лазить во все углы трактора, чтобы добраться до десятков точек смазки.

Правда, за сохранность тракторов и комбайнов предусмотрены меры кое-какого поощрения, но эта система имеет серьёзные недостатки. Премии рассматриваются и утверждаются областным управлением сельского хозяйства — разве можно доверить директору такое сложное дело! И, как правило, вручаются они не раньше чем через год-полтора после того, как заработаны.

Пора и здесь установить простые, ясные правила, понятные каждому механизатору. И не бояться доверить распределение премий директору машинно-тракторной станции. Ему виднее, кто заслужил награду. Это и будет действенным средством воспитания: за поломки и аварии директор накажет, за сбережение техники — премирует. Нельзя забывать, что в МТС теперь свои, постоянные кадры рабочих.

Ещё одно препятствие на пути внедрения производственной культуры в МТС — это сама система ремонта тракторов и машин. Почему мы ремонтируем всю технику в авральном порядке в течение нескольких зимних месяцев? МТС превращается зимой в ремонтный завод, и, конечно же,

никаких мастерских, никакого оборудования, никаких рабочих не хватает. Зато остальную часть года мастерские пустуют, оборудование бездействует. Третью часть года МТС ведёт ремонт самым передовым — узловым, точным — методом, но остальное время техника эксплуатируется на аварийный износ по принципу «жми, нажимай, зимний ремонт всё спишет!». Зимой всё внимание, все силы коллектива МТС обращены только на ремонтные работы. Бригадир превращается в обыкновенного слесаря. Механизаторы не бывают в колхозах, хотя там и в это время есть для них много важных дел.

Где же выход? В правильном использовании техники, в плано-предупредительном круглогодичном ремонте. Его и следует внедрить, причём везде и одновременно.

Преимущество такого метода ремонта сельскохозяйственных машин много. Прежде всего для этого вовсе не обязательно надо иметь огромную типовую мастерскую. Если техника ремонтируется равномерно, значит можно обойтись минимальными производственными площадями, минимальным количеством людей и оборудования.

В связи с этим следовало бы пересмотреть проекты новых типовых мастерских в сторону их упрощения и удешевления. Действительно, зачем строить чуть ли не целый завод для поддержания в исправном состоянии техники МТС, если этот завод будет работать только зимой, а большую часть года обречён на простой!

### О хозрасчёте

«Целесообразно в течение ближайших лет постепенно перевести машинно-тракторные станции на хозяйственный расчёт... Это мероприятие повысит активность работников МТС, их ответственность за подъём сельскохозяйственного производства», — говорится в отчётном докладе ЦК КПСС XX съезду партии.

Не найдётся ни одного работника МТС, который не поддержит этого предложения, не будет бороться за его быструю реализацию. Хозрасчёт жизненно нам необходим. Он устранил многие уродливые явления, которые ещё имеют место в практике работы машинно-тракторных станций.

Как-то председатель колхоза потребовал у меня трактор, чтобы отвезти льнотресту на завод в Медынь. Хотя это и «невыгодная» для МТС работа, я всё же выделил трактор, так как сильно «поднажали» районные организации. Пока тракторист и председатель колхоза едут на тракторе по Брестскому шоссе за сто двадцать километров в Медынь, я занимаюсь расчётами. Заглянул в договор МТС с колхозом. Оказывается, перевозка льна не предусмотрена договором. Значит, я могу требовать оплаты за пользование трактором, исходя из фактической стоимости работы по существующим расценкам. Когда председатель вернулся из Медыни, я предъявил ему счёт на несколько тысяч рублей. Председатель сначала оторопел, а потом воскликнул:

— Выходит, лучше было ехать на своей автомашине!

— Что и требовалось доказать.

— А я думал, что будет такая же оплата, как за вывозку леса и навоза.

— Так эти-то работы у нас предусмотрены по договору: пол-литра молока натуроплаты за тонно-километр.

— Может, и за лён молочком возьмёте?

— Нет. Прошу оплатить по хозрасчёту. А в следующий раз будете думать о себестоимости и поедете на своей автомашине. Ещё дешевле выйдет, чем молоко.

Многие из серьёзных пороков в работе машинно-тракторной станции будут радикально излечены при переводе МТС на хозрасчёт. Соответствует ли стоимость тонно-километра пробега трактора «ДТ-54» стоимости 0,5 литра молока натуроплаты? Хозрасчёт ответит на этот вопрос. Не дорожает ли молотёба зерна комбайнами себестоимость хлеба? Хозрасчёт ответит и на это.

Хозрасчёт сделает более ясными и определёнными отношения между колхозами и МТС, которые сейчас во многом запутаны. Хозрасчёт скажет нам о главном — о себестоимости пуда хлеба.

Введение хозрасчёта неминуемо должно отсеять всё то, что не имеет прямого отношения к производственной деятельности МТС. Исчезнут такие нелепые явления, как засылка в МТС техники без заявки самой МТС, как это бывает в настоящее время. Не секрет, что во многих МТС лежат мёртвым капиталом огромные ценности: оборудование, машины, которые, может быть, нужны в других местах. А ведь сейчас директор МТС не может отказаться от получения даже заведомо ненужных машин, не может вернуть лишнюю машину или приобрести новую, которая необходима.

При хозрасчёте машинно-тракторная станция не будет брать машину, если её конструкция плоха. Мосальская МТС, например, ни за что не взяла бы стогометателей, подборщиков, культиваторов, которые выпускаются сейчас заводами сельскохозяйственного машиностроения.

Хозрасчёт, как зеркало, отразит все конкретные недостатки в работе МТС и тем самым позволит быстрее устранить их. Он определит, целесообразны ли экономически небольшие МТС и мелкие тракторные бригады. У нас ещё имеются машинно-тракторные станции, насчитывающие сорок тракторов и даже меньше. Штаты у такой карликовой МТС такие же, как и у тех, где более ста тракторов. Хозрасчёт заставит нас всех — от директора до рядового механизатора — считать государственную копейку. Нерадивый хозяин (директор или бригадир) сразу будет виден, как на ладони.

Что мы, руководители МТС, далеко не всё ещё сделали — это факт бесспорный. Но верно и то, что наша работа была бы куда более успешной, если бы скорее разрешались те вопросы, которых мы одни, одними своими силами, разрешить не можем.

### Первые итоги

...И вот прошло время. Многое изменилось в советской деревне. Трудовой подъём практиков сельского хозяйства нашёл конкретное проявление в повседневных делах нашей машинно-тракторной станции — в развязывании местной инициативы, в самоотверженном труде механизаторов на весеннем севе, в образцовой подготовке к уборке урожая. Всё это не могло не принести ощутимых плодов.

Передо мной лежит приказ по Калужскому областному управлению сельского хозяйства. Хороший, радостный приказ, помеченный, как водится, номером и датой: № 361-К от 4 августа сего года. Приказ о нашей МТС.

Мосальская машинно-тракторная станция выполнила план работ первого полугодия на 104 процента. Экономия денежных средств за это время составила 113 300 рублей, экономия горючего — более семи тонн. МТС вышла на первое место в области.

В приказе отмечается полезный опыт нашей работы. Во всех бригадах, у каждого тракториста имеются так называемые лимитные книжки, где ведётся строгий учёт запасных частей, горючего. Дело это не новое, но, когда оно вошло в повседневный обиход каждого механизатора, результаты превзошли все ожидания. Резко сократился расход запасных

частей, сократились сроки ремонта. Приказ рекомендует другим машинно-тракторным станциям области перенять опыт мосальцев.

И, наконец, приказ областного управления снимает с меня все взыскания, полученные за это время. Вот, оказывается, какими «добрыми», приятными могут быть приказы, присланные из Калуги!..

Успехи хозяйственной деятельности нашей МТС создают прочную базу для дальнейшего улучшения работы в колхозах — теперь нас уже не будет лихорадить из-за отсутствия запчастей или горючего, из-за организационной неразберихи или недисциплинированности.

Кстати, о дисциплине. Уже не приходится бегать за каждым трактористом и уговаривать его поживее ехать в колхоз. Уже нет нужды лазить в моторы, чтобы проверить состояние смазки. Выговоры стали чрезвычайным происшествием, на смену пришли премии. Только за полугодие Мосальская МТС получила двадцать тысяч рублей премии.

Всё это, разумеется, не могло не сказаться и на работе колхозов, которые обслуживает наша машинно-тракторная станция. В их экономике заметны немалые сдвиги. Общий денежный доход колхозов зоны за 1955 год по сравнению с 1954 годом вырос в 2,2 раза. Стоимость трудодней увеличилась более чем в три раза.

А вот результаты по животноводству. Надои молока в среднем на каждую фуражную корову в 1956 году (на 1 августа) на 339 килограммов больше, чем за тот же период прошлого года. В ряде колхозов прирост молока достигает 600 килограммов. Поголовье свиней на каждые сто гектаров пашни выросло в 2,5 раза. Значительно больше, чем раньше, заготовлено кормов для скота.

В колхозах зоны в прошлом году впервые выращен на больших площадях хороший урожай нашей важнейшей технической культуры — льна. Было получено с гектара по 3,8 центнера льносемян и по 16,5 центнера льнотресты. Виды на урожай этого года ещё лучше.

В первых числах августа комбайны Мосальской МТС вышли в поле. Началась горячая страда. Намолоты озимой пшеницы радуют нас всех. Например, в колхозе имени Булганина и других комбайны намолачивают свыше ста пудов на гектаре. Несмотря на сложные условия погоды, несмотря на частые дожди, жатва проходит лучше прошлогоднего.

Однако как ни утешительны наши первые итоги, они только начало. Много есть ещё недостатков и в Мосальской МТС и в обслуживаемых ею колхозах. Немало ещё «узких» мест в нашей работе.

Вся советская деревня сейчас на подъёме. Труженики сельского хозяйства горят желанием закрепить достигнутые успехи, заложить прочные основы для будущего урожая.

К этому призывает нас партия. И мы сделаем это!







## ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В пасмурность осеннюю,  
в слякоть и усталость,  
после  
    воскресения  
всё это писалось —  
когда нужно думать, как  
не проспать бы  
    службу,  
когда в ранних сумерках  
просыпаться нужно,  
когда странно морщатся  
стены  
    в институте  
и бредёт уборщица  
в коридорной мути...

И в такой-то муторной  
хмури на рассвете  
захотелось  
    утренней  
новизны на свете,  
захотелось врезаться  
в дело,  
    как ракета,  
захотелось дерзости  
мысли,  
    звука,  
    цвета.

И хотя про будничность  
сказано немало,  
что  
    «большая будущность  
кроется и в малом»,—  
захотелось  
    замысла  
с преувеличением,  
чтобы всё казалось нам  
первым  
    увлечением,  
чтобы нас  
    насытили  
верой и доверьем,  
чтоб не жить  
    просителем  
за безмолвной дверью.

Захотелось солнечной  
наконец-то  
    встречи,  
редкостной, до полночи,  
долгой-долгой речи,  
наконец —  
    открытого  
разговора всюду,

без шептанья скрытного:  
«Не случиться б худу...»

Захотелось цельности  
мнений  
неподдельных,—  
Днём Высокой Ценности  
стал бы  
Понедельник.

Захотелось,  
может быть,  
тех, кто сердцем замер,  
наделять  
надёжными  
новыми сердцами,  
потому что старые  
глухо стали биться,  
угрожая,  
стало быть,  
вдруг остановиться...

Но секунды двигались  
в медленной минуте,  
люди

тоже двигались  
медленно до жути,  
медленно,

до вечера,  
и кололи взглядом  
вкось

и недоверчиво  
двигавшихся рядом,  
будто дела не было  
никому

до сердца,  
будто только с мебелью  
близкое соседство.

Речь казалась деланной,  
слов

не много дельных.  
Мало было сделано  
мною в Понедельник.  
А в минуты поздние  
среди снов недобрых  
перебои

грозные  
отдавались в рёбрах.

## ДЕНЬ ВТОРОЙ

Мой друг  
лежал уже семь дней.  
Ему с трудом дышалось.  
Всё суше губы и синей.  
Давление  
повышалось.

Вот-вот порвётся пульса нить.  
 Спасителем  
                                 придёт кто?  
 — Тут надо б сердце замешить! --  
 махнул рукою доктор.

Во Вторник с самого утра  
 всё снова повторилось.  
 Входная дверь,  
                                 как и вчера,  
 повторно отворилась.  
 Такой же Вторник был ужé.  
 Вошёл с газетой дворник.  
 Его на нашем этаже  
 я видел  
                                 в прошлый Вторник.  
 Никто чудес не открывал,  
 и глупо лезть из кожи.  
 И Вторник  
                                 Вторнику  
   кивал:  
 «Мол, я, как ты, такой же».

Но я уже нарисовал  
 проект  
                                 второго сердца,  
 и я его уже сдавал  
 в окошко министерства,  
 чтоб срочно  
                                 утвердить чертёж  
 деталей животворных,  
 и мне ответили:  
                                 — Ну что ж,  
 придите через вторник.

Мой друг  
                                 уже читал с трудом  
 сквозь суженные веки  
 статью:  
                                 «Забота о простом  
 советском человеке»...  
 И вот я снова у ворот,  
 и снова через дворника  
 приказ  
                                 «Не забегать вперёд!»  
 прислал товарищ Вторников.  
 Ассигнованья  
                                 сократив,  
 он штраф на нас начислил,  
 чтоб никаких  
                                 без директив  
 не зарождалось мыслей!

Режим строжайший  
                                 схем и смет —  
 начальника заслуга!

Но —  
 без живого сердца нет  
 спасения для друга.  
 Скорее в партию, в райком!  
 Мне там ответят:  
 — Можно! —  
 Стоять я буду за станком  
 без смены,  
 денно,  
 ночью!

Бессонных мыслей долгий гул  
 спешит за мной  
 по следу,  
 и я из Вторника бегу  
 по звёздам ночи  
 в Среду!

### ДЕНЬ ТРЕТИЙ

И вот Среда,  
 одна из сред,  
 когда так занят белый свет,  
 уже как Средние Века  
 вдали  
 вчерашняя тоска.  
 Я втянут в середину дня,  
 и он уже несёт меня  
 в поток людей,  
 в водоворот  
 дел, устремившихся вперёд.  
 И в лабиринте  
 дуг и труб,  
 буравов,  
 уходящих вглубь,  
 я тоже занят: тут мой труд.  
 Я сердце делаю  
 среди  
 сосудов, бьющихся в груди.  
 Вот сердца нового модель  
 для быстрых  
 будущих недель!  
 Оно для связи на земле  
 служить нам будет,  
 как реле.  
 С другим, как проволоки нить,  
 вы сможете соединить  
 своё волнение,  
 радость,  
 боль,  
 любовь,  
 существенную столь!  
 Мы захотим — соединим  
 всё человечество  
 с одним,  
 и, отстранив приход конца,





## СОН В НОЧЬ НА ПЯТНИЦУ

Во сне мне снится выставка.  
Зеркальный зал

дворца.  
Проверил я и выстукал  
новые сердца.

Они стучат  
надёжно.

Не заводные.  
Вставлять их в клетки можно --  
в грудные.

Считать сердец количество  
вошёл

его безличество  
сам Предместкома главка  
и встал,

как у прилавка:  
— Кому вставлять?  
Уставшим?

Ведущими не ставшим?  
Отставшим

и которые  
не личности в истории? —  
Он в очередь поставил их,  
он в сторону отставил их,  
а в том числе

и друга,  
которому так туго,  
так душно,  
трудно дышится,  
как мне сегодня пишется.

А вместо них  
идёт другой,  
кому-то, видно, дорогóй.

Идёт,  
заслуг не объяснив,  
идёт,  
усталых оттеснив,  
но не простым просителем —  
с билетом,

с пригласительным,  
весёлый, хитрый, с лысинкой,  
с какой-то лисьей

крысинкой.  
Не Вторников ли?

Вроде.  
Он не один в природе.  
Держа в руках записки,  
с галочками

в списке,  
явились Безразличные,  
держа  
анкеты личные,



потом вошли Двучичные,  
 надев пальто  
     приличные.  
 Явились Лжесвидетели —  
 строчили ложь  
     не эти ли?  
 Все входят с пропусками.  
 Посмей,  
     не отойди!  
 В руках все держат камень,  
 что был у них в груди.  
 Таких  
     попробуй оттереть,  
 попробуй —  
     вставь их в очередь!  
 К ним надо  
     робко семенить —  
 по блату камни заменить...  
 — Подите вы  
     отсюда  
     прочь! —  
 Но, слава богу, это ночь.  
 И не действительность,  
     а сон.  
 Я просыпаюсь. Я спасён.

### ДЕНЬ ПЯТЫЙ

И вот —  
     настала Пятница,  
 когда не время пятиться.  
 Детальями  
     завален стол,  
 колеблется от пульса пол,  
 пульсирует  
     наш институт,  
 теперь уж не остынем мы,  
 работаем мы  
     вместе тут —  
 партийцы с беспартийными.  
 Как эта Пятница тесна!  
 В труде  
     без канители —  
 теперь бы  
     пригодились нам  
 семь пятниц на неделе!  
 Теперь уж это не игра  
 эффектными идеями —  
 две тысячи  
     кардиограмм  
 сердцам уже мы сделали.  
 Теперь  
     отменим пропускá,  
 бездушью  
     нет прощенья!

Мы через сердце  
пропускать  
сумеем все прошения.  
Такое сердце ждут везде,  
ждут в исполкоме и в суде.  
Без сердца  
ведь нельзя же нам  
сидеть в ряду присяжном.  
Оно не подведёт теперь,  
и не сорвёт оно,  
и злобу, как пещерный зверь,  
на слабом  
не сорвёт оно.

Мы пробуем давление,  
оно  
(вот удивление!)  
спокойно стало нарастать  
и затихать, как реостат,  
и не разрушит  
клапана  
эмоция внезапная.  
На боль,  
на горе,  
на разрыв  
испытываем, темп развив:  
живому  
легче втрое —  
ведь борется в т о р о е!

Но почему запел гудок  
и ход замедлил  
привод?  
Ведь утром дали мы зарок  
стоять  
без перерыва!  
Случилось, видно, что-то,  
и сбились мы  
со счёта.  
И молоточки замерли,  
и, как вчера во сне,  
в наш цех  
вошли те самые,  
что ночью снились мне.

Идут  
большой комиссией  
с какой-то важной миссией.  
Я узнаю  
Двуличного —  
не скажет слова лишнего.  
Как строго и уверенно  
шагает  
Безразличный,  
а рядом строг умеренно  
его помощник личный.  
Спротивляться глупо!

Суют персты  
                                 в артерию.  
 Сердца подходят щупать,  
 как на штаны  
                                 материю.  
 Уже составлен краткий акт.  
 — Неподходяще.

Точно.  
 Факт.

Для ширпотреба  
                                 таких сердец не треба.  
 И вообще новинок  
 не требует  
                                 наш рынок.

Нужны сердца  
                                 полезные,  
 как замки: железные,  
 несложные,

                                удобные,  
 всё исполнять способные:

Чернить? Чернить!

Ценить? Ценить!

Громить? Громить!

Кормить? Кормить!

Рычать? Рычать!

Молчать? Молчать!

Губить? Губить!

Любить? Любить!

И никаких кардиограмм,

а для порядка —  
                                 двести грамм!

В дальнейшем за «искания»  
 налагать

                                взыскания!

Подписано,  
                                 и с плеч долой!  
 Сотрудникам приказ — домой.

Мы с этим актом  
                                 как без рук.  
 Что ж? Разойтись по улицам?  
 А через улицу

                                мой друг  
 лежит с умолкшим пульсом.  
 Вот так —

                                ударом ножевым  
 подстерегают сзади...

Но, может,  
                                 снова оживим?

Успеем, может, за день?

Уборщицы согнулась тень,  
 и всё в цеху  
                                 разгромлено.



Без равнодушных  
   нас проверь.  
 Наш институт закрыли зря.  
 Сними  
   сургучную печать.  
 Ведь ты-то знаешь,  
   что нельзя  
 биенье сердца запрещать.  
 Вернуться в институт позволь,  
 поверь,  
   такое сердце есть,  
 что на себя возьмёт всю боль...

По коридорам  
   министерств  
 бегу, в приёмные стучусь.  
 Вот Комитет  
   Высоких Чувств,  
 вот сектор  
   Неотложных Дел,  
 вот Человечности Отдел.  
 — Пустите нас обратно  
   в цех,  
 мы ж там работали для всех.  
 Товарищ Вторников  
   не прав —  
 мы просим правды,  
   просим прав...

И вдруг  
   в незаблемой стене  
 окошко приоткрыли мне.  
 Так, значит,  
   поддалась стена!  
 Мой стук услышала Страна.  
 И вот  
   в две бережных руки  
 размером в два материка  
 берёт Страна  
   мои листки  
 и вверх уносит, в облака,  
 и в лупу солнца,  
   где просвет,  
 рассматривает мой проект.  
 Вот улыбается Страна,  
 нет,  
   стала хмуриться она,  
 нет,  
   снова из-за хмурых туч  
 мелькнул её улыбки луч,  
 сейчас напишет  
   «да» своё,  
 согласие на лице её!..  
 Но снова туча среди дня  
 Страну  
   закрыла от меня.  
 Не туча — это часть лица









дарил сердечко  
   в виде брошки медной.  
 Сверкал киоск вещей удешевлённых,  
 и столько глаз вокруг  
   одушевлённых,  
 поверивших в душевность сих изделий.  
 Они так привлекательно  
   блестели!  
 — Не покупайте!  
   Это всё подделка! —  
 Но так кричать не принято и мелко,  
 и могут в личных счётах  
   заподозрить...  
 И, гражданин,  
   не раздувайте ноздри,  
 вам не на что пожаловаться даже —  
 сердца ж  
   везде имеются в продаже!..  
 Но завтра будет новый Понедельник —  
 день замыслов  
   больших и неподдельных,  
 и ты,  
   Страна,  
   рассмотришь то и это  
 сквозь лупу солнца  
   за столом рассвета  
 и скажешь так:  
   — А вы идите дальше.  
 Я правду сердца отличу от фальши.  
 Я не позволю  
   запирать желанье  
 в глухом шкафу, как Золушку в чулане.  
 Я не позволю  
   замысел и мнение  
 отказом приводить в окаменение.  
 И подменять цветы на майском поле  
 бумажными цветами  
   не позволю!  
 Я на земле, как оспу или рожу,  
 мертвящее бездушье  
   уничтожу.  
 Во мне ведь  
   все сердца живые бьются,  
 и мне ведь больно,  
   если разобьются.  
 Иди спокойно  
   в Новую Неделю  
 и покажи, чем ты живёшь на деле,  
 и день твой будет  
   будущим оправдан! —  
 Так скажешь ты, Страна,  
   и это правда.  
 Май—июль 1956 г.



---

КАИСЫН КУЛИЕВ

★

## ИЗ ФРОНТОВОЙ ТЕТРАДИ

### ПЕРЕД БОЕМ

В ночном бою на вражью высоту  
не все взойдут по ледяной росе,  
но, перед боем глядя в темноту,  
я говорю: пусть доберутся все!

И если обо мне заплачет мать,  
то пусть не плачут матери других,  
и коль меня жене не надо ждать,  
то жёны близких пусть дождутся их.

И если я останусь здесь, тогда  
пусть за меня мой друг обнимет дочь,  
и коль закатится моя звезда,  
пусть ваши звёзды озаряют ночь.

### ЖЕНЩИНЕ

1

Русые волосы, русая прядь.  
Как я люблю их, родная моя!  
Горною бурей любил я дышать,  
мне они горного ливня струя.

Синие русские эти глаза!  
Камнем пусть губы немсют на них!  
Радость и горе в них, тишь и гроза,  
как же надолго покину я их!

2

Не длинной повестью в душе твоей,  
коротким пусть останусь в ней стихом.  
Не долгою затяжных дождей,  
а горным ливнем, яростным дождём.

Пусть в миг, когда ты вспомнишь про меня,  
не лошадь пусть устало семенит,  
тебя возок усталый не томит,  
а топот кабардинского коня  
воспоминаньем в сердце прогремит.



---

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

★

## У ПАМЯТНИКА

Красное солнце  
тонкие нити  
тянут к планете.  
У памятника Пушкину  
на тёплом граните  
греются дети.

Девочка греется,  
в платьице синем,  
вздёрнув косицы.  
Что же ей грезится  
полднем весенним  
в центре столицы?

Девочке кажется:  
сердце забилося  
в гулком металле.  
Маме не вяжется,  
мама присела  
на пьедестале.

Мальчикам чудится:  
дрогнули губы,  
слово слетело.  
И зашумело  
слово на улице  
и зазвенело!  
Замерли дети  
группой скульптурной  
на пьедестале...  
Перед поэтом  
в серых шинелях  
юноши встали.  
Юношам слышится  
гневное слово,  
грохот призыва.

...Небо колыхнется,  
будто бы море  
после прилива.

Может, и мне  
этим солнечным полднем

только казалось:  
 «Зисы»  
 салют отдавали на полном,  
 крыльями  
 «Яки» касались  
 с благоговением  
 рук его, плеч его  
 в бликах багровых.

...Город  
 льняные полотнища вечера  
 тянет на нитках суровых.

А от Чукотки  
 меряет тропы  
 парень белявый.  
 Скоро, должно быть,  
 услышит Европа  
 гул его славы.

\* \*  
 \*

Я здесь с утра.  
 Но подолгу не мог  
 стоять у клеток.  
 (Не случилось с вами?)

...Бьют кондоры широкими крылами,  
 и падает рождественский снежок.

Зима в зоологическом саду.  
 Грустят слоны под потолками клеток,  
 и утки в замерзающем пруду  
 напоминают ветреное лето.

Какая тишина!  
 И лишь больше птицы  
 бьют крыльями,  
 чтоб жить не разучиться.

## ПЕЙЗАЖ

Не труби, пароход, не труби.  
 На носу у себя заруби:  
 не покину я город Херсон,  
 и не нужен мне отдых и сон.

Я люблю суету по утрам.  
 Я люблю, чтобы — трам-тарарам —  
 из предместий влетали, трубя,  
 кони, камень холодный дробя.

В каждой бричке полно овощей  
 и других самых разных вещей.  
 Вон индюк, выставляя кадык,  
 ходит между оранжевых тыкв.

А у тыквы коричневый бок —  
как макитру, обжѐг её бог.

Ай да боги! Вот так грешки!  
Обжигают не только горшки...

Не труби, пароход, не труби.  
На носу у себя заруби:  
не покину я город Херсон,  
и не нужен мне отдых и сон.

...Чайка машет угластым крылом,  
и рассвет отправляют на слом.  
Начинается жаркий денёк,  
повышаются цены на тень,  
уползает собака в тепёк,  
и петух подрывает плетень,  
потому что под тёплым песком  
дышит наша земля холодком.

Кони мимо плетутся, сопя.  
Белый свет им сегодня не мил.  
На горячие камни, шипя,  
осыпается пена с удил.



В. ДУДИНЦЕВ

\*

## НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

*Роман* \*

4

**П**ришла весна. Из комнатки, словно задёрнутой тихой пылью полумрака, особенно заметны весенние перемены в природе. С утра в комнату входит невидимое счастье. Подойдёшь к окну — небо сияет и зовёт. Утром оно не голубое, оно бесконечно бледное. Смотришь в него, и тебе кажется, что где-то что-то тебя ждёт. Но нет, никто тебя не ждёт, лучше не думать об этом...

Через час далеко за твоей спиной, за десятком каменных стен, поднимается солнце. Вот кого ждут! Небо распускается, это первый, самый лучший цветок весны, подснежник, которого летом вы уже не увидите. Откроешь форточку — вот его холодный подснежный запах! Доверчиво вдыхаешь его, забыв обо всём, как мальчик, случайно поднёсший к лицу маленькую женскую перчатку. Что делать? Куда пойти сегодня? Не ходи никуда, цветок этот не твой. Лучше сядь и поштопай свой китель, раскинь умом, откуда вырезать два кусочка для заплат на локтях. И брюки — тоже. Не сделать ли их теперь без отворотов? А пальто? Снаружи у него ещё сносный вид, но подкладка вся изорвалась полосами, обнажив секреты портновского дела.

Уже два месяца жил Лопаткин в комнате профессора Бусько. Вставали они рано — точно по расписанию, которое Дмитрий Алексеевич повесил на двери. День его начинался с зарядки. Присев положенное количество раз, помахав во все стороны тяжёлым утюгом, размяв бока, он садился к столу, где его ждал профессор. Друзья пили чай с чёрным хлебом, потом закуривали и расходились к своим рабочим местам. Старик, напевая: «Любо, братцы, любо», — что-то растирал в своей громадной ступе или прокаливал в маленькой самодельной электрической печке. Дмитрий Алексеевич часами сидел перед приколотым к чертёжной доске листом, на котором были нанесены чуть заметные контуры его машины.

Иногда, обычно утром, раздавался негромкий стук в дверь, и накрашенная черноокая Завиша в перламутровом халатике приносила Дмитрию Алексеевичу большой конверт со штампом какого-нибудь комитета. Бусько писем не писал и не получал. Завиша медлила, светилась любопытством, смуглая её ручка с красными ногтями неохотно отдавала загадочный конверт. Иногда конверт приносил муж Завиши, Тымянский, или Бакрадзе — высокий франтоватый инженер и спекулянт фруктами. А бывало и так, что входили с конвертом сразу инспектор Госстраха Петухов, его жена, Завиша и Тымянский — это значило, что конверт был

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

со штампом министерства. Они ждали — что же из него выпут? Но один из изобретателей, надорвав конверт и заглянув туда, непочтительно бросил его другому, а тот, просмотрев письмо, равнодушно прятал его в стол.

Дверь, разочарованно пища, закрывалась, и тут-то в комнате начинали греметь диалоги и монологи.

— Обыватель-то каков! — говорил старик. — Он всё-таки что-то понимает. Смотрите, как он прёт поглазеть на священный огонёк! Как килька! Уверены, небось, что сам министр ведёт с нами переписку!

— Да, наша лихорадка счастливо их миновала. Заразная штука, между прочим...

— Ничего-о. Насчёт этого у них железное здоровье. Зачем им беспокоиться, что-то проталкивать, чего-то с трепетом ждать. К их услугам уйма уже сделанных открытий! Пожалуйста — триста рублей заплата и получай патефон. В изящном футляре. Пять рублей — и вот тебе пластинка, Утёсов! С двух сторон! Новое открывать? Не к чему. Мир переполнен удобствами, и не бойтесь, обыватель не променяет их на письма министра. Ни боже упаси!

Профессор даже басисто захохотал, а Дмитрий Алексеевич опустил глаза. Он-то видел, соседей всё-таки тянуло сюда, на огонёк...

— Нет, дорогой, здесь имеется надёжный иммунитет, — басил профессор. — Они и дружат и любят так, чтоб от этой любви не нарушилось их материальное равновесие. Обывательница не выйдет замуж за пишущего гения. Нет, пусть Дмитрий Алексеевич покажет ей сначала свои акции!

«Да, да... — думал Дмитрий Алексеевич, усмехаясь. — Она никогда не выйдет за меня. Не мешало бы сейчас явиться к ней победителем, со всеми признаками успеха — в хорошем пальто, с билетами в театр».

Но тут же он признавался себе, что и в Жанне иной, новый человек иногда чуть приоткрывал светлые глаза: в этом ведь и был секрет их отношений. С этого человека всё и началось.

«Ну хорошо, — думал он. — Евгений Устинович и сам отлично понимает эту глубокую сторону жизни. Почему же он капризничает, ведёт себя, как старый артист, потерявший голос? Ведь голос не потерян! Порошок, порошок ведь существует!»

И он задал однажды вопрос:

— Евгений Устинович! Вот вы счастливейший из смертных. Ваш порошок — это, конечно, большое дело...

— Ну-ну... — Старик благосклонно выслушал эту часть вопроса. — Ну-ну... Продолжайте.

— Что же вы всё-таки не хлопчете, не пишете никуда, не ходите? По-моему, в самом этом есть своё... — Он шуткой хотел смягчить нелозкость, которую уже почувствовал. — Я нахожу в этом даже некоторое удовольствие.

— Какое?

— Здесь есть даже элемент игры. Надежда...

— Н-да. Надежда... Знаете, что сказал Дизель об этом? Он сказал так: чем становишься старше, тем меньше разочарований. Потому что отвыкаешь от надежд. Надежды, они больше юношей питают. Я действительно счастливейший из смертных. Мог быть. Потому что идея, подобная этой, — старик положил руку на свой сундук, — это действительно гора, великое счастье, клад. Только природа не любит несправедливостей. Если она даст тебе счастье, она обязательно навязывает и принудительный ассортимент, уравнивает счастье заботами. Сыплет их столько, чтоб чашки весов уравнились. Сил нет, Дмитрий Алексеевич. Приходится отказываться и от того и от другого.

— А почему же от первого отказываться? Оно же у вас!

— Нет, дружок. Когда знаешь заранее, что это дело не увидит света, когда между тобой и людьми лежит длинная дорога, которую уже не пройти,— счастья как не бывало. Как в сказке — одни головешки. Вы же знаете, какой длины эта дорога до готовой машины. Вернее, не знаете, потому что вы не прошли и половины...

— Но у вас ведь готовый порошок! Покажите...

— А я не показывал? Смотрят с удовольствием. Игрушка интересная... И вопросы задают с большим пониманием. Но назначить официальное испытание, чтобы с протоколом, копию которого автору, — не-ет...

— Почему? Ведь это настолько убедительно...

— Фомины тоже могут продемонстрировать такой номер. А для того, чтобы отличить настоящее от цирковых номеров, нужно кое-что знать. Одного того, что ты хозяйственник,— мало. Вот тут и начинается власть кучки «кучёных мужей»...

После первого же такого разговора с профессором притихший, но упорный Дмитрий Алексеевич повесил на двери своё расписание, которому он теперь подчинил всю свою жизнь. Он пристально следил за стариком, учитывал опыт Евгения Устиновича — тот опыт, о котором старик сам и не догадывался. Он понял, что нужно бороться прежде всего против усталости, против измены в самом себе.

В двенадцать часов, следуя жёсткому расписанию, Дмитрий Алексеевич шёл на прогулку. Подняв воротник, спрятав руки в пиджак, он пересекал широким шагом несколько площадей, сворачивал на улицу Горького и по этой магистрали шёл до Белорусского вокзала, затем поворачивал назад. Эти прогулки вошли в него, стали его привычкой.

Выйдя из дому, сделав лишь несколько первых шагов, Дмитрий Алексеевич уже забывал обо всём, душа его покидала тело, улетала в мир машин, а ноги начинали работать сами, как часовой механизм с суточным заводом. Вдоль канавы рабочие укладывали канализационную трубу. Ноги Дмитрия Алексеевича сами останавливались здесь, в нужном месте, а мысль его уже хлопотала в цехе около машины, которая выталкивала из свего нутра такие же, только ещё не остывшие вишнёво-красные трубы. Выпустив десяток труб, устранив в машине некоторые неполадки и немедленно записав удачную мысль в блокнот, Дмитрий Алексеевич покидал цех, и ноги его опять начинали свою работу. Они шли по тротуару, вели его дальше, и он попрежнему ничего не замечал вокруг. Теперь он был лицом к лицу с прищуренным Дроздовым — спорил с ним. «Какой же я гений? Леонид Иванович! Я простой человек, тот мужичок из «Подрустка» Достоевского, который перехитрил иностранцев. Который сказал: то-то и есть, что просто, а ты, дурак, не догадался! Вот кто я, при чём здесь гений?» Потом вдруг налетала новая мысль: «Дожил до чего! Сидит перед тобой русский человек и грозит тебе великой опасностью — тем, что ты можешь стать в своей стране гением! Нельзя, нельзя быть рекой, можно быть только каплей. И это думает сын страны, которая насчитывает великие таланты десятками, могучими кучками! Чёрт с ним, со мной, моя машина — это мелочь, но ведь может прийти к Дроздову и новый Ломоносов...» Тут ноги Дмитрия Алексеевича подводили его к чугунному троллейбусному столбу. «Ага — пустой! Труба! — говорил он себе, постучав кулаком по чугуну, и сразу же взор его туманился. — Да, можно попребовать и такую трубу, но конус... как же быть с конусом?» — думал он, уже забыв о Дроздове.

Закончив свой восьмикилометровый маршрут, Дмитрий Алексеевич входил в комнату точно в три часа, и всегда к этому времени на столе стоял чугунок с горячей картошкой, а иногда и кислый огурец на тарелке. Друзья садились за обед.



— Дмитрий Алексеевич,— задумчиво спрашивал старик.— Сколько у нас осталось денег?

— Двести двенадцать,— отвечал Лопаткин.

— Ничего, скоро придут мои ребята. Будет хорошая работка.

В мае, однажды в воскресенье, к ним пришли двое рабочих в расстегнутых телогрейках — пожилой и молодой.

— Ну как, дед, будем нынче стучать? — спросил пожилой, садясь, заклеивая языком цыгарку.

— А что — есть?

— Барулин будто обещает халтурку...

— Хорошая халтурка?

— Будто ничего... На Метростроевской дом, энтот, от угла второй — знаешь, где магазин. Новое железо ставить. Сдирать и крыть. Крыша большая — покоем загибается.

— Там управдом не Молоканов?

— Он самый. Косится на меня, собака. Прошлый год забыть не может.

— Поладим! Бери. Мы быстро её одолеем. Вот у нас ещё один кровельщик — фальцы будет гнуть.

— Одолеем-то одолеем, Евгений Устинович. Ты сходи сегодня к Молоканову и крышу посмотри...

Ближе к вечеру Дмитрий Алексеевич, который, прожив три месяца с профессором Бусько, привык ничему уже не удивляться, отправился вместе с ним на Метростроевскую. Май в этом году был прохладный, друзья шли в пальто параспашку, и старик всё время прибавлял шагу и, вырываясь вперёд, рассказывал о предстоящей работе.

— Наша артель собирается вот так каждое лето. И мы хорошо зарабатываем. У нас все операции идут по поточной линии, за выходной день мы делаем столько, сколько рядовые кровельщики четвёртого разряда за неделю не сделают.

А Дмитрий Алексеевич думал о других вещах. «Что, если это будет тот самый старый пятиэтажный дом? Вот он, испачканный ржавчиной герой, стучит железом во дворе, а она проходит мимо со своим маленьким военным. Капитан улыбается, а у неё слёзы на глазах, потому что капитану всё рассказано, и она не знает, что делать — здороваться с кровельщиком или не заметить его. Но само суровое молчание кровельщика говорит: победа будет за мной. И она может подбежать, восхищённая его живучестью, энергией и упорством. Ржавчина блестит для иных ярче всех военных пуговиц, вместе взятых. И, может быть, как раз ей захочется, как писали в старых романах, *поцеловать эти терпеливые руки*, державшие и молоток, и учительский мел, и логарифмическую линейку, и вот опять взявшие молоток!» Тут Дмитрий Алексеевич едко засмеялся, и старик, который не переставал говорить, шагая рядом, обиделся.

— Не верите? Я вам слово даю. В прошлом году мы покрыли купол на церкви — можете сходить посмотреть на Таганке, полюбоваться! Не верит!

Дом, где их ждала работа, оказался в другом месте, в стороне, но всё-таки почти напротив окон знакомого Дмитрию Алексеевичу пятиэтажного здания. Евгений Устинович пошёл искать управдома, потом вернулся с дворничихой в фартуке. Она молча пошла впереди них — по лестнице на самый верх, на чердак и, наконец, на крышу, под холодный майский ветер.

Евгений Устинович натянул до ушей кепку, поднял воротник.

— Ох ты! Вот это тришкин кафтан! — сказал он, оглядывая огромное двускатное, ржавое, с чёрными заплатами поле, уставленное заплывшими кирпичными трубами.

Кто-то невидимый порывисто и промко вздыхал на крыше — то там, то тут. Друзья поднялись на конёк и, придерживая развевающиеся под ветром полы пальто, прошли по коньку до самого конца. Дмитрий Алексеевич увидел отсюда глубокую, пересечённую проводами пропасть улицы, множество серовато-коричневых крыш и на переднем плане освещённый солнцем дом, где жила Жанна. Четыре или пять окон его были открыты настежь. В одном из них, в глубокой тени, кто-то сидел на подоконнике, может быть, она...

Став на самом удобном и высоком месте, Евгений Устинович, шурясь, блестя очками, осматрел Москву, все её крыши и какие-то яркие предметы, чуть выступающие из туманных вечерующих далей.

— Прекрасно! Дмитрий Алексеевич, идите сюда! — позвал он. — Смотрите, как отлично всё видно! Вот так видит своё дело открыватель нового. Он поднялся как бы на второй этаж здания и видит оттуда неудобные дороги, которыми люди идут к благополучию, и ухабы, где они разбивают носы. Он говорит: «Смотрите, надо идти вот так!» Он не может создавать ценностей *первозтажных*, потому что для него это — пройденное. Это всё равно, что копии снимать, вместо того чтобы создавать великие подлинники. Забыв о себе, человек второго этажа спешит охватить и передать народу всё, что видит. Он создаёт величайшие ценности и говорит учёным-первозтажникам: популяризируйте, размножайте! А те не понимают! Они ходят внизу, в кругу вещей знакомых, привычных, и гонят на-гора старинку. Разрабатывают, скажем, процесс, открытый ещё Симменсом! Прекрасно оформляют, с цитатами. А открывателя хором объявляют сумасбродом... Как быть, Дмитрий Алексеевич? Вы же видели, как я гасил пожар! Мне скоро семьдесят — и вот я на крыше. Завтра начну производить ценность сугубо первозтажную... Что это вы повернулись спиной? Беседует — и стал спиной, так сказать, к объекту!

— Сейчас я вам признаюсь, Евгений Устинович. В этом доме живёт одна моя...

— Понимаю. Так зайдёте к ней!..

— Евгений Устинович, беда! Она целиком вся на первом этаже. — Дмитрий Алексеевич говорил тихо, словно боялся, что услышит Жанна. — Она не из мечтателей, не из романтиков. Если мы ввалимся к ней... — Он засмеялся. — Я не могу зайти к ней без серьёзного достижения, причём это должно быть в первозтажном плане, то есть признано и напечатано в газетах. Если у человека нет звезды, значит он не герой — вот психология! Для неё и для её родителей я сегодня — сумасшедший.

— Уже! Несчастный человек! Сколько вам лет?

— Тридцать два, Евгений Устинович, тридцать два... Сейчас она, мне кажется, не совсем в этом уверена. Я слишком много наобещал ей... а если я появлюсь, вся иллюзия рухнет.

— Что же вы держитесь тогда за неё, за бабий подол?

— Не могу, Евгений Устинович. Мне часто казалось и сейчас кажется, что в ней иногда просыпается что-то, но не может окончательно проснуться. Может быть, я это сам придумал. Ну вот, кажется, и всё... И мне хочется, чтобы эти её глаза открылись...

— Операция эта будет стоить вам дорого. Она должна увидеть ваши страдания и свою вину. Первое она сможет увидеть. Она и сейчас может это увидеть, если посмотрит на нас... А вот второе — свою вину — этого они не умеют видеть. Нет. Нет...

Старик взглянул туда, на дом, где были открыты окна.

— Лучше тогда пойдёте вниз. Крышу мы посмотрели, одной этой крыши нам хватит до зимы. Вот и хорошо, и пойдёте...

И, обняв Дмитрия Алексеевича, он легонько толкнул его, и они, не оглядываясь больше, пошли по коньку назад, туда, где ждала их у входа на чердак молчаливая дворничиха.

— Первоэтажная психология — величайшее зло, — сказал задумчиво Евгений Устинович, когда они спускались по лестнице. — Она захватила много укрепленных позиций. Между прочим, — тут старик понизил голос и остановился, выжидая, чтобы дворничиха отошла подальше. — Между прочим, — шепнул он, — этим обстоятельством пользуется иноразведка. Шпионы ходят среди них, жмут ручку, любезничают, по имени-отчеству и так далее — и воруют ваши лучшие идеи, потому что первоэтажник охраняет не ценные идеи, а свои красивые популяризаторские брешюрки!

Когда профессор Бусько начинал говорить о шпионах, желтоватый ус его чуть заметно дёргался, старик шмыгал носом, словно туда залетел комар, и сквозь очки на Дмитрия Алексеевича смотрели большие, тёмные, полные муки глаза. Бусько разглагольствовал, не замечая пристального взгляда товарища. Дмитрий Алексеевич больше не возражал ему и не спорил.

Через два дня, когда, совершив свою прогулку по городу, Дмитрий Алексеевич вернулся и сел за стол, против чугунка с горячей картошкой, он заметил, что сморщенные красные руки старика, снимая сковородку с чугунка, трясутся.

Дмитрий Алексеевич взял картофелину, не спеша посолил её. И в эту минуту профессор спросил решительным, каким-то громовым голосом:

— Сколько у нас осталось денег?

— Шестьдесят! — Сказав это, Дмитрий Алексеевич с наслаждением откусил половину картофелины.

— Это у нас последняя картошка, — сказал старик. — Придётся переходить на меню изобретателей.

— Очень приятно. А что это за меню, позвольте узнать?..

— Прежде всего хочу проинформировать вас. Барулин изменил нам. Больше крышами мы не занимаемся. Пока не наклонится какой-нибудь новый Барулин.

— Очень приятно. Вы ешьте, Евгений Устинович, ешьте.

Друзья в молчании съели по картофелине.

— А что же это за меню?

— У меня стоит за сундуком бутылок рублей на пятнадцать. Память о лучших временах. — Профессор вздохнул. — Нам хватит всех денег на месяц. Будем покупать чёрный хлеб и рыбий жир. Калорийно и дешево. Открыто, правда, не мной...

— У нас есть выход на крайний случай, — сказал Дмитрий Алексеевич, спокойно посыпая картофелину солью. — Я ведь слесарь седьмого разряда. Правда, мне пока не хочется залезать в это дело, потому что я нащупал одну вещь... Насчёт отливки водопроводных труб. Мне кажется, моя машина может быть универсальной. Вот мне и нужно почитать литературу и прикинуть. Если я пойду работать на завод...

— Зачем? Кого вам надо кормить? Меня? Уж будьте уверены, бутылочек-то я насабираю нам с вами на хлеб! Потом вот: у меня есть ещё один Барулин на лесоскладе. Два дня погрузим лес в машины — вот нам и месяц житья. Жить можно!

— Ну, раз можно, давайте жить!

Впрочем, режим этот соблюдался не больше двух недель. Наступили жаркие дни — прекрасное время для изобретателей. В это время весь город становится их мастерской. Земля — чертёжная доска. Садись на лавочку и размышляй! Ночью можно спать с открытым окном. Кому — любовь и шёпот листьев, а деловому человеку — экономия времени. С открытым окном можно выспаться не за шесть, а за четыре часа. Это так же проверено, как рыбий жир. Можно и не спать, а заработать за одну ночь сто рублей — на целый месяц. Иди на железнодорожную ветку и разгружай вагоны, сбрасывай камни, лес. А если в вагонах ранняя

капуста, бери с собой мешок: наложат, сколько унесёшь, только веселей работай.

Дмитрий Алексеевич и его седой неунывающий товарищ за лето хорошо поработали. Они купили себе по рубашке-ковбойке, а Лопаткин к тому же приобрёл серые полушерстяные брюки в мелкую полоску. Он даже решился сделать подарок старику. Догадавшись об одной слабости Евгения Устиновича, он однажды принёс и поставил перед ним на стол бутылку водки. Сколько потом было произнесено речей над этой бутылкой!

Но главное — в другом. У Дмитрия Алексеевича на чертёжной доске был приколот большой лист, и на нём можно было увидеть контур новой универсальной машины для отливки чугунных труб любой формы — длиной до шести метров.

В августе, когда на железнодорожную ветку прибыл состав с арбузами и для наших двух друзей началась арбузная диета, Дмитрий Алексеевич приступил к работе над эскизным проектом.

Этот месяц прошёл в работе над чертежами и в ночных погрузочных авралах — прошёл гладко, если не считать одного обстоятельства, которое с полгода оставалось невыясненным и нарушило покой Евгения Устиновича. Однажды, когда Дмитрий Алексеевич вернулся с прогулки, старик, сделав равнодушное лицо, устроил ему допрос: знает ли кто-нибудь в городе, кроме министерских экспедиторов, его адрес? Были ли у него в Москве встречи с какими-нибудь женщинами? Не замечал ли он на улице каких-нибудь подозрительных субъектов, которые наблюдали бы за ним исподтишка? На все вопросы старик получил ответ один и тот же: «Нет. Не было. Не замечал». И тогда, хмуро помолчав, Евгений Устинович сообщил, что в отсутствие Дмитрия Алексеевича в квартиру позвонила неизвестная женщина и спросила, здесь ли живёт товарищ Лопаткин. Ждать она не стала, хотя профессор любезно пытался её задержать. Ушла, не сказав, кто она и по какому делу приходила. Женщина была словно бы взволнована, перебирала пальчиками сумочку, разглядывала стены. Она была достаточно сообразительна — согласилась ждать и под этим предлогом заглянула к ним в комнатку. Посидела, поёрзала на стуле и ушла. Молодая, вроде студентки. Всё на ней надето простое, строгое, но самое лучшее и хорошо сшито. Какой-то тёмный костюм...

Дмитрий Алексеевич нахмурился.

— Лоб у неё высокий? — спросил он вдруг. — Розовый? И кудряшки начёсаны, а? Не заметили вы у неё такой привычки: всё время краснеть? То покраснеет вся, до ушей, то отойдёт...

Он подумал, что это Валентина Павловна по пути в отпуск заглянула в Москву. Но Евгений Устинович, направив мимо него вдаль свой встревоженный, острый взгляд, ответил, что н-нет, лоб у неё скорее низковатый, хотя, верно, закрыт волосами и волосы как будто бы вьются. Но она не краснела, а, наоборот, как будто была бледна.

Случай этот так и остался невыясненным, гостя больше не показывалась, и друзья забыли о ней — Дмитрий Алексеевич сразу, а профессор несколько позднее. Он боялся неясных положений и на всякий случай перепрятал несколько своих тетрадок и пузырёк с белым порошком под плитку паркета.

А в остальном август прошёл очень хорошо. Дмитрий Алексеевич начертил несколько узлов своей новой машины и по каждому узлу вычертил на отдельных форматках детали. Евгений Устинович тоже сделал успехи. Он нашёл наконец несколько способов приготовления керамики — не из каолина, а из обыкновенной земли, выкопанной на Ленинских горах. Кроме того, всё лето Дмитрий Алексеевич вёл переписку с министерствами, комитетами и редакциями, и у него была теперь заведена толстая папка, куда подшивались все бумаги.

## 5

Пришла осень, на улицы спустился мокрый туман, мерно застучали за окном капли. В первый раз затопили печь, и треск дров сказал сердцу то, чего не могут выразить слова,— всё предусмотрено, всё готово к зиме! В сарае — дрова. На сберегательной книжке — фонд, которого хватит до самой весны. В сундуке — ватман, несколько стоп бумаги. Можно бороться.

Жизнь в маленькой комнате изобретателей шла по расписанию, двигалась неслышно и быстро, и вот эта-то быстрота и чёткость привели однажды наших друзей к неожиданному катастрофическому расходу.

В один из самых серых дней Дмитрий Алексеевич заметил, что Бусько молчит, энергично что-то растирая в ступе. Профессор не произнёс в этот день ни одного монолога, но несколько раз принимался напевать себе под нос бодреньким вбрирующим баском. На следующий день он стал тише, а движения его быстрее. Он вскакивал и бегом нёсся на кухню за водой и, возвращаясь, оставлял иногда дверь открытой — этого Дмитрий Алексеевич ещё за ним не замечал.

Потом началась уже настоящая суматоха. Профессору срочно понадобился пресс для того, чтобы делать особо прочные кубики. Старик стал уходить из дому на весь день. Лицо его стало острее, и на нём появилось выражение быстроты. Ночью он кряхтел, а рано утром опять исчезал — этот пресс не давался ему в руки.

Дмитрий Алексеевич узнал в старике себя — своё молчание и свою собственную беготню в то время, когда рождался первый вариант его труболитейной машины. И, хорошо всё понимая, старался не мешать, был тише воды.

Наконец пресс был найден, куплен и переделан по чертежам Евгения Устиновича. На это ушёл весь «фонд». Впрочем, о «фонде» сгоряча не подумали — ждали результата. Потом Евгений Устинович принёс из котельной соседнего дома несколько обожжённых малиновых кубиков — тут опять было не до «фонда». Положили на стальную плиту кусок обычной метлахской плитки, профессор, крякнув, ударил по ней молотком, и плитка нехотя распалась на две половинки. Затем Евгений Устинович торжественно положил на плиту малиновый кубик. Молоток он передал Дмитрию Алексеевичу, потому что удар был нужен верный, а у старика зуб на зуб не попадал. Но и Дмитрий Алексеевич два раза промахнулся — он волновался не меньше, чем старик.

А потом он попал молотком по кубику. Каменные брызги разлетелись во все стороны, комок спрессованных ударом розовых крошек прилип к плите...

— Ну уж! — Евгений Устинович даже закричал на него. Но тут же взял себя в руки; глядя в сторону, перемолчал первую, самую страшную минуту. — Обрадовался! Трахнул! Дайте-ка молоток. Вот как надо — одним весом молотка: в нём ведь всё-таки килограмм!

И, положив новый кубик, он ударил одним весом молотка. Неуверенно ударил: знал, что получится. И кубик, конечно, развалился на мелкие розовые кусочки.

В этот день Бусько только и делал, что разбивал молотком всё новые и новые кубики. Что-то шептал, уходил в котельную, часами скрипел стулом, тёр лоб, внезапно вдруг говорил: «тьфу!» — и опять брался за молоток. Потом признал своё поражение — молча взял вешик и стал подметать каменные крошки.

— Это путь, — услышал Дмитрий Алексеевич его голос из-за чертёжной доски. — Не конец, а только путь. — Старик уже успокоился, и ему хотелось порассуждать. — А цвет красивый! — сказал профессор немного

погода.— Живой красный цвет. Видите, и сюда ушла частица человека. Может быть, она и не погибла, если мне удастся... Ведь огонь я погасил тоже не сразу.

Но вот прошёл ещё день. Чувства улеглись, а строгий голос расписания опять призвал к делу. И Евгений Устинович, подсчитав деньги, которые нужно было платить за квартиру, за газ и электричество, опять сказал, что пора переходить на меню изобретателей. Капли стучали за окном, не обещая ни доброго лета, ни хорошего заработка. За обедом друзья съели последнюю картошку, и Евгений Устинович, вытирая усы и отдуваясь, не преминул сказать по этому поводу:

— Да... Последняя отрыжка... Как видите, к счастью, есть люди, которые соглашаются на такие колебания. На такую амплитуду. И человек при всём этом счастлив. Он получает новый тип радостей.

Старик чувствовал себя виновником этой «амплитуды» и старался побольше говорить, *поднимал дух* товарища.

— Разгрузочная диета, применяемая время от времени, ничего не принесёт, кроме пользы,— сказал он и ушёл на кухню мыть тарелки.

Потом вернулся и, пряча их в шкафчик, сделанный из табуретки, обитой со всех сторон фанерой, продолжал бодрым голосом:

— Когда я работал над *этой* вещью,— он наступил на паркетную плитку, под которой лежали его тетради,— когда я шёл к этому открытию, я не ел по два дня и не замечал этого. Между прочим, вы знаете вкус голода? Я пронаблюдал — это вкус нечищенной медной ложки. Так вот, я не ел, а мог ведь отсрочить дело и поступить куда-нибудь, хотя бы на тысячу рублей. Или пойти сдать бутылку и купить хлеба. Я шёл по горячему следу, я преследовал и не мог отступить, пока она, эта вот штука, не попала ко мне, не сдалась!

— Мне кажется,— сказал Дмитрий Алексеевич, улыбаясь,— что вы агитируете меня. Давайте лучше закурим, не надо меня агитировать. Я тоже сосал медную ложку... Ничего страшного в ней не нашёл. На войне бывало и не так.

В тот же день Евгений Устинович купил в аптеке пузырёк «рыбьего жира трескового» — красивый большой пузырёк, и друзья весело отпраздновали переход на меню изобретателей.

И опять пошла ровная жизнь, тихие дни, нарушаемые только решительным звуком карандаша, проводящего на ватмане толстую линию, скрипом песка в ступе или неожиданным рассуждением Евгения Устиновича.

В один из пасмурных дней октября старик заглянул в старую сумку от противогАЗа, которая висела у него на гвозде в коридоре, и нашёл в ней штук десять картофелин. Когда-то он забыл по рассеянности о них. Иногда, оказывается, и забывчивость может быть полезной! находка была разделена на две части. Одну старик положил в чугунок и с безразличным видом, даже папевая, отнёс в кухню варить. Вторую часть отложил на завтра. Но это завтра заставило призадуматься обоим.

Когда Евгений Устинович собрался варить ту часть картошки, что лежала в сумке, он нашёл не пять, а штук двадцать крупных картофелин. Сумка была полна доверху! Старик показал свою находку Дмитрию Алексеевичу.

— Варите! — сказал тот. — Потом обсудим.

— Я того же мнения,— согласился Евгений Устинович, недоверчиво глядя на картошку.— Но что делать с сумкой? Неизвестный добрый человек может подумать, что нам это понравилось и мы опять вывесили лоушку — авось что-нибудь попадётся. А?

— Картошку разделим на три дня, а сумку больше вешать не будем,— сказал Дмитрий Алексеевич.

Когда чугунок с горячей картошкой появился на столе, друзья сели обедать и, взглянув друг на друга, оба притихли.

— Да...— сказал Дмитрий Алексеевич. Уже в который раз он испытывал чувство неоплатного долга перед обыкновенным, неизвестным человеком, который вдруг открывал перед ним свою простую, широкую душу и тут же уходил в недостижимую тень.

— Не могу молчать,— сказал старик, качая головой.— И говорить нельзя о таких вещах простыми словами. Вот чудо — обыкновенная картошка может стать прекраснейшим блюдом, украшением стола, потому что к ней прикоснулся настоящий человек!

И Дмитрия Алексеевича и даже профессора это событие заставило по-новому взглянуть на соседей. Попрежнему маленькая крашенная Завиша приходила к ним в своём перламутровом халатике, стараясь подольше задержаться, пока изобретатели разрывают конверт. Но Дмитрий Алексеевич видел теперь в её глазах, кроме любопытства, ещё и грусть одинокой молодой женщины, одинокой, несмотря на то, что рядом есть муж с томным взглядом и умеренными бакенбардиками. Приходил сам Тымяпский, и Дмитрий Алексеевич думал: неужели он мог сделать это? А впрочем, чем чёрт не шутит! Брови можно брить и по простоте, потому что это делают другие, и в то же время оставаться хорошим человеком, и даже быть несчастным — ведь у них пет детей.

Вот так они по-новому смотрели на каждого жильца, не зная, кому хоть взглядом сказать своё спасибо. А жильцов было много в этой квартире — что ни человек, то загадка, у каждого свой собственный звонок на двери.

Сумку они больше не вешали в коридоре. Два раза в день, как монахи, они садились за трапезу, преломляли хлеб и, жуя, спокойно рассуждали о природе людей и вещей. Евгений Устиневич больше всего теперь говорил о неизвестном друге, для которого он трудился.

— Этот человек не учёный, а всё поймёт! — разглагольствовал старик.— Ему продемонстрируй мой пожар, и он, трезво взвесив всё, скажет: «Надо попробовать! Вещь, пожалуй, полезная!» Беда в том, Дмитрий Алексеевич, что между нами и этим человеком стоит посредник, существо с важной осанкой, считающее себя служителем науки, государства. Оно добросовестно из года в год читает лекции по одному и тому же конспекту, консультирует, рецензирует. Или вот — хмурый начальник, готовый тысячу лет штамповать одну и ту же алюминиевую ложку. Конечно, с выполнением плана на сто два процента! Этот народец загородил нас от настоящего человека, который, между прочим, хотел бы иметь и ваши трубы и мои огнетушители...

— Это всё констатация,— весело поддел его однажды Дмитрий Алексеевич.— Это всё музыка для пищеварения. Под наше изобретательское меню. Вы скажите, как бороться!

— Я проворонил свою борьбу. Неверная тактика... Первые десять лет я норовил убрать с пути некое бревно. Известного вам Фомина. Всё жалобы писал (он здравствует и по сей день). Прав ваш этот Араховский, который говорит, что нельзя выдавать себя врагу. Я выдал себя.

— Но ведь, маскируясь от врагов, маскируешься и от друзей! Открыто надо в бой идти, только открыто! И с развёрнутым знаменем, на котором отчётливо написан девиз. Крупными буквами!

— А что это, простите, за девиз? Я что-то не слышал...

— Вы уже прочитали его. Потому мы и сошлись с вами.

— Мы сошлись потому, что вы мне понравились. Всего-навсего! Люблю фантазёров, которые не единым хлебом живы.

— Вот-вот. Вы почти в точку попали. — Дмитрий Алексеевич откусил порядочный кусок от своей краюхи и, энергично жуя, стал смотреть в окно.— Когда я загорелся вот этим,— он кивнул на чертёжную доску,—

в меня одновременно вошли мысли. Общего порядка. Вы верите в построение коммунизма?

Старик покраснел.

— Я как-то не очень задумывался...

— В мещанский коммунизм я никогда не верил,— продолжал Дмитрий Алексеевич.— Тот, кто думает, что при коммунизме все будут ходить в одеждах, расшитых золотом, ошибается. Привязанный к вещам мещанин может ждать от коммунизма одного: «Вот где покушаю!» А там как раз многие предметы сумасшедшей роскоши, рождённые праздностью богача, будут упразднены.

— Простите... Не заговаривайте мне зубы. Как увязать это с девизом? Как с машиной увязать?

— А вот увязку самым простым образом. Когда я осознал значение вот этой машины и понял, что она нужна и что мне придётся ради неё затянуть на брюхе ремешок... я ни секунды не колебался, с радостью нырнул в этот омут! — И Дмитрий Алексеевич туго затянул на себе ремень.— До последней дырки! Видите? Вот тут я сразу понял, что коммунизм — это не придуманная философами постройка, а сила, которая существует очень давно и которая исподволь готовит кадры для будущего общества. Она уже вошла в меня! Как я это почувствовал? А вот. Смотрите — никогда в жизни я так не работал, как сейчас. Я работаю по способности! В лес, как медведь, не гляжу. Экономлю время не для чего-нибудь, а для работы! Теперь о потребности. Я могу сейчас поступить на завод, заработать две тысячи и купить гору сала. В ладонь толщиной. Или записаться в очередь на покупку автомашины. Буду деньгп откладывать на сберкнижку. Счёт будет расти, а я всё буду зарабатывать, зарабатывать! Но я совсем другой! У меня другие потребности, мне этого ничего не нужно. Я не хочу такого счастья, как в кино: еда, квартира, спальня, кружева... То есть я, конечно, не отказываюсь. Но, имея одно это, я не буду счастлив. А если доведу дело до конца, а спальни у меня не будет,— я всё равно буду счастливцем!

— Фантазёр! Какой же это коммунизм, если вы должны бросить дорогое сердцу дело, чтобы заработать на хлеб?

— А я и не говорю, что у нас коммунизм. Но мне он был бы сейчас нужен. Не для того, чтобы получать, а чтобы я мог беспрепятственно отдавать!

— Ну вот вы и пришли к моему положению. Помните, я говорил, что мы рано родились? Прячьте-ка и вы свою вещь под половицу.

— Нет! Не прятаться и не маскироваться! Мы должны быть откровенно самими собой, только так мы сможем находить друг друга. Вот мы с вами почему сошлись? Потому что увидели друг друга такими, какие мы есть.

— А что толку? — закричал вдруг старик. — Ну сошлись мы с вами! Ну набьётся нас здесь в комнате двадцать дурачков с ласковыми глазами! Будем сидеть, как жуки под корой! Чем вы мне поможете? Чем я вам помогу? Знамя... Девиз...

Дмитрий Алексеевич вдруг опомнился и замолчал. Закусив губу, он смотрел некоторое время на Бусько, несколько раз окинул его взором — с ног до головы, как будто перед ним стоял призрак.

— Смотрите, смотрите, — сказал Бусько. — Делайте лицо, какое хотите. Это перед вами ваше будущее. А я буду смотреть на вас и тоже сделаю выражение на лице. Потому что вижу своё глу-у-пенькое прошлое!

Дмитрий Алексеевич хотел ответить, разразиться философской тирадой. Но понял, что перед ним действительно глухой призрак. И он шагнул к своей доске и принялся за работу. «Мне тридцать три, — летели его мысли, — а вам, дядя Жёня, вдвое больше. Очень хорошо, что вы попались мне на пути: я во-время поверну руль покруче — подальше от вашего



сундука, поближе к человеку — пусть даже вот к этому, с кнопками на дверях! Буду до конца искать в нём доброту и верность — они никуда не делись, без них жить нельзя. Верю в них. Тридцать лет! Впереди ещё столько встреч!»

Он долго работал молча, а профессор смотрел на него, сидя за столом. Выждав длинную паузу, старик окликнул его:

— Дмитрий Алексеевич! Что вы там пальцы загибаете? Если это вы сроки прикидываете — когда и что у вас должно получиться, — умножайте, пожалуйста, на «пи»! — Короткий добродушный смешок подбросил его чуть ли не на полголовы. — Не забудьте умножить! Три целых и сорок четыре сотых!

— Я уже видел, — глухо сказал Дмитрий Алексеевич, — и вы увидите. На нашей сцене ещё будут появляться новые действующие лица, которые...

— Которые будут вроде Фомина...

— Которые будут помогать нам так, как будто делают что-нибудь для себя.

Старик недоверчиво покачал головой: ему всё-таки было шестьдесят девять. Он многое видел на свете.

Но жизнь всё же так устроена, что может удивить человека даже на его семидесятом году.

Восемнадцатого октября, в двенадцать часов дня, вскоре после того, как Дмитрий Алексеевич ушёл на утреннюю прогулку, в дверь резко постучали, и сразу же вошла невысокая, похожая на курьершу женщина в вязаном платке и с хозяйственной сумкой, сделанной из множества треугольных кусочков кожи. Она достала из сумки пакет необычной формы — небольшой, но толстый — и положила его на стол. Пакет был склеен из прочной обёрточной бумаги. На нём было написано: «т. Лопаткину. Лично».

— Вы живёте с товарищем Лопаткиным? — спросила курьерша. — Передайте ему лично этот пакет.

— Откуда это? — Евгений Устинович вышел из своего отделения, где он просушивал на плитке рыжую землю.

Но курьерша, должно быть, торопилась. Она уже ушла, громко хлопнув дверью. Евгений Устинович посмотрел на пакет, положил его посредине стола и мелко написал на стене: «18 окт. 11 час. 20 мин.». Он всегда был начеку.

В два часа он разрезал полкило хлеба на две части и ту часть, которая ему показалась большей, положил для Дмитрия Алексеевича. Затем он запел: «Любо, братцы, любо» — и стал помешивать рыжую землю в сковородке.

В эту-то минуту и вернулся с прогулки Дмитрий Алексеевич, мокрый, румяный, с глубоко запавшими щеками. Громко дыша после быстрой ходьбы под дождём, он снял пальто. Глядя на пакет, повесил на гвоздь шапку, вытер мокрые руки, повертел пакет в руках и надорвал его.

— Э-эй, друзья! — пропел он и быстро разодрал пакет. — Евгений Устинович!

— Вижу, вижу, — глухо сказал старик у него за спиной.

В пакете была плотная пачка денег. Дмитрий Алексеевич помолчал, взвесил её в руке, посмотрел на старика, сел к столу и стал считать сто-рублёвые билеты. Считая, он несколько раз приветливо взглянул на свою порцию хлеба. Потом отломил половину, полил рыбьим жиром, посолил и, жуя, продолжал считать деньги, деловито и равнодушно, как банковский кассир.

Он отсчитал три тысячи и тут лишь увидел в разорванном пакете листок бумаги с короткой надписью чернилами. Он вытащил записку и про-

читал: «т. Лопаткин, эти деньги — Ваши. Спокойно распоряжайтесь ими по своему усмотрению».

— Записку эту надо сохранить, — сказал он, показав записку Евгению Устиновичу.

— А деньги? — испуганно спросил старик.

— О деньгах нам теперь не придётся думать. Деньги у нас есть.

— Удивляюсь! Вы ребёнок! Дайте эти деньги мне! Я сейчас же их отнесу куда следует вместе с запиской. Разве вы не видите, что это *оттуда?*

— Я вижу прежде всего, что это настоящие деньги, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Здесь, по-моему, шесть тысяч. Ну да, вот шестая пошла... А если они «оттуда», то тем более мы должны как можно скорее их истратить. Мы ведь не давали дьяволу расписки кровью!

— Кровью! — Глаза старика сделались страшными. Он метнулся к двери, приоткрыл её, закрыл и, тряся пальцами перед лицом Дмитрия Алексеевича, горячо зашептал, упрямивая его отказаться от денег. Говорил он убедительно. Его не раз, оказывается, заманивали в подобные сети, он хорошо изучил приёмы иностранных разведок, достоверно знает, что самый факт вручения Дмитрию Алексеевичу денег уже зарегистрирован. Для этого *там* имеются остроумнейшие средства. Путь к спасению может быть только один — немедленно отнести деньги и сдать их куда полагается, хотя и это надо сделать с толком, чтобы запутать врага.

— Вы меня убедили... — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Это удобнее всего сделать в пять-шесть часов, когда народ идёт с работы, — продолжал старик, таинственно тараща глаза.

— Евгений Устинович, дайте договорить! — Лопаткин, разделив пачку, стал спокойно прятать деньги в карманы пальто. — Вы меня убедили в том, что я должен немедленно купить себе костюм и пальто, а также пополнить и ваш гардероб. И на книжку положить кое-что не мешает, по крайней мере на полгода. Когда это всё будет сделано, вечером за ужином мы с вами обстоятельно поговорим: кто мог дать нам эти деньги. А сейчас пойдёмте-ка в Мосторг.

Евгений Устинович посмотрел на него, повернулся и ушёл к своей электрической плитке. Дмитрий Алексеевич ничего не сказал на это и стал одеваться. Застегнув пальто, он взялся за ручку двери и весело спросил:

— Ну как, пойдём?

Старик, словно бы и не слышал, продолжал помешивать землю в скородке.

— Евгений Устинович!..

— Пожалуйста, не втягивайте меня в ваши авантюры, — отчётливо сказал старик, глядя в окно.

И Дмитрий Алексеевич отправился делать покупки один.

«Кто?» — этот вопрос он сразу же задал себе, выйдя из дому. Кто мог прислать эти деньги? Сьяновы? Откуда у них быть таким деньгам? И притом не по почте. Послать надо Агафье тысячу — это будет верно. Но чьи же это деньги? Может, Валентина Павловна проездом? Или Араховский? Скорее всего, он. «Ах, кто бы ни прислал, это очень кстати, — подумал он, чувствуя юношескую лёгкость в ногах. — Это очень, очень кстати!»

Вечером, когда Дмитрий Алексеевич вернулся, он произвёл впечатление даже на рассерженного профессора. Он был в чёрном пальто и в чёрной шляпе. А когда снял пальто, там оказался ещё и новый костюм.

— Эх! — не удержался, крикнул Евгений Устинович. — Что же вы, дорогой, купили? Костюм-то у вас в обтяжку, в дудочку! Сразу видно — изобретатель. Глиста глистой! Вам надо костюм на толстяка брать, чтобы свободно складки ложились. Перемените сейчас же!

— А ну его! Я его уже запачкал.

— Я чувствую, что вы будете академиком, — ответил на это Евгений Устинович.

Пальто он осмотрел и сдержанно похвалил. Дмитрий Алексеевич достал из круглой картонки чёрную шляпу и неожиданно надел её на седую голову профессора.

— Я всё-таки подумал, что вы не захотите оставить меня одного в ловушке, и поэтому купил вам шляпу.

— Остряк, — сказал Евгений Устинович. — Я просто обдумал всё и понял, что мы сами можем устроить для них ловушку. Если умело себя поведём.

И он направился к тому месту, где у него висел на стене кусочек зеркала.

— Ага! Как это Людмила вела себя у Черномора? — Дмитрий Алексеевич засмеялся. — Подумала и стала кушать!

— Одеваться надо, — заметил старик, между прочим. — Я знал одного человека, который не имел ни ваших талантов, ни вашего средневекового рыцарства — всего лишь внешность. Высокий рост и «умный» голос, и хорошо одевался — солидное пальто, воротник шалью и прочее. И знаете, преуспевал!

— Вот попробую. Может, и я начну преуспевать! — сказал Дмитрий Алексеевич.

## 6

Теперь, когда домашние дела наладились, внутренний голос опять напомнил Дмитрию Алексеевичу, что надо *жить*. Но напомнил настойчивее.

Да, нужна, нужна разрядка — это было теперь ясно. Нужно иногда выходить из своего заточения, смешиваться с людьми. Жить жизнью обыкновенного человека, имеющего всё, кроме привычки сосредоточенно думать о каком-нибудь ферростатическом напоре.

Тут же Дмитрий Алексеевич, смеясь, заметил, что это получается, как у человека с больным желудком, которому предписали *пережжёвывать* пищу. Жуй, жуй старательно, вдумчиво, но это никак не будет похоже на жизнь! Если уж мы даём себе предписание — *жить*, то дело наше пропащее. Надо жить без рецепта. Мы ведь и живём, как можем!

Смех смехом, но Дмитрий Алексеевич вдруг вспомнил, как Бусько испугался денег, присланных неизвестным меценатом. «До семидесяти лет далеко — можно и не то нажить», — и он решил прикоснуться немного к той жизни, которая до сих пор текла как бы мимо его окна.

Вместе со стариком он стал ходить на спектакли — три раза в месяц. Они слушали в Большом театре две оперы, в которых соединились два величайших гения — Пушкин и Чайковский. Евгений Устинович мешал ему входить в новую роль тридцатилетнего молодого человека. Старик рассматривал публику в партере и ложах и, как Мефистофель при докторе Фаусте, то и дело шептал Дмитрию Алексеевичу на ухо, напоминая о том, что душа его продана. В театре профессор видел только публику. Он изучал тех, кто сидит в партере и кто толпится на балконе. Везде ему чудились противники. Но иногда, дернув Дмитрия Алексеевича за пиджак, он указывал куда-нибудь на галёрку: «Смотрите, вот наверняка изобретатель». Вообще он принимал всерьёз только то, что относится к науке и изобретательству.

Вскоре выяснилось, что профессор не может терпеть и симфоний — глух к музыке, и это сохранило для Дмитрия Алексеевича много счастливых минут. Он стал покупать дешёвые билеты в консерваторию и там, под потолком, сидел в полном одиночестве, и в нём оживали чувства давно умерших великих борцов и страдальцев. Чувства, к счастью, записан-

ные и потому живые навсегда. Он слушал самые искренние, самые горячие слова, обращённые прямо к нему. Однажды он пришёл на дневной воскресный концерт для школьников. Первым исполнялся Второй концерт для фортепиано с оркестром Шопена, человека, чью гипсовую, совсем детскую руку он видел только что в фойе, под стеклом. Дмитрий Алексеевич не знал ни дирижёра — маленького, курносого, с кудрявой композиторской шевелюрой, ни пианиста — грузного, лысого, в чёрном фраке. Вокруг него сидели школьники и школьницы в пионерских галстуках. Мальчишки бросали друг в друга плотно свёрнутые и надёжно пережёванные кусочки афиш. Девятиклассницы, обещающие стать красивыми, косились на Дмитрия Алексеевича и прыскали, обняв друг дружку. И, должно быть, именно потому, что аудитория была весенняя, ещё не знающая, что такое тупая боль души, а Шопену, когда он писал свой концерт, требовалось сочувствие и ласка, именно поэтому композитор избрал во всём зале одного слушателя — бледного, худощавого мужчину с мягко горящими серыми глазами, с большими и сильными, но худыми кистями рук. Сперва он негромко обратился к Дмитрию Алексеевичу, и тот, вздрогнув, почувствовал, что это говорят ему. Они сразу поняли друг друга — и тогда в полный голос зазвучала повесть, которая была и повестью Дмитрия Алексеевича. Он увидел героя, сгорающего, как комета в тёмном небе, маленького человека с рукой десятилетнего мальчика и с гигантской силой души, который собой, своей жизнью хочет пробить что-то для множества людей. Под шорох скрипок на этом страшном, многоликом фоне он увидел его отчаянный поединок с низко гудящими басами.

Когда концерт окончился, Дмитрий Алексеевич вышел на улицу, сжимая в карманах кулаки. Дойдя до угла, он подумал: «Вот я пошёл в театр, вот моя разрядка!» — и усмехнулся. Попробуй, уйди от себя.

Но через несколько дней он опять купил билет в консерваторию. И на этот раз Рахманинов в своём Втором концерте сказал ему то же. Он сказал это с первых слов, с первых аккордов: человек рождён не для того, чтобы во имя жирной еды и благополучия терпеть унижение, лгать и предавать. Радость червей, пригретых солнцем, — не его удел. Для такой радости не стоит и родиться человеком, гораздо удобнее быть червём. Человек должен быть кометой и ярко, радостно светить, не боясь того, что сгорает драгоценный живой материал.

Дмитрий Алексеевич вышел в антракте в фойе с таким чувством, будто покинул великого собеседника, простился с ним, и тот, пожилой, голубоко осевший в кресле, пристально глядит ему вслед.

«Это, должно быть, собственные мои мысли так напряжены, почему я и нахожу везде свои особенные отголоски — как раз то, о чём всё время думаю». Но тут же Дмитрий Алексеевич вспомнил, что есть и иная музыка, слыша которую он ничего не чувствовал, никаких отголосков. «Так что эти отголоски зависят не столько от меня, сколько от композиторов! — открыл он вдруг. — Это всё-таки их мысли. Осталось жить!»

Тут его прервала молодая, очень подвижная женщина. Заметив кого-то рядом с ним, она вырвалась из медленно текущего потока публики.

— Сергей Петрович! Федя! — И, толкнув Дмитрия Алексеевича, она схватила за руки двух своих знакомых — огромного, усталого толстяка с седыми висками и желтолицего сморщенного малыша. Затрясла сразу две руки — тяжёлую и лёгонькую — и быстро, быстро заговорила: — Знаете, я опоздала. Как вы есть организатор сегодняшней вылазки, спешу объяснить...

— Давай сочиняй мне оправдание, — добродушно проговорил огромный. — Иначе не отпущу. Проработочку устрою.

— Нет, я серьёзно. Я доставала для Ивана «Физику твёрдого тела», Кузнецова. У нас в фонде такой не нашлось... А Иван пришёл?

— Кузнецова-то достала?

— Достала. Надо пойти хоть сказать...

— Поди, поди. Успокой его.

— Слушай, Сергей, — посмотрев ей вслед, исторопливо заговорил великан. — Ты бы отметил, что ли, нашего библиотекаря. Этак как-нибудь в приказе. А может, и премию... Остороженько, рубликов пятьсот.

— Я уже думал. — Маленький зачесал затылок.

— А ты ещё подумай. Баба уж больно молодец. Обратнo, детишки у неё.

И они замолчали.

— Иван-то волнуется, — опять заговорил Федя. — Я слышал, что Буханцев собирается прийти. Боюсь... Этот действительно иногда распоясывается. Парнас свой оберегает. Давеча как он Александра Фёдоровича...

— Ну, если он такое позволит... — резко заговорил маленький, вскинув, блеснув глазами. — У нас тоже есть быстрые разумом Невтоны. Ваньку-то мы в обиду не дадим.

— Нельзя Ваньку в обиду давать, — согласился Федя, и они опять замолчали.

Потом Федя встрепенулся:

— Пошли к ребятам! — повернул за локоть малыша, и они быстро и ловко прошли через толпу, как будто их обоих внезапно погнало одинаковое чувство.

Эта быстрота как бы толкнула, сорвала с места и Дмитрия Алексеевича, и он, ещё не понимая, в чём дело, стал проталкиваться вслед за высоким Федей, стараясь не упустить его из виду. Он всё-таки потерял его, пробежал вдоль фойе почти полный круг и так же неожиданно опять нашёл. Прежде всего он увидел громадного Федю, который сидел в углу на длинном диване, с краю, занимая маленькое место, смиренно поблёскивая очками. «Пьер Безухов», — подумал Дмитрий Алексеевич. На другом диване сидел Сергей Петрович, на третьем — библиотекарьша. Им пришлось сесть там, где было свободное место, и теперь они переговаривались — коротким словом, движением глаз, жестом, чтоб не помешать посторонним, соседям, сияющим вечерней, концертной красотой. Вдоль стен тянулись ещё диваны и кресла в белых чехлах — там тоже сидели друзья этих трёх: то там, то сям поднималась приветливая голова; все говорили об Иване, который сидел среди них и которому предстояло какое-то серьёзное испытание. Был их разговор похож на переключку стайки птиц, опустившихся на сад.

И Дмитрию Алексеевичу вдруг захотелось к ним, на их деревья. Он подошёл поближе. К его счастью, женщина, сидевшая рядом с Федей, поднялась и ушла. И Дмитрий Алексеевич поскорее сел на её место — сел с такой поспешностью, что даже спокойного Федю это отвлекло от его беседы. Совсем другой, холодный человек посмотрел на этот раз через очки! Большой, усталый, седой Федя оберегал границу, за которой ему так хорошо жилось с этими молодыми и пожилыми «ребятами».

И Дмитрий Алексеевич опустил завистливые глаза. Он уже понял, что это, должно быть, сотрудники одного учреждения, скорее всего, научно-исследовательского. Наверно, вместе учились, а может быть, вместе организовывали институт, боролись за него. Во всяком случае, их соединяло что-то, какой-то крепчайший цемент. Они были — вот, рядом, Дмитрий Алексеевич даже касался одного из них и в то же время не видел средства перейти *туда*. Он стал бы самым послушным и исполнительным работником! Но попасть *туда* — не в институт, а к *ним*, можно было, только пройдя испытание, получив молчаливое «да» от всех.

«Может, я всё это сочиняю! — подумал он. — Устал нести несправедливую печать индивидуалиста, хочу прибиться к живым людям?»

В это время вдали разлился звонок, свет в фойе померк, и «ребята» поднялись. Их было человек восемь. Отстав от публики, нестройной шеренгой они двинулись в зал. А Дмитрий Алексеевич, проводив их взглядом, побежал к лестнице на свою галёрку.

«Да, я один, — думал он. — Один даже тогда, когда сижу в комнате с Бусько. С Евгением Устиповичем у нас нет *этого*, того, что у *этих*. Мне нужно о многом поговорить, себя проверить, а у старика что-то основное в душе подорвано. Мы не открываемся до конца, потому что непонятны друг другу. Ах, Сьянов, Сьянов! Валентина Павловна! Вот кого мне не хватает...»

Но была ещё девушка, та, что смотрит на всё с детской улыбкой. Он всегда помнил о ней. Память о ней билась в нём незаметно, но сильно, как второе сердце. Теперь у Дмитрия Алексеевича были новое пальто и шляпа, и он мог явиться к ней — препятствий не было.

И однажды на улице он несмело загородил дорогу Жанне, которая быстро шла домой с маленьким портфелем в руке. Она была в своём чёрном пальто, в светлоселёной пушистой шапочке с ушками, тонко перетянута кожаны́м ремешком и держала одну руку в кармане.

Когда высокий мужчина в чёрном пальто и чёрной шляпе вырос перед нею, она нахмурилась, глядя в грудь Дмитрию Алексеевичу, шагнула в сторону, на мостовую. И здесь, случайно подняв злые глаза, занеся руку с портфелем, чтобы угостить наглеца, она затряслась и бросилась бежать, но Дмитрий Алексеевич тут же со смехом её поймал.

— Это ты? — спросила она недоверчиво.

— Я! — сказал Дмитрий Алексеевич, не выпуская её руки. И здесь же, на мостовой, поцеловал её несколько раз.

Это, должно быть, убедило её. Она покраснела и неуверенно, счастливо засмеялась.

— Пойдём скорей, здесь народ! — сказала она, и, взявшись за руки, они побежали, свернули в переулок. Здесь Жанна остановила Дмитрия Алексеевича и сама поцеловала несколько раз.

— Это ты? Послушай, а тогда ты был?

— Когда?

— Вон там, около витрины...

— Какая витрина?..

Дмитрий Алексеевич сумел громко и натурально рассмеяться. Взглянув на его нездоровое лицо, Жанна с болью двинула бровкой. Что-то хорошее, понимающее, ласковое пробилось издали, сквозь солнечную ясность, сквозь лесную прохладу и праздник её души.

— Какая же витрина? — опять спросил Дмитрий Алексеевич.

— Глупости... Я всё время тобой брежу. Наяву.

— Конечно, это глупости! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Не стоит бредить, особенно мною.

— Ну что, ты приехал? Как у тебя дела?

«Что сказать? — подумал Дмитрий Алексеевич. — Кто она сегодня?»

— Ты всё ещё Мартин Иден? — спросила тогда она, безнадежно улыбаясь. — Когда бреешься, вешаешь перед собой что-нибудь, чтобы успеть прочитать?

— Нет, — сказал Дмитрий Алексеевич, глядя ей в глаза и всё ещё не снимая своей внутренней маски. — Я просто не бреюсь: больше выигрыш во времени.

— Ты всё ещё изобретатель? — тихо спросила она.

— Да, — коротко сказал он, приоткрыв на миг маску.

— Ты откуда сейчас? — спросила она, отойдя на шаг, оглядывая его. — Хорошее пальто купил!

— Откуда? С концерта, — сказал он.

— Вот даже как? У тебя успех?

— Успех. Видишь — новое пальто. В кармане — билет консерватории. Она с недоверием опять посмотрела на его нездоровое лицо, в его сгрядальческие глаза, обведённые коричневой сияющей тенью.

— Ничего не понимаю... Ты ведь был хорошим учителем. Ты был прекрасным учителем! Таким, что тебя все у нас полюбили — и мальчишки... и девчонки.

Дмитрий Алексеевич пожал плечами. Он словно забыл улыбку на своём лице, и она, забытая, ждала, когда её кто-нибудь найдёт, снимет с неудобного, открытого места.

— Послушай, Дим... Давай поедem учителями куда-нибудь? — Она быстро, жалобно взглянула на него и отвернулась.

— Жаннок, — сказал Дмитрий Алексеевич, — у меня в руках очень большое дело, и я не могу бросить его. Дело это верное. Я уже почти переплыл Ла-Манш и вижу берег...

— Всё? — спросила она неприятным голосом.

Нет, это не легкомысленно говорило в ней. Дмитрий Алексеевич понял, что это он утомил и состарил её. Несколько лет гордо и красноречиво расписывая ей свою машину, и каждый раз, когда приходил срок, она видела только одно: его исхудалое лицо, блестящие глаза и потёртый китель.

— Мне всё время попадают очень хорошие люди, — заговорил он быстро. — Они всё время приходят на помощь, и мы скоро пробьём нашу машину. Жанна! Ты слышишь? Тебе ведь ещё два курса кончать. Милый мой, за это время я гору сверну!

— А я вот не вижу берегов, — сказала она. — Ни твоих, ни своих. Я видела очень много всего. И попробовала не думать. Знаешь — лучше!

И они замолчали. Жанна махнула портфелем, прошла, с грустью посмотрела на Дмитрия Алексеевича. Он не удержался, крепко прижал её и поцеловал в холодную щёку, и, словно выдавленные поцелуем, в её сомкнутых ресницах сверкнули слёзы. Увидев их, Дмитрий Алексеевич прижал её послушную голову к себе и сам зажмурился.

— Димка, ты меня предаёшь! — сказала она, уже по-настоящему рыдая. — Зачем ты ух-о-о-о... — она горько и тихо застонала, ударяя его головой в грудь. — Зачем? Ведь я же тебя люблю! Что тебе ещё надо? Хочешь, бршу всё! Дай я тебя хоть поцелую ещё раз! Не уходи!

Они замолчали и так, закрывшись от улицы большой спиной Дмитрия Алексеевича, стояли молча, чуть-чуть покачиваясь, чувствуя после слёз странную, облегчённую пустоту. Потом Жанна достала платочек и высморгалась, жалко улыгнувшись Дмитрию Алексеевичу.

— Ты надолго в Москву? — спросила она.

— Я уеду завтра, — солгал Дмитрий Алексеевич. — Я думаю, что осталось не так уж много дела. Скоро будем строить машину. Я еду завтра утром в Кузбасс, договариваться с заводом...

— Это правда? — Жанна ожила.

— Честное слово, — сказал Дмитрий Алексеевич, твёрдо беря на душу новый грех.

— Так ты мне пиши! Ты скоро вернёшься?

— Нет. Переписываться не хочу. Бывают непредвиденные вещи. А ты очень злые письма посылаешь. А в трудную минуту такое письмо не облегчает положения.

— Потому что ты всё не так, как люди, делаешь. — Опять этот же неприятный голос! — Есть путь, которым большинство моих знакомых идёт, и все они счастливы. И мне это понятно. А тебя никто не поймёт: вот видишь, ты уже злишься, как только я это сказала...

Они долго ещё бродили по переулку. Молчали: всё ждали, пока пройдёт неизвестно откуда пришедший холодок. Ждали оба, наконец расстались, и Дмитрий Алексеевич ровным, широким шагом отправился домой.

Вот он и отдохнул в обществе девушки «с детской улыбкой»! Отведал лесной прохлады, солнца и весёлых именин!

Острый на ухо и подозрительный, Евгений Устинович несколько дней подряд слушал его затаённые вздохи и, почувствовав неладное, потребовал Дмитрия Алексеевича к ответу. Выслушав его исповедь, старик воспламенился, выкатил глаза и собрался было сказать речь против мешанства, уничтожить «эту, как её зовут...», но вдруг померк, задумался и, помолчав некоторое время, сказал:

— Многие настоящие открыватели, знакомые мне... все, с которыми знаком, не имеют семьи. Причины... хотя лучше не думать об этом. Работайте. Ещё недельку — и всё забудете.

И действительно, в январе Дмитрий Алексеевич уже больше не вспоминал о Жанне. Только сидя у чертёжной доски, гудел себе под нос, повторяя то, что сказал ему Шопен и что подтвердил в своём концерте Рахманинов. Дело его быстро продвигалось к концу, он повеселел, стал опять ходить в консерваторию.

Однажды, впервые услышав «Прелюды» Листа, которые так и остались звучать в нём, посеяли странную тревогу, он спустился с галёрки в фойе, чтобы постоять у колонны. Вместе с другими молчаливыми молодыми людьми он прижался к колонне — так, чтобы не выделяться среди соседей, и украдкой стал смотреть на женские лица, которые всё ещё — и помимо воли — притягивали его. Почти у всех самых хорошеньких были солидные, всё время острящие кавалеры. «Смейтесь громче! — подумал Дмитрий Алексеевич. — Оснований для тревоги нет! Сам Шутиков, сам Авдиев вас в этом заверяют! Новаторам открыты все пути!»

— У вас всегда такое лицо, что его можно найти, даже если вас не знаешь, по описанию, — услышал он как бы в тумане чей-то голос.

«Да, они слишком спокойны, — думал Дмитрий Алексеевич. — Они могут судить о том, что делается в нашем углу, только по статьям таких *безусловных сторонников прогресса*, как Шутиков».

— Куда вы смотрите, Дмитрий Алексеевич? — сказал кто-то рядом с ним.

Мысли его спутались. Он несколько секунд боролся с этим насильственным пробуждением и вдруг увидел перед собой красивую, молодую, полненькую девушку с замшевой родинкой на щеке. Он всмотрелся, и произошло чудо — девушка эта превратилась в Надежду Сергеевну Дроздову, олетую в строгий темносерый, с сиреневым отливом костюм.

Дмитрий Алексеевич, как два года назад, в Музге, спокойно и прямо посмотрел на неё. Взгляды их на миг столкнулись. Лопаткин почувствовал лёгкое приятное удушье, а она покраснела. Может быть, сказало то, что в памяти Дмитрия Алексеевича ещё звучали «Прелюды» — музыка чистая и откровенная. Дмитрий Алексеевич опять посмотрел на Дроздову и даже кашлянул, чтобы заполнить молчание. Она протянула ему тёплую, мягкую руку. Он взял эту руку и что-то сказал. Потом Надежда Сергеевна на секунду повернулась, и он увидел её шею — гордую, белую, как неснятое молоко.

— Вы знаете что... — сказал он. — С вами что-то случилось. Вы, как говорят, расцвели... Вы простите, я просто не узнал вас. Вернее, узнал, но смотрю: не та Надежда Сергеевна.

— Да, — задумчиво сказала она и осторожно высвободила свою руку из его пальцев. — Да, не та... Ну, а как вы? Не потеряли ещё голову?

— А что там... Я знал наперёд. Знал, что будет не сладко. Предвидел всё и боли не чувствую.

— Ну-ка пойдёмте сюда. В общий хоровод. — Она взяла его под руку. — Расскажите-ка мне, как дела у вас? Подробно обо всём. Я вижу костюм...



— Не только костюм. Есть ещё и пальто и шляпа.

— Ого! Вы теперь богач!

— А история-то какая! — И Дмитрий Алексеевич стал рассказывать историю с шестью тысячами. Сразу куда-то пропали опасные встречи глаз, и «Прелюды» притихли. Теперь Дмитрий Алексеевич говорил товарищу интересные и смешные вещи. А *товарищ* так и впился в него жадными глазами.

— Иностранная разведка! — говорил Дмитрий Алексеевич. — Ловушка! Старик упёрся и никак не хочет брать денег. А я так положил в карман: пока они начнут осуществлять свои планы, мы всё проедем...

— Правильно! — Надежда Сергеевна рассмеялась, глядя на него сбоку.

— Очень кстати пакетик пришёл. А то мы со стариком уже гадали: не поступит ли мне на завод. Если бы поступил, пришлось бы затянуть дело с машиной...

— Вы и так, по-моему... Дроздов говорил, что вы ослабили наступательную активность. Мне даже не нравится это. Я ведь болею за вас...

— Скоро начну битву. Я разработал новый вари...

Тут Дмитрий Алексеевич осекся, кашлянул. Он вспомнил, с кем имеет дело...

— Вы что?.. Вы почему не договариваете? — тихо спросила Надежда Сергеевна, словно мертвея. — Вы что... считаете, что я... — Она трянула головой, и серые глаза её увеличились от слёз.

— Я не считаю этого... — Он тоже покраснел. — Да... Да, я боюсь... Не боюсь, но мне для моих интересов не нужно... Видите ли, Надежда Сергеевна, если уж говорить начистоту, — сказал он твёрдо и зло подобрал губу, — вы жена моего противника. Для вас это — зрелище. В лучшем случае... бой гладиаторов. А ведь я-то боюсь из последних...

— Я с ним не знакома! Знать не хочу его! Замолчите! — зашипела она, и несколько человек впереди оглянулись.

Они молча прошли половину круга.

— Это что, правда? — спросил наконец Дмитрий Алексеевич. — Давно?

— Почти два года... Не сошлись характерами...

Они молча сделали несколько шагов. Потом Надежда Сергеевна подняла на него виноватые глаза.

— Дмитрий Алексеевич... Я вас никогда не предаю. Даю вам честное слово... Клянусь сыном.

Чуть двинув локтем, он прижал её руку и отпустил.

— Надежда Сергеевна, я сделал новую машину. Универсальную, для литья самых различных труб. Сейчас я сам вижу... мне кажется, что это серьёзная находка.

— Они тоже машину делают.

— Кто такне?..

— Они кончают уже. — Надежда Сергеевна сама испугалась этих слов, заторопилась. — Сейчас я вам скажу кто. Вот эти двое, что с вами были, — Максютенко и Урюпин. Дроздов «наблюдает». Фундатор, Авдиев и ещё кто-то консультируют... Забыла остальных.

По лицу Лопаткина, по тому, как он глубоко вдохнул воздух и весь окаменел, наливаясь смертельным холодом борьбы, Надежда Сергеевна поняла всё.

— Дмитрий Алексеевич, — осторожно позвала она, глядя его рукав. — Дмитрий Алексеевич! Я всё разужнаю...

Раздался звонок. Это был уже третий. В фойе погас свет.

— Приходите через неделю. Девятнадцатого. Днём. Всё будет... В двенадцать часов дня!

— Куда?

— Куда-нибудь. Ну вот в нотный магазин, на Неглинке. Вы только не расстраивайтесь. Подождите расстраиваться.— Она пожала ему руку.— Я вам обязательно помогу! До свидания!

Она, может быть, ждала, что он ей предложит встретиться после концерта. Но Дмитрий Алексеевич пожал её руку, молча повернулся и исчез в толпе. Он даже на второе отделение не остался — сразу же ушёл домой.

Девятнадцатого января в полдень Дмитрий Алексеевич шёл по Неглинной. Воротник его пальто был поднят, и шляпа плотно нахлобучена, потому что валил мокрый снег. У нотного магазина он остановился, посмотрел по сторонам и нажал было на бронзовый поручень двери, но тут от стены к нему шагнула женщина в чёрном широком пальто и в большом, мягко упавшем на лоб берете из дымчато-голубого фетра. Это была Надежда Сергеевна. Она ждала Дмитрия Алексеевича.

— Здравствуйте,— чуть слышно сказала она, подавая руку в перчатке из тонкой чёрной кожицы.

— Надежда Сергеевна! — весело воскликнул Дмитрий Алексеевич и смолк, увидев её лицо, печальное и красное. Оно сразу скрылось под косо нависающей, голубоватой сенью берета. Надежда Сергеевна опустила голову.— Надежда Сергеевна! — сказал он тише.— У вас что-нибудь случилось?

— Я просто не смогла вам ничего достать...

— Вот и хорошо. И чёрт с ним. Меньше забот.

— Дмитрий Алексеевич... нам надо куда-то пойти, я вам должна многое рассказать. Вот. Они вас обокрали, теперь я хорошо это поняла. Хотела я вам нарисовать их машину, только ничего не получилось. Я издалека только увидела один раз вот такую штуку на чертеже... Я её поскорей парисовала.

Она достала из сумки сложенную бумажку. Дмитрий Алексеевич развернул её — и опять, уже в третий или четвёртый раз, увидел тот же знакомый круг и в нём шесть кружков поменьше, направленных на него, как револьверные пули. Это была машина Урюпина и Максютенко.

— Они строят эту машину у нас на заводе, у Ганнчева.

— Это всё очень важно,— задумчиво, как бы для себя, проговорил Дмитрий Алексеевич.— Это всё очень важно.— Он покачал головой.— Дело вон куда, оказывается, шагнуло. Пока мы тут капусту выгружали... Да-а... Хорошо.— Он вдруг воспрянул.— Пойдёмте, послушаем вас, чем вы меня порадуете ещё. Не пугайтесь, вы меня действительно радуете. Вы вооружаете меня, даёте мне и щит и меч! Только скажите, если не секрет, зачем вы это делаете?

Он посмотрел на неё прямо, и она опустила глаза. И долго стояла, оцепенев, повесив руки, глядя вниз, то улыбаясь, то краснея и ничего не говоря.

— Ну вот...— сказала она, так и не ответив Дмитрию Алексеевичу.— Вы, конечно, помните, сначала была построена машина Авдиева...— И она начала рассказывать Лопаткину о центробежных машинах и трубах — то, что он и сам хорошо знал.

После переезда в Москву отношения с мужем у Нади остались такими же неопределёнными. Теперь она отчётливо видела, что ошиблась, выйдя замуж за своего сибирского героя. Если в первые дни замужества она гордилась его властью над людьми, восхищённо слушала, как он шутил,

беседа ночью по телефону с грозной Москвой; если Надя позднее жалела его, измученного тяжёлыми заботами о комбинате, и прощала ему за это недостаточную грамотность и отсутствие малейшего намёка на музыкальный слух, то теперь она еле удерживалась, чтобы не сказать ему с обидным спокойствием о том, как она его ненавидит. Она ненавидела его манеру закрывать глаза, потому что ясно видела в ней рисовку начальника, желающего показать, как утомляют его государственные заботы. Когда за столом он начинал чавкать, она краснела и опускала голову. Но ещё больше раздражали её философские рассуждения Леонида Ивановича, который ловко умел сказать к месту: «базис», «государственный долг», «коллектив» и тому подобные слова, прикрывая ими любой свой интерес, любую свою слабость. Это раздражало её ещё и потому, что Леонид Иванович, начиная говорить эти слова, странным образом обезоруживал её, как бы лишал дара речи. И она, чувствуя очередную несправедливость, допущенную мужем, не могла ему возразить. Это бесило её, но, стоя рядом с ним, она по старой привычке, по глупой рабской привычке, всё ещё подгибала колени.

Сам Леонид Иванович, став москвичом, не переменялся. Как и в Музге, он попрежнему посматривал вокруг себя глазами беркута, сидящего в степи на телеграфном столбе, и был в этих глазах металлический блеск. В Москве оказалось в непосредственной близости над ним много начальников. Дома по ночам часто трещал телефон. Говоря серьёзным служебным тоном в трубку: «Есть, будет сделано», Леонид Иванович оставался самим собой — закрывал глаза, сопел и подмигивал жене — мол, ладно, там ещё посмотрим. Лишь иногда на него вдруг накатывало тихое бешенство — в тех случаях, когда требовали, чтобы он сделал какую-нибудь глупость. Но и тут начальник слышал в трубке только веские доводы против, и в большинстве случаев победа оставалась за Леонидом Ивановичем. Если же начальник настаивал на своём, Дроздов говорил: «Есть, будет сделано», а для жены, повесив трубку, цитировал слова Суворова: «Прежде чем командовать, научись подчиняться».

Ещё в первый год Надя стала уединяться в своей комнате. Играла с маленьким сыном, радуясь тому, как он отчётливо говорит: «Дай-дай-дай» — слова, которые, по выражению Леонида Ивановича, уже обеспечивали ему прочное положение в мире. Чтобы скрыть своё физическое отвращение к мужу, она иногда жаловалась на боли в пояснице и стала обвязывать себя шерстяным платком. Леонид Иванович послал её в поликлинику. Она долго объясняла недоумевающему врачу, что у неё болит, говорила о своей неблагополучной беременности и добилась своего: больной были предписаны тепло и покой. Вскоре Надя окончательно покончила с недоверием мужа, уставив подоконники в своей комнате коробочками с «крупой», как называл Дроздов гомеопатические лекарства.

Надя чувствовала, что поворота назад не будет, что надвигается новая, большая перемена в её жизни, и сурово готовилась к ней. В своей комнате, лёжа на диване с книжкой в руке, она иногда вспоминала Музгу и вздыхала, как будто там осталась её юность. Глядела исподлобья в стену, оклеенную сиреневыми обоями, и видела милую пыльную Восточную улицу, по которой она шла однажды, нет, два раза, вверх, на самую гору. «Дмитрий Алексеевич», — чуть пошевелила она губами. Да, это была её юность. Была и прошла стороной, лишь повеяв на неё своим теплом. Какое было бы счастье!.. Он, наверно, и сейчас ходит по ней, по Восточной, один готовится к бою, не верит ни в чью помощь. Хотя, может быть, Валентина Павловна... «Какие люди! Что я наделала!»

Старуха Дроздова вызвала из Музги Шуру — нанять внука, и Надя, несмотря на возражения домашних, сразу же поступила на работу в школу, преподавать географию. Всё в семье пошло привычным, ровным ходом. Но однажды Дроздов, приехав с работы, весело нарушил этот ход.

— Надюш! Этот-то наш. Земляк-то! Какой бой закатил на техсовете!

— Ты про кого?

— Да Лопаткин же! Изобретатель наш!

— Он в Москве? — равнодушно спросила Надя, но комната вокруг неё как бы внезапно осветилась, и Наде пришлось опустить глаза.

— Я же говорю тебе — проект недавно защищал в Гипролите!

— Ты не видел ещё, какой костюмчик я купила для Николашки? — спросила Надя и, отложив атлас, по которому она готовилась к урокам, приподнялась на диване.

— Погоди про костюмчик! Я говорю, Лопаткин в Москву перебрался.

— Он ещё и пробыёт своё изобретение. Ты же знаешь, он какой!..

— Наши корифеи пачеку. — Леонид Иванович встал в свою любимую величественно-шутливую позу. — Наука ревниво охраняет свои рубежи от всяческих... вторжений.

— Что, забраковали?

— Вышел еле живой. Как говорится, шатаюсь. Они быют-то — знаешь? — без синяков! — Леонид Иванович улыбнулся, собрав на жёлтом лице множество весёлых морщинок.

— Ну как он? Как выглядит?

— Был он сегодня у меня. В своём... мундире. Я тебе говорил? Он отказался от костюма. Предлагал я ему как-то в Музге...

— Обедать будешь? — спросила Надя, поднимаясь с дивана. Она была в длинном халате из темнолилового шёлка, с редко разбросанными по этому фону красными и золотистыми ветками и стеблями. Халат был полуоткрыт на груди.

— Обедать? — спросил Леонид Иванович, обнимая её и притягивая к себе. При этом он пощупал, на месте ли шерстяной платок — платок был на месте. — Н-да-а, — сказал он несколько разочарованно. — Что ж, пожалуй.

И они прошли в соседнюю комнату, где старуха расставила уже приборы. Сев на своё место, Дроздов взял графин, который был поставлен для него под правую руку. Выпив рюмку водки, он поддел вилкой из общей миски ком кислой капусты и, громко хрустя, засмеялся. Он вспомнил что-то весёлое, но капуста не давала ему говорить.

— Максютенко! — сказал он и не удержался, приснул. — Ох, голова!.. Слышишь? Наш музгинский донжуан... Я хотел ему, Максютенке, подсказать, зная его натуру, а он уже сам влез в историю. Предьявляя свою конструкцию машины! Всякая мразь ночная хочет славы героя! Спёр идею у Лопаткина, добавил ещё от заграничных авторов что-то... и, кажется, сволочь, удачно выбрал момент!..

Тут Леонид Иванович налил себе ещё рюмку, быстрым движением выплеснул водку в рот и стал хлебать суп.

— Мама, здесь все свои, дай-ка мне деревянную ложку, — сказал он, и Надя вспомнила, что эти слова так понравились ей когда-то, в первый день замужества.

— Ты говоришь, удачно, — спросила Надя. — Чем же?

— Ах, да... Я же тебе не рассказывал! Тут целая история! Шутиков-то, наш зам. Он ведь неспроста занимается трубами. Плана такого у нас нет... то есть имется, конечно, план по канализационным трубам, но для внутреннего потребления. Для собственного строительства. Но зам наш газеты читает и сиживал на совещаниях в высокой инстанции, когда там была поставлена задача создать центробежную машину. И через год был — когда ругали нескольких министров за то, что они машину не могут дать. Раз ругают, два ругают, а наш сидит и — молчок! О-о, Шутиков человек с перспективой! Он дело сделает. Те все обещают и просят денег, а он решил без шума сделать машину и скромненько отрапортовать. А чтобы было скромненько и быстро, не надо ругаться с институ-

тами. Надо с ними находить общий язык. Вот он и нашёл: сделали машину Авдиева. Потерпели убытки — ничего...

— Почему же он Лопаткина не поддержал? — воскликнула Надя и поблещала, но Леонид Иванович этого не заметил.

— Погоди...—Он любил рассказывать.—Погоди, товарищ... гм... Дроздова. Может, он и поддержал бы Лопаткина, Шутикову всё равно кто — ему важно сделать машину и подать на стол готовую трубу. Но Лопаткин — это лошадка, на которую нельзя ставить. Создавать ему отдельное конструкторское бюро — хлопотно. Передать в институт — нельзя, не уживётся с Авдиевым. Только угрожают средства. Тут нужен человек, который способен пойти на компромисс. У учёных свои интересы. Им нужно, чтобы все машины были сделаны на основе их многолетних творческих, углублённых, плодотворных изысканий. И Шутиков прекрасно знает, что с господнею стихией... как это ты читала мне?..

— ...царям не совладать, — подсказала Надя.

— Вот-вот. С господнею стихией царям не совладать. Если бы в самом начале Лопаткин нашёл общий язык с институтами, у него бы пошло. Правда, с Авдиевым трудно — кремь. Надо перед ним просто капитулировать — на его милость, что оставит. Ну и то, Авдиев мужик умный, что-нибудь бросил бы ему со стола. Так что Лопаткин допустил стратегический просчёт. А теперь, когда дело запатентовано, Лопаткин в институты и не суйся.

— Печально...—сказала Надя, косясь на мужа, выжидая.—Ты попробуй-ка вот, телятина очень вкусная сегодня.

— Телятина? Хо-хо! — сказал воинственно Леонид Иванович и положил себе в тарелку кусок граммов в четыреста. — Так вот, — сказал он, быстро жуя и двигая при этом всем лицом,— Максютенко... Мать, а ты хорошо телятину нынче сварила! Так я говорю, Максютенко. Дурак, а вовремя ведь сунулся! Его сейчас расцелуют. И правильно сделают! Они уже далеко зашли с авдиевской машиной и со своими диссертациями. Им теперь не то что сюрпризы, убытки надо списывать! Вот они и спишут, скажут, что всё пошло на поиски, на разработку, на подходы к новой машине. Молодцы! — Он крикнул и, стуча ножом по тарелке, стал резать мясо. Разрезав, он положил в рот большой кусок, и твёрдый желвак заходил на его щеке, словно Дроздов подпёр её изнутри языком. Надя, нервно шевельнув ноздрями, пристально посмотрела на этот желвак и отвернулась.

— Всё-таки свинство,— сказала она.— Человек работал сколько лет...

— Конечно, это так. Но если посмотреть с холодным вниманием, — Дроздов шевельнул бровью и, ткнув вилкой в новый кусок, стал водить им по краю тарелки, размазывая горчицу,— открыть, придумать — это ещё десятая часть дела. Сколько благих порывов капуло в истории без вести! Всё потому, что их не могли повернуть, не нашлось надлежащего *организатора*. И то, что кидаются на нашего Лопаткина такие люди, как Максютенко, как Авдиев и как Шутиков,— всё это естественно. Идея, если она правильная, начинает жить самостоятельно и ищет своего сильного человека, который обеспечит ей процветание. Идея предпочитает брак не по любви, а по расчёту.— Сказав это, Леонид Иванович, торжествующе посмотрел на жену.— Идея охотно изменяет своему первому любовнику в пользу влиятельного и энергичного патрона.

— Творческую часть не может заменить делец,— сказала Надя чуть слышно. Настолько тихо, что Леонид Иванович получил право не отвечать. И он сделал вид, что не расслышал её слов. И Надя всё это поняла.

Обед затянулся — и не по вине Леонида Ивановича, который быстро расправлялся с едой, громил еду. В этот день Надя что-то медлила за обедом, шевелила ложкой в тарелке и почти не ела. «Вот оно, надвинулось», — радостно и испуганно говорила она себе. А Дроздов, видя, что

она не собирается подниматься из-за стола, подкладывая себе в тарелку, чтобы убить время. И, перехватив лишнее, отдуваясь, ушёл наконец в свою спальню соснуть часок.

Надя решила разыскать Лопаткина. На следующий день по дороге из школы она остановилась у справочного киоска и, купив бланк адресного стола, заполнила его: «Лопаткин, Дмитрий Алексеевич». Через час она получила ответ о том, что «таковой» не проживает. «Да, так оно и есть, так и должно быть. Где ему жить здесь?» — грустно подумала она и медленно пошла по улице, теребя справку, пуская по ветру с ладони мельчайшие бумажные обрывки.

Вечером она спросила у мужа мимоходом, как бы рассеянно, где же он ночует, этот изобретатель. Ведь всё-таки же зима! «Чёрт его знает, у них шкура ведь, как у волков, холода не боится», — ответил Леонид Иванович. Повторить свой вопрос она не решилась, и опять потекла ровная жизнь: завтрак — в час, обед — в семь вечера, чай — в одиннадцать. Дроздов больше не упоминал о Лопаткине. Если что и рассказывал, то это были министерские анекдоты. О том, например, что есть у Шуткова референт Невраев, которого называют министерским барометром...

— Молодой, любит, правда, выпить, но чутьё — я никогда такого не встречал, — одобрительно улыбаясь, говорил Леонид Иванович. — Гроза всей министерской мелкоты! Вот он сегодня с тобой любезен — значит можешь спать спокойно. Если сам подошёл здороваться — значит скоро поедешь в командировку за границу или тебя сделают начальником отдела. А вот если ты к нему зайдёшь и он занят, не замечает тебя, куда-то спешит — значит всё. Твоя фамилия будет завтра или послезавтра в приказе министра. Жди! Он и нашим вещим Олегам иногда предсказывает: «Получишь ты смерть от коня своего».

В конце февраля Дроздов за обедом сказал Наде:

— Шутников завтра в газете выступает. Подвал о новаторстве. Писал, конечно, не он — Невраев. Невраев и газетчики, вместе. А нашему Павлу Ивановичу дали отписку. Он подписал — слышь? — потом прочитал и говорит: «Вот здесь у *меня* шероховато. Исправьте». «У меня!»

И где-то далеко в его умной, лукавой улыбке промелькнула и скрылась досада.

— Ты, наверно, тоже не прочь был бы выступить? — сказала Надя с невинным видом.

— Надежда! — предупреждающе, но так же весело возвысил голос Леонид Иванович. — Я понимаю вас, товарищ... гм... Дроздова. Если я буду выступать со статьёй, то мысли в ней всё-таки будут мои. Бывают такие неграмотные мужички, которые диктуют грамотным. И бывают грамотные, — он сделал здесь ударение, — грамотеи, которые только и могут что записывать чужие мысли. А наоборот их поставить нельзя. Мужик не сможет писать, а писарь — ха! — диктовать. Если я и выступлю, то сотрудничество у меня будет только такое: делового мужика с писарем.

Он задумался после этих слов, рассеянно жуя, и Надя ещё яснее почувствовала тайную досаду, которая убавила на этот раз его аппетит.

Весна в тот год не принесла никаких перемен, май прошёл в школьных заботах, в экзаменах, а в июне Надя вместе с ребёнком и Шурой села в «Победу» и уехала на Волгу. Лето было солнечное, без дождей, без ветра и тревожное. Надя каждый день уходила одна далеко по поющим пескам, и там, на косе, среди мелководных заливов и рукавов, загорала, принималась читать «Утраченные иллюзии» и бросала, не понимая, что же с нею делается. Она купалась — то плавала, отдаваясь прохладной быстрине, то барахталась в тёплом сусле заливов, — и это было приятно, но тихая грусть, странные порывы раздражения не оставляли её. В июле за деревней, в жаркой тишине, на полях стали выгорать хлеба.

Надя видела на крыльце правления колхозников, загорелых, с белыми пятнами соли на пыльных гимнастёрках — где спина и плечи. Они молча курили, плевали на землю и следили за москвичкой голубыми, как бы быцветшими на солнце глазами. Надя понимала, что у них начинается беда, и не могла ничем помочь. Но ей теперь нельзя было уйти и на пески — они раскалились и гнали прочь одинокую, скучающую, загорелую дамочку в сарафане. И Надя уходила в прохладную избу, чтобы никто не видел её весёлого зонтика и книги. В начале августа Надя не выдержала и послала мужу телеграмму. Прибыла «Победа», и дачники ночью сбежали в Москву.

Муж встретил её обычной умной улыбкой. Хотел похлопать жену по плечу, но почему-то не получилось. «Дела у меня неплохи», — загадочно ответил он на её равнодушный вопрос. А вечером к нему пришли. Надя сразу узнала Максютенко. Он пополнел и был одет в темносиний костюм, с обвислыми плечами. Увидев Надю, он быстро шагнул к ней и вложил ей в руку коробочку с духами — ленинградскую «Сирень», о которой в те дни много говорили. Вторым гостем был худощавый полуседой мужчина, с металлическими звуками в голосе. Он легонько, но всё же больно пожал Наде руку и назвался Урюпиным.

Надя думала, что будут выпивка и песни, но гости и Леонид Иванович закрылись в средней комнате, которую называли столовой и гостиной, и развернули на столе чертежи. Совещание их длилось три часа. За это время Надя из своей комнаты слышала их голоса только один раз — это был дружный взрыв смеха: стонущее аханье мужа, металлический, генеральский смех Урюпина и кобылье ржание Максютенко.

Потом был организован чай и пригласили к столу Надю. Был разлит по рюмкам и мужской «чай», от которого Надя отказалась.

— Вот! — обратился Максютенко к Наде после первого тоста и показал пустой рюмкой на Дроздова. — Не хочет нам помогать!

— Ты не передёргивай, Максютенко, — строго сказал Леонид Иванович, закрывая глаза. — Помогать я не отказываюсь, а с-соавтором быть не хочу. А помощь — пожалуйста. Наоборот, если хочешь знать, если ты не забыл, предложил-то ваши кандидатуры я..

— Вот мы и хотим, чтоб ты был с нами, Леонид Иванович, — сказал Урюпин. Худощавое его лицо улыбнулось, и серая густая шевелюра вдруг, словно автоматически, передвинулась вперёд — к сморщенному лбу.

— Ну-ка, ну-ка, — Дроздов захохотал, — ну-ка, ещё двинь!

Урюпин быстро взглянул на Надю и нахмурился. Он не хотел выставить свой изъяс на посмешище, и именно поэтому волосы его двинулись быстрее, чем обычно, к бровям и обратно.

— Ты нервный! — сказал Дроздов. — Тебя выдаёт это...

— Так как мы решим? — спросил Урюпин, багровея.

— Формально, ради будущей медали, быть участником вашей группы я не могу. Проектировать тоже не буду. Мне надо работать. Поеду вот на заводы. Вы подключите, кого я сказал: Воловика, Фундатора и Тепкина. Только слышите? Они сами к вам не придут. Они красные девицы, им хочется, но служба заставляет опускать глазки. Я их уже подготовил. Теперь вы должны сказать своё слово. Конечно, хорошо бы и Шуткова сюда, но вы сами, дураки, изгадили всё. И меня подвели. Я не знаю, какие у него соображения, но вообще, друзья, некоторые отверстия надо всегда держать закрытыми. Вот он со мной теперь не разговаривает. Два слова — здравствуй и прощай! И всё! Видите, что вы наделали.

Во время этой речи Максютенко, виновато розовея, всё время говорил: «Леонид Иванович! Леонид Иванович!» Когда Дроздов сердито замолчал, он опять сказал: «Леонид Иванович...» Тот с грозной улыбкой посмотрел на него.

— Вольно, Максютенко! Можешь исполнять!..

Вскоре гости ушли. Дроздов, проводив их, потянулся в передней, хрустнул суставами.

— Вот так, сдуру, могут такую пилюлю поднести... Пришли к Шутикову, предлагают ему возглавить группу и бряк: мол, Дроздов советовал подключить! Тот, конечно, улыбнулся, а потом с глазу на глаз подошёл и говорит мне: «Вы зачем меня в эту, как её, группу тянете?» Я ему: ваша же инициатива, Павел Иванович! Он прямо зашипел: «Какая моя инициатива? Ерунду какую говорите!» И до сих пор поглядывает. Матёрый волк, так ему везде псина чудится. Эх, Надюша, не так-то просто всё...

Надя, не дослушав его, молча ушла к себе. Леонид Иванович придержал её дверь.

— Можно?

— Ни в коем случае, — сказала Надя. — Никогда.

— Что как строго? А я вот войду. На основании брачного свидетельства. — Он засмеялся и вошёл.

— Что ж, войди. А я выйду.

— Что так?

— Я тебя не люблю.

— Напрасно, — сказал он. — Обязана любить.

— Знаешь, не зли меня. Ты такой оказался мелкий... Человека убиваешь живого! Ведь он тебе даже дороги не перешёл. Ты сам, сам лёг на его дороге! Он и не подозревал, а ты накинул петлю и давишь! Ты смотри, какой он живой, как он не сдаётся. А ты всё давишь, давишь...

— Ну во-от, задави такого! — попробовал пошутить Леонид Иванович, и лицо его жёлчно дёрнулось. — Ты послушай-ка, послушай...

Николашка, светлоголовый мальчик, стоял около своей кровати, стучал по ней флаконом ленинградской «Сирени» и, смеясь, смотрел на обоих. Надя взяла его на руки, прижала и повернулась к мужу спиной.

— Послушай-ка... — сказал Леонид Иванович, морщась. — Лопаткин один погубил бы свою идею. Мы, если хочешь, в интересах государства были обязаны вмешаться. Нам нужны трубы, а не твой Дмитрий, как его...

— Не хочу тебя слушать. — Глядя в пространство, она прижала губы к тёплой головке сына. — Ты всегда говоришь то, что в данный момент тебя оправдывает, ты всегда прав. Дави его! Но я тебе больше не жена...

После этого разговора у них всё пошло как будто бы попрежнему. Они вместе садились за стол и даже обменивались несколькими словами — о погоде, о здоровье сына, о том, что развелась моль... Но Леонид Иванович больше не рассказывал анекдотов, и Надя ни разу не улыбнулась при нём.

В двадцатых числах августа она попросила у мужа «Победу» и вместе с Шурой поехала в центр делать покупки для сына к зиме. Когда машина миновала Белорусский вокзал и остановилась у светофора, Шура вдруг дёрнула Надю за рукав жакета.

— Глядите-ка, наш! Музгинский учитель! Она впереди вышагивает!

Надя вздрогнула. Кровь больно толкнулась в голову.

— Фу, как ты меня испугала! — сказала она. — Кого ты там высмотрела?

И, взглянув в косое окошко машины, она сразу увидела Дмитрия Алексеевича, который шагал по тротуару, направляясь к центру. Лицо его было неподвижное, строгое, он был такой же, как в Музге, — ничего не видел кругом, ничего не слышал и был занят собственными мыслями.

Милиционер на перекрёстке, махнув палочкой, повернулся, над ним в светофоре выпрыгнул зелёный огонёк, и машина двинулась дальше, покатила по улице Горького, а Дмитрий Алексеевич остался позади.



— Серёжа, остановите вот здесь,— сказала Надя.— Я пройду по магазинам.

Машина затормозила у тротуара. Надя вышла и, еле сдерживая дрожь в голосе, стала неторопливо перечислять Шуре всё, что надо купить к обеду. «Лучше всего взять осетрины, если будет крупная,— говорила она. — Может, есть копчёный угорь, надо обязательно купить, Леонид Иванович любит. Непременно посмотри кур»,— и захлопнула дверцу. Немного подождала, пока машина не исчезла вдали в общем автомобильном потоке, затем повернулась и побежала, сняя, шевеля губами. Она на ходу придумывала какую-нибудь ложь, которая оправдала бы её внезапное появление перед Лопаткиным. Но ничего не могла придумать.

Потом Надя остановилась: она сообразила, что нельзя вот так riskовать удачным моментом — может быть, вторично им не удастся встретиться. А сейчас Дмитрий Алексеевич может оказаться не в духе. Возможно, что ему ни с кем не хочется разговаривать, тем более сейчас, да ещё с женой Дроздова. Поздоровается и пойдёт дальше. Нет, так нельзя.

И Надя поскорее отошла к газетному киоску. Сделано это было вовремя: она успела лишь открыть сумочку и посмотреть на себя в зеркало, и вот уже мелькнул в толпе зеленоватый китель. Надя подняла сумочку повыше, но предосторожность эта была лишней. Дмитрий Алексеевич быстрым, гибким шагом словно бы вырвался из потока пешеходов и так же быстро исчез. Надя захлопнула сумочку и бросилась вслед за ним. Вскоре она догнала его. Он шёл так же ровно, не ускоряя и не замедляя шага.

И так, шагов на пятьдесят позади Дмитрия Алексеевича, Надя прошла всю улицу Горького, Моховую и Волхонку. Он задал ей работы! Иногда ей казалось, что Лопаткин заметил её и нарочно кружит по городу, чтобы посмеяться над нею. И она, покраснев, замедляла шаг, шла так, чтобы он не мог ничего заметить — даже оглянувшись, даже заподозрив неладное.

Но Дмитрий Алексеевич ни разу не оглянулся. Он спокойно закончил восьмикилометровую прогулку, свернул в свой Ляхов переулок, прошёл через двор, мимо сараев и голубятен, и по ступеням поднялся в подъезд старинного дома с облезлыми колоннами. Надя осмотрела издали эти колонны, покрытые внизу отчётливыми письменами, характерными для середины двадцатого столетия. Осмотрела двор, запомнила номер дома и, выйдя к бульвару, села в такси.

Через несколько дней, после долгих колебаний, она решила навестить Дмитрия Алексеевича. В то ясное утро, когда это решение было принято, Надя впервые на московской квартире запела. В девять утра она вымыла голову, долго сушила и расчёсывала свои не очень длинные, но густые темнорусые волосы, которые после мытья словно сошли с ума — поднялись дыбом и громко трещали под гребешком. Расчесав, она заплела их в две толстые косички и уложила на затылке в тугую жгут. На затылке всё получилось как надо, а вот впереди и вообще вокруг головы летало очень много рыжезатых паутинок — это был милый пух юности, который с годами исчезает, но Наде он не понравился, и, распустив косы, она снова сердито стала их расчёсывать. «Что такое?» — подумала она вдруг, неожиданно поймав эту свою злость, и, испугавшись простого ответа, который был почти готов, она с непонятной радостью рассмеялась и запела.

Вот так, тщательно причёсанная, но всё же с паутишкой, она и предстала перед нашим Евгением Устиновичем, который сразу же стал искусно её допрашивать. Но всё искусство его разбиалось о рассеянность Нади. Она отвечала «да» почти на все вопросы старика, и этим навела его на серьёзные мысли. А рассеянность её была особого рода. Пржде всего она заметила целую стаю звонковых кнопок на двери и задумалась.

Потом, узнав, что Дмитрия Алексеевича нет дома, она опять вспомнила о кнопках и поняла, что каждая кнопка — это сосед Дмитрия Алексеевича, и притом, как ей показалось, сосед нелюдимый и злой. Старичок, встретивший её, предложил зайти, посидеть, и она вошла к ним в комнату, пропахшую табачным дымом, и села на шаткий стул. Вот здесь и услышал от неё профессор Бусько те «да», которые так его насторожили. Надя увидела на грязном столике два куска чёрного хлеба, оба одинаковой гели-ины, и лежали они точно друг против друга. На каждом куске лежала половинка солёного огурца.

— Вы живёте здесь вдвоём? — спросила она.

— Да, да, — сказал старичок и тоже что-то спросил, и она ответила: «да»...

Потом она увидела чертёжную доску и на ней ватманский лист с чертёжом. Она хотела подойти рассмотреть чертёж, но старичок сказал: «Извиняюсь» — и, пробежав вперёд, проворно завесил чертёж газетой.

— Да, да, — сказала она ему и опять взглянула на куски хлеба, сжала в руках сумочку, где лежало двести рублей. Потом вышла в коридор и, не отвечая старичку, ровным шагом направилась к выходу.

Она твёрдо решила помочь двум людям, из которых один в этот день поднялся в её глазах ещё выше. «Что же сделать? — думала она. — Двести, пятьсот рублей — это не деньги». Больше достать она не могла, потому что расход денег в семье Дроздовых контролировала старуха.

Прошло полтора месяца. Начались дожди, а Надя всё ещё искала деньги и не могла ничего придумать. Однажды днём позвонила по телефону, а затем и приехала к Наде Ганичева. Она гостила в Москве уже несколько дней. Накрашенная, кривоногая, пахнущая всё теми же неистовыми духами, она расцеловала Надю и, целуя, рассматривала всё кругом и примечала. Она сразу же увидела пакетики с нафталином на столе и открытый шкаф.

— Это я вот... вынула манто, хочу проветрить, чтоб моль не завелась, — сказала Надя, взглянув на Ганичеву, и неожиданная дрожь пронзила её.

— Ну-ка погоди, дай-ка я примерю. — Ганичева словно читала надидны мысли. Она надела манто, рассыпав по ковру шарики нафталина, и подошла к зеркалу.

— Длинновато... — сказала Надя.

— Это чепуха. — Ганичева повернулась перед зеркалом в одну сторону, в другую. — Слушай, продай его мне! А?

Надя не ответила.

— Честное слово, — сказала Ганичева. — Вы сколько за него отдали?

— Двадцать две...

— Ну, таких денег у меня нет, положим. И потом реформа... а вот за девять я бы взяла.

Надя молчала, поблуднев, глядя в пространство. Это было невозможно — продавать вещь, которую для неё купил Дроздов. Именно потому, что покупал Дроздов, — он купил, он сам платил, сам считал деньги. Если уходить от него, то манто это надо оставить ему. Но девять тысяч...

— Ну, что ты там... — сказала Ганичева. — Вот я тебе даю десять. Окончательно.

— Зинаида Фоминична, — торопливо заговорила Надя, — мне очень нужны деньги...

— А я чего? Это что — не деньги?..

— Мне только нужно, чтобы муж не знал. До зимы...

— А что у тебя? — Ганичева понизила голос. — Ладно, не говори. Это не моё дело. Так что мы... решаем?

И Надя решила. На следующее утро Ганичева привезла ей шесть тысяч, сказав, что остальное прийдёт из Музги... Манто было уже завернуто в

газеты и перевязано шпагатом. Ганичева очнь ловко вынесла его на лестницу, показала Наде рукой, что всё будет шито-крыто, и уехала.

А через два часа, когда всё улеглось в душе и когда исчез тревожный запах нафталина, Надя завернула деньги в серую, грубую бумагу, все уголки свёртка подклеила и, прихватив с собой Шуру, поехала в центр за покупками. В Ляховом переулке они вышли из машины. Шура сразу поняла свою роль и, бросив на Надю весёлый и ободряющий взгляд, убежала под высокую арку.

Так Дмитрий Алексеевич стал обладателем нового костюма, пальто и шляпы. Увидев его в фойе консерватории, Надя, прежде чем подойти, осмотрела его со всех сторон и решила, что костюм очень хорош, что он выбран со вкусом. В отличие от Евгения Устиновича, она видела в этом костюме только хорошие стороны. И здесь, глядя на Лопаткина, она освободилась наконец от ощущения вины перед мужем.

Давно забытое чувство свободы подхватило Надю, и она полетела так, как летают во сне. Все движения её теперь были собранны и быстры. Она бегала даже по комнате — ей не хватало времени. Надо было успеть в школу, потом, пока было не поздно, она спешила к сыну, к попрыгушкину, к Николашке. Перед ним она не могла оправдаться, особенно когда он, соскучась, бросался к ней и падал, потому что слабо держался на ногах. Он падал, а она замирала от боли. Но Николашка, посидев у мамы на коленях, сползал на пол, чтобы поднять пуговицу и положить в рот. Он был спокоен, в жизни его ничто не изменилось. Всё тревожное горело, оказывается, только в ней.

— Где вы пропадаете по вечерам? — шутиливо спросил Леонид Иванович, поймав её однажды в коридоре. Она бежала из ванной. — Вы, по моему, температурите, товарищ... Дроздова!

— Ах, господи! — раздражённо отмахнулась она. — Отстань, пожалуйста...

Она спешила: дело шло к вечеру. Надя собиралась не в кино и не в театр. Одеться ей нужно было *попроще*, а это не лёгкое дело. У неё оставалось в распоряжении всего лишь полтора часа, всего лишь! А надо было ещё запереться, расчесать волосы и уложить косы, припудрить сухой, горячий румянец на щеках и попытаться понять ту, чужую, сумасшедшую, которая в последнее время стала появляться в зеркале и пугала её.

## 8

Надя была уже своим человеком в Ляховом переулке. Всё получилось само собой. А как? Это могла бы объяснить только та, что являлась в зеркале. Она являлась только Наде, только наедине, а выйдя из комнаты, умела сразу же стать скромной, тихой и совсем затаивалась, исчезала, когда Надя приходила к Лопаткину и профессору Бусько.

Комната их к этому времени уже изменилась. На столике появилась клеёнка, воду кипятили в новом чайнике, заваривали чай в маленьком круглом пузанчике с острым носом и разливали в немецкие белые кружки со стенками толщиной в палец: их нельзя было разбить. Всё это привезла Надя уже после того, как Дмитрий Алексеевич сам привёл её в комнату и представил профессору.

Теперь она входила смело и тихонько, чтобы не помешать изобретателям, ставила что-нибудь на стол: какую-нибудь мелочь, вроде хорошей, прочной сахарницы. Дмитрий Алексеевич хотел было возразить против этих покупок, но не смог, потому что всё Надя делала разумно и всё было недорого и нужно. Покупая эти вещи, она помнила о характере их будущих хозяев. В магазинах, конечно, ею руководила та, хитрая, которую она видела в зеркале.

Это её голос подсказал Наде однажды купить для Дмитрия Алексеевича сорочку и галстук. Развернув небрежно брошенный Надей на стол свёрток, Дмитрий Алексеевич вспыхнул — и она тоже. Но потом он внимательно посмотрел — сорочка была из какого-то сверхпрочного кручёного шёлка — и подумал: «Эта штука переживёт всех нас!» За время невзгод у него выработалась непобедимая страсть к надёжным, долговечным вещам. И если дух его в таких случаях ещё протестовал, то рука в открытую брала подарки. Поэтому он не сумел рассердиться. И та, сумасшедшая, хитрая, на миг торжествующе проглянула из глаз Нади, пошла в наступление, и Дмитрий Алексеевич был побеждён!

Пишущая машинка Нади стояла теперь тоже здесь на столе или отдыхала на полу в футляре. Для неё наконец нашлось верное, постоянное дело. Надя взяла на себя заботы по переписке Дмитрия Алексеевича.

С профессором у неё сложились особые отношения. Когда она первый раз, впереди Дмитрия Алексеевича, вошла в комнатку, старик поднялся, обомлев. Дмитрий Алексеевич представил Надю. «Мы уже знакомы», — сказала она, и профессор ответил, что да, он уже имел счастье... Он о чём-то догадывался, старался быть незаметным, а если бросал на неё случайный взгляд из-за чертёжной доски, то это был взгляд весёлый и разоблачающий, и Надя чувствовала приятное смущение, слегка розовела.

В первых числах февраля Дмитрий Алексеевич дал Наде пачку листов, исписанных крупным, решительным почерком.

— Перепечатайте, пожалуйста, в четырёх экземплярах. — Он сказал это так, как говорят секретарю, и старался не смотреть на неё.

Через пять дней весь текст был отпечатан. Получилось двенадцать страниц. Письмо было адресовано в несколько высоких инстанций и заканчивалось такими словами: «Посмотрите на номер этой жалобы, подумайте, что он означает, и вызовите меня хотя бы для пятиминутной беседы».

— Согласны с текстом? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Согласна, — шепнула она.

В письме Лопаткин скупо перечислил все свои надежды и разочарования, начиная с первого дня, когда он сдал маленький чертёжник в бюро изобретений музгинского комбината.

— Лучше нет способа приобщить вас к нашей борьбе, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Эти письма вы сами отнёсёте и сдадите в соответствующие окошки. А ответ мы получим от одного из референтов Шутикова или от научного сотрудника НИИЦентролита. Внимание! — Он засмеялся, и Надя вздрогнула. — Прошу запомнить день, сегодня седьмое февраля. Надежда Сергеевна, я вручаю вам это. Занесите, пожалуйста, в реестр. Это будет у нас жалоба номер...

— Сорок шесть, сорок семь и сорок восемь, — сказала Надя.

— Я теперь знаю, — вполголоса сказал Дмитрий Алексеевич старику, — надо посылать письма сразу в несколько адресов. Надо бить не по одной цели, а по площадям... дробью... Так мы скорее нащупаем...

Надю поразило то, что он говорил эти невероятные слова спокойным тоном, словно это была не шутка, а обычное деловое замечание.

Через несколько дней пришёл ответ в красивом специальном конверте.

— Распечатайте сами, — резко сказал Дмитрий Алексеевич, не отрываясь от работы.

Надя разрешила конверт. Там был вложен бланк: «Ваша жалоба направлена в... (здесь чернилами было вписано: «НИИЦентролит») для рассмотрения по существу». В этот же день Надя получила ещё два бланка. Жалобы были направлены — одна министру и вторая — в НИИЦентролит.

— Они даже не прочитали до конца, — удивилась Надя. — Что же это такое?

— Равнодушие, — отозвался старик со своего рабочего места. — Пережиток капитализма.

Надя громко засмеялась, и Евгений Устинович, удивлённый, высунулся из-за чертёжной доски.

— Муж часто говорит такие слова! — Она, всё ещё смеясь, покачала головой и стала подшивать бланки в папку входящих бумаг.

— Надежда Сергеевна... — подбирая слова, недовольным тоном возразил старик. — Вы несколько поверхностно и, я бы сказал, книжно понимаете это дело. Книжки — одно, а жизнь — другое. Книжки, знаете, отражают жизнь, но не всегда прямо — иной раз и наоборот. Пережитки существуют. Иногда они, правда, не похожи на то, что мы читаем в книжках. Но жизнь — она имеет много тайных, не исследованных сторон, в отличие от явных. Вот взять, скажем, кого бы... Ну, возьмём кровельщика из нашего домоуправления. Получает он четыреста рублей, у него есть жена и ребёнок, но он не уходит на завод, потому что здесь у него уйма свободного времени. По утрам он во дворе делает матрацы, а по воскресеньям организует частное предприятие из таких же, как он, кровельщиков и подрабатывает — строит и красит гаражи для владельцев «Побед». Недавно он купил телевизор. Вот вам два лица одного человека. Теперь возьмём нашего соседа — инженера Ба-крадзе. Он зарабатывает гораздо больше, чем кровельщик, и у него нет семьи. И всё-таки ему везут из Абхазии фрукты и лавровый лист. Их он продаёт на базаре! Вот вам его второе лицо. Пойдём дальше... Возьмите начальника вот этой канцелярии, который отослал нашу жалобу и не прочитал её. Он не спекулянт. Нет! Начальник этот иногда произносит даже речь. О чуткости и демократии. Но если бы он был чуток, если бы он наслаждался процессом защиты правых и наказания виновных, ему пришлось бы работать, вертеться, как белка в колесе! Потому что только по одной нашей жалобе ему хватит работы на месяц. А жалоба-то не одна! Ему пришлось бы ночами не спать и разрабатывать схему такого разбора жалоб, где было бы всё учтено. Чтобы жалоба на Авдиева не попадала к Авдиеву! Прощай дача, прощай рыбалка, футбол — или он запустил бы хозяйство и был бы снят! А хозяйство у него, если вы туда заглянете, в полном ажуре. Всё в ящичках, картотечках и красиво расположено — как клавиатура у баяна. И он играет на этом баяне. И может прекрасно наслаждаться личной жизнью, без тревог, без страданий, без боли. А речи говорит о чуткости! Вот опять две стороны — скрытая и явная!

— Да, — сказала Надя задумчиво. Она вспомнила Дроздова. Вот ответ на его бесконечные речи!

— Так что вот, Надежда Сергеевна, вот он каков, пережиток капитализма в его естественных условиях. Ты можешь загородиться от него четырьмя стенами и стены оклеишь плакатами, перестанешь с ним бороться, будешь довольный сидеть, гордый своей непогрешимостью, а он уже в тебе! Проник!

Такие речи звучали в этой комнате довольно часто, причём Евгений Устинович всегда с удовольствием поворачивал их в конце, чтобы на богатом фоне показать Наде ещё одно достоинство Дмитрия Алексеевича. Лопаткин молча дарил старику один из своих хмурых, угрожающих взглядов. Надя, как ученица, скромно слушала. Но та, другая, прыгала в ней, вырывалась наружу, а Евгений Устинович ей-то и адресовал свои немного старомодные хитрости.

То же существо, своевольное и злое, заставляло Надю каждый раз, когда она собиралась навестить своих друзей в Ляховом переулке, надевать что-нибудь новое *попроше*. Если вчера она приходила в стареньком темносинем жакете, на фоне которого нежно выделялся цвет её шеи, то

сегодня жакет отдыхал. Сегодня на ней были: узкая чёрная юбка и белая тонкая кофточка, которая Наде раньше не нравилась тем, что в ней ужасно торчала грудь. А назавтра вместо кофточки был сиреневый пружинистый свитер — он целомудренно сжимал все выпуклости, и шея в нём казалась тоненькой, талия — почти такой, как шея, зато волос как будто прибавлялось вдвое!

Дмитрий Алексеевич не знал, что эти превращения Нади имеют связь с её *простой* одеждой, что это обычный обман зрения. Ему казалось, что это в его душе разыгралась новая магнитная буря, и компас его потерял свой север и свой юг. Он сурово молчал перед чертёжной доской. Но каждое появление Нади ударило его неожиданностью, путало мысли, и он грыз карандаш, стараясь сосредоточиться, ругая только себя. А Надя совершенно спокойно ставила на стол машинку и, прикусив губку, начинала искать нужные клавиши, и в комнате раздавался уже привычный неуверенный стук.

На жалобы ответов больше не было, и даже Евгений Устинович, знающий всё наперёд, начал удивляться, потому что *цикл* ещё ведь не закончился. Он должен был завершиться обстоятельным ответом с несколькими пунктами, доказывающими, что машина Лопаткина дорога, неэкономична, малопроизводительна, опасна в работе и по идее своей не нова. И, конечно, «сложна и громоздка».

В двадцатых числах февраля, когда Надя пришла однажды под вечер, Дмитрий Алексеевич, грустно усмехаясь, передал ей новый документ, держа его с усталой небрежностью: между указательным и средним пальцами.

— Зарегистрируйте, пожалуйста, этот... входящий.

«Гражданину Лопаткину Д. А., — было напечатано на белой глянцевой бумаге. — С получением сего предлагается Вам 21-го февраля с. г., в 11 час. утра явиться в прокуратуру района, комната 9, к помощнику прокурора тов. Титовой для объяснений по касающемуся Вас вопросу».

Надя прочитала, опустила глаза и молча раскрыла свой реестр.

Дмитрий Алексеевич был готов и к такому обороту дела, знал, что сумеет ответить на любой вопрос, и его грустный, усталый взгляд был вызван не страхом перед возможными превратностями судьбы. Он просто увидел в это утро бесконечно далёкую дорогу с одинаковыми путевыми столбами, на которых были цифры: 33, 34, 35... — знакомые цифры, потому что ему скоро должно было стукнуть 33. Где-то в конце этой дороги стояла его готовая машина. Но какой номер был выбит там, на столбе?

Эта грусть вдруг вошла в него тихой иглой, а когда он взглянул на Надю, пронзила и её. Но сам он — суровый, тренированный путник — нахмурился, стал темнее тучи, подбросил котомку на плече повыше и побрёл дальше: не назад, а вперёд. А Надя омертвела. Она ничего не сказала ему. И только позднее, через два часа, когда Лопаткин провожал её по тёмному Ляхову переулку, она вдруг взяла его под руку и остановила.

— Дмитрий Алексеевич... Зачем они вас вызывают?

— Кто они? — Он усмехнулся. — Я полагаю, что это Авдиев хочет уточнить наши отношения.

— И вовсе не к чему шутить так. — Она обиделась, и в темноте блеснули её слёзы. — Я вас серьёзно спросила...

— Надежда Сергеевна, — он машинально положил руку ей на плечо и сразу отдернул, — жаль, что вы не можете понять, насколько серьёзно я вам ответил. Это очень серьёзно...

Двадцать первого февраля, выбритый, в новом галстуке, Дмитрий Алексеевич постучался и вошёл в ярко освещённый зимним солнцем кабинет к помощнику прокурора Титовой. Это была строгая, коротко остриженная женщина, в коричневом пиджаке с зелёными кантами и белыми узкими погонями. Перед нею на столе лежали дела в папках, а на делах — пачка

папирос «Беломорканал» и коробка спичек. Когда Дмитрий Алексеевич вошёл, она глуховатым голосом пробираала кого-то по телефону, курила и, не глядя, стряхивала с папиросы пепел куда-то в сторону, на какое-то дело.

— Перестаньте мне голову морочить, товарищ эксперт... Перестаньте. Дядя Коля... экспертиза эта у вас займёт от силы четыре часа.

Окончив разговор, она положила трубку, быстро и недобро взглянула на Дмитрия Алексеевича, сказала: «Садитесь» — и закурила новую папиросу.

— Так что же, товарищ... Лопаткин, кажется? Да, Лопаткин. — Она переложила на столе дела, нервно забарабанила рукой по столу, встала, отошла к окну. — Так что же это получается, товарищ Лопаткин? — сказала она, глядя в окно. — Одни двигают вперёд советскую науку, промышленность, творят, а другие охаивают? А?

Дмитрий Алексеевич не ответил, только посмотрел на неё с интересом.

— Так получается? — Она опять села за стол и опять переложила дела.

— Я никого не охаиваю, — спокойно возразил Дмитрий Алексеевич. — Вы неверно информированы.

— А это что? Что же тогда это? — Она раскрыла папку и подала Дмитрию Алексеевичу отпечатанные на машинке копии восьми или десяти его писем, заявлений, жалоб, написанных в разное время. Здесь же была и копия его письма в редакцию по поводу статьи Шутикова. Письмо попало в институт, а «эксперты» отослали его сюда.

— Это жалобы, — тихим, ровным голосом ответил Дмитрий Алексеевич. — Критика.

— Есть критика и есть клевета на честных людей.

— Совершенно верно, — ответил Дмитрий Алексеевич. Не выдержал и улыбнулся ей в суровое лицо. — Кто же нам определит, что есть клевета?

— В прокуратуру поступила жалоба от группы учёных...

— Ах, понимаю. Разрешите ознакомиться?

— Ознакомьтесь. — Она подала ему эту жалобу, отпечатанную на восьми листах, причём половину последней страницы занимали подписи.

Дмитрий Алексеевич неторопливо, внимательно прочитал её, поднимая бровь, когда ему попадались особенно крепкие выражения — «беспрецедентная вылазка», «с непонятным рвением» или «вынуждены искать защиты у советского закона».

— Ну как, нравится вам? — спросила Титова.

— Недурно составлено, — сказал Дмитрий Алексеевич, немного обескураженный, потому что за один раз принял на себя целый заряд таких слов, как «матёрый клеветник», «лженоватор» или «вымогатель». Он помолчал, потом кивнул Титовой: — Ничего, подходяще.

— А вот *нам* это не нравится, товарищ Лопаткин. — Титова впервые подняла на него глаза. — Нам это очень не нравится.

— Вы сами в этом виноваты, товарищи...

— Как это понимать?

— Простите, вы сколько лет работаете прокурором?

— Непонятно... Ну, допустим, восемь.

— А сколько вы привлекли к ответственности людей, зажимающих повое в технике? Ни одного? Так что же вы спрашиваете? Вот мы и жалеемся!

В тусклых глазах Титовой вдруг загорелся живой огонёк. Она улыбнулась на миг, поднесла ко рту папиросу и исчезла в белом дымном облаке.

— Вот вы им повернули! — Голос Дмитрия Алексеевича окреп, он подался к Титовой, вытянул вперёд худую кисть с мощными суставами. — А ведь все эти учёные — Авдиев, Фундатор, Воловик, Тепикин — едут на технике вчерашнего дня! Они, как тутовые черви, ткут из своей слюны

одежды для себя же. Вам, может, приходилось видеть на улице такую картину: стоит заграничный автомобиль с флажком. Как живая птица. Сияет весь... А вокруг него толпа наших... Приходилось? Так вот, я когда вижу это, у меня сразу начинается вот здесь жечь, вот тут, слева. Мне кажется, что если я ещё минуту постою там, посмотрю на это, то упаду и не встану. Это они, товарищ Титова, обрекают нас на этот позор. Монополия! Они не признают скачков — только ровное, еле заметное восхождение. И бьют всех инакомыслящих! А инакомыслящих уничтожать нельзя — они, как совесть, нужны тебе же!

— Значит, по-вашему, мы должны пощадить и врагов?

— Вот-вот! Они как раз и считают инакомыслящих врагами. В технике! Но какой же я враг? И ведь норовят кличку приклеить! Машина моя не нравится одному человеку, и они тут же что-то вроде вейсманизма-морганизма придумают — шлёп на спину, и пошёл человек гулять с пятном! А дело не так просто. Всё зависит от цели. Если вы преследуете ту же высокую цель разными способами, — спорьте! Ваш спор принесёт только пользу. Сравнение выбросит из жизни всех — и больших и малых иждивенцев. Имейте в виду, я уверен, что Авдиев не прав. Видимость правоты у него получается исключительно в силу его высокого положения.

Серые глаза Дмитрия Алексеевича зажглись туманной, бархатной темнотой. Он твёрдо клал перед Титовой каждое слово и подчёркивал его худым сильным пальцем. Он не объяснялся с прокурором, а был преподавателем в классе — учил и убеждал. И Титова уже не прятала улыбки, задумчиво курила и рассматривала этого странного агитатора с увядшими, тусклыми волссами.

— А мы с ними действительно враги. Мы не только иначе мыслим, но у нас и цели разные, — терпеливо, мягким голосом разъяснял Дмитрий Алексеевич. — Цели, цели разные. Я это говорю, находясь в полном душевном здравии. Они глядят уже не вперёд, а назад. Их цель — удержаться в кресле и продолжать обогащаться. А открыватель нового служит народу. Открыватель — всегда инакомыслящий, в любой отрасли знаний. Потому что он нашёл новую, более короткую дорогу и отвергает старую, привычную.

— Ну хорошо, — сказала Титова, помолчав. Папироса её погасла. Она взяла новую. — Всё это верно. Ближе к делу. Что вы скажете по существу?

— Конечно, отвергаю! И обвинения и обвинителей. На мои жалобы должен быть один ответ: надо построить машину и проверить, кто из спорщиков прав. Но они боятся диспутов и экспериментов. Здесь — смерть для них. Они сразу к прокурору! Прошу вас, товарищ Титова, иметь в виду, что есть ещё группа учёных, которые поддерживают меня. Но они, увы, в меньшинстве.

— Хорошо. Проверим. — Титова вздохнула, поднялась. — Вот рядом стол, сядьте и напишите объяснение. Только, пожалуйста, — она улыбнулась, — пожалуйста, ближе к фактам.

Через час объяснение было готово. Дмитрий Алексеевич вручил его Титовой. Пожал её твёрдую, сухую руку и вышел из ярко освещённого кабинета в полумрак коридора. Здесь сразу же кто-то мягко ткнулся ему в грудь. Глаза его привыкли к полумраку, и он прямо перед собой увидел большой серо-голубой берет Надежды Сергеевны.

— Вы меня извините, Дмитрий Алексеевич, — тихо сказала она. Вскинула глаза и опустила. — Я очень, наверно, дурная!..

Дмитрий Алексеевич оглянулся по сторонам, чтобы удержать неожиданные слёзы. «Чёрт, что-то стало с нервами», — подумал он. Быстро прижал к себе её берет, они взглянули друг на друга и счастливо рассмеялись. И с этим счастливым смехом Надя крепко взяла Дмитрия Алексеевича под руку, встряхнула его, и они пошли — быстро, в ногу, молча — из ко-



ридора на лестницу, вниз, по улицам, по переулкам. И оба со страхом чувствовали, что в их отношениях произошёл какой-то новый сдвиг.

В этот же вечер она написала письмо в Музгу — Валентине Павловне. Письмо начиналось такими словами: «Милая Валентиночка Павловна, я встретила и, кажется, полюбила вашего, вы знаете кого. Я не знала любви, теперь я знаю и понимаю вас. И знаю, что вы мне простите это — ведь я не виновата. И, кроме того, меня постигла ваша участь — он признаёт только дружбу...» Тут Надя бросила ручку и покраснела от счастливой надежды, вспомнив, что было три часа назад, — свою короткую дивную прогулку с ним после визита в прокуратуру.

## 9

Она решила позвать их к себе в гости. Именно их, потому что она знала, что один, без товарища, Дмитрий Алексеевич к ней не пойдёт. Ей хотелось сделать так, чтобы было похоже на простой, человеческий выходной день. Посадить их на диван, заварить покрепче чай, поговорить с ними (с ним!) так, чтобы не было поблизости чертёжной доски, и, может быть, даже сыграть что-нибудь на пианино.

Эта мысль несколько дней не давала ей покоя. Надя разработала подробный план, но он чуть было не провалился: у Дмитрия Алексеевича тоже был план, где надин вечер не значился. Выручил профессор — он вспомнил какой-то давний разговор о необходимости *жить* и о том, как опасна чрезмерная сосредоточенность. Дмитрий Алексеевич нехотя согласился. Он чего-то опасался и, дав согласие, нахмурился.

В назначенный вечер они позвонили — чисто выбритые, молчаливые. Вошли и остановились в передней, не отходя друг от друга даже на полшага, — не привыкли ходить по гостям. Весёлая, нарядная Надя отобрала у них шляпы, повесила их пальто, и в эту минуту профессор наступил Дмитрию Алексеевичу на ногу и поглядел на вешалку. Там висела хозяйственная сумка, сделанная из множества кожаных треугольничков. Сумка эта произвела впечатление. Дмитрий Алексеевич оглянулся на Надю и сказал: «Гм, да...»

Собственно говоря, он и раньше догадывался кое о чём — ещё тогда, когда Надя начала приносить к ним свои обдуманнные недорогие подарки. Но тогда это были неуверенные догадки, подозрения. Сумка — другое дело: даже профессор вытаращил на неё глаза, а он знал цену доказательствам.

— Раз попали на след — хватайте скорее своего шпиона! — тихо прогудел Дмитрий Алексеевич и опять оглянулся — не слышит ли Надя. Но её не было в передней. Она убежала на кухню и там негромко разговаривала с недовольной басистой старухой.

Потом Надя вернулась. Гости прошли в её комнату и рядышком сели на диван. Николашка стал посматривать на них из-за стула круглыми глазами. Дмитрий Алексеевич погрозил ему пальцем, мальчик посмотрел на мать, бровки его поднялись жалобными свечками, и он заплакал.

— Ничего, ничего, милый. — Надя, взяв его на руки, стала успокаивать. — Это хороший дядя.

— Это очень хороший дядя, — подтвердил Евгений Устинович.

Надя посадила сына в кроватку, и он громко заревел, так, что пришлось его опять пустить на пол. Он сразу спрятался за стул, сунул палец в рот и стал смотреть на дядю.

— Надежда Сергеевна, — заговорил профессор. — Мы вот беседовали часто о вас, так сказать, обо всём... и о других, некоторых ваших загадочных поступках, которые нам известны, — кто вы такая?

Надя у стола передвигала тонкие пузатенькие чашки. Она быстро обернулась, некоторое время молча смотрела на старика. И просто ответила:

— Я неоплатная должница Дмитрия Алексеевича.

В это время Николашка, осмелев, вышел из-за стула и даже шагнул в сторону дяди. Дмитрий Алексеевич пальцами показал ему «козу рогатую», и мальчишка, сверкнув глазами, бросился за стул.

Надя стала наливать чай. Первую чашку она, конечно, подала Евгению Устиновичу, и профессор чуть заметным наклоном головы выразил ей свою признательность.

— Вы мне всё больше нравитесь, Надежда Сергеевна, — сказал он.

— Накладывайте варенье, оно вкусное. — Надя подвинула к нему вазочку.

— Ах ты, разбойник! — сказал в это время Дмитрий Алексеевич, сделав Николашке грозные глаза. Тот запрыгал, затопал от страха и удовольствия, скрылся и опять выглянул.

— Бесстыдница! — мужским басом сказала старуха в коридоре, прямо как будто в замочную скважину. И прошла, шлёпая подошвами домашних туфель. Но в комнате никто не дрогнул, не остановился, не шевельнул бровью — потому, должно быть, что сидели здесь люди, достаточно испытанные жизнью.

— Я люблю такой чай, — сказал старик. — Вы хорошо завариваете. Но я как-нибудь вас научу одному секрету. Правда, крепкий чай опасен: у вас прекрасный цвет лица.

— Если бы вы знали, как я о нём забочусь...

— И не надо! Там, где щедро позаботилась природа, нет нужды в слабых человеческих усилиях, — с рыцарским, чуть заметным поклоном сказал старик и подвинул к чайнику свою уже пустую чашку. Дмитрий Алексеевич весело поднял брови, а Надя с подобающей учтивостью поблагодарила рыцаря и налила ему крепкого чаю.

— Благодарю вас. — Евгений Устинович принял чашку из её рук и продолжал, не забывая о варенье: — Я часто задумывался о природной, физической красоте человека...

— Такой красоты нет, — проговорил вдруг Дмитрий Алексеевич.

— Мирон, Фидий и Пракситель дали нам прекрасные образцы, которые...

— Вы не ссылайтесь на авторитеты, — смеясь, возразил Дмитрий Алексеевич. — Большинству людей нравятся не красивые, а *симпатичные*. Это слово и появилось для того, чтобы подчеркнуть разницу между правильностью черт лица и внутренней, духовной красотой.

— А почему же мы ошибаемся? — спросила Надя каким-то тихим, упавшим голосом. — Встречаем человека с некрасивой наружностью, он пленяет нас своей внутренней красотой, а потом оказывается, что и её нет!

Дмитрий Алексеевич сразу понял, о каком человеке она говорит, и задумался. Нужно было ответить так, чтобы Надя не заметила своего нечаянного саморазоблачения, чтобы не смутилась.

— Есть частные отклонения от закона... — ответил он и опять замолчал. — Есть огромная шкала отклонений...

— А мой, мой пример? — спросила Надя. Она поняла осторожность Дмитрия Алексеевича и взглядом разрешила ему говорить всё.

— Влюблённый характер надевает брачный, праздничный наряд — играет всеми красками, — сказал Евгений Устинович и с одобрением взглянул на Надю.

— В таких случаях бывает полезно посмотреть, как этот человек ведёт себя в отсутствие «её», — добавил Дмитрий Алексеевич. — Какое он с другими людьми. Многого открывается...

— Да, — сказала рассеянно Надя. — Это верно. Открывается многое.

Потом она подняла глаза и, не отрываясь, стала смотреть на Дмитрия Алексеевича, как бы проверяя своё отношение к нему. Дмитрий Алексеевич узнал этот взгляд и отвёл глаза: в Надю словно переселилась ласка

и преданность Валентины Павловны. Он опять взглянул на неё и опять отвёл взгляд — она всё так же мягко и преданно смотрела на него.

— Этот вопрос иногда бывает неразрешимым даже для весьма точных людей, — сказал Евгений Устинович, как бы очнувшись. — Или поздно разрешимым... Один такой молодой человек, очень, как мне кажется, внутренне одарённый, однажды ехал в поезде... Нет, начнём не так. Была у меня знакомая, которая мечтала выйти замуж. И вот как-то в поезде в неё влюбился некий молодой человек. Да так решительно, что предложил ей сойти с поезда и ехать к нему, стать его женой. Она: «Как же? Как это так, сразу?» Обывательница, и притом москвичка, а тут надо было сойти где-то в Белгороде, на другом конце земли. Небось, там и хлеба-то нет, подумала она, и отказалась. А он ей нравился, и весьма. И так они растались, и она жалела об этом очень долго. И сейчас, по-моему, жалеет. Между прочим, так и осталась в девах. И он, конечно, жалел. А если бы я его встретил, я сказал бы: это ваше счастье, что вам не удалось её убедить. Вашей женой будет та, которая с радостью, смело прыгнет с вами со своего поезда. Это я хочу сказать и вам, Дмитрий Алексеевич, на тот предмет, чтобы вы не очень преследовали бедных обывателей. Пускай себе живут, думают о своих тряпках, о своих капитанах... Не мешайте им. Да, кстати, — профессор вдруг подвинулся на диване к маленькой этажерке, сплошь набитой книгами. — Это у вас Бальзак? Ага! — Взяв одну из книг, он раскрыл её, потом опомнился, поискал близорукими глазами свою чашку, придвинул к себе чашку Нади и отхлебнул глоток. — Ага! Это «Утраченные иллюзии»! Ах, как я люблю эту вещь, здесь есть чудеснейшие места! Это настоящая, большая литература!

Дрожащими пальцами он стал перелистывать книгу, а Дмитрий Алексеевич и Надя вдруг остались наедине.

— Сыграть вам что-нибудь? — спросила она тихо.

— Да, да, — согласился Дмитрий Алексеевич, словно пригибаясь под её взглядом.

— Что же вам сыграть?.. — Она подошла к пианино и, открыв его, стала играть. — Вы знаете, что это?

Дмитрий Алексеевич узнал. Это был Второй концерт, вторая часть. То место, где начинается грустное раздумье героя, где Шопен, верящий, что есть на свете человек, открытый для звуков, рассказывает ему о том, как иногда бывает нелегко и как прекрасно сочувствие друга...

Если бы Дмитрий Алексеевич в эти минуты поднял глаза, он увидел бы за пианино странное существо, очень похожее на Надю, которое, грустно сняя, смотрело прямо на него. Но он не поднял глаз. Он собрал на лбу резкие морщины и даже опустил голову, глядя словно бы под стол.

— Повторите, пожалуйста, это место, — попросил он.

И Надя повторила — ещё и ещё раз, потому что и самой ей это место нравилось. Она *размышляла* для Дмитрия Алексеевича, и, с мягкой силой нажимая на клавиши, она глядела на него, как бы говоря ему звуками то, чего не могла сказать словами. И он слушал, понимал эти звуки почти так же. Но где-то чувства его и Нади расходились врозь. Ему казалось, что это его умершая в одиночестве мать, забыв о своих горестях, с лаской смотрит на него, роняя слёзы, радуясь на своего большого и такого славного единственного сына...

— Вот! — перебил их профессор, и Надя остановилась. — Прекраснейшее место. — И он стал читать, не замечая улыбок Дмитрия Алексеевича и Нади: — «Не все изобретатели отличаются хваткой бульдога, который издохнет, но не выпустит из зубов добычи». Каково сказано? Какая сила! — Тут он взглянул на Дмитрия Алексеевича, на Надю, увидел их улыбки. Сказав «эх!», он потряс книгой и опять сгорбился на диване. Он и в литературе понимал только то, что относится к изобретателям.

Надя мягко опустила руки на клавиши.

— Я знаю, что вам нравится, — сказала она. — Вам нравится вот это!

И, сжав губы, ударила по клавишам — это было то место, где после минутной слабости герой, выпрямясь, бросается вперёд. И Дмитрий Алексеевич через несколько секунд сам, почти неслышно, угрожающе загудел, исполняя партию оркестра, помогая герою.

Битва кончилась, Надя опустила руки, и Дмитрий Алексеевич на этот раз не попросил её повторить, потому что такие вещи повторять нельзя. Наступила тишина.

— Ах ты, асбойник! — отчётливо раздалось вдруг около дивана. Это Николашка подошёл наконец к дяде. Он уже несколько раз трогал его колено и теперь тербил его, приглашая поиграть.

— Ага-а! — Дмитрий Алексеевич, рыча, схватил малыша, поднял, посадил к себе на колено и открыл рот, чтобы проглотить. Николашка зажмурился, но всё же хихикнул, показав редкие молочные зубки. Потом уселся у Дмитрия Алексеевича на колене и стал серьёзно рассматривать большого дядю и щупать его пуговицы.

— Он вам теперь покоя не даст! — сказала Надя и стала тихонько наигрывать что-то незнакомое: она задумалась.

— Вот! — закричал торжествующий Евгений Устинович. — Да слушайте же вы! Дмитрий Алексеевич, ваши слова! «Куэнте наживутся на моём изобретении; но, в сущности, что я такое в сравнении с родиной?.. Обыкновенный человек. Если моё изобретение послужит на пользу всей стране, ну что ж, я буду счастлив!»

Отхлебнув из надиной чашки, старик опять словно исчез из комнаты, и тогда-то, под тихий говор пианино, щекоча носом затылок Николашки, Дмитрий Алексеевич вдруг спросил себя: «Что же это я? Зачем?» И он увидел Жанну, её слёзы и растерянность. Он любил её когда-то, любит и сейчас, и нельзя же так просто изменить ей и бросить девчонку, которая никак не найдёт себе места! Она погибнет! Там сейчас же этот капитан... женится, купит ей чернобурку и заставит целыми днями вышивать салфеточки... «Но почему же меня тянет к этой, к той, что вон там сидит?.. Она позвала меня в гости, и я обрадовался!» И он хмуро взглянул на Надю. Она прочитала его мысли, сразу опустила глаза — тише воды — и продолжала играть.

«Мы не поздно засиделись? — кашлянув, показал он ей рукой и бровями. — Не мешаем начальству отдыхать?»

«Начальства нет дома», — покачала Надя головой. И, не переставая играть, шёпотом добавила:

— Уехал в Музгу. Машину строят.

«И он?» — показал бровями Дмитрий Алексеевич.

— Неофициально, но уже возглавил, — отчётливо сказала Надя.

«Надо поторапливаться», — подумал Дмитрий Алексеевич и вдруг неожиданно для себя встал, чуть не уронив Николашку. Он спешил к чертёжной доске, и ничто не могло его задержать.

В середине марта Дмитрий Алексеевич закончил свой новый проект. Это было вечером. Он встал, схватился за стойку чертёжного станка, крепко потянулся, сдвинув станок с места, и впервые за несколько месяцев ясно улыбнулся Наде.

— Всё, — сказал он и, выйдя на середину комнаты, взял утюг и стал им размахивать. — Теперь опять начнём канитель. Заново! Начнём новую, прекрасную, многолетнюю канитель! — весело запел он, крутя утюгом. — Завтра мне стукнет тридцать три года. Дядя Женья, — крикнул он, — я теперь тоже не маленький — шесть лет в изобретательском строю!

— Давайте маршируйте! — отозвался профессор. — Дизель говаривал...

— Я знаю, что он говаривал! — Лопаткин перехватил утюг другой рукой. — В этих словах страшна усмешка. Она действительно страшная. А смысла ведь нет. В жизни — наоборот, чем старше, тем всё больше надежд... Шансы увеличиваются, и надежд всё больше. Они-то нас и затягивают и затягивают в это дело.

— А вы были когда-нибудь стариком? — спросил невинным тоном Евгений Устинович. — Не были? То-то...

— Вы тоже надеетесь, Евгений Устинович, — сказала Надя. — Вы, я знаю, любите выпить, а пьёте редко. Это — доказательство номер один...

— Надежда Сергеевна, пить нельзя, когда у тебя в руках ценность, которую ты должен передать... так сказать... народу.

— Ага, значит, вы всё-таки надеетесь передать!

— Нет, я уверен, что не передам. Но, пока я живу, я должен беречь... Это главная часть моего существа. Человек ведь состоит из двух частей: из физической оболочки — она обязательно умрёт, о ней нечего жалеть, — и из дела. Дело может существовать вечно. Если когда-нибудь попадёт к людям...

— Евгений Устинович! — Лопаткин сказал это торжественно. — Если только я вручу, вторым моим делом обязательно будет ваш...

— Не клянитесь. Вы поклялись — и уже испытали бесплатное удовольствие помощи ближнему. И вас авансом поблагодарили. — Старик привстал и поклонился. — Так что второй раз получать то же самое вы, может быть, и не захотите. Тем более, что за повторное удовольствие придётся платить: исполнять клятву!

— Хорошо. Беру свои слова обратно...

— Не клянитесь, — повторил профессор, вынимая из пресса глиняный кубик. — А в особеннности при людях. Публичная клятва доставляет больше удовольствия, но зато потом человек думает не о долге, а о процентах, о том, что люди помнят его клятву. Заверения даже в любви...

— В любви действительно нельзя клясться. Это правда, — сказала Надя. — Надо просто любить. Но клятвы так приятно слушать!

— Человеку любящему или ненавидящему, пожалуй, верно, не нужна парадная присяга, — согласился Дмитрий Алексеевич.

— Я вижу, все согласны, — продолжал Бусько. — И это действительно так. Дмитрия Алексеевича, например, никто не заставлял быть верным его идее. Надежда Сергеевна печатает ваши, Дмитрий Алексеевич, жалобы, хотя никто не отбирал у неё никаких клятв. Больше того. Она даже нарушила некоторые формально принятые обязательства, потому что в этих жалобах встречается фамилия Дроздов, и скоро люди начнут говорить о том, что она отступила от человеческого закона.

— Уже начинают, — шепнула Надя задумчиво, водя пальцами по клавишам машинки. Старик испуганно уставился на неё.

— Надежда Сергеевна! Это вы обо мне? Если я первый это сказал — простите! Ведь я вас понимаю и говорю с вами, как с собой!

— Нет, Евгений Устинович, — Надя очнулась, — я совсем о другом. — Она глубоко вздохнула. — Ах, я совсем, дорогой Евгений Устинович, о другом...

— Так вот, товарищи соратники, не клянитесь. Если вы всё-таки захотите дать большой обет — делайте это один раз в жизни и при этом молча, и чтоб это не было похоже на спектакль. Поднимитесь куда-нибудь повыше, чтобы оттуда была видна вся земля, и молча примите решение. В этом случае вас хоть будет беспокоить совесть, боязнь того, что вы станете трусом, мелким человеком.

Наступило молчание. Дмитрий Алексеевич, опустив голову, ушёл на свою половину и там молча стал складывать чертежи — лист, газета,

опять лист — и так до конца, все четырнадцать листов. Потом, сосредоточенно напевая, он свернул всё это в толстую трубу и перевязал обрывком шпагата. Надя, двигая гибкими русыми бровями, следила за его суровыми ухватками, смотрела исподлобья с таким выражением сдержанной любви, что профессор оставил свою работу, направил на неё туманные очки, втянул голову и притих.

Похоже было, что Надя в молчании давала в эту минуту свой большой обет — но ей не требовалось подниматься на высокое место, чтобы увидеть всю землю: она давала обет не перед землёй, а перед человеком.

На следующий день ближе к вечеру, когда зажгли электричество, Надя опять пришла. В руках у неё был громадный свёрток, перевязанный вдоль и поперёк шпагатом. Дмитрий Алексеевич взглянул и чуть заметно поморщился — должно быть, Надя опять принесла дары, и он чувствовал, что надвигается решительная минута объяснения, неприятного и для него, а для неё в особенности. Плохо, когда человек не знает меры!

Надя сняла берет, сняла своё чёрное пальто, мокрое от мартовского снега, и оказалась в кофточке из нежного пуха живого зелёного цвета. Кофточки эти — с очень короткими рукавчиками — в то время только лишь начинали входить в моду среди девушек танцуплек. Причём мода эта шла не своим обычным путём, а наоборот, перелетев из-за границы, сперва проросла на периферии, эпидемией разразилась в Музге и лишь затем проникла в Москву. Голые почти до плеч, младенчески нежные руки и рядом тёплый, толстый пух, июль и январь, — нужна была большая смелость, чтобы зимой продемонстрировать где-нибудь в клубе подобное сочетание. И на Наде эта кофточка оказалась, конечно же, по вине той сумасшедшей, которая в последнее время опасно осмелела. Поэтому, сняв пальто и почувствовав на себе суровый взгляд Дмитрия Алексеевича, Надя вспыхнула чуть ли не до слёз, призвала всё своё мужество и, чувствуя себя голой перед двумя мужчинами, пронесла свой громадный свёрток к столу и там стала с досадой ножом разрезать на нём верёвочные путы.

— Это что — ещё подарок? — спросил Дмитрий Алексеевич, кладя руку на свёрток.

— Пожалуйста, не говорите ничего! — Надя взглянула на него и сразу же опустила глаза.

«Хорошо. Помолчим», — сказали упрямые глаза Дмитрия Алексеевича. И в тишине Надя опять стала резать и разрывать прочные шпагатные путы. Потом она остановилась и, обращаясь к обоим, сказала:

— Не смотрите на меня, пожалуйста. Я сделала ужасную глупость, надела для праздника вот это... Это музгинские девчонки придумали такую моду.

— Должен сказать, что ваши музгинские девушки — неглупые создания, — вполголоса, в нос пропел Евгений Устинович.

Но тут назрели новые события. Надя, как капусту, развернула листы обёрточной бумаги и вытащила оттуда большой темнокоричневый портфель из той толстой кожи, которая идёт на кавалерийские сёдла. Ручка его была очень удобна и крепилась капитальными шарнирами из латуни.

Стараясь не смотреть на портфель, Лопаткин сказал:

— Надежда Сергеевна. Я не имею возможности возратить те деньги, что вы нам присылали, хотя долг этот мною записан. Но больше мы ничего от вас не примем. Давайте я вам помогу завернуть...

— Не торопитесь, — возразила Надя, упрямо наклонив голову. — Станьте ровнее. Евгений Устинович, идите сюда. Пусть он попробует... — И, торжественно шагнув вперёд, протянув портфель, она сказала Дмитрию Алексеевичу: — Поздравляю вас, товарищ изобретатель, с днём рождения! Пусть ваши проекты, которые вы будете носить в этом портфеле, пусть они будут одобрены...

— И пусть они надёжно служат народу, — добавил Евгений Устинович.

Так что и на этот раз Дмитрию Алексеевичу пришлось принять подарок Нади. Он открыл портфель, пощёлкал массивными замками и по-детски улыбнулся, потому что мужчины тоже любят игрушки. А Надя тем временем доставала из вороха бумаги маленькие свёртки в промасленном пергаменте, пакеты, пакетики, булки и, наконец, выставила одну за другой целых четыре бутылки вина.

— Я не знаю, кто что пьёт, — сказала она. — Вот это вино — кагор. Его люблю я. Вот это портвейн. Здесь ещё портвейн, другого сорта. А это напиток, который, как я слышала, пьющие называют вином, а непьющие — водкой. Я думаю, что не грех отпраздновать день рождения одного из нас, тем более, что он закончил вчера большую работу.

— Это верно, — согласился Евгений Устинович и суетливо стал убирать со стола. Вытер и без того чистую клеёнку, сбросил со стульев окурки и бегом унёс на кухню ворох бумаги. Затем он вернулся и, выставив вверх локоть, принялся откупоривать бутылки.

Наконец все приготовления были закончены, и друзья сели к столу, на котором в тарелках были разложены сёмга, чёрная икра, сыр, ветчина, масло и гора нарезанного хлеба.

— Ну что же, нальём? — спросила Надя. — Вы, Евгений Устинович, пьёте, конечно, *это*?

— Белое вино, — ответил профессор и, присмирив, подвинул свою чашку.

— А вы? Белое вино или водку? — спросила Надя Дмитрия Алексеевича и засмеялась. — Ох, знаете, я, кажется, уже пьяна!

— Мне немножко, — сказал Лопаткин, протянув свою чашку. — Довольно!

Но Надя ухитрилась налить ему немного больше и опять рассмеялась. Себе она налила полчашки кагора.

— Давайте выпьем по очереди за всех! — предложила она. — За именинника!

— Дмитрий Алексеевич, — сказал профессор и поклонился Лопаткину.

— Дмитрий Алексеевич! — И Надя, смеясь, повторила это движение.

Все выпили по-разному. Дмитрий Алексеевич — как воду и даже удивился, что столичная водка так слаба. Профессор побагровел, вытер слёзы и поскорее схватил заранее приготовленный спасительный бутерброд. Надя в несколько маленьких глотков выпила свой кагор и ни с того ни с сего рассмеялась в чашку.

— Что такое делается со мной, не знаю!

— Я сейчас вам объясню, — сказал Евгений Устинович, жуя. — Всё очень просто... Надежда Сергеевна. Вы сама — вино. Когда-то, гм... и я был таким, а сейчас вот... чтобы находиться в беседе на уровне вашего темперамента, я должен, я вынужден... это прекрасно тонизирует!.. — Взяв бутылку, он с грустным видом налил себе полчашки, сказал Наде: — За ваше вино! — и, выпив, припал к бутерброду.

— А вы что же мало едите? — спросила Надя, быстро взглянув на Дмитрия Алексеевича, и стала ему накладывать в тарелку всего, что было на столе.

— Он не ест по идейным соображениям, — быстро жуя, промолвил Евгений Устинович. — У него теория есть... Этот хороший кусочек следовало бы не ему... Дайте-ка его сюда, — и, пальцем сняв с надиной вилки кусок сёмги, профессор отправил его в рот, измазав жиром усы.

Надя звонко захохотала.

— Смотрите, что профессор делает! Какая же теория? Дмитрий Алексеевич!

— Никакой теории нет. Видите, ем! Всё будет съедено! Этот старый вульгаризатор сегодня ночью продолжал со мной спорить и докатился до того, что в красоте человека, говорит, внешность — решающее дело. Вы что же, не видели красавиц с собольей бровью? К которым не то что равнодушен — на них страшно смотреть! Он скоро скажет, что красоту составляет одежда! Собственный автомобиль!

Евгений Устинович посмотрел на него поверх очков, как старый барсук, на которого нападает неопытная такса.

— У Дмитрия Алексеевича есть теория о том, что пища и одежда — зло. Эта теория нас вполне удовлетворяла до тех пор, пока неизвестный агент не принёс нам в сумке из кусочков кожи... Разрешите мне эту бутылку, я хочу попробовать... Никогда не пил армянских портвейнов.

— Нет, вы скажите-ка Надежде Сергеевне ваше кредо!

— Моё кредо! Его придерживается громадное большинство.

— Нет! Это — кредо потребителя! Что, не верно?

Дмитрий Алексеевич поторопился, выразив недоверие к «столичной» водке. Он не поморщился, когда пил, и пустил в свою крепость опасного врага. Этот враг начал действовать — заставил его громко говорить. Дмитрий Алексеевич побледнел, как бледнеют от вина все истощённые, ослабевшие люди. Движения его стали точными и быстрыми, взгляд потемнел.

— Не кажется ли вам, — сказал он, пытаясь разрезать кусок ветчины, стуча ножом, — не кажется ли вам, что внешнюю красоту человека творит не столько природа, сколько сам человек, его характер? Глупо жадный, невоздержанный, ленивый, слабовольный чаще всего бывает толстым. Видящий весь смысл жизни в приобретении земных благ имеет особый «земной» вид...

— Подождите... — возразил было профессор, но в эту минуту Надя закричала: «Выпьем за красоту!» — и он благоговейно опустил седую голову и подал чашку.

Дмитрий Алексеевич второй раз выпил свою водку — словно допил чай — и продолжал наступление.

— Разве не правда, что первый взгляд, брошенный на человека, даёт нам часто верное представление о нём! Хоть и подсознательное? А? Вот вы меня с первого взгляда поняли, даже сказали что-то насчёт лица и паспорта! Помните? То-то. По улице, дорогой Евгений Устинович, идут не шубки, не глазки, а сплошные характеры!..

— Дорогой... Дмитрий Алексеевич! Ведь вы совсем другой человек! Вы что-то и в музыке понимаете, способны, во всяком случае, хоть досидеть до конца. Обладаете какой-то твёрдостью. Я же вооружён только математикой и химией, хотя имею дерзость утверждать, что более дивной музыки, чем музыка теории чисел, я не слышал. Должен заметить, что сегодня вы говорите значительно яснее и логичнее, но, к сожалению, после этих тостов я ничего не могу понять...

— За последние слова я готов вам простить всё! — воскликнул, смеясь, Дмитрий Алексеевич.

— Тогда вот что, — сказал вдруг Евгений Устинович своим обычным серьёзным голосом. — Налейте, Надежда Сергеевна, наши бокалы.

Надя налила и пустую бутылку из-под водки поставила под стол.

— Товарищи, совсем неожиданно выяснилось, что я должен вас покинуть, — тихо продолжал Евгений Устинович. — Я как-то говорил Дмитрию Алексеевичу, что у меня должна состояться встреча... с одним человеком, с которым у меня связаны некоторые надежды. Эта встреча должна состояться сегодня. Как это я забыл о ней?.. Надежда Сергеевна, скажите, пожалуйста, который час?

— Без четверти десять, — сказала Надя.

Дмитрий Алексеевич нахмурился.



— Да, я уже опоздал на сорок минут. — Старик засуетился, надел пальто, нахлобучил шляпу. Остановился, стал загипать пальцы: — Трамвай, электричка, там ходьбы минут десять, — в общем получается полтора часа. Бегу! С вашего разрешения... — Он поднял чашку. — За то, чтобы я не опоздал... Надежда Сергеевна! За успех моего предприятия, ради которого я должен покинуть такой прекрасный стол и такую компанию.

Выпив водку, он схватил кусок хлеба, положил на него пласт ветчины, поклонился Надежде Сергеевне и, жуя, вышел. По коридору, удаляясь, глухо и тупо простучали его шаги. Решительно и бесповоротно — на всю квартиру — хлопнула вдали дверь. Дмитрий Алексеевич и Надя сразу отрезвели. Слово по уговору, они взглянули на свои чашки и отодвинули их, хотя тот уже был произнесён и даже *почат* профессором.

— Как он вдруг... — сказала Надя. — Ни с того ни с сего...

— Он что-то мне говорил, дня три назад...

— Правда? Говорил? — Надя оживилась. Ей чуть не отравило весь вечер одно внезапное и нелепое подозрение. — Где же этот человек живёт?

— В Малаховке.

— Ах, даже вот как!..

Надя совсем успокоилась. И тогда грудь ей приятно сдавило знакомое, запретное чувство, грех, который смело распорядился в её душе, потому что он уже был ей ведом. Она покраснела и опустила голову, чувствуя, что преобразается в *ту*, обительницу зеркала. Она сама ещё не знала её, боялась, что Дмитрий Алексеевич будет недоволен этой переменой, но удержать *ту* уже было невозможно. Тишина сгустилась над ними и зазвенела.

— Который час? — спросил Дмитрий Алексеевич сдавленным голосом.

— Без трёх минут десять. — Надя встала и прошлась по комнате. — Это у вас радио? Можно, я включу?

И старый, рваный репродуктор завибрировал эстрадным баритоном, сладким и страстным, как духи Ганичевой.

Дмитрий Алексеевич и Надя громко рассмеялись: певец сразу же выгнал из комнаты весь страх. Он продолжал и дальше, делая кокетливые вздохи почти перед каждым словом:

Ах, первое письмо, ах, первое письмо...

Ах, вы найдёте слезинку между стро-о-ок...

— Ишь ты, какой молодец! — сказал Дмитрий Алексеевич.

Надя выдернула вилку из штепселя, и баритон умолк.

— Зачем? Дайте ему допеть. Он сейчас не то ещё покажет! — Дмитрий Алексеевич привстал, повернулся и схватил вилку, чтобы скорее включить... Но это была мягкая рука Нади. Они оба в одно и то же время включили радио и отдернули руки. Баритон неистово завибрировал, зажужжал: «Я был пьян от счастья, любви и трево-о-о-ог!» Но ни Надя, ни Дмитрий Алексеевич не услышали его. Тихий звон наполнил комнату. Ничего не видя, Дмитрий Алексеевич опустился на свой стул.

— Допьём? — сказал он, кашлянув. — Тут вот осталось...

— А? — спросила Надя. И что-то подтолкнуло её поближе. — Что вы сказали?

Он ничего не ответил.

— Вы что-то сказали? — растерянно спросила Надя, подходя к нему сзади, наклоняясь над ним. — Что-то допить?..

И пальцы её ласковыми змеями вползли, проникли, перебирая его волосы.

— Дмитрий Алексеевич! — каким-то новым голосом сказала она, с силой прижимая большую послушную голову к своей груди. — Дмитрий Алексеевич!

«За одну минуту счастья с ним отдам всё», — мелькнули в её памяти чьи-то знакомые слова.

Он обнял её, повернул вокруг себя, с каждой секундой чувствуя себя сильнее, и она как бы опутала его со всех сторон. Он хотел прижаться к ней лицом, но Надя, взяв его за голову обеими руками, удержала и стала смотреть на него, тревожно водя зрачками, лоя его глаза, а он их прятал, почувствовав вдруг опять минутную неловкость. «Милый! — говорил её взгляд. — Подожди, дай мне посмотреть на тебя. Наконец-то ты мой! Что — поцелуй! Я готова отдать тебе всю себя, всю свою жизнь! Будешь ли ты меня любить?»

И, высказав всё это, она сама прижалась лицом к его губам, к глазам, к твёрдому выступу на щеке, смеясь, шепча безумнейшие слова.

В два часа ночи Дмитрий Алексеевич, широко раскинув руки, спал на своей постели из ящиков, на сером, сбитом в ком байковом одеяле. Пиджак его Надя повесила на стул, рубаху расстегнула, обнажив худую грудь с крупными выпуклостями рёбер. Он глубоко и жадно дышал и был похож на большого измученного птенца. В эти минуты многое можно было прочесть на этом бледном лице с горько сдвинутой бровью, на этой усталой широкой груди, которая в студенческие годы Дмитрия Алексеевича, наверно, не раз обрывала ленточку финиша.

Надя сидела около него, на том же одеяле, и не сводила грустных глаз с его лица. Иногда вдруг сжимала руки. Слезы, скользя по щекам, падали на его рубаху. И шепнув: «Нет, я тебя не отдам!» — она целовала его мощную ключицу и слышала, как бьётся под нею его большое сердце. Слезы быстро высыхали, лицо Нади прояснялось, и, шмыгнув носом, она осторожно шевелила, пересбирала волосы Дмитрия Алексеевича, убирала с большого, прорезанного острой складкой лба. Складка эта и во сне не стала мягче. «Господи, а я искала героя! — счастливо оцепенев, думала она. — Неужели я им владею! Нет! Я теперь тебя опутаю! Ни к кому ты от меня теперь не уйдёшь, ни к какой Жанне».

Так, сторожа Дмитрия Алексеевича, она просидела до утра. На расвете она подошла к окну и увидела пустынный Ляхов переулочек, скованный морозцем, распахнутые ворота и пустой двор дома на той стороне. Всё было мертво, тихо, и только вверху, на крышах, растекались, ширились светлые весёлые полоски: где-то сзади поднималось солнце.

Надя оглянулась на Дмитрия Алексеевича и задумалась. Вот и она прыгнула со своего поезда. Это был головокружительный прыжок. Новыми глазами она осматривала всё вокруг себя: здесь был дом, куда привёл её неожиданный попутчик. Что ждало её? Да... Она всё-таки отважилась! Хотя её, кажется, не особенно звали...

«Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня, — вспомнились ей стихи Блока. — Спит она, улыбаясь, как дети, — ей пригрезился сон про меня».

Нет, не она спала, а он спал, и в снах его не было Нади. Там было что-то большое и тяжёлое. А она, на этом мглистом рассвете, тихо просыпалась от своих детских снов. Растерянная улыбка тихо угасала на её лице. Надя взглянула на чертёжную доску — громадную, уходящую вверх, в полумрак, оглядела комнату, где всё было, как у солдат — походному, — и вспомнила другие строки из того же стихотворения: «Заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна!»

Потом она опять повернулась лицом к безжизненному переулочку и отпрянула, медленно заливаясь краской. Там, на той стороне, по тротуару, неспешно пошаркивая, оттянув кулаками карманы вязаного, как чулок, пальто, шёл Евгений Устинович. Он остановился, посмотрел на свой дом, на своё окно, поднял повыше воротник, мотнул головой от холода и пошёл дальше — бочком, бочком, притопывая, как это делают ночью дежурные дворники. «За успех моего предприятия!» — вспомнила Надя его рыцар-

ский тост. «Ах ты, обманщик, лиса, коряга противная», — смеясь, шепнула она и показала кулак ему вслед, его согнутой спине.

А переулочек, между тем, светлел; в бледном, золотисто-зелёном небе появился телесный оттенок, оно отогревалось, всё больше прибавлялось в нём живой теплоты. А из-за ярко освещённых крыш словно доносились радостные трубы зари. Да, в Москве начинался новый день, а для Нади и новая жизнь. Начиналась она, правда, не в отдельной квартире, полуголодная жизнь, но с большими радостями и большими горестями, жизнь настоящая. Счастье! Оно никогда не бывает сладким и не похоже на плакаты по страхованию имущества. Оно подкрашено горечью — и об этом Наде предстояло узнать очень скоро.

В семь часов утра она убрала в комнате изобретателей, ещё раз поцеловала спящего Дмитрия Алексеевича, оделась и тихонько вышла. Всё было спокойно, никто не встретился ей в коридоре. Она закрыла за собой наружную дверь и облегчённо вздохнула. Но тут Надя вдруг отчётливо увидела своего покинутого Николашку, с вытянутым личиком, с большими удивлёнными глазами: он стоял в кроватке и не плакал, смотрел на пустую мамину кровать и на дверь. Бровки его были жалобно подняты, он ничего не понимал. «Милое моё, золотое, как же можно быть живым и так долго не видеть мамы — даже ночью, даже утром!» — Ахнув, браня себя, Надя поспешила вниз, через двор, к воротам. Далеко в переулке светилась зелёная лампочка такси. Надя добежала, дёрнула ручку, упала на мягкое сиденье, и только тогда, когда замелькали справа и слева столбы и дома, она подумала, что теперь придётся отказаться от некоторых привычек, от таких вещей, как такси. «В последний раз, — решила она. — Будем жить поостороже, как полагается учительнице географии».

Дома всё было в порядке. Николашка сидел за столом на своём высоком стуле. Шура кормила его кашкой, он двигал щеками и тянулся ручонками к блюду.

— Ах ты, моя дорогая-золотая! — тихо запела Надя, еле удерживаясь, чтобы не стиснуть, не расцеловать своего мальчугашку. Но она сперва сбросила пальто и, приговаривая: «дорогая-золотая, серебряная», — побежала на кухню мыть руки. Николашка громко заревел — ушла мамочка. Но вот она уже вернулась и взяла его на руки. Посмотрела, не подопрели ли ножки, и, поцеловав несколько раз сына, покрасневшись от счастья, она принялась его кормить.

— Всё, всё Леониду скажу, — пробасила старуха в дверь. — Погоди вот. Пусть только приедет.

— Приедет — на него тогда и шипите, — ответила Надя через плечо. — За то, что он бросил первую жену с двумя детьми.

— Во-он чего! Та сама ушла. Такая же гуляющая дрянь была...

— От него и третья уйдёт, — сказала Надя, целуя Николашку. — А со мной, пожалуйста, не разговаривайте. Я вас знать не хочу.

Днём Надя была в школе, давала уроки, а под вечер, то глубоко вздыхая, то задерживая дыхание, уже стояла перед высокой дверью с множеством звонковых кнопок, высыпавших, как мухи на солнцепёк.

Дверь открыл Евгений Устинович.

— Здравствуйте, Мефистофель, — негромко сказала ему Надя.

Они замолчали, глядя друг на друга.

— Здравствуйте, Маргарита, — в нос, негромко пропел наконец старик, заставив Надю покраснеть. Но тут же он сообразил, что ему, как приехавшему из Малаховки, полагается ничего не знать. Он нерешительно посмотрел на Надю. — Простите, а как я должен понимать ваше столь необычное приветствие?

— Шутки шутками, а я хочу вам по секрету сказать одну вещь, — шепнула Надя. — Я видела агента иностранной разведки.

— Не может быть! Где? — Глаза профессора округлились за стёклами очков. Он оглянулся и приблизил к Наде ухо, из которого, как порванные струны, торчали седые завитки.

— Я твёрдо в этом убеждена, — сказала Надя. — Он дежурил сегодня всю ночь у нас под окном. Надо было бы поймать этого шпиона и наказать.

Старик постоял, наклонив голову, подумал, строго посмотрел на Надю.

— Дело серьёзное. Да. Очень серьёзное... А стоит ли его наказывать? Ведь он, бедняга, на своей работе насморк получил!..

Надя, пряча улыбку, хотела было пройти дальше, в коридор, но профессор остановил её.

— Надежда Сергеевна, пожалуйста, ничего не говорите Фаусту. У него сегодня дурное настроение. Он меня съест за это.

— А что он?..

— Лежит до сих пор. Врачен. Мысли...

Дмитрий Алексеевич ещё не поднимался с постели. У него болела голова. Весь день он лежал на своих ящиках, щупал лоб, смотрел в стену и думал — всё об одном и том же.

«Ханжа! — говорил он себе уже в который раз. — Ты ведь изменил Жанне! Так продолжай — что ж тут охать?»

И, охнув, поворачивался на другой бок. «Нет, это не было изменой, — отвечал он себе, — а в общем, там будет видно...»

«Что будет видно? А что же будет с *той*? — возникала вдруг новая мысль. — Она скажет: нет на свете ничего доброго!»

Потом его пронзил страшный вопрос: «А что будет с *этой*? Почему я не отверг её сразу? Зачем надежды подавал? Слаб? Или люблю, может быть? Она-то любит, это видно... потому и пошла на всё. Она может потребовать от сердца отчёта. А если отчёта не будет — зачем обманул? И придётся всё-таки ей что-то сказать, хотя пробуждение будет для неё тяжёлым. Но я-то — разве я её обманул? Ведь она нравилась мне, я не смог...»

— Ах... — сказал он и повернулся на спину, закрыл глаза рукой. «А та? — подумал он с болью. — Совсем ещё девчонка. Она там надеется, что я в Кузбассе, поверила опять, что я не сумасброд, что есть герои на свете! Можно ли сейчас, в такую минуту, и так её предавать! А Надя... Что же — сказать ей «до свидания»?..»

«Хорош, хорош! — услышал он вдруг новый, твёрдый голос. — Ты так и будешь теперь размышлять!.. А машина? Ведь её всё-таки надо *вручить*? Сколько сегодня на твоём путевом столбе? Тридцать три? Так о чём же надо сегодня думать — решать детские головоломки или думать о главной части твоего существа — деле?»

И этот голос решил всё. Дмитрий Алексеевич нахмурился и спустил ноги с постели. В эту минуту и вошла в комнату Надя.

— Здравствуй...те! — сказала она радостно. Тревога её была искусно спрятана.

Дмитрий Алексеевич виновато посмотрел в сторону. Помедлил, он набрался сил и поднял голову, чтобы сказать Наде решительные слова. И она поняла всё.

— Не говори! Я всё понимаю. — Она села рядом с ним. — Дмитрий Алексеевич, подождите ещё один день! Дайте мне этот день... Мы побудем вместе, куда-нибудь пойдём...

«И не вернёмся», — подумал Дмитрий Алексеевич, невесело улыбаясь.

— Нет, — он вздохнул и пощупал пальцами лоб. — Да... это я и хочу сказать. Нам нельзя продолжать это. Вот это...

Они оба замолчали. Вошёл Евгений Устинович, быстро взглянул на них и стал вытирать чистую клеёнку.

— Погодка хороша! — закричал он, чтобы прогнать их смущение.— Ах, молодые люди, молодые люди! Шли бы на улицу.

Дмитрий Алексеевич молчал. Надя смотрела на его бледное лицо, читая все его мысли, понимая всё. В ней что-то происходило — в ответ на его молчание. В эти минуты она словно вырастала в матери этому громадному человеку. А то сумасшедшее, милое существо, которое ещё вчера она не могла в себе удержать, оно незаметно таяло в ней, исходя тихими слезами.

Надя встала, быстро сняла и повесила пальто. Сегодня она была одета в свой учительский строгий темносерый костюм. И она повернулась к Дмитрию Алексеевичу, словно ожидая рабочих распоряжений, чтобы все увидели: если так надо, она станет другой. Это был её ответ на первую горечь счастья.

### ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

#### 1

Возможность увидеть настоящий героизм представляется не часто. И не потому, что героев мало, совсем по другой причине. Герой восходит на вершину своей высокой жизни, ещё не имея на груди привлекательного золотого значка. Как раз тогда-то он и герой! Восхождение это иногда длится годами, десятилетиями, а подчас остаётся незамеченным до самого конца. Герой рядом с нами, и мы его не видим — вот как бывает иногда! Поэтому, должно быть, и находятся люди, которые говорят, что героев вообще нет, а есть расчётливые сеятели, засевающие поле, чтобы собрать затем сам-десять.

Но посмотрите: вот Дмитрий Алексеевич — его жатва зреет уже шесть лет, а колосьев ещё не видно. Работая слесарем седьмого разряда или преподавателем математики, он мог бы за последние два года приобрести все вещи, нарисованные на огромном плакате «Страхование имущества», вывешенном в его переулке! В том-то и чудесно непонятная особенность этих людей, что они несерьёзно смотрят на громадный и, несомненно, нужный плакат, не вникают в его существо, не боятся ни огня, пожирающего имущество, ни стихийных бедствий. Ни большие, ни малые деньги не задерживаются в их руках, не оседают на текущем счёте и не превращаются в добротные вещи, которые можно застраховать. Они шутят между собой над тем, что кое-кому из нас кажется серьёзным. А то, над чем иные опрометчиво подшучивают, — для них святыня. «Автор», впервые пришедший на приём к академику, тих и скромн. Но, если этот учёный (например, академик Флоринский) скажет ему, что он прав и что открытие его представляет большую ценность, тогда он становится человеком конечным и может даже показаться опасным. Он ни за что не бросит дело, не свернёт в сторону и будет ломиться во все двери и стучать кулаками до конца, хотя он знает, что конец этот часто бывает грустным.

Профессор Бусько, ссылаясь на Дизеля, говорил, что будто с годами отвыкаешь от надежд — но это было всего лишь красное словцо! Никогда ещё он не цеплялся за надежду так, как ухватился после близкого знакомства с Дмитрием Алексеевичем, который упорно доказывал ему, что от друзей может быть прск. Сказав Лопаткину «не клянись», он всё же клятву его принял, чувствуя, что новый друг в случае успеха сразу же протянет руку и ему, поможет *вручить* порошок для тушения пожаров.

И сам Дмитрий Алексеевич с годами не отвыкал от надежд. Правда, лицо его было равнодушно, когда он, например, давал Наде для перепечатки жалобу, письмо или протест, он даже смеялся над ними, но чувства его Надя уже умела читать. Ей легко далась эта грамота, недоступная для многих. И она знала, что Дмитрий Алексеевич ждал результата от

каждой, самой маленькой бумажки. Он целыми днями обдумывал свои ходы.

Однажды, приблизительно в мае, Надя подошла к нему, чтобы спросить о чём-то. Дмитрий Алексеевич в это время наклонил голову, и Надя беззвучно ахнула: его светлорусые волосы, которые становились всё болезненнее на вид и как бы смиреннее, эти дорогие ей пряди были попросту на треть седыми! Это всё сделали надежды. Они не сбылись.

Но ещё больше было у Дмитрия Алексеевича надежд свежих, не проверенных. Он отослал в несколько инстанций свой новый, улучшенный проект и месяца три ходил уже по приёмным, встречая везде знакомые вежливые взгляды с насмешливой оглядкой в сторону. Взгляды, к которым нельзя привыкнуть, так же как нельзя отвыкнуть от надежд.

Кто же смеялся? Сердиться нельзя было на этих людей. Это всё были честные рабстники *стола*, отлично знающие, что всё, что можно было изобрести, изобретено в прошлом веке. Их сместило, что «педагог» — как они прозвали Лопаткина — писал по своему *вопросу* в самые высокие адреса. Чудак! Мало ему было таких авторитетов, как Авдиев, как академик Саратовцев!

Некоторые из этих людей принимали Дмитрия Алексеевича строго, говорили с ним колючим басом и морщились. Они смотрели на него, как им казалось, с государственных позиций. «Сколько ненужной волокиты вносят в аппарат вот такие изобретатели кислых шей, — говорили их взгляды, — сколько средств уходит на всю эту дурацкую переписку с бездельниками и проходимцами!»

Но Дмитрий Алексеевич понимал их и не злился, а лишь всё терпеливее сжимал губы.

Вот так, получив очередной отказ, ответив вежливым поклоном на знакомую вежливую улыбку, он шёл однажды по длинному коридору министерства, заставленному шкафами и старыми письменными столами. Дело шло к июлю, было очень тепло, даже душно. Самые неожиданные шумы министерской жизни обдавали Дмитрия Алексеевича. Доносился треск машинок, и через открытую дверь он видел потолок и стены бюро, обтянутые кремовой тканью. Потом налетал порыв тишины — это Дмитрий Алексеевич проходил мимо приёмной начальника. Через дверь он видел собранные сверху шёлковые шторы и сверкающие стёкла открытых настёж окон, стол с телефонами и секретаршей и посетителей на диванах и стульях. В соседней комнате шло совещание. Дальше был зал, столов на сорок, и за каждым сидел человек. И везде — в коридоре, в дверях, в углах за шкафами — стояли по двое — по трое люди, сложив руки за спиной, прислонясь к стене, и все что-то обсуждали. Громадный корабль министерства летел вперёд, все матросы добросовестно несли свою вахту, и никому не хотелось всерьёз возиться с каким-то проектом машины для литья чугунных труб, проектом, не предусмотренным никакими планами.

Пройдя весь этот корабль насквозь, Дмитрий Алексеевич вздохнул, постоял, провёл рукой по лицу и стал спускаться вниз. Из вестибюля он умело проник в лабиринт зеркальных дверей и вышел на яркую от летнего солнца улицу. Здесь, на тротуаре, он чуть ли не лицом к лицу столкнулся с секретаршей Дроздова, с той самой, которую он назвал когда-то «Русской зарёй». Заря была в узком платье, с коротенькими рукавчиками покроя «японка», которые так хорошо обнажают руку и делают плечики покатыми. Волосы секретарши были коротко подстрижены и окружали её голову жёлто-белым веночком, открывая детскую шею. Заря шла и кушала мороженое из вафельного стаканчика.

Дмитрий Алексеевич чуть заметно поклонился ей и ускорил шаг. Но девушка остановила его.

— Господи, как вы изменились! Лопаткин, кажется? — Она покачала маленькой головой. — Всё ходите?

Дмитрий Алексеевич ответил: «Да, хожу»—и приготовился отвечать на неприятные вопросы. Но девушка, быстро взглянув на него, с болью двинула морщинкой на переносице, отвернулась, задумалась, глядя на ватфельный стаканчик. У неё на груди был комсомольской значок, и этот маленький значок, должно быть, сейчас жёг её, требовал решительного поступка. Заря опять взглянула на Лопаткина и вдруг решила:

— Знаете что, товарищ Лопаткин... Дайте мне ваш проект — общий вид и описание. И вот ещё что. Пойдёмте со мной, вы напишете коротенько на имя Афанасия Терентьевича.

— Вы разве не у Дроздова?

— Нет, я у министра.

Дмитрий Алексеевич молча наклонил голову. Они вошли в лабиринт из зеркальных стёкол, вахтер спросил было пропуск у Дмитрия Алексеевича, но девушка смело перебила его:

— Это по вызову Афанасия Терентьевича.

Они прошли незнакомым коридором, потом поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Здесь их встретил ещё один вахтер, и девушка опять сказала:

— Этот товарищ вызван.

Дмитрий Алексеевич оказался в широком и длинном зале с красной мягкой дорожкой во всю его длину. Девушка подвела его к круглому столу, накрытому стеклом.

— Вот здесь есть ручка и чернила,— сказала она негромко.— Пишите так: министру, товарищу Дядюра, Афанасию Терентьевичу. Ни на кого не жалуйтесь персонально. Просто укажите, что несколько лет не можете продвинуть... Пишите, я сейчас приду.

Она ушла по мягкой красной с зелёным дорожке в самый конец зала. Ушла особой секретарской походкой, не ускоряя и не замедляя шага, и исчезла за высокой, полированной дверью. Вскоре она вернулась. Письмо было написано. Дмитрий Алексеевич молча передал его вместе с уменьшенной фотокопией проекта. Взяв бумаги, девушка проводила его до лестницы, и здесь, глядя на него так, как чувствительные люди смотрят на осуждённого, жалея, но боясь прикоснуться, она сказала:

— Позвоните через два дня, утром, в приёмную. Спросите Михееву. Что-нибудь сделаем. Он любит открывать изобретателей и вообще таланты...

Через два дня, утром, Дмитрий Алексеевич позвонил в приёмную министра и спросил товарища Михееву.

— Что вам угодно? — отозвался дисциплинированный голосок секретарши министра.— Ах, это товарищ Лопаткин! — и голосок сразу потеплел.— Это вы, товарищ Лопаткин? Афанасий Терентьевич примет вас в пятницу. Да, приходите, пожалуйста, в четыре часа дня. Пропуск я закажу.

В течение двух дней, что остались до пятницы, Дмитрий Алексеевич ничего не писал и не чертил. И Евгений Устинович приостановил свою работу. По вечерам, открыв окно, не зажигая света, они сидели молча друг против друга. Изредка звучало в тишине нечаянно сказанное слово, и лишь по этому можно было догадаться, что идёт беседа.

— В пятницу...— говорил Дмитрий Алексеевич.— Может, на этом всё и кончится...

— Ну, ну... Сходите, сходите... — отвечал профессор после некоторой паузы, и опять наступала тишина.

В пятницу Дмитрий Алексеевич побрился, отгладил костюм и нацистил ботинки. В половине четвёртого, держа в руке надин портфель, он поднялся на второй этаж по парадной лестнице министерства. Здесь у Дмитрия Алексеевича вторично проверили пропуск, и он вошёл в длинный

зал с ковровой дорожкой от одних высоких дверей до других. Пройдя через вторые двери, Дмитрий Алексеевич очутился в приёмной. Это был тоже большой зал, квадратной формы, и стены его сверкали полированным деревом, лаком и свежей краской. Вдоль стен стояли диваны в белых чехлах. На них раскинулись в ожидании вызова привычные посетители — молодые и пожилые люди в белых кителях и с громадными портфелями. За одним из двух столов сидел молодой человек с красиво выписанными чёрными бровями и, не поднимая глаз, с непонятной улыбкой слушал седого и полного добряка, должно быть директора завода, который склонился к нему с искательным видом. За вторым столом строгая Заря снимала телефонные трубки, сразу по две и вполголоса что-то говорила сразу в обе.

Дмитрий Алексеевич чуть заметно поклонился ей. Она посмотрела на него и даже не двинула бровью. Дмитрий Алексеевич понял всё и подошёл к молодому человеку.

— Лопаткин? — сказал тот, не поднимая глаз. — Присядьте, пожалуйста. — И так же, не поднимая глаз, ответил добряку, раскрывшему перед ним портсигар. — Спасибо, не курю.

Дмитрий Алексеевич сел на диван. Несколько минут длилась та особая, настоящая тишина, которая бывает в комнатах с хорошей звуковой изоляцией. Потом в приёмную быстро вошли, шаркая и оживлённо беседуя, заместитель министра Шутиков и начальник технического управления Дроздов. Дмитрий Алексеевич поднялся, приветствуя своих старых знакомых, но те его не заметили.

— У себя? — спросил Шутиков.

— Да, да... — ответил молодой человек и встал, одёргивая пиджак.

И оба они, секунду помешкав, вошли под синюю портьеру, в коридорчик, который вёл к двери министра. Опять наступила тишина. Дмитрий Алексеевич знал, что в кабинете министра сейчас говорят о нём. «Ах, как это долго», — подумал он и вдруг почувствовал сильнейший укол в груди — это засипел электрический сигнал за спиной молодого человека. Тот мгновенно встал и ровным шагом ушёл под портьеру.

«Меня», — подумал Дмитрий Алексеевич. Но молодой человек вернулся и как ни в чём не бывало сел за свой стол. Опять потекли долгие минуты. Потом ещё раз засипел сигнал, молодой человек ушёл под портьеру, вернулся и чуть не убил Дмитрия Алексеевича тихими словами:

— Товарищ Лопаткин...

Пройдя полутёмным коридорчиком, Дмитрий Алексеевич открыл высокую дверь, облицованную карельской берёзой, и увидел ещё один зал с громадными окнами в двух противоположных стенах. Это и был кабинет министра. У правого окна, ближе к дальней стене, стоял письменный стол и перед ним два кресла. За столом сидел министр в генеральских белых погонах. В креслах — Шутиков и Дроздов.

Дмитрий Алексеевич пересек обширное светлое и мягкое поле ковра, и, когда он уже подходил к столу, министр встал и поспешил к нему навстречу, наклоняясь вперёд, протянув руку. Он был коренаст, плотен и не стар — лет пятидесяти. Он сильно встряхнул руку Дмитрия Алексеевича, сказал ему «садитесь», и Дроздов тотчас вскочил со своего кресла и пересел на стул около окна. Дмитрий Алексеевич подержал мягкую, с жемчужным глянцем руку Шутикова, потом пожал сухонькую, но сильную ручку Дроздова и осторожно сел в нагретое им кресло.

— Так я разбирался, товарищ Лопаткин! — сказал министр. Лицо у него было лобастое, под глазами коричневые мешки, взъерошенные волосы стояли над костяным лбом, он был похож на портрет Бетховена. — Идея мне нравится, — сказал он. — Только я не всё тут понял...

— Может, вы разрешите доложить? — спросил Дмитрий Алексеевич



— Ну, ну! Показывайте, что тут у вас...

Дмитрий Алексеевич сразу же развернул и положил на стол большой лист.

— Вишь ты, изобретатель! — Министр ухмыльнулся. — Уже и светокпию успел сделать!

Он внимательно выслушал объяснения автора, ни разу не перебив его. Только один раз спросил осторожно:

— Что же это у вас — шток, кажется, неравнопрочен?

— Он не инженер, Афанасий Терентьевич, — защищая Лопаткина, ответил Шутиков. — Это мы исправим...

И прнветливо засветился жёлтым золотом коронок и тонкой золотой оправой очков.

В эту минуту дверь кабинета вдали приткрылась.

— Можно, Афанасий Терентьевич? — спросил молодой человек с круглыми бровями. Неслышно ступая на носках, он подошёл и положил с краю на стол штук пятнадцать мраморно-разноцветных тяжёлых дощечек с наклеенными на них бумажками — должно быть, образцы каких-то материалов.

— Всё здесь? — спросил министр. Не глядя, протянул руку в сторону, потрогал, передвинул образцы, и молодой человек, так же неслышно ковыляя на носках, ушёл.

— Да... так идея мне нравится, — сказал министр Шутикову. Потом, положив руку на чертёж, он посмотрел на Дмитрия Алексеевича. — У нас уже делают одну такую машину. Максютенко со товарищи. Вот... Леонид Иванович Дроздов опекает. Вы незнакомы с их машиной?..

— Как же! Приходилось, — сказал Дмитрий Алексеевич с недоброй улыбкой. Недобро улыбнулся и Дроздов, не глядя на Лопаткина. Но министр ничего этого не заметил.

— Леонид Иванович! Твой соперник! Ты должен быть благородным! А? Соревноваться придётся! — Он засмеялся, и Дроздов, улыбаясь, наклонил голову.

Потом министр нахмурился.

— Вы что-то пишете, вас два года мариновали? — Сказав это, он достал из ящика объёмистый портфель из матово-шоколадной толстой кожи и одну за другой стал укладывать дощечки в его атласное нутро.

— Это гипролитовцы. Не разобрались сразу, — сказал Шутиков.

— Так вот какая история, — с серьёзным видом перебил его Дроздов. — Разрешите, Афанасий Терентьевич? Так вот, у товарища Лопаткина был другой проект, встретивший ряд принципиальных возражений как со стороны нашей науки, так и со стороны...

— Вот из этого негодного проекта вы и взяли идею для своей машины, — сказал ему Дмитрий Алексеевич. — Для той, которую вы строите.

Министр захохотал и припал к столу, качая головой.

— Ах ты, господи! Молодец! Ей-богу, молодец! Сразу видно — изобретатель! Ну, честное слово, все по одной мерке скроены!

Только сейчас Дмитрий Алексеевич заметил, что министр куда-то торопится. Афанасий Терентьевич смеялся, движения его были свободны, но рука — рука выдавала всё. Она дрожала, ей хотелось побарабанить по столу. Она не удержалась, протянулась к портфелю и громко защёлкнула замок.

— Так что ты говоришь, Леонид Иванович? — спросил министр.

Дроздов, который смеялся вместе с Шутиковым и министром, откашлялся и продолжал, весело косясь на Дмитрия Алексеевича:

— Тот проект встретил ряд возражений по существу, и товарищ Лопаткин это знает. Что касается волокиты с этим, с новым вариантом, то...

— Что же вы мне не позвонили, Дмитрий Алексеевич? — мягко удивился Шутиков. — Я же вам говорил тогда, в личной беседе: звоните, за-

ходите! В одиночку вы не сможете протолкнуть самый идеальный проект. У нас в институтах, знаете, нужно идти напролом, как идёт лосось. Видели когда-нибудь, как лосось прыгает вверх через водопад? Нет? Ну, так когда-нибудь мы с вами съездим на Карельский перешеек...

— Погоди, рыбак, — сказал ему министр. — Про рыбу потом.

И Шутиков, виногато сияя, стал смотреть на свои колени.

— Что же мы будем делать с товарищем Лопаткиным? — спросил министр.

— На заключение? — осторожно предложил Дроздов.

— Ты кого имеешь в виду?

— Василия Захаровича Авдиева.

— А он не угрсебит? Василий Захарович-то! Может, Флоринскому — для разнообразия? Авдиев-то теперь всё оправдаться норовит. А?

— Он даст объективный отзыв, — уверенно сказал Шутиков. — Отзыв, по-моему, должен быть положительным.

— Что ж. Если отзыв будет благоприятный, создавайте группу. Пусть прикидывают. И автора — в штат. Ну ладно. — Министр встал, и все поднялись за ним. — Вот так, значит, и сделаем. А вы, товарищ Лопаткин, если что, не стесняйтесь, звоните сразу мне.

Когда они вышли из кабинета, Дроздов весело посмотрел на Дмитрия Алексеевича чёрными глазами. «Как это ты сумел прорваться к министру?» — спрашивали эти умные живые глаза.

— Павел Иванович, смотрите, а ведь это лосось! — сказал он одобрительно.

— Лосо-ось, — согласился Шутиков, обнимая Дмитрия Алексеевича, сияя ему прямо в лицо своей золотой улыбкой. — Ну что же, пойдём ко мне?

Кабинет Шутикова был на том же втором этаже. Перед ним блеснула свежей краской такая же просторная приёмная розовато-молочного цвета. А в кабинете по всем четырём стенам шла панель из тёмного ореха вперемежку с экранами, затянутыми темнозелёным сукном.

Войдя в кабинет, Шутиков бросился на большой диван, сделанный словно из множества кожаных подушечек. Он шутя потянул Дмитрия Алексеевича за пиджак, и тот упал рядом с ним, и диван мягко принял обоих. Шутиков раскрыл портсигар, и они закурили. В открытое окно была видна отвесная стена огромной пропасти — министерского двора. На дне её вдруг зашумел автомобильный мотор и раздалось грозное «би-би».

— Уже поехал! — сказал Шутиков.

Дмитрий Алексеевич понял, что речь идёт о министре.

— Задержали мы его, — сказал Шутиков. — Н-да-а. — И он улыбнулся в потолок. — Право, как интересно складывается судьба. Наблюдаешь так... Самые неожиданные сочетания!.. Это я говорю о вас, Дмитрий Алексеевич, — сказал он и вдруг застенчиво улыбнулся. — Вы всё время действуете так... Каждый ваш шаг вызывает против вас огонь. Даже я, скажу вам по чести, даже я был вынужден иногда преграждать вам путь. Потому что вы ничего не видите и не знаете, кроме вашей машины, и даже мешаете иногда проводить важную работу.

Дмитрий Алексеевич усиленно дымил и хмурился, стараясь понять, куда идёт этот ласковый, светлый, как летний день, человек в дорогом тонком костюме цвета цемента.

— Ничего не понимаете? — спросил Шутиков и рассмеялся. — Сейчас поймёте. Вот я. Начальству было угодно взвалить на меня ответственность за выпуск труб, в частности за труболитейную машину. Выпукнув в это дело, я видел, что, кроме меня, существует целая группа людей, чья жизнь связана с этим самым делом, с трубами. Связана намертво. Они устроили

себе нечто вроде такового скифского городища, обнесли его стеной, разделили обязанности и живут по Мальтусу, ограничивая рождаемость. Городища этого не видно, а оно существует! Как град Китеж, во-о-от как!

— Вы хотите, чтобы я отказался? — хрипло сказал Дмитрий Алексеевич.

— Вы хватаете мысль на лету. Как форель мушку! Не я хочу, а они хотят. Вы же сами видите, они закрыли для вас ворота!

— Хорошо... А почему вы...

— Почему я иногда должен преграждать вам путь? Вот почему. Нам важно не то, кто даст машину, а важна сама машина. Это задача государственной важности. Мы побольше вашего заинтересованы. Нам нужны трубы. Дешёвые, хорошие и чтоб, как гвозди, летели из машины. Вот что нам нужно. Не нам, конечно, а государству. Поняли?

— Так вот же! Берите!

— А кто нам скажет, что эта машина будет работать? Что она эффективна? Ведь это же риск на несколько сот тысяч рублей! Мы, конечно, поверили бы вам, если бы вы были крупнейшим специалистом в этом деле, как профессор Авдиев. Но тогда вы жили бы в Китеже и были бы у них первым шаманом! А в нынешнем положении...

— Но сделал же этот шаман негодную машину?

— Эта история с ошибкой Авдиева... — Шутиков пустил мягкие клубы ароматного дыма. — Эта история — правда, её можно было бы уже забыть — имеет свою положительную сторону. Благодаря ей я получил наконец возможность контролировать и требовать. Теперь вместо обещаний они с Максютенко и Урюпиным дадут нам сносную машину, что и требуется.

— А зачем же тогда мою...

— Вашу мы попробуем проверить... Но Китеж существует, Дмитрий Алексеевич, Китеж существует. То, что вы добились приёма у министра, — ваша удача. Но учёные — это учёные. Это такой айсберг, о который разбился уже не один «Титаник». Затевать с ними тяжбу... Нет, это не есть ближний путь к решению хозяйственной задачи...

Наступило молчание. Шутиков курил и, искоса поглядывая, изучал лицо изобретателя. Изобретатель тоже посматривал на него усталыми серыми глазами. Он чуть заметно хмурился, но не сжимал губ и не двигал грозно желваками. Лицо его было непроницаемо — признак самой сильной воли.

— Да, Дроздов прав! — сказал Шутиков. Обнял Дмитрия Алексеевича и похлопал его по боку. — Вы лосось! Беда только, что самые упорные лососи, знаете, такие полутораметровые красавцы, выметав икру, скатываются иногда в море мёртвыми. — И Шутиков засмеялся, тиская плечо Дмитрия Алексеевича. — У вас есть шансы добраться до цели, — сказал он, становясь серьёзным. — Но нужно многое учесть. Как у вас со здоровьем?

— Нормально. Нервы и аппетит в порядке, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— И потом вот: надо ещё подумать, что это вам даст. Вот машина ваша сделана, вам выдадут, конечно, некоторую сумму, но она вас разочарует. Вознаграждение далеко не оправдывает издержек автора. Нет, на этом строить расчёты нельзя. Да-а. И вот вы опять приходите в школу... С перерывом в стаже...

Он вопросительно посмотрел на Лопаткина. Дмитрий Алексеевич ничего не сказал.

— У вас есть ещё одна возможность, — негромко продолжал Шутиков и посмотрел на него полузакрытыми, на миг омертвевшими глазами. — Вы математик и неплохой инженер-практик. Я не лыщу, вы соображаете луч-

ше многих наших конструкторов. Ваше призвание — механика. И я уверен, что вы смогли бы, — здесь он усилил голос, — вы смогли бы вести отдел в том же Гипролите. Но, — он спрятал голову в плечи и развёл руками, — сначала вам надо избавиться... или, как хотите, приобрести некоторые деловые качества. Познать жизнь. Человек на нашем этапе несовершенен. Я говорю хотя бы о наших китежанах. Это живые люди, с отрицательными и положительными качествами. Надо это знать и с этим считаться, если хочешь работать с пользой для общества.

— Попробую... Может быть, приобрету нужные качества, — негромко сказал Дмитрий Алексеевич и слабо улыбнулся. Он хитрил, и Шутиков сразу это понял.

— Я вам серьёзно говорю, — возвысил он голос, пробивая слабую улыбку Дмитрия Алексеевича своим омертвлённым взглядом. — Вылезайте, вылезайте из коротких штанишек. Что вам далось это изобретательство? Только гробите энергию, знания и время на глупейшую волокиту. Толковые люди везде нужны. Я с радостью поручу вам ответственную работу, как только буду уверен...

Говоря это, Шутиков поднялся и двинулся к выходу. У дверей он пожал Дмитрию Алексеевичу руку, задержал её в своей и вдруг просиял своей золотистой улыбкой, улыбкой человека, любящего детей.

— Очень рад, что мне удалось с вами ближе познакомиться. Надеюсь мы поймём друг друга и будем друзьями. Да... Проект ваш! Вы передайте его Невраеву, он тут сидит, в комнате сразу же после приёмной. Так, Дмитрий Алексеевич! Пожелаю вам!..

Две недели спустя Дмитрий Алексеевич стоял в кабинете Невраева у открытого окна, облокотясь на подоконник, и смотрел на улицу. Рядом с ним лежал на подоконнике Вадя Невраев, инженер, референт и журналист. Лицо у него было круглое, налитое молодой кровью, редкий ёжик волос — соломенного цвета, и сквозь него просвечивало что-то розовое. Светлосерый пиджак Вадя был расстёгнут, под ним виднелась шёлковая голубая сорочка и галстук, сбитый в сторону. От Невраева чуть-чуть тянуло не то фиалкой, не то водочкой. Слегка перевесясь через подоконник, он благодушно смотрел на улицу. Глаза его были зеленовато-голубые, цвета стекла на изломе, — зелёная улица отражалась и играла в них.

Между Дмитрием Алексеевичем и этим добродушным человеком, лет двадцати пяти, а может быть и тридцати пяти, любящим выпить, посмеяться и поболтать о «женском вопросе», с первого же дня знакомства установилось что-то вроде дружбы. Они два раза уже ездили купаться в Химки. В ясных глазах Невраева, пронзительно голубых, когда Вадя был на пляже, около голубой воды, черновая сторона жизни не отражалась. Он смотрел на всё окружающее благодушно и всегда был чуть-чуть навеселе — ровно настолько, чтобы не заметил Шутиков, который за обедом тоже выпивал стопку.

— Вот подъезжает наш дорогой медведик, — сказал Вадя, не меняя положения. И Дмитрий Алексеевич увидел длинный чёрный «ЗИС», который ехал по осевой линии улицы. Машина замедлила ход, сказала отрывистое «би-би» и свернула под арку министерского здания.

— Дима, мне очень хочется закурить. Разрешите? — спросил Невраев.

— Что же спрашивать? — удивился Лопаткин. — Вы же, по-моему, не курите!

— Но вы разрешаете? — сказал Невраев, не улыбаясь.

Дмитрий Алексеевич достал пачку «Беломора» и вытряхнул из неё несколько папирос — одну папиросу на руку Невраева, другую взял сам. Затем он зажёл спичку и протянул её Вадиму, но тот отказался.

— Закуривайте, я сейчас достану одну вещь...

Пока Дмитрий Алексеевич торопливо и жадно закуривал, Невраев достал из стола кнопку и приколот свою папиросу высоко к окну.

— Это знак для некоторых щепетильных авторов,— любясь папиросой, но не улыбаясь, сказал он.— Чтобы они не стеснялись курить в моём кабинете. И вообще, чтобы они меня поменьше стеснялись.

После этого они долго молча смотрели на улицу. Дмитрий Алексеевич время от времени улыбался краем рта, а Невраев благодушно поглядывал вниз на тротуар, как бы не замечая этих улыбок.

— Во-от,— сказал он вдруг.— У меня в кабинете есть и другое обязательное правило. Чтобы вы всегда вот так улыбались, как сейчас. Это нравится хозяину кабинета.

Они опять замолчали и минут десять в тишине лежали на подоконнике.

— И ещё одно правило есть,— сказал вдруг Невраев.— Не нервничать и не волноваться.

Дмитрий Алексеевич действительно волновался. Через сорок или пятьдесят минут должно было начаться совещание при начальнике технического управления, созванное специально для обсуждения его проекта.

— Это последнее правило трудно соблюсти,— сказал Дмитрий Алексеевич.

— В этом кабинете все правила надо блюсти,— благодушно заметил Вадя.— Ага, всн показала колымага академика Флоринского. Вот видите, у вас нет оснований для дурного настроения, товарищ Лопаткин.

Невраев проворно соскользнул к телефону, набрал номер и сказал:

— Лида, Флоринский приехал. Скажите, чтобы встретили.

К главному подъезду министерства медленно подкатил старый «Паккард». Остановился, постоял некоторое время. Потом из него спиной вперёд вылез белоголовый старик с тростью, распрямился, потрогал очки, выставлял вперёд трость и неуверенно шагнул. Тут из подъезда выбежали два тонких молодых человека и подхватили старика под руки.

— Слепнет дед,— сказал Невраев.— Саратовцев старше года на два, а как водку пьёт! Нет, Дима, вы не должны нервничать в моём кабинете. Давайте лучше решим, не сходить ли нам на уголок?..

— Знаете что? Мы ходим. Но только после совещания — если решение будет в мою пользу...

— Постойте. Я люблю точность,— сказал Невраев, глядя на улицу.— Что здесь является решающим моментом — «после совещания» или «решение в вашу пользу»?

— Конечно, решение в мою пользу!

— Тогда надо сейчас идти.

— Почему?

— Потому, что решение уже зафиксировано.

— Где?

— Вот здесь...—И Вадя, не улыбаясь, а, наоборот, даже насупившись, слез с подоконника.— Вот здесь зафиксировано,— сказал он равнодушным тоном, открывая ящик стола.— Вот, можете почитать... Дмитрий Алексеевич. Это *вам* касается, как говорит доктор наук Тепикин. Пункт второй. Я его вчера кончил фиксировать.

И он подал Лопаткину отпечатанное на машинке «Решение совещания при начальнике технического управления». В пункте втором было сказано: «Поручить Гипролито проектирование труболитейной машины тов. Лопаткина с участием автора, с учётом поправок, внесённых участниками данного совещания».

— А вы уверены, что оно не претерпит изменений? — спросил Дмитрий Алексеевич, улыбаясь. Ему нравился Невраев, нравился его благодушный вид, этот угасающий серьёзный голос.

— Уверен,— ещё тише ответил Вадя.

— Почему?

— Я очень хорошо, долго фиксировал это решение. Я жалею, что не могу зафиксировать так прочно вашу улыбку. Дима, пожалуйста, улыбайтесь почаще, мне это нравится. Ага, кто-то ещё подъехал. Василий Захарович Авдиев. Надо ийти...

Из сверкающей «Победы» вышел высокий мужчина в просторном светлосером костюме, в белых туфлях и в расстёгнутой русской косоворотке, ярко расшитой на груди. Богатая, золотисто-седая шевелюра его свилась над висками в множество колец, как нарезанный лук. Он остановился, посмотрел вдоль улицы, и Дмитрий Алексеевич на миг увидел его грозное лицо того красновато-колбасного цвета, какой бывает у рыжих.

— Пойдёмте, вы ещё налюбуетесь на своего противника,— сказал Невраев, доставая из стола папку. Тут же он передвинул на место свой галстук, провёл расчёской по жидкому ёжику волос, и они вышли в тот длинный зал, где Дмитрий Алексеевич две недели назад писал своё заявление на имя министра.

Совещание должно было происходить на четвёртом этаже, в кабинете Дроздова. К двенадцати часам дня в приёмной собрались приглашённые — человек восемь незнакомых Дмитрию Алексеевичу, из которых одна часть была в белых кителях, с белыми погонями — инженеры, а другая в летних тонких костюмах светлых тонов — учёные. Невраев, как только вошёл в приёмную, сразу стал другим. Теперь пиджак его был застёгнут на одну пуговицу и словно отвердел, стесняя не только движения, но даже не давая повернуть шею. Вадя порозовел от усердия. Вальжной походкой, со строгим видом, он обошёл всех присутствующих, подал каждому руку и удалился в кабинет Дроздова, даже не оглянувшись на Дмитрия Алексеевича.

Вскоре он вышел оттуда и сказал:

— Товарищи, заходите.

Все столпились у двери, вошли в кабинет, расселись на стульях против стены, на которой были уже приколоты листы с проектом Дмитрия Алексеевича. Дроздов сидел за своим столом, и был он сегодня одет в китель из бледнозолотистой чесуши. Рядом с ним сгорбился академик Флоринский, опираясь на трость, время от времени кивая, хотя никто ничего ему не говорил. С другой стороны стола, в кресле, потряхивая жёлто-седыми кудрями, раскинулся профессор Авдиев. Он курил, пуская дым к потолку, сбивая пепел с папиросы в чугунную пепельницу Дроздова. Это был громадный мужчина с розовым широким лицом и с розовой могучей шеей, покрытой жёлтыми крапинами. Дмитрия Алексеевича удивили его глаза — бледноголубые, мутные голыши, сумасшедше-весёлые. Удивителен был и голос Авдиева — как будто говорила женщина, простуженная почти до шёпота.

— Дмитрий Алексеевич, доложите совещанию...— сказал Дроздов.

— А чего докладывать, все ознакомились,— глухо сказал Авдиев и, скрипя креслом, круто повернулся. — Все знают?

— Знакомились, знаем,— сказали несколько человек.

— Какие будут мнения? — спросил Дроздов.

— Институт придерживается своей прежней позиции относительно необходимости научной разработки главных вопросов, связанных с принципиальными особенностями этой схемы,— без передышки проговорил Авдиев, не поднимаясь. Он говорил только Дроздову и стенографистке.— Однако, учитывая, так сказать, злобу дня, назревшую необходимость в такой машине, мы считаем возможным построить... ммм... экспериментальный образец в данном варианте, предложенном товарищем изобретателем... Машина заслуживает внимания и проверки наряду с той, которая строится сейчас в Музге... хотя та конструкция, которую министерство

строит,— я имею в виду конструкцию Урюпина и Максютенко,— она обещает нам успешное решение задачи...

— Пётр Иннокентьевич, вы, кажется, хотели... — сказал Дроздов академику и спохватился.— Простите, Василий Захарович, вы закончили?

— Да что ж тут...— хрипло отозвался Авдиев, двинул могучей спиной и достал из портсигара новую папиросу.— В общем, нынче будем с трубами.— Он повернулся и сумасшедше-всело глянул на Дмитрия Алексеевича, держа папиросу в крепких зубах.

Академик Флоринский, прежде чем заговорить, несколько раз кивнул, оперся посильнее на трость.

— Я рад слышать здесь положительный отзыв профессора Авдиева. В дополнение к сказанному,— он возвысил голос и заговорил отчётливо и звонко: — в дополнение я прошу зафиксировать следующую основную мою мысль.— Он перевёл дух, напрягся и стал диктовать сидевшей сзади него стенографистке: — Машина товарища Лопаткина... рождена как бы по велению нашего нового века. Она наивыгоднейшим образом... воплощает в себе идеи потока... и даёт увеличение производительности труда при литье труб... минимум в четыре раза. Однако для того, чтобы представить себе... реальную пользу этой машины... надо полученные результаты умножить на два, потому что машина... имеет вдвое меньшие габариты по сравнению с существующими конструкциями. Таково моё заключение.— Он стукнул тростью в пол и несколько раз кивнул.

— Ещё кто-нибудь желает? — спросил Дроздов.— Нет? Тогда разрешите мне.— Он встал.— Техническое управление не может не отметить той громадной работы, которую провёл товарищ Лопаткин над своей машиной...

И он сказал в меру длинную речь, умеренно похвалил машину, отметил несколько её конструктивных недостатков, сказал, что поддержка передовой технической мысли является первой обязанностью... и так далее.

Когда он говорил всё это, Авдиев перестал курить и странно светлыми глазами смотрел на него, словно вдруг увидел гения.

Потом было предоставлено слово товарищу Невраеву. Вадя, порозовевший от усердия, вышел вперёд, надулся и, кашлянув, зачитал знакомое Дмитрию Алексеевичу решение, которое он так прочно «зафиксировал» несколько дней назад. Решение это было одобрено всеми присутствующими, Дроздов объявил совещание закрытым, и все заспешили к выходу.

В коридоре Дмитрия Алексеевича догнал Невраев. Он опять был мил и ясен, и пиджак его был расстёгнут.

— Куда спешите, товарищ Лопаткин? — спросил он угрожающе тихим голосом.— Объяснитесь!

Дмитрий Алексеевич понял его. Ему не очень хотелось пить водку. Гораздо лучше было бы поднести этот стаканчик профессору Бусько. Но Вадя нажимал.

— Вы что, манкируете? Я вас никуда не отпущу, Дима!

И, подавив вздох, Дмитрий Алексеевич так же серьёзно ответил:

— Я готов, как говорил.

И они молча стали спускаться по лестнице.

— Дима, — тихо и скромно сказал Вадя в вестибюле.— Я готов произвести поставку за свой счёт, по ленд-лизу. Мне известно, что вы скоро сможете делать ответные поставки.

Они вышли на улицу, пересекли её и вошли в пивную на углу. У стойки толпились любители выпить.

— Кто крайний? — спросил Вадя слабым голосом.

— Я *последний*, — вызывающе ответил ему интеллигентный пьяница в пенсне.— «Крайний» — это не по-русски.

— А товарищ Тепикин говорит — «крайний», — ровным, тихим голосом возразил Вадя.

— Какой там ещё Тепикин?

— Если вы не знаете товарища Тепикина, значит вы не знаете новых правил русской грамматики, — сказал Вадя, и человек в пенсне вытаращил глаза. — Да, я вижу, что вы не знаете. Очень жаль... — Присмирив, Вадя проглотил слюну. — Однако, Дима, давайте обсудим, чем вас обмы- вать...

## 2

Несмотря на то, что дела Дмитрия Алексеевича двигались теперь с удивительной быстротой, и двигались благоприятно, его не покидали подозрения, и сейчас он нервничал больше, чем в самые тяжёлые минуты голодного затишья. В разгаре беседы или работы он вдруг останавливался, захваченный врасплох внезапно возникшим вопросом. Таких вопросов накопилось много, и ни на один не было ответа.

Почему Шутиков повёл такой прямой разговор? И что в нём по-настоящему прямо? Что значат его предложения? Не отдают ли они угрозой или предупреждением? О чём? Чего ждать? И ещё вот — почему вдруг Авдиев выступил «за»? Что толкнуло Дроздова на такую торжественную речь и почему он так быстро «провернул вопрос»?

Дмитрий Алексеевич был уже достаточно опытен и знал, что все эти похвалы и улыбки были вызваны не симпатией к нему и не радостью по поводу удачного решения задачи с литьём труб. Но до настоящих причин докопаться он не мог. Всё было очень странно, всё развивалось гладко, с угрожающей быстротой. Директор Гипролита выделил двух лучших конструкторов — Антоновича и Крехова, инженера, который восхищался тем, что Авдиев пришёл в науку в лаптях, «упёрся лбом и раздвинул всё и вся». В один день была организована группа, для неё отвели отдельную комнату, и сразу же все начали работать. Сам директор каждый день, как больничный врач, наведывался в группу — проверял, как идут дела.

Евгений Устинович тоже чувствовал беспокойство.

— Горит лес, Дмитрий Алексеевич, — говорил он, округлив глаза. — Горит лес. Но где — никак не могу понять.

Эта тревога передалась и Надежде Сергеевне, и однажды, придя к ним после занятий в школе, она сказала:

— Я сегодня на уроке вспомнила один разговор с Дроздовым...

Она теперь называла своего бывшего мужа только так — по фамилии.

— Я вспомнила, — сказала она. — Шутиков предлагали участие в разработке машины — той, урюпинской. И Шутиков отказался, испугался, даже заподозрил Дроздова. Думал, что тот хочет подложить ему свинью. Несколько месяцев косился.

— Прежде всего, — задумчиво сказал Евгений Устинович, — это говорит нам, что вся история с машиной у них плохо сшита. Кое-как. Она может рассыпаться. Иначе, чего бы ему отказываться? Шутиков ваш, должно быть, далеко видит...

— Подождите, а с какой стати он вообще трубами занимается? — спросил вдруг Дмитрий Алексеевич.

— Очень просто, — горячо заговорила Надя, что-то вспомнив, что-то открыв для себя. — Дроздов говорил, что у Шутикова особые интересы...

— Ну да, конечно... — заметил профессор иполголоса.

— Подождите! Шутиков часто бывает на заседаниях... Как говорил Дроздов, в Большом доме. Так вот, в Большом доме очень часто говорили о центробежном литье. А соответствующие министры всё никак не могли это литьё освоить... И Шутиков решил потихоньку сделать эту машину, поставить всех перед фактом...

· «Нам срочно нужна машина. Не нам, конечно, а государству», — вспомнил Дмитрий Алексеевич слова Шутикова.



— Да, ему, конечно, неважно, кто достанет жемчужину со дна морского,— заметил профессор, задумчиво ковыряя в ухе.— Ему важно её получить и выгодно продать. Покупатель видит товар и улыбающегося продавца...

— Улыбаться он умеет,— заметил Дмитрий Алексеевич.

— Как же! Почему только он вдруг взял машину этих, как их?..

— Дмитрий Алексеевич — лошадка, на которую ставить нельзя,— сказала Надя, с чуть заметной грустной лаской посмотрев Дмитрию Алексеевичу в глаза.

— Не понимаю, это сожаления личного порядка? Или цитата? — насторожённо спросил профессор.

— Конечно, цитата! Дроздов мне специально разъяснял, почему они остановились на Урюпине. Потому, что Урюпин пойдёт на всё, что ему предложат.

— Ваш Урюпин — это же, собственно, тоже перекупщик. Он ведь не нырял за жемчугом!

— Меня удивляет одно,— сказал Дмитрий Алексеевич, хмурясь,— что смотрят люди — все эти конструкторы, доценты, инженеры, вся публика, которая наполняет эти здания? Неужели нет среди них честного человека?

— Дмитрий Алексеевич! Честность — это всего лишь пятая доля того, что нужно иметь, чтобы поднять голос против монополии.

Дмитрий Алексеевич и Надя поняли, что сейчас начнётся проповедь античного философа.

— Во-первых, конечно, нужно быть честным,— сказал старик.— Большинство — честные, но не все. Вот вам первый этап отсева. Затем нужно ещё иметь смелость, а этот дар дан не каждому. Дальше — нужен ум. Мы выдвигали смелых, которые бестолково кричат и дискредитируют самую идею критики. Наконец, честный, умный, смелый может находиться в плену устоявшихся канонов. Вот в чём ещё беда! Ему скажет тот же Авдиев, профессор, доктор, многолетний авторитет, что идея Лопаткина порочна, а сам Лопаткин — авантюрист,— и он честно, с сознанием долга будет вас охаживать оглоблей, пока вы не протянете ноги!

— Что же делать? — спросила Надя испуганно.

— Что делать? Нужно подумать. У меня такое впечатление... Я слышу, чувю, что они расставили для Дмитрия Алексеевича большущий невод. Я бы не дался им...

— А я думаю так,— горячо заговорила Надя.— Не даваться — это само собой разумеется. Но если в вас есть чувство любви к родине...— Тут Надя вдруг остановилась и покраснела. Потом тряхнула головой. — ...Почему-то мы стесняемся так говорить. Когда война — тогда мы говорим и так... Потому что опасность. А я считаю, что и сейчас... потому что корень, с которым мы боремся, — живой, не даётся и растёт. Вы должны продолжать нужное для неё дело. Даже тогда, когда она отвергает ваши подвиги. Когда она осуждает вас устами тех своих служителей и судей, которые произносят от её имени несправедливый приговор. Тогда только ваша заслуга и будет иметь вес, когда вы сделаете то, что кажется невыполнимым.

— Но что же это такое, Евгений Устинович? — заговорил Дмитрий Алексеевич, которому в эти дни было не до античных бесед.— Вот вы, мудрец. Что же такое: они торопятся, делают проект моей машины. Ведь так мы к сентябрю всё закончим!

— Как это ни досадно, но придётся дать противнику развернуть войска. В конце концов всё выяснится.

Но прошли последние дни июня, пошёл июль. Дмитрий Алексеевич, как инженер, участвующий в проектировании, получил уже полумесячную зарплату — семьсот рублей, а обстановка всё ещё не прояснилась. «Пла-

тят деньги, торопятся, работают, и честно работают», — думал Дмитрий Алексеевич, глядя на серьёзных пожилых людей, ломающих голову над его проектом. То один, то другой, они подходили к его столу и приносили честные мысли, основательно выношенные в тишине и покое конструкторской комнаты.

«Посвящены ли они?» — спрашивал он себя и пристально изучал интеллигентные затылки и лысины. Нет, эти люди оценили машину, они приняли и её и автора. Старый конструктор Крехов, худущий, с толстыми чёрными бровями и с золотым кольцом на пальце, тот даже обмолвился однажды, сидя к нему спиной:

— Счастливы вы человек, Дмитрий Алексеевич! Я понимаю вас.

Он говорил это как бы от имени всей группы. Нет, он, конечно, ничего не знал!

Но самому Крехову казалось, что он очень тонкая штучка и во всём хорошо разбирается. Он даже заставил Дмитрия Алексеевича впервые за много дней улыбнуться, задав ему хитрейший вопрос. Это было в обеденный перерыв, после очередного визита директора. Держа руку в кармане, генерал в сопровождении Дмитрия Алексеевича и Крехова обошёл чертёжные станки конструкторов и удалился. Крехов вернулся на своё место и, достав бутылку с кофе, сидя спиной к Дмитрию Алексеевичу, сказал:

— Приятно работать, когда знаешь, что проект пойдёт не на полку.

— А вы уверены, что не на полку? — спросил Лопаткин.

— Э-э, дорогой Дмитрий Алексеевич! Уж мы-то видали виды! Сам Авдиев — «за»! Вы лучше скажите, — теперь мы вроде как свои, — какую вы применили тактику?

— Я был на приёме у министра...

— Ну во-от, был у министра... — запел Крехов. — Ладно. Может, действительно нельзя говорить. Но при всём вашем недоверии к нам — вы молодец. Заставить противников, всех без исключения, повернуть на сто восемьдесят градусов — это, знаете ли...

Дмитрий Алексеевич был для них кузнецом своего счастья, победителем!

Человек не может увидеть себя со стороны, глазами своего соседа. У Дмитрия Алексеевича была, оказывается, неизвестная ему ещё самому, вторая сущность — она-то и привлекла к нему симпатии конструкторов. Как оказалось, он был необыкновенно талантлив. За какие-то два или три года он стал инженером-механиком. И, кроме того, настолько изучил процессы твердения расплавленного металла, что сумел поколебать научные построения таких корифеев, как Фундатор и даже Авдиев (а там, попросту, не было никаких построений!). Конструкторы считали, что Дмитрия Алексеевича никак нельзя назвать «материалистом». Он, по их мнению, мог бы шутя получать четыре-пять тысяч, ему даже предлагали одно место, по он ответил отказом. (Услышав об этом, Дмитрий Алексеевич испугался, как бы Шутиков не принял его за болтуна.) Ещё сообщалось как неоспоримый факт, что Лопаткин добился положительной резолюции от одного исключительно важного лица (от кого — не говорили). Было известно также, что автору труболитейной машины не везёт в личной жизни, что он аскет, пелудим, что он избрал в жёны свою машину.

Всё это понемногу, по частям раскрывал перед Дмитрием Алексеевичем Крехов — в форме вопросов, на которые невозможно было ответить. Начался июль, вечера были очень хороши, и получалось так, что каждый раз Дмитрий Алексеевич, возвращаясь домой, шёл по бульварам вместе с этим словно бы влюблённым в него конструктором.

— Скажите, Дмитрий Алексеевич, — спрашивал Крехов, посмотрев сначала по сторонам. — Что же, *он* вас лично принял? Или просто письмо дошло?

— Кто? О ком вы спрашиваете? — смеялся Лопаткин. — Выше министра меня никто не принимал!

— Ну хорошо, оставим это. Я понимаю, могут быть разные соображения... Я спрашиваю с практической целью. Вы как — почтой посылали или сдавали в экспедицию?

— Я всегда стараюсь сократить количество экземпляров.

— Ага... Понятно!.. — Крехов считал себя дипломатом и любил инсинуации. — Кстати о письмах. Я слышал, что вы ставите номера. Вы, должно быть, очень много извели бумаги, прежде чем...

— Извёл-таки, — согласился Дмитрий Алексеевич.

— Ага... Значит, это верно...

— Что верно?

— Да так, пустяки. Вы энергичный человек. В вас есть это...

— Что — «это»? У вас превратное представление обо мне!

Таких возражений Крехов терпеть не мог.

— Знаете что, — сказал он однажды, — я верю во всё, кроме скромности. Это ломанье вам не к лицу. Имейте в виду, что мы понимаем ваши достоинства, но не забываем и о себе. В нашем институте большинство — изобретатели или потенциальные учёные.

Дмитрий Алексеевич, закусив губу, покосился на него, и Крехов оценил это, как удивление.

— Ничего удивительного! Все нормальные люди рождаются с творческими задатками. Большинство из них даже осознаёт в себе эти возможности.

— Почему же вы не реализуете?.. Простите, может быть, я ошибаюсь?..

— Ничего, ничего. Вы не ошибаетесь. Мы, Дмитрий Алексеевич, незаметно заросли. Получаем прилично, свиньями стали. Кто же захочет возвращаться к тому замечательному времени, когда твоим хлебом, твоей подушкой и твоим пиджаком была несбыточная надежда! Нельзя, нельзя вмешиваться в техническую политику...

— Но вот некоторые же вмешиваются!

— Вот нам и хочется узнать — кого эти некоторые сумели привлечь на свою сторону. Мы реалисты, хотим попробовать вашу дорожку. Как наш собрат, вы обязаны были бы помочь...

— Я вам даю слово, что как только... — начал было Дмитрий Алексеевич, но вспомнил профессора Бусько, его «не клянись». — В общем, ладно, — сказал он. — А что вы изобрели?

— Я-то ничего, — проговорил Крехов. — А вот один товарищ, вы его не знаете, — тот изобрёл... Он до некоторой степени ваш конкурент. У него тоже литейная машина.

Сказав это, он посмотрел на Дмитрия Алексеевича, но тот разочаровал его. Не испугался возможной конкуренции и даже не насторожился.

— Молоденький мальчишка, а ведь сумел додуматься! Машина для точных отливок из стали, под давлением, — сказал Крехов, помолчав. — У нас сейчас лют под напором алюминий, цинк — легкоплавкие металлы. А у него сталь! Он совсем по-новому решил это дело. Магнитное поле у него создаёт напор, оно же отсекает порцию металла и оно же подогревает. Чудеса! Верно?

— Чудеса, — согласился Дмитрий Алексеевич.

— А ведь эта адская машина могла бы уже работать две пятилетки!..

— Почему же... — начал было Дмитрий Алексеевич, но спохватился и со смехом махнул рукой. Он сам мог бы ответить на свой вопрос.

— Видите ли, — сказал негромко Крехов, — у этого мальчишки ещё нет силы пробивать такие вещи. И потом, в его министерстве нашлась публика, которая создала барьер... Не везде встретишь таких объективных, принципиальных людей, как Василий Захарович Авдиев...

Дмитрий Алексеевич только крикнул от неожиданности. Он даже остановился. Но тут же взял себя в руки и ничего не сказал — пусть жизнь говорит. Она скажет ещё своё слово и этому человеку.

После бесед с Креховым Дмитрий Алексеевич твёрдо понял, что конструкторы ничего ему не смогут предсказать. Они были уверены в его успехе.

Он и сам готов был поверить в благополучное окончание длинной истории с машиной, но одна неожиданная встреча приоткрыла ему глаза. Случилось это так. Он ехал утром в институт, покачивался на сиденье троллейбуса, смотрел в открытое окно, за которым мелькала яркая улица. И, как всегда, не видел ничего — только свою машину, один неподатливый её узелок. Рядом с ним бежали по пыльному асфальту автомобили, и вот пепельно-серая «Победа» поравнялась с его окном.

— Товарищ Лопаткин! Изобретатель Лопаткин!

В этой «Победе» рядом с шофёром сидел Галицкий. Он высунулся до половины в окно, кричал, махал рукой:

— Вылезайте, вылезайте! На остановке!

Дмитрий Алексеевич сразу же протиснулся к выходу и на остановке сошёл на тротуар. Серая «Победа» уже стояла впереди, и из неё махала ему длинная рука Галицкого. Они поздоровались.

— У меня нет времени, садитесь в машину, — приказал Галицкий. — Сейчас ствезём меня в моё министерство, потом вы поедете, куда вам надо. Садитесь и рассказывайте!

Дмитрий Алексеевич открыл дверцу, согнулся, упал на мягкое сиденье, и машина тронулась.

— Вы что, в министерстве работаете? — спросил он, с недоверием глядя на высокий детский затылок Галицкого с чёрными, давно не стриженными волосами.

— Я член коллегии, — сказал Галицкий, не оборачиваясь. — Вы думаете, доктор наук не может быть членом коллегии? Говорите лучше вы. Кратце. Имейте в виду, что кое-что и я знаю. Быстро!

Дмитрий Алексеевич, не переводя дыхания, отпартовал ему обо всём, что произошло с ним за последние месяцы.

— Ясно, — сказал Галицкий. — Ни в коем случае не верьте им! Есть люди, которые полетят со своих мест, если вы осуществите проект. Вам это известно? Будьте уверены, вашу идею они поняли и оценили. Этот Урюпин добавит в неё что-нибудь своё, чтобы не было похоже. Сделают уродца и будут его разрабатывать и «доводить» лет пять. Для этого нужен покой. А вы кричите между людьми, пишете. По логике вещей они сейчас должны вплотную заняться вами.

— Может, Шутиков, как человек заинтересованный, понял, что мой проект лучше?

— Шутиков действительно заинтересован. Но он невинный младенец в технике. Он думает так: та машина, эта машина — один чёрт, лишь бы машина! Конструкция, идея — это, по его мнению, чепуха по сравнению с другими задачами, которые он считает важными. Он великий спец по устройству отношений между людьми. Здесь и надо искать... Но посмотрим. Посмотрим, — угрожающе протянул Галицкий. — Жаль, нет у меня сейчас времени...

Они молчали целую минуту. Галицкий, должно быть, всё это время обдумывал своё расписание, искал свободные часы.

— Нет, пока не смогу, — сказал он наконец. — Вы, небось, думаете: «Копни, копни из личного запаса времечко! Копни, раз сам назвался груздём!» А? Нет, Дмитрий Алексеевич! Нет личного запаса. Не совру вам: у меня есть прекрасные ружья, а охоту всё откладываешь на завтра! Не знаю, верна ли эта линия, — люди вон говорят, что хорош тот руководитель, вокруг которого дело кипит, а сам он свободен, отдыхает. Я пока

ещё не научился так. И потом, у нас столько ещё прорех, что самый хороший руководитель, у которого всё кипит, может найти себе работу... если он её любит. До конца дней, наверно, ни черта ни разу не съезжу пострелять... — Это он сказал с неожиданной досадой и умолк. Достал записную книжку, сердито черкнул в ней что-то, вырвал листок и через плечо подал Дмитрию Алексеевичу.

— Мой телефон. Когда определится судьба, звякните. Вот я уже и приехал. Шофёр вас отвезёт. До свидания...

Так шли дни Дмитрия Алексеевича, спокойные и тревожные. Проект быстро двигался к концу, а где-то за укрытием противник разворачивал войска.

Они были развёрнуты в полной тишине, и в последних числах июля начался разгром, которого по эту сторону фронта никто не мог предвидеть.

Всё началось с телефонного звонка. Дмитрий Алексеевич снял трубку, сказал несколько слов, и Крехов увидел, как он весь словно чуть-чуть опустился.

— Подождите, Вадя, — сказал он. — Я ничего не пойму, какие трубы?

— Чугунные, — насмешливо запищала трубка.

— Ну и что?

— Как что? Поздравляю вас с решением проблемы.

— Так мы же ещё не реши...

— Дмитрий Алексеевич, если вас поздравляет референт замминистра, значит проблема решена. Можете убедиться. Грузовик скоро прибудет.

— Какой грузовик?..

— По-моему, трёхтонный.

— Вадя, скажите мне яснее, в чём дело?

— Я всё ясно говорю, — сказала трубка замирающим голосом. — Из Музги прибыл рапорт об успешном испытании машины, и первые трубы, сделанные товарищами... Погодите, я сейчас загляну в проект приказа... Сделанные товарищами Урюпиным и Максютенко.

— А что за приказ? — тихо спросил Дмитрий Алексеевич.

— Приказ голов не вешать, а итти вперёд, Днма. Приезжайте, посмотрите заодно и приказ.

— Хорошо, еду, — сказал Дмитрий Алексеевич и бросил трубку. Упираясь большими кулаками в стол, он замер на несколько секунд и посмотрел вдаль, как будто не было перед ним желтоватой стены. Не совсем ясно, но он уже видел замысел своих врагов. Это было что-то новое и, кажется, неодолимое.

Конструкторы молча сидели и стояли у своих станков, только головы их наклонились ниже, чем нужно. Дмитрий Алексеевич прошёл мимо них, у дверей спокойно сказал: «Еду в министерство часа на два» — и вышел.

Выпрыгнув из троллейбуса у громадного министерского здания, он сразу же увидел грузовик против главного подъезда. С этого грузовика рабочие снимали окрашенные чёрным лаком чугунные трубы и уносили их в подъезд. Дмитрий Алексеевич подошёл, потрогал трубы. Да, отлиты центробежным способом, и отлиты неплохо. «Неужели я просчитался?» — подумал он и почувствовал, что потеет.

— Фу, чёрт, жарко, — сказал он и опять стал рассматривать трубы. «Не я так не я, — подумал он. — Жаль, правда, столько лет потеряно».

Нет! Ничего не было потеряно! У него ведь была лучшая машина! А эта... Она больше двенадцати труб за час не даст. Отлить хорошую трубу можно и вручную. Не в этом дело!

И как бы в подтверждение его мысли рабочий нечаянно стукнул концом трубы об асфальт и выругался. От трубы отвалился косой черепок с серебристо-серыми кристаллами на изломе.

«Отбел,— подумал Дмитрий Алексеевич.— Да, они ведь охлаждают водой».

На втором этаже в приёмной и кабинете Шутикова все двери были открыты настезь. Там гулял июльский ветер и приятно звучали весёлые мужские голоса. Человек десять инженеров в белых кителях, юноши — секретари и референты — окружали в кабинете длинный стол для заседаний. На этом столе на зелёном сукне, как орудийные стволы, в ряд лежали пять или шесть труб — гладкие, блестящие, словно обточенные на станке. Здесь же, около труб, был, конечно, и Шутиков. Он сиял, похлопывал трубы, присев, просматривал их насквозь и успевал с радостным видом отзываться на сочувственные речи инженеров, которые пришли поздравить его с выдающимся достижением.

Когда Дмитрий Алексеевич входил в кабинет, до него донёсся довольный голос Шутикова:

— Да, верно. За границей льют трубы так. Но, товарищи, мы применили новинку: сменность изложниц! Это даёт колоссальный эффект. Колоссальнейший! А вот и товарищ Лопаткин пришёл порадоваться с нами...

Все расступились. Шутиков вышел навстречу Дмитрию Алексеевичу, обнял его и подвёл к столу.

— Вот наконец и итог нашего совместного труда. Посмотрите-ка, вы ведь специалист... Недурно, а?

Дмитрий Алексеевич заглянул внутрь трубы. Он не знал, что делать. Не радоваться? Но вот стоит вокруг стола народ... Среди них есть честные люди. Вот и рабочие подошли — эти радуются откровенно! Если не радоваться с ними вместе, они подумают, что вот соперник надулся, сразу видно — частник, ему даже победа коллектива нипочём!

Но радоваться Дмитрий Алексеевич не мог, несмотря ни на что. Ведь перед ним играла чёрным лаком труб, сияла золотом начальственных очков беда — тончайший обман всех этих доверчивых людей, которые всерьёз думают, что решено большое государственное дело. Вот и сам Павел Иванович ходит — светлосерый, сияет больше, чем следует. Труб не было — трубы есть! Об остальном беспокоиться нечего — Авдиев постарается разукрасить *результат своих исследований*. Павел Иванович не считает нужным скрывать своё торжество: окружающие не расшифруют. Все видят бескорыстного, неутомимого деятеля, который гордо отказался от заманчивого участия в разработке проекта. Все видят красивые блестящие трубы! Но сколько они будут стоить? На чью шею ляжет эта стоимость? Они же заметно утолщены, здесь явный перерасход чугуна! А отбел? Сколько труб будет разбито в дороге, на строительных дворах? А производительность труда? Ведь уже есть, есть более совершенная машина! Разве можно это допустить — чтобы она погибла?..

Лучше бы ему откровенно надуться! Он не догадался вовремя. А бледное лицо его, между тем, кривлялось, борясь с улыбкой и с выражением отчаяния. И это произвело на людей самое худшее впечатление. Все внимательно посмотрели на изобретателя и переглянулись.

Шутиков понял это. Он взял Дмитрия Алексеевича под руку и повёл по кабинету, как бы обсуждая с ним трубные дела. А сказал он ему вот что:

— Я вас понимаю, Дмитрий Алексеевич. Надо мужественно переносить. Переломите себя. Я надеюсь, что вы придумаете ещё что-нибудь новенькое...

— Как — повенькое! А машина?

— Министр распорядился прекратить работу над нею. Я, конечно, дам вам ещё денёков пять, чтобы вы закончили проект, но на этом будет поставлена точка. Вы молоды, энергичны, вы не пропадёте. У вас здесь кое-что имеется. — Он ткнул себя пальцем в лоб. — А сейчас вас выручить может только чудо. Вы же не можете вот так — раз, два — и поставить

здесь свою машину в готовом виде! Таковую, чтобы она давала нам хотя бы на пять труб больше...

— Я напишу в Цека, — не дослушав его, сказал Дмитрий Алексеевич.

— Ну и что? Вы думаете, что каждый, кто пишет туда, бывает удовлетворён? Нет. Удовлетворён будет только тот, кто прав. Ваш вопрос сугубо специальный. Решить его без специалистов нельзя. И мнение их будет спрошено. А оно уже сейчас известно и мне и вам.

— Но я знаю ещё одного авторитетного судью в области специальных вопросов. Это — испытание опытного образца. Надо построить и испытать.

— Ну что ж... постройте. Стройте! Ах, у вас нет средств... Что ж, просите в министерстве. И мы опять спросим...

— Авдиева?

— А что? Почему бы не его? Мы спросим его и других учёных, стоит ли отпускать средства. Ведь у нас есть уже машина! Зачем нам две?

— Но это ведь тоже моя! — шёпотом закричал Дмитрий Алексеевич. — Если б они не мудрили с нею, она дала бы вдвое!

— Успокойтесь и не говорите чепухи. Между прочим, я не забыл... Помните, мы так хорошо беседовали на этом вот диване. Я и сейчас готов пойти вам навстречу... И пойду, если вы продумали... В общем, звоните мне. По этому вопросу я вас приму всегда.

Высказав всё это мягким голосом и пожав расстроенному изобретателю локоть, Шутиков вернулся к трубам. А около Дмитрия Алексеевича оказался Вадя Невраев. На этот раз у него был вальяжный вид, пиджак его был застёгнут на одну пуговицу, и держался Вадя молодцом.

— Дмитрий Алексеевич, — сказал он вполголоса, — не обнажайте меча против мельницы.

— Он предложил мне...

— Не об-на-жайте! — сурово протянул Вадя. — Взгляните на минуту туда. Как по-вашему, почему он так часто заглядывает в трубу, что он там видит? Не знаете? Дмитрий Алексеевич, он видит на том конце этой трубы некое солидное кресло. Так что не обнажайте. А отступное советую принять. Пока не поздно...

С этими словами Вадя повернулся к Дмитрию Алексеевичу спиной, отошёл к столу и, обняв за талию одного из инженеров, с улыбкой заговорил с ним.

В тот же день и в тот же час Дмитрий Алексеевич прошёл в приёмную министра и спросил у молодого человека с изогнутыми бровями, нельзя ли попасть на приём к Афанасию Терентьевичу. Молодой человек повернулся к нему боком и стал набирать номер телефона. Вот что он сказал, набрав номер:

— Это ты, Николай? Ты свободен вечером? Афанасий Терентьевич занят. Нет, это я не тебе, это здесь... Так слушай, позвони мне...

Услышав в этих словах то, что относилось к нему, Дмитрий Алексеевич поклонился в затылок молодому человеку (проклятая воспитанность!), отошёл и сел за пустой столик. Здесь он написал на имя министра письмо, перечислив в спокойном тоне все убытки, которые может понести государство в связи с работой новой труболитейной машины, сделанной в Музге. Затем он попросил разрешить дальнейшую работу над его, лопаткинской, машиной, учитывая то, что на проектирование и консультации уже затрачено немало денег. Он заверил министра, что его машина будет давать не меньше пятидесяти труб в час, не говоря уже о том, что трубы эти будут прочными. И ещё он обратил внимание министра на одну особенность своей машины: она годится и для литья водопроводных труб...

Тут на него вдруг накатил приступ отчаяния, он бросил ручку и оцепенел, безнадежно глядя на бледнорозовую стену с плавающим на ней солнечным пятном, отражённым из полоскательницы с водой. Но через

минуту он встрепенулся и заставил себя дописать письмо. Он написал и второй экземпляр, для надиной канцелярии, и перечитал письмо. Всё было в порядке, слово «министр», как полагается, везде было написано с большой буквы. Дмитрий Алексеевич расписался и передал лист молодому человеку с изогнутыми бровями. Тот начал сразу читать заявление и на осторожный поклон Дмитрия Алексеевича ответил, не поднимая глаз от бумаги: «До свидания».

Евгений Устинович, как только Лопаткин открыл дверь, с первого взгляда понял, что дела плохи. Старик как раз приготовил обед и, сидя у открытого окна, поджидал товарища. Дмитрий Алексеевич вошёл, сел перед столом и стал бросать на клеёнку пятналтынный.

— Уж если изобретатель начинает задавать вопросы судьбе, дела действительно плохи,— сказал профессор.— Что у вас случилось?

Дмитрий Алексеевич подал ему копию своего письма на имя министра. Старик медленно провёл бумагой перед очками снизу вверх и положил письмо на стол.

— Квадратура круга,— сказал он, и в комнате надолго наступило молчание. Дмитрий Алексеевич опять стал подбрасывать на столе монету.

— Знаете, о чём я думаю? — спросил он с бесшабашно весёлым видом.— Я думаю, не принять ли предложение Шутикова.

— А что?

— Да вот... Откажись, говорит, от всего. Получай хорошее место с соответствующим окладом.

— Говорит открыто? Значит, считает дело решённым. Но я вижу, что Дизель прав. Вы начинаете отвыкать от надежд!

— Как вы думаете, письмо попадёт к министру?

— Что же, доложат. Сегодня ночью. Избави бог, они не волокитчики. Только как доложат! В общем, бумажка будет завтра подшита в дело, и на ней этот ваш мальчик с бровями напишет: «Доложено министру такогото». Ми-ильй! Я колени, а не то что брюки издираю по приёмам! Дело не в министре.

— Но ведь без него ничего не делается...

— Не так: без него никто не остановит и не накажет ваших «друзей». А без них к нему не пройдёшь, чтобы пожаловаться. Без них он вам и не поверит. Так что вот... Давайте побеждаем и подумаем, что нам делать.

С этими словами Евгений Устинович направился к своей постели. Там, под подушкой, завёрнутая в одеяло и газету, томилась у него кастрюля с борщом. Он поставил на стол эту кастрюлю, купленную когда-то Надей, достал из шкафика две тарелки. Затем снял с кастрюли крышку, сказал: «Чувствуете, как пахнет?» — и палил Дмитрию Алексеевичу полную тарелку темнокрасного жирного борща.

— То, что с вами произошло, я мог бы предсказать,— проговорил он, наполнив вторую тарелку и принимаясь за еду.— Это было и со мной, только меня подвела память. Расчёт у вашего Шутикова, по-моему, такой. Теперь вы больше не сможете жаловаться на него. Министерство затратило на вас немало денег. Вас обсуждали, вас дважды проектировали, вам дали лучших конструкторов, с вами возились. А то, что в результате творческого соревнования победила другая машина, так — господи! — должен же кто-нибудь победить! Должен же кто-нибудь оказаться внизу! Ваши жалобы будут признаны нормальной реакцией побеждённого. Вот над чем мы ломали голову! Теперь всё ясно...

— Кроме одного...— вставил Дмитрий Алексеевич.— Что нам делать?

— Пожалуй, вы правы... Действительно, начнёшь задавать вопросы судьбе!

— Всё равно к Шутикову работать не пойду. Я уже думал, Евгений Устинович! Не двинуть ли нам с вами куда-нибудь в Саяны, на Енисей?



А? Чтоб было небо и земля, и чтоб были дети. Первые классы. Евгений Устинович! Толкните меня, а я вас — и проснёмся где-нибудь далеко-далеко! Где кочуют туманы!

— Решайте,— сказал профессор.— Я пойду за вами.

## 3

Весь следующий день Дмитрий Алексеевич звонил министру из уличной кабинки по телефону-автомату. Ему отвечали: «министр ещё не приехал», «министр занят», «министр уехал». На второй день Дмитрий Алексеевич поехал в министерство и, пользуясь своим постоянным пропуском, сумел пройти в приёмную министра. В приёмной никого не было, кроме Зари, которая, мечтательно согнувшись, читала толстую растрёпанную книжку.

— Афанасий Терентьевич сегодня будет к вечеру,— сказала Заря, неохотно отрываясь от книжки. Потом она очнулась.— Ах, это вы, товарищ Лопаткин...

Голос её опять ожил, но на этот раз перед Дмитрием Алексеевичем была другая Заря — не грустно-сочувствующая, а брезгливо-гневная.

— Он вас не примет, товарищ Лопаткин,— сказала она.— Я спрашивала. Он приказал с вами не соединять. А вы тоже! — Она сразу как-то осунулась, враждебно выпятила нижнюю губу.— Нельзя же до такой степени быть эгоистом! Машину всё-таки не для вас строят, а для людей, для народа. Я бы никогда так... Я бы поздравила. Сделали — и очень хорошо, и спасибо! Нельзя так... Я никогда не думала, что вы...

Она умолкла, и в приёмной, которая была отрезана от мира непроницаемыми для звуков стенами, наступила тяжёлая, как бы звенящая тишина.

— Афанасий Терентьевич сказал, чтобы больше вы сюда не приходили... — подавленно прошептала Заря.

— Хорошо. Не приду,— чуть слышно сказал Дмитрий Алексеевич.— До свидания...

И выбежал. Он даже не заметил, как очутился внизу, на тротуаре,— его гнал стыд. «Всё!» — сказал он себе и пошёл к остановке. «Всё! Всё! — шептал он в троллейбусе.— До свидания, товарищи! Хватит!»

— Всё! — сказал он дома, быстро входя в комнату. Сел на свою кровать и оцепенел, словно ему надавали пощёчин.

Евгений Устинович, лёжа на сундуке, делал вид, что читает книгу. Кроме него, в комнате была Надя в пёстреньком летнем платье. Теперь у неё начался двухмесячный учительский отпуск, и она пришла проведать их с утра.

— Что всё? — спросила она, осторожно подходя к Дмитрию Алексеевичу. Должно быть, она всё уже знала.— Что всё, Дмитрий Алексеевич?

— Эгоист! — сказал он, зажмурясь. И слёзы брызнули, потекли из его глаз. Он зло закрыл лицо рукой, размазал слёзы.— Всё! Никуда не пойду больше!

— Дмитрий Алексеевич! — Надя села рядом с ним, положила руку ему на голову.— Ничего ведь страшного не произошло! Дмитрий Алексеевич...

Она прижала к себе эту большую седеющую голову и стала тихонько покачиваться, как будто в руках у неё был ребёнок. Прошла минута, две... И Дмитрий Алексеевич, вдохнув успокаивающий запах её духов, почувствовал вдруг утреннюю лёгкость в душе. Он выпрямился, посмотрел на Надю.

— Да... — сказал он и оцепенел, ничего не думая, отдаваясь чувству лёгкости. Всё в нём было как после сильного дождя с градом.

— Насколько я понимаю, это остатки наивности,— отозвался со своего места профессор.— Ваш Шутиков неосторожно задел их рукавом, и

все эти фарфоровые слоникки полетели вниз и разбились... И слава богу! Изобретателя ничто не должно расстраивать.

— Мне нельзя больше показываться в министерстве! — воскликнул Дмитрий Алексеевич. — Меня все там считают шкурником, эгоистом, частником и предателем общественных интересов! Я позавчера перед всеми подтвердил ту аксиому, что изобретатель — отмирающий пережиток!

— Интересно, как это вы сумели...

— Там был праздник, все радовались, все приходили и поздравляли друга друга с победой. А я один не проявил должного энтузиазма. Я сам не знаю, как это получилось... Но все это заметили. Если бы вы слышали, чего мне сегодня наговорила одна девчонка... секретарша. Как она на меня смотрела, бедняга... Но это так ужасно! Когда считают сумасшедшим, это в сто раз лучше.

— Ничего-о, — тихо говорила Надя, грустно любясь им сбоку. — Ничего, всё это пройдёт. И пройдёт очень скоро. У меня для вас есть одна интересная вещь. Хотите, покажу?

— Опять галстук? — попробовал он пошутить.

— Нет. Не галстук и не чашки. Получше. — И она прошла к столу, где лежал её маленький школьный портфель.

В последнее время Надя по поручению Дмитрия Алексеевича ходила в Ленинскую библиотеку, читала литературу о центробежном литье, о трубах и составляла аннотации статей. Задача была целёккая, но Надя нашла выход из положения. Она почти полностью переписывала статьи в толстую тетрадку. Вот и сейчас, расстегнув свой портфель, она достала эту тетрадку.

— Чепуха, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Я уже отдал концы. Отплыл. Меня нет.

— Подождите отплывать. Вот смотрите, какие бывают на свете трубы. Это должно быть вам интересно. Видите? Биметаллическая труба из двух слоёв. Верхний слой — простая сталь, а внутренний — кислотоупорная. Для химической промышленности...

— Ну и что? Ага... — И Дмитрий Алексеевич замолчал, перелистывая тетрадку. — Это можно делать на моей машине! — вдруг угрожающе заговорил он.

— Мы с Надеждой Сергеевной того же мнения, — скромно сказал профессор с сундука. Он тоже был в курсе дела.

— А как же, интересно, делают они?

— Никак. Это труба, которой у них нет. Здесь сказано: на протяжении последних четырёх лет наши конструкторы и технологи ищут путей... Они бьются над этим делом, не найдут никак решения...

— Ах, они ещё не делают!..

— Вот именно! — сказала радостно Надя. — Они ставят стальные трубы и каждую неделю меняют — разъедает. А такая вот труба им нужна — с внутренним покрытием... Предложим?

— Кому? Немцам?

— Зачем? Ничего не понимает! Мы их опередим. Кому-нибудь и у нас такая труба нужна! Узнаем и предложим.

— Вы уверены, что там не найдётся Шутикова? Нет! Никуда я больше ходить не буду. Писать — только одной вам. Буду жить в лесу и молиться колесу... Два слоя? Ай-яй-яй, какая идея! — закончил он неожиданно.

Надя взглянула на профессора. Тот выразительно повёл глазами, как бы говоря: конченный человек! Никуда он не поедет от своей машины! Вот, смотрите, вот он уже сидит на любимом копытке!

Дмитрий Алексеевич вскочил с постели и высунулся далеко в открытое окно, лёг на подоконник и так лежал минут двадцать, время от времени ероша волосы. Потом он встал, и оказалось, что он там что-то цара-

пал — гвоздём на железном листе, прибитом с той стороны подоконника.

— Ай-яй-яй... — сказал он, оглядываясь издали на свой железный чертёж. — Фу-фу-фу, вот так идея!

— Ну, во-от. Я же говорила! — Надежда Сергеевна, стараясь скрыть свою радость, обмахивала лицо тетрадкой. — Товарищи, смотрите, какая жара начинается!

— Надежда Сергеевна, это реальная вещь! — сказал Дмитрий Алексеевич. Сел. Потом встал. Поднял с пола изорванный конверт и, выхватив из кармана авторучку, подсел к столу. — Вы мне подали мысль...

— Не я, — мягко возразила Надежда Сергеевна. — Это ваша собственная...

— Мы подадим заявку за двумя подписями!

— Не рекомендую, — предупреждая прогудел с сундука профессор. — Никаких заявок.

— Решено! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Теперь нас двое.

Надя покраснела и ничего не сказала. Ещё в библиотеке, увидев статью о двухслойных трубах, она сразу поняла, что перед ней важное открытие, ещё один вопрос, на который Дмитрий Алексеевич, сам того не зная, давно уже ответил. Пальцы её задрожали, перелистывая статью. Надя почувствовала, что впервые становится настоящей помощницей этого необыкновенного человека с простым именем: Дмитрий Алексеевич. «Дмитрий Алексеевич...» — повторила она и вот так же покраснела от счастья.

— Я бы всё-таки порекомендовал вам... Хоть позвоните вашему Галицкому, посоветуйтесь с ним. — Евгений Устинович с беспокойством посмотрел на Лопаткина. — Я его не видел, но, по вашим рассказам судя, это такой человек, каким мне рисуется настоящий партиз.

— Да, да... Верно. Есть смысл. — Дмитрий Алексеевич поднялся. При этом он не сводил глаз с Нади. «Да, да, верно... — думал он. — Ей хотелось получить что-то, какой-то знак. Получи, милый друг! Не могу тебе дать большего, но это — твоё».

— Вы позвоните всё-таки, — напомнил Бусько.

Дмитрий Алексеевич вынул из кармана пятиалтынный и посмотрел на него.

— Ага! — догадался старик. — Это тот, что вы вчера подбрасывали. Бегите, опускайте его в автомат. Это ваша судьба!

Дмитрий Алексеевич вышел, и Надя легко, как девочка, выскочила за ним из комнаты. Они уже были счастливы! Сбегая по лестнице, Надя даже рискнула — оперлась на его плечо и прыгнула сразу через несколько ступенек. Они прошли двор, держась не то чтобы за руки, а зацепившись мизинцами и перешагивая через голубей, которые бежали перед ними, мелко-мелко перебирая розовыми лапками. Посмотреть со стороны — счастливые молодые люди! Вот и телефонная кабинка. Дмитрий Алексеевич вошёл в неё, опустил монету, набрал номер, и в ухо ему забалили гудки. Потом что-то щёлкнуло, и раздался женский голос:

— Алло?

— Товарища Галицкого, будьте...

— Товарищ Галицкий получил новое назначение

— Куда, не скажете?

— Таких справок по телефону не даём.

— Но он в Москве?

— Нет.

— Простите... Может, он скоро...

— Товарищ, я же говорю вам: он откомандирован на постоянную работу!

«Пи-пи-пи-пи-пи...» — замигали тонкие гудки. Это там, в министерстве, секретарша положила трубку.

— Галицкого нет в Москве,— отрывисто сказал Дмитрий Алексеевич, выходя из кабины. День вокруг него был такой же яркий, но стал он как будто суше, как будто прибавилось в воздухе пыли, запахло бензиновой гарью, и назойливее, беспощаднее закричали в переулке стремительные автомашины.

Надежда Сергеевна ничего не сказала. Они молча вошли во двор, и лилово-шоколадные голуби в белых штанишках опять побежали перед ними. Привели их к крыльцу и здесь разлетелись.

— Ну? — сказал Дмитрий Алексеевич, со слабой улыбкой взглянув на Надю. — Бьются слоники?

— Дмитрий Алексеевич! — Надя вздохнула. — По-моему, они уже давно все разбиты. А какие слоники были!..

— Впереди громадный, да?

— Он первый и упал. Но мне всё-таки повезло. Я его спасаю. А остальные, поменьше — те все побились.

— Того, который остался, Надежда Сергеевна, разбейте скорее! Больнее будет, когда его кто-нибудь...

— Ничего вы не понимаете,— ласково сказала Надя, поднимаясь по ступенькам. — Нет, я его буду беречь...

Евгений Устинович встретил их наверху, на площадке лестницы. «Ну?» — молча спросил он, подняв брови.

— Неудачный пятиалтынный, — отрывисто сказал Дмитрий Алексеевич. — Галицкий уехал из Москвы. Совсем. Да... верно он себя охарактеризовал. Всё на завтра откладывает и ничего не успевает...

И один за другим они молча побрели по коридору к своей комнатке. Профессор шёл последним и, сопя, шаркая по полу, вполголоса повторял:

— Уехал... А я почему-то надеялся... Мне этот человек рисовался... И-да-а... Ах, как мне всё это знакомо! И как это всё-таки тяжело!..

Они вошли в комнату, сели — кто на стул, кто на кровать,— и наступила тишина. И все трое вдруг заметили, что жизнь попрежнему идёт. На улице звенели детские голоса, хлопали крыльями голуби. Мальчишка крикнул: «Пускай белого!» Вдали играл патефон — в эту страшную минуту кто-то учился танцевать...

— В такой тишине,— сказал Евгений Устинович,— чувствуешь, насколько мелки наши беды перед лицом времени и пространства... Дмитрий Алексеевич, — добавил он, помолчав, — я думаю, что сейчас как раз самое время пообедать.

Надя сразу же вскочила и, взяв с пола кастрюлю, унесла её на кухню. Проводив её глазами, профессор наклонился в сторону Дмитрия Алексеевича.

— И ещё, я думаю, не вредно будет подсчитать наши ресурсы и ввести карточную систему.

Ближе к вечеру, когда Надя ушла, друзья составили бюджет. Он был не так уж строг. До рыбьего жира дело не дошло. Больше того, были даже выделены деньги на покупку ватмана для нового проекта.

Профессор был доволен результатами этих расчётов. Дмитрий Алексеевич тоже повеселел и сказал, что наступает эпоха восьмикилометровых прогулок. Всё это было уже знакомо.

Но где-то за сотней каменных стен в нескольких домах тоже сидели люди и составляли иные планы, разговаривали по телефону, диктовали машинисткам приказы, в которых упоминалось: Д. А. Лопаткин. По этой причине в расчёты изобретателей на следующий же день была внесена поправка.

Когда Дмитрий Алексеевич утром пришёл в институт, он прежде всего заметил, что группа за время его отсутствия за целый день ничего не сделала. Люди знали уже обо всём и не хотели работать *на полку*. «Они

правы! Что толку бумагу переводить!» — подумал Дмитрий Алексеевич. Он приветливо здоровался со всеми, переходя от станка к станку. Лицо его было светло, и это представлялось настолько необычным, что Крехов не выдержал:

— Дмитрий Алексеевич! Чудо! Вы идёте, как Христос по волнам! Лопаткин расхотался.

— Нет, в самом деле! Ведь вас, простите меня, колнуном хватили по голове. Я бы не выжил, честное слово...

— Что вы говорите? — с весёлой рассеянностью переспросил Дмитрий Алексеевич. — Это всё чепуха. Если бы вы знали, какая сейчас у меня в голове идея!

Все переглянулись. «Изобретатель-то наш немного того», — говорили эти взгляды. Дмитрий Алексеевич не заметил их, и полдня в группе потихоньку толковали о том, что да, изобретательское дело, оно такое — сегодня здесь, а завтра в Белых Столбах, палата номер шесть!

Работа не клеилась. То и дело раздавался на соседнем столе телефонный звонок, и трубка женским голосом громко спрашивала: «Можно позвать к телефону товарища Антоновича?» Старый, бритый, молодой модник Антонович, перво дёргая щекой, подходил: «Это ваше объявление висит на Арбате? — говорила трубка. — Скажите, вы действительно одинокий?» «Да, да!» — говорил Антонович. «Как же это так до сих пор? Знаете, я тоже ищу комнату». «Так что же?» «Не снять ли нам одну вместе? Я тоже одинокая, интеллигентная...»

— Ха-а-а! — радостно закатывалась вся группа.

— Безобразия! — говорил Антонович, бросив трубку. — Это кто-то из копировщиц! Чёрт знает что такое... Дети! Игрушку нашли!..

До этого дня Дмитрий Алексеевич не подозревал, чтобы такие солидные люди, как Крехов, могли подобным образом веселиться. А тут и он вышел как будто бы купить папирос, а несколько минут спустя затрещонил телефон. Антонович подошёл, сказал солидно: «Вас слушают», — и в ответ на всю комнату задребезжало: «Мне одинокого, интеллигентного инженера...»

— Я узнал вас, Крехов! Послушайте... — угрожающе начал Антонович, но трубка перебила его:

— Погоди ругаться, Андрей Евдокимыч. Тут я сейчас на углу читал твоё объявление. Оно, знаешь, с ошибками.

— Какие ошибки?

— А вот. В слове «интеллигентный» одно «л».

— Не может быть!

— Чего ж не может, поди сам посмотри...

И Антонович ушёл смотреть. И, конечно, второе «л» стояло на месте — ведь он был интеллигентный! Но Крехов, лучший конструктор, солидный человек со старомодным кольцом на пальце, был очень доволен этой проделкой. Он уселся на своё место, и вид у него был такой, словно он хорошо отобедал. Он дружелюбно поглядывал на телефон, ожидая от него каких-нибудь весёлых неожиданностей.

И телефон не заставил себя ждать — мелко затрещал, затрещонил на всю комнату. Шутники были наготове — поднялись было, но Крехов опередил всех. Раз, два — всего два длинных шага, — и он снял трубку.

— Да! — сказал он и вдруг подобрал губу. — Сейчас-с-с. Товарищ Лопаткин!

«Кто там ещё?..» — подумал Дмитрий Алексеевич, беря трубку.

— Товарищ Лопаткин? — сказал в трубке кто-то неторопливый, строгий.

— Да... — хрипло ответил Дмитрий Алексеевич и нервно откашлялся. — Да, да! Это я!

— Это звонят по поручению товарища Галицкого.

— Так он же уехал!

— Совершенно верно. Но у нас тут было техническое совещание... Вы можете зайти к нам в управление?

— Конечно, могу! Простите, с портфелем мне приходится или без?

— Лучше с портфелем. Хотя мы знаем вашу труболитейную установку. В общем, приходите. Знаете что... Вы можете сейчас? Можете? Так я пришлю машину...

Да, это был на редкость весёлый денёк! Положив трубку, Дмитрий Алексеевич посмотрел на телефон с подозрением. Уж не вздумал ли кто-нибудь подшутить и над ним... Но всё же он подошёл к открытому окну и стал ждать...

И через двадцать минут, как в сказке, плавно выкатилась из-за угла серая машина и затормозила внизу у подъезда. Это была та самая серая «Победа», в которой прежде ездил Галицкий.

Дмитрия Алексеевича уже не удивляли новые истории с многообещающей завязкой, даже если они налетали так неожиданно. Встречая их, он вёл себя теперь ровнее, заранее предвидя одинаковый для всех этих историй исход. Пока он ехал в серой «Победе», в его душе пролетела ещё одна трёхминутная буря — сломала деревья, снесла крыши, — но, сжав губы и закрыв глаза, он быстро утихомирил её, затаил все разрушения. И в кабинет на третьем этаже незнакомого желтоватого дома с колоннами вошёл тот изобретатель, которого боятся в министерствах, — человек с особенной, мучнистой бледностью на лице — бледностью нервных. Улыбка его выдавала готовность к резкому отпору, насмешливую ненависть к красивым шторам, дорогому чернильному прибору и белому с голубыми и красными узорами ковру.

Но те, кто сидел перед ним в дорогих креслах, кто стоял с загадочным видом у красивых штор или медленно ходил по белому ковру, начальники и инженеры, и пеголеватый генерал в чёрном костюме с голубыми лампасами и гражданскими белыми погонами, — они-то, должно быть, выдавали изобретателей. Таким они себе и представляли инженера Лопаткина, героя шестилетней истории с труболитейной машиной. Никто не улыбнулся за его спиной, хоть и наступила тихая пауза, когда он вошёл. Но эту паузу сейчас же, не сговариваясь, прервали. Кто-то предложил Дмитрию Алексеевичу кресло, генерал, выйдя из-за стола, сел против изобретателя и раскрыл для него свой портсигар. Остальные придвинули стулья.

— Дмитрий Алексеевич, — негромко начал генерал и, щёлкнув зажигалкой, поднёс Лопаткину голубой огонёк. Оба они окутались клубами дыма. — Дмитрий Алексеевич, — повторил генерал, — мы хорошо знаем вашу машину, здесь нам уже обстоятельно всё растолковал товарищ Галицкий...

— Простите, а где Галицкий? — осведомился Дмитрий Алексеевич.

— Нас интересует вот какая штука, — продолжал генерал, который не любил, видимо, когда его перебивали. — Могли бы вы дать варианты вашей машины применительно к отливке некоторых тел вращения, с внутренними пустотами. Ну, скажем, *оживальной* формы. Вот таких, например...

К этому времени рукой проворного референта были аккуратно разложены на столике четыре квадратика ватманской бумаги с жирно вычерченными на них симметричными фигурами: сигара, жёлудь, сахарная голова и труба со ступенчатыми утолщениями.

— Относительно этой сигары... Здесь, видите ли, какая штука, — начал Дмитрий Алексеевич, но генерал перебил его:

— Работать берётся?

— Берусь,— сказал Дмитрий Алексеевич, чувствуя, что новая радостная буря поднимается в нём, и генерал кивнул референту. Тот быстро собрал листки ватмана.

— Будете работать в том же институте, в той же группе и в том же помещении,— сказал генерал.— Деньги будете получать из того же окошка, тот же оклад. Проведём это как наш заказ институту. Работа секретная, как вы понимаете. Ваши друзья захотят узнать — Шутиков, Дроздов, Авдиев,— не говорите им... Инструкции вам даст товарищ Захаров, Владимир Иванович. Это будет представитель заказчика. Вы что-то хотите добавить?

— Да, я могу добавить... Принцип машины даёт нам такие возможности... Мы, например, собираемся получить на ней двуслойную трубу — из двух металлов.

Генерал пристально посмотрел на Дмитрия Алексеевича, затем вскинул глаза на строгого чистенького инженера, который до этого молчал.

— Или из стали двух разных сортов...— сказал Дмитрий Алексеевич.

Инженер чуть заметно улыбнулся, провёл сухими пальцами по столу и, не поднимая глаз, покачал головой.

— Не следует распыляться... Нет. Это пока проблема...

— Вы не заявляли в БРИЗ? — живо спросил ещё один седой старик с изнурённым лицом и блестящими чёрными глазами, должно быть учёный.— Нет? По-моему, надо включить и заявить через наш отдел. Чтобы сохранить хотя бы секретность. Потому что, как бы это ни было проблематично, сама идея эта есть уже открытие. Самый путь обещает интересное решение. Мы можем получить целый комплекс...

— Мы начали работу,— сказал Дмитрий Алексеевич.— Во всяком случае, уверены, что получится.

— Кто такие «мы»? — спросил генерал.

— Я и мой соавтор. У меня есть соавтор. Надежда Сергеевна Дроздова. Она в курсе дел.

— Пусть будет соавтор. Запишите соавтора в приказ,— сказал генерал, и референт сразу же нагнулся над столом и черкнул что-то карандашом.

Было решено включить в план работы и литёе двуслойных труб. Генерал вызвал ещё двух начальников, и после небольшого совещания решили этот пункт поставить первым. Затем было сказано ещё несколько слов — о сроках, о возможном создании специального конструкторского бюро в зависимости от результатов работы. Вдруг все сразу поднялись, отодвинули кресла и вышли на середину белого ковра, и Дмитрий Алексеевич понял, что совещание окончено.

— Вы спрашивали о Галицком,— сказал генерал.— Он теперь на Урале. Начальник нашего крупнейшего завода. Я завтра вылетаю к нему, могу передать привет. А засим...

Он подал руку, за ним и остальные подошли проститься с изобретателем, и Дмитрий Алексеевич заметил, что они при этом соблюдали какое-то привычное старшинство. Последним был референт. Он вышел вместе с Дмитрием Алексеевичем в коридор и здесь записал для себя адрес автора и часы, когда его можно застать дома.

— Машина вас ждёт,— сказал он.

Дмитрий Алексеевич попросил отвезти его в Ляхов переулок. Всю дорогу он то улыбался, то вдруг начинал быстро-быстро перебирать пальцами на колене и, кашлянув, оглядывался на шофёра,— он уже улетел на полгода вперёд, был уже в цехе, испытывал опытные образцы своих машин. Выскочив из машины около своего дома, Дмитрий Алексеевич пробежал по двору, испугнул голубей, в три прыжка взлетел по лестнице на площадку, и звонок неистово залил за дверью, сообщая всем о его радости.

Евгений Устинович поспешно прошаркал и, открыв дверь, подозрительно прищурился. Он был одет в длинную белую рубаху поверх потных брюк и подпоясан свободно обвисшим, узким ремешком.

— Ну что, ну что, ну что-о! — с места весело закричал Дмитрий Алексеевич. — Говорил я вам, что мне удастся вручить? Кто мне пророчил неудачи?

Старик молча пропустил его в коридор.

— В одном вы не ошиблись! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Галицкий действительно хороший человек. Он сделал больше, чем мы могли ожидать. Теперь нам никакие Шутиковы...

Друзья прошли в комнатку, и здесь, сев на табуретку против профессора, наклонясь к его уху, Дмитрий Алексеевич рассказал ему о своём разговоре в другом министерстве. Он умолчал о фигурах, вычерченных на квадратах ватмана, но Бусько, выслушав его, всё же насторожился.

— Говорите, дело секретное? Зачем же вы доверяете эту тайну мне?

— Евгений Устинович, я вам ещё ничего не доверил!

— Самая главная тайна, если хотите знать, в том, что вас засекретили. Собственно, меня вы должны предупредить, потому что я в курсе ваших дел... Но вообще этот разговор следовало бы вести на улице.

Он внезапно открыл дверь, выглянул в коридор, снова сел и, помолчав, заговорил громко и внятно:

— Да, я давно говорил вам, что у этого певца редкостный голос. Я слышал его в первый раз в роли князя Галицкого. Нет, слух меня никогда ещё не подводил. Конечно, надо вас поздравить. Это исторический поворот... в вашем музыкальном образовании. Но радуюсь ли я за вас? Вот вы пренебрегаете некоторыми моими советами...

— Чудеса! — Дмитрий Алексеевич не слышал его. — Слип-снап-снурре! — и пошёл по комнате, прищёлкивая каблуками.

— Я заметил, у вас получается то плюс, то минус, — заговорил старик с грустью. — Как и у меня было. И маятник всё время раскачивается. Всё больше и больше. Сейчас у вас начинается какой-то громадный плюс. Я бы просил вас не играть с этим...

— Колдун!

— Ребёнок!

— Колдун!

— Ребёнок! Если потом дело покатится в сторону такого же минуса... Поняли? Лучше остановите маятник, как это сделал некто поопытнее вас. Если у вас кончится катастрофой, этого я уже не выдержу. Поверьте мне, что всё это пустое. Отойдите во-время. Дмитрий Алексеевич, а?

— Не верю! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Поплыву в неизвестные моря, как Магеллан!

Весь следующий день Дмитрий Алексеевич, сидя в институте за своим столом, ждал дальнейших событий. Душная предгрозовая теплынь заставила всех конструкторов приумолкнуть. Пиджаки висели на спинках стульев, на подоконниках выстроились гранёные стаканы и пустые бутылки из-под лимонада. Радостная лихорадка тревожила Дмитрия Алексеевича. Он жил от одного телефонного звонка до другого, но телефон звонил не для него.

В пять часов, незадолго до конца занятий, через открытую дверь из коридора проплыл Вадя Невраев, весь словно бы выцветший на июльском солнце. Светлый пиджак висел на одном его плече, голубая тенниска была расстёгнута настолько, что можно было увидеть малиновую розовость обожжённого солнцем тела.

— Кто здесь будет товарищ Лопаткин? — чуть слышно спросил Вадя. — Гражданин, вы будете товарищ Лопаткин? Можно с вами познакомиться?



— Я с вами познакомился лет пять назад, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Не помните?

— Что-то не помню. Не хотите же вы сказать, что знакомство наше началось с тех неприятных бумаг, которые я исполнял... Вы *злопамятен*, Дима, как говорит доктор наук Тепшкин, вы на меня *зол!*

Вместо ответа Дмитрий Алексеевич хлопнул его по плечу, и Вадя упал на стул. Нельзя было сердиться на этого человека!

— Эта рука прикасалась и к добрым делам, — убитым голосом оправдывался Вадя. — Вам известна такая статья: «Шире дорогу поваторам»? Там тоже стояло «исп. Невраев». Редактор, к сожалению, вычеркнул... И сейчас у меня серьёзные намерения, Дмитрий Алексеевич. Я пришёл попенять вам на то, что вы забросили общественную работу, уклоняетесь от коллективных мероприятий...

— От каких мероприятий? — Дмитрий Алексеевич опять доверился его простой улыбке. Ему говорили уже не раз, что Вадя — барометр министерства, но ничего не поделаешь — ему было приятно смотреть в эти ясные глаза, выдающие бесхитростную дружбу.

— Я хотел написать по этому поводу в стенгазету, — продолжал Вадя, словно умирая от жары, — но решил ограничиться личным контактом. Дмитрий Алексеевич, — он понизил голос, — если вы сию минуту не отправитесь со мной...

— На уголок не пойду, — сказал Дмитрий Алексеевич, смеясь. — Жара. Разве вы не видите?

— Я её не вижу, — серьёзно сказал Вадя. — Поэтому я вас приглашаю в Химки.

— Не могу и в Химки. Я сейчас должен находиться здесь. Вы же знаете моё положение — осталось три дня, и Шутиков закрое лавку...

Дмитрий Алексеевич здесь схитрил и тут же увидел, как заработал в министерском барометре загадочный механизм.

— Вам опасно сидеть сейчас около телефона, — сказал Вадя чуть слышно. — Вас могут неожиданно убить какой-нибудь новостью.

«Неужели знает?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

— Ну, новостью меня не прошибёшь, — сказал он. — Сам чёрт не придумает такой пакости, чтобы меня испугать.

— Зачем пугать? Можно и обрадовать! К этому вы, по-моему, ещё не привыкли... Лучше пойдём, Дима...

— Нет, давайте так: я вам позволю завтра, и мы...

— Ну смотрите. Значит, вы хотите всё-таки остаться у телефона. Если что будет — помните, я вас предупредил.

Он собрался уйти, но Дмитрий Алексеевич поймал его за пиджак.

— Идите-ка сюда. Скажите мне что-нибудь путное.

— Путное? Я познакомился на пляже с одним очень интересным ребёнком. Если поедете со мной, могу показать.

— Нет, вы мне отчётливо что-нибудь скажите. О чём вы меня предупреждали?

— Ничего не знаю. Тренируйте волю.

— Хорошо. А откуда вы узнали, что я должен быть готов к новостям?

— Для этого надо обладать искусством своего мастерства, как говорит один вам известный доктор наук.

Вадя ушёл. Никаких новостей в этот день Дмитрий Алексеевич не услышал. А на следующее утро он был вызван к директору института, и тот ровным голосом сообщил ему, что группе поручается ответственная, секретная работа. Директор знал, что с автором должны были уже поговорить там, в другом ведомстве, что всему этому должен был предшествовать какой-то закулисный манёвр, о котором Лопаткин осведомлён лучше, чем кто бы то ни было. Зная, что слова его ничего не стоят, он, между тем, что-то говорил, что-то приблизительно такое:

— Посоветовавшись, мы решили рекомендовать твою кандидатуру, учитывая то обстоятельство, что ты в этой области имеешь достаточную эрудицию. Крехов съел собаку в механике, и Антонович тоже. Они дополнят... По-моему, ничего, получится...

При этом он изучал лицо Дмитрия Алексеевича, который, помня указания, помалкивал и кивал головой.

— Там у тебя, говорят, соавтор объявился? — спросил он и, заржав, вышел к нему из-за стола. — Как, ничего соавтор?

Затем была вызвана к директору вся группа, и генерал повторил свою речь, обращаясь уже ко всем. И здесь слова его звучали не совсем естественно, потому что, умудрённые опытом, конструкторы и техники после первой минуты изумления задумались, начали искать корни всей истории. И именно после этого совещания Дмитрию Алексеевичу стали приписывать ещё одно качество — *пробивную силу*.

## 4

Миновал август. Пошёл сентябрь, сквозь ясную синеву остывающего неба потянуло первым холодом ещё далёкой зимы. Незаметно вошла и распространилась осень — время, когда в парках появляются задумчивые и одинокие пожилые люди со шляпами в руках. Сентябрьские дни — солнечные и холодные — самое лучшее время и для дел, целиком захватывающих человека, для работы, которая гонит прочь пустые воспоминания о невозвратимом.

Пугающее чувство неожиданной струёй пронзило Дмитрия Алексеевича в эту осень, когда однажды он по пути из НИИЦентролита в свой институт решил срезать угол и пошёл через Сокольнический парк. Он очутился вдруг в пустой и жёлтой кленовой аллее, и ему на миг показалось, что он видит и свою близкую осень. И он, может быть, поспешил бы её предупредить, в нём уже открылись светлые, юные глаза, как вдруг перед ним мелькнула вездесущая кабина телефона-автомата. И это ещё ничего — входя в кабину, он был ещё похож на того Дмитрия Алексеевича, который так нравился девочкам из десятого класса. Он решил позвонить Крехову, узнать, как там дела.

— Дмитрий Алексеевич! — ответила ему трубка голосом Крехова. — Шутников к нам заходил. Пожаловал собственной персоной. Какое впечатление? О впечатлении я вам в устной форме... Всё совершенно ясно, — добавил он тише, должно быть приставив к трубке кулак. — По-моему, товарищ ищет ключик... Ключик, ключик ищет подобрать! Улыбается, но улыбочка, знаете, осенняя...

И сразу закрылись светлые, юные глаза, и могущественная осень отошла от этого человека, который, выскочив из кабины, быстро зашагал по аллее, увлечённый своей борьбой, и даже засмеялся:

— Собственной персоной! Ключик! Ждидайся, подберёшь ты теперь!

Прошло ещё полмесяца. Начались октябрьские дожди. Комендант решил опробовать систему отопления, и в результате этой пробы получился потоп в комнате конструкторской группы Дмитрия Алексеевича. Пришёл слесарь вместе с пожилым, словно бы сонным истопником Афонцевым. Обнаружили трещину, стали менять батарею. Должно быть, резьба в соединении прижавела, а может быть, там и накипь выросла, да и мастера к тому же принялись за дело грубовато, и Дмитрий Алексеевич сердцем слесаря почувствовал, что сейчас вот-вот перекуртятся и лопнет влодь по шву старая труба. Он вскочил из-за стола, снял пиджак и возглавил работу. Заставил ребят принести паяльную лампу. Подогрели муфту, или, как говорят водопроводчики, *сгон*, и он со скрипом повернулся на резьбе. Общая победа привела и к общей перекурке, и, когда Дмитрий Алексеевич повернулся, чтобы взять со стола свою пачку папирос, он увидел посредине комнаты громадную фигуру Авдиева.

Профессор был в светлосером костюме с чуть заметной полоской. Расстёгнутый пиджак был непомерно длинен и просторен и свалился в сторону, на руку, оттянутую тяжёлым портфелем. Недовольно шурясь, он слушал Крехова, а тот, выйдя из-за своего «комбайна», разведя рукой с кольцом на пальце, говорил ему, что не имеет права знакомить посторонних даже с деталями секретной работы. Пожалуйста, вот автор — Дмитрий Алексеевич Лопаткин. Если он найдёт возможным...

Вот так всё меняется! Авдиев извинился и поспешно отошёл от запретного чертежа.

— Верно ведь, чёрт его... — заговорил он своим хриплым женским шёпотом. — А я как раз вижу, табличка появилась: «Посторонним воспрещается». Что тут за атомная лаборатория, думаю... Может, я и не совсем посторонний, дай взгляну. Где же Лопаткин?.. Дмитрий Алексеевич, это ты, что ли? Чего это ты без пиджака? Охота тебе ржавчиной мараться! Ты, я вижу, с рабочим классом заигрываешь...

Дмитрий Алексеевич вытер руки газетой, поздоровался с Авдиевым, и профессор с вопросительным приветом посветил в его лицо своими мутно-голубыми голышами. В этих каменных глазах вместе с сумасшедшим весельем перебегало что-то тревожное.

— Чем ты тут занимаешься? — Он оглядел комнату. — Секреты, говоришь, развёл?

— Чепуха, какие там секреты! Машину проектируем, — небрежно ответил Дмитрий Алексеевич. И он достал из шкафа папку с чертежами, с тем проектом, который был почти закончен ещё тогда, когда в министерство привезли из Музги готовые трубы.

— Вот видите. Василий Захарович, — сказал он. — Проектируем маленькую... с вашего благословения...

— А чего ж это они тебя?.. «Посторонним воспрещается»... «Секретно»... Никогда не было такого. Чего это ты?

— Это комендант прибил. Генерал распорядился... Ты узнай у него, поинтересуйся...

— Ха, чудак! — И Авдиев тряхнул жёлто-седыми кудрями. — Его спрашивают как человека... Комендант, говоришь? — Он покачал головой, постоял немного, глядя в пол. — Ну давайте, действуйте...

И, махнув портфелем, вышел.

Что-то осталось после него в комнате — тяжёлое чувство серьёзности положения. Дмитрий Алексеевич понял: всё, что он видел раньше, всё это ещё не было борьбой. Во всяком случае для них — для Авдиева, Шутикова и Дроздова. Для них это были игрушки. А сейчас, когда эти люди, может быть первый раз в жизни, почувствовали настоящий крах и настоящую ненависть, — сейчас они поднимут и всю свою силу, тоже, может быть, первый раз в жизни. И, потемнев, он приготовился встретить это предельное усилие врага.

Крехов угадал мысль Дмитрия Алексеевича. Он подошёл к нему и, вода пальцем по бумаге, вполголоса сказал:

— Закопошились!.. Скоро засвистит... — И он тихонько просвистел в точности так, как свистели немецкие мины.

Но похоже, что всё это были ложные тревоги. Осень грязно текла к ноябрю, работа благополучно двигалась. В комнату были внесены ещё два стола, за ними теперь работали копировщицы. Первый вариант шёл к окончанию! И Надежда Сергеевна, которая этой осенью, как и Дмитрий Алексеевич, однажды услышала в вечном шуме жёлтых листьев грустное предупреждение, — она чувствовала, что путь Дмитрия Алексеевича к людям, отмеченный бесконечными вёрстами, кончается. Скоро путник свалит с плеч свою ношу, и тогда Надя тихонько опять попробует разбудить его. А может быть, и сам он проснётся — она видела однажды, как приоткрылись его глаза.

Она не надоедала ему своим присутствием: придёт и уйдёт, оставив у него на столе что-нибудь очень нужное: очередную находку, ради которой она по нескольку вечеров просиживала в Ленинской библиотеке. Дмитрий Алексеевич просил её остаться. Он даже сказал ей как-то: «У меня никого нет, кроме старика и вот... вас», Но Надя уходила — для того, чтобы через несколько дней опять услышать, может быть, эти же самые слова. Кто-то упорный продолжал уверенно руководить ею.

На правах автора она теперь появлялась в комнате конструкторов и даже подписывала чертежи: сначала её подпись, а ниже — подпись Дмитрия Алексеевича. На этом настаивал Лопаткин. Он как бы отвечал этим на намёки некоторых любопытствующих конструкторов. Не только здесь, в группе, но и в других комнатах института уже знали об интересном соавторе Лопаткина. И не раз уже Дмитрию Алексеевичу приходилось прямым взглядом, суровым словом останавливать неловких разведчиков.

Даже Антонович, человек щепетильный в таких делах, и тот не удержался и однажды осторожно коснулся тайны соавторства. Побледнев и даже задержав на миг дыхание, Дмитрий Алексеевич ответил:

— Раз навсегда, Андрей Евдокимович! Лучше нам не трогать этого. Чтоб вы поняли всё, я должен рассказать шестилетнюю историю наших отношений. А это, знаете, долго и невесело...

Антонович, смущённый, отшатнулся и притих.

Самая процедура подписывания чертежей вызывала у Нади лёгкое смущение. Раньше, когда Дмитрий Алексеевич рисовал для неё на листке бумаги *их* машину, она всё понимала. А сейчас, рассматривая листы проекта, где были вычерчены детали, как бы просвечивающие насквозь, а кое-где и рассечённые рукой опытного анатома Крехова, — сейчас Надя с трудом угадывала знакомые части машины.

— Ничего, — успокоил её однажды Крехов. — Вы мне можете напеть мелодию, а я её запишу и даже аранжирую и нарисую вам таких нотных значков, что сам чёрт в них не разберётся. Если, конечно, он не пианист. А сыграют — вы увидите, что мелодия ваша.

Надя была благодарна ему за эти рыцарские слова, но тут же, покраснев, задумалась: не отдадут ли они фамильярностью, нет ли здесь тончайшего намёка на отношения между соавторами? Не снимает ли этот интеллигентный старик шляпу перед нею, чтобы выразить этим своё уважение и одобрение её спутнику? Осторожно, исподлобья она присматривалась к Крехову, заранее бледнея, готовая сейчас же встать и уйти, умереть от гнева. Но нет, это был бесхитростный, по-настоящему чистый человек.

Но всё же её ждало испытание. Оно пришло с другой стороны — неожиданно и грубо. Однажды, когда она заглянула на полчаса в институт, чтобы взять от Дмитрия Алексеевича какое-то поручение, в комнату бокком ввалился располневший и румяный Максютенко и за ним — мускулистый, поджарый Урюпин. Оба они после Музги побывали на Кавказе, загорели и теперь, надев новые кители из серого коверкота, играющие свежим зелёным кантом, обходили отделы института.

— Привет! — коротко возгласил Урюпин и по-спортивному вскинул руку вверх — копчёную, сухую руку с бледными ногтями, на которой были громадные чёрные часы.

Приветствие адресовалось Дмитрию Алексеевичу. Он встал, чувствуя, что сейчас придётся выпроваживать посторонних. Но тут Урюпин, держа руку вверх, ещё не закончив своего бодрого движения, вдруг почти рядом с собой увидел за столом Надежду Сергеевну. Густая, серая от седины, стоячая шевелюра его плавно передвинулась ко лбу и отпрянула назад.

— Надежда Сергеевна? Не верю! Какими судьбами? — И, приложив руку к груди, он шагнул назад и наклонил голову. — Рад приветствовать ваше появление в этих стенах!

Надежда Сергеевна холодно посмотрела на него и чуть наклонила голову.

— Я смотрю, вы здесь прочно устроились... — сказал Максютенко, краснея и оглядываясь на Урюпина.

— Надежда Сергеевна — наш автор, — заметил Крехов.

— Ха-ха-ха! — отчётливо захохотал Урюпин и осекся: он увидел на столике перед Надеей форматку с чертежом, которую она только что при нём подписала. — Ха! — озадаченно кашлянул он, двинув шевелюрой. — Валерий Осипович, глянь-ка на эту форматку. Ты видишь, что делается? Это действительно автор! Надежда Сергеевна, вот вы автор... Я вижу здесь... Не кажется вам?

Это начинался уже экзамен. Надя посмотрела на Дмитрия Алексеевича и испугалась. Он как-то медленно, не сводя глаз с Урюпина, выходил из-за своего стола.

Но в дело неожиданно вмешался старый модник Антонович.

— Позвольте, товарищи! — Он вышел из-за своего «комбайна», одетый в длинный пиджак, с обвислыми плечами и застёгнутый на одну пуговицу. — Минутку, товарищ Урюпин. Вы имеете разрешение заглядывать в секретные чертежи?

— Ага! Вот и Антонович! Ну, как вы с квартирой... — начал было Урюпин, но Антонович надвинулся на него и показал пальцем на дверь.

— Вы читали надпись на двери? Прочитайте, товарищи, там есть надпись. Да-да... Потрудитесь ознакомиться...

И как гости ни стшучивались, а пришлось им выйти в коридор.

Опять ровно потекли одинаковые октябрьские дни. Не чувствовалось в них никакого напряжения, ничем они не угрожали, с удивительной чёткостью проходили они, похожие один на другой, мирные осенние дни. Приезжали с курортов загорелые весёлые люди и окунались в московский мокрый, пресрочно-холодный воздух.

Как не верить в успех! Вот сидит Крехов в синих сатиновых нарукавниках и, поворачивая голову то вправо, то влево, переносит на ватман устройство, которое он сам придумал. Вчера он подошёл к Дмитрию Алексеевичу и вполголоса, будто между прочим, спросил: не многовато ли места отведено для станщины? Дмитрий Алексеевич изобразил на лице самое крайнее удивление: а куда девать качающийся стол? «Стол? — ответил Крехов. — А мы его разрежем на три части и поместим одну под другой... так, вот так и ещё так — и пространство у нас будет покорено!» Старикан действительно сумел разрезать стол, придумал фокус с рычагами и противовесом, и станщину решили после этого укоротить на целый метр! Вот он теперь сидит и чертит, довольный сам собой, и даже приговаривает:

— Настоящую машину узнаёшь постепенно, как человека. Сначала нас поражает идея — мы снимаем шляпу перед автором. А потом, когда познакомишься подробнее с узлами, оказывается, она вся ещё пабита кое-какими мелочишками... Довольно небезинтересными! Конструктор тоже не дремал! Такую машину я признаю. Это действительно свершенство. Сно, о какой машине идёт речь!

В последнее время Дмитрию Алексеевичу начало даже казаться, что он уже много лет работает в этой группе, с Надеей, Креховым и Антоновичем. Однажды он вспомнил о своих прошлогодних посещениях консерватории — и сказал в утренней рабочей тишине ни с того ни с сего:

— А не организовать ли нам, товарищи, вылазку? Как-нибудь взять да и налететь на Малый театр всем косяком!

Группа дружно поддержала это предложение. Наде поручили достать билеты. Но тут набежало облачко. Дмитрий Алексеевич встретил на улице Вадю Невраева. Одетый в пальто из серого ратина, сблидно нахохлившись, розовый от усердия, Вадя нес толстый портфель. Он шёл на Дмитрия Алексеевича, смотрел ему в лицо дурными голубыми глазами и прошёл мимо, как слепой. Дмитрий Алексеевич засмеялся и поймал его за ватное плечо.

— Не могу. В следующий раз, — сказал Вадя, вырвался и так же ровно пошёл дальше. И он шёл так до самого конца длинной улицы, как по доске, и ни разу не сбился с шагу, не оглянулся.

Через час Дмитрий Алексеевич уже забыл об этой странной встрече. А между тем резкая перемена в поведении Вадя Невраева имела под собой серьёзные основания:

За два дня до этой встречи заместителю министра Шутикову принесли несколько сколотых вместе секретных бумаг, которые заставили его прекратить все дела.

«Павел Иванович! Особые обстоятельства заставляют меня направить это на Ваше усмотрение. Полагал бы привлечь», — коричневым карандашом было написано на верхнем листке, вырванном из блокнота. Под тем местом, где должен был стоять мягкий знак, повис кривой росчерк, похожий на кнут, — подпись Дроздова.

Прочитав записку, Шутиков пожал плечами. Переходя к следующей бумаге, он уселся поудобнее, и сразу же рот его открылся.

«Секретно. Начальнику технического управления тов. Дроздову Л. И., — прочитал он. — При сем препровождаю докладную записку инженеров Урюпина А. И. и Максютенко В. О. о преступном нарушении правил ведения секретного делопроизводства Лопаткиным Д. А. Произведённой мною проверкой изложенные факты в докладной подтвердились. О чём и докладываю на ваше распоряжение».

Эту бумагу подписал директор проектного института.

На третьем листе женским почерком Максютенко была написана пространная докладная записка. Шутиков припал к ней, и бледное его чело покрылось мелкими блёстками пота.

«Руководящий конструкторской группой, выполняющей секретный государственный заказ особой важности, инженер Лопаткин Д. А. допустил к ознакомлению со всеми материалами группы гр-ку Дроздову Н. С., которую оформил в качестве соавтора. Названная выше гр-ка Дроздова просматривает и подписывает все чертежи секретного проекта, хотя не только не является инженером, но даже не понимает многих простейших элементов машиностроительного чертежа. Большинство сотрудников видят, что эта гр-ка Дроздова является не чем иным, как подставным лицом и лжесоавтором. О корыстных или иных личных мотивах подобного злоупотребления могут судить только органы расследования. Мы же считаем своим служебным долгом довести до Вашего сведения об этом факте разглашения особо важной государственной тайны. Максютенко. Урюпин».

Дочитав докладную записку, Шутиков задумался. Потом лицо его опять засияло золотым спокойствием, чуть заметной улыбкой, тайными мыслями. Он снял трубку и не спеша завертел диск телефона.

— Леонид Иванович? Да-да, получил. Ты почему не наложил свою авторитетную визу на этих петициях? Что-что? Ай-яй-я-а-ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Да-да-да-а-а... Я обратил внимание, думал — однофамилица... Ай-яй-яй-яй... Ну ладно, я понимаю тебя. Ладно.

Положив трубку, он улыбнулся, крякнул и покачал головой. Потом снял трубку с того телефона, на котором была надпись: «Министр».

— Афанасий Терентьевич? Вы позволите мне на минуту? Очень интересное дело...

Министр разрешил, и, положив трубку, Шутиков почти бегом направился к нему, дёргая плечом, улыбаясь и воодушевлённо покашливая.

Министр сидел за столом и ждал его. Он чуть кивнул на приветствие заместителя, всем видом своим говоря: «Скорее, что там у тебя?» Шутиков положил перед ним бумаги и начал докладывать.

— Опять трубы? — перебил его министр. — Это что, тот самый инженер Лопаткин, который тогда был?

— Ошибка, Афанасий Терентьевич. Он не инженер, а учитель. Из музгинской школы.

— Так-так... По-моему, он толковый парень...

— Весьма. В то время, когда он разговаривал с вами, у него уже было соглашение с Галицким. Все дела с трубами сейчас ведь проведены как секретный заказ со стороны. Ваш приказ...

— Так что, он уже тогда вёл переговоры? Чего же он ко мне пришёл? На два фронта? Впрочем, так ведь у нас вернее. — Министр засмеялся, сощурил глаза на Шутикова, и тот развёл руками. — Та-ак, — протянул министр, читая бумагу. — Разгласил государственную тайну особой важности... А что это за женщина, ты не интересовался?

— Жена нашего Дроздова.

Министр прянул назад.

— Сведения точные?

— Первоисточником является сам муж.

— Это что же — он, значит, у Дроздова бабу отнял?

— Отнял!

Наступило молчание.

— А он ведь проходимец, — сказал наконец министр, задумчиво качая головой. — Это он с целью. Соавтора-то подобрал. Через жену действовал. Жена-то у Дроздова молодая?

— Двадцать шесть, кажется, лет...

— Вот-вот... Парень-то оказался не промах. А Дроздов — шляпа. И все они там шляпы. Ну что ты тут решаешь? Где виза Дроздова? Ах, да... Ему неудобно. Как рогоносцу. А ты что же?

— Полагаю, надо передать органам следствия? Это же злоупотребление, по-моему?..

— Ну напиши, что ты полагаешь. Вот здесь. И оставь мне. Я ещё подумаю над этим.

Двадцать третьего октября днём, когда Дмитрий Алексеевич был в институте, в комнатку к профессору Бусько чуть слышно постучали. Старик открыл дверь. За дверью стоял солдат в мокрой шинели.

— Здесь живёт гражданин Лопаткин?

И он передал профессору конверт на имя Дмитрия Алексеевича.

Старик подумал сначала, что это письмо от генерала — нового начальника Дмитрия Алексеевича, что-нибудь по поводу проекта. Но тут же он увидел на конверте косою чернильный штамп: «Военная прокуратура». Усы его дёрнулись, он ещё раз посмотрел на солдата, на его мокрую синюю фуражку, и дрожащими пальцами расписался в разносной книге.

*(Окончание следует)*



---

## ВИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ \*



### ПРОЛОГ К ПОЭМЕ «ПИТЕР БЭЛЛ»

Кому большой воздушный шар,  
Кому крылатого коня,  
А я в челне лететь хочу,  
Пока челна нет у меня,  
Я в облака не полечу.

На полумесяц чёлн похож,  
И я сижу в моём челне,  
Я в нём сквозь тучи проплыву,  
И если ты не веришь мне,  
Увидишь ночью наяву.

Друзья! Вокруг шумят леса,  
Волнуясь, как вода в морях,  
И ветер носится, звеня,  
И вас охватывает страх,  
Вы все боитесь за меня.

А я люблюсь, невредим,  
Двурогой лодочкой моей,  
Мне вас совсем не жаль, друзья,  
Чем вам страшней, тем мне смешней.  
До слёз могу смеяться я.

Так я плыву вперёд, вперёд.  
Для хилых труден этот путь,  
Сквозь ветры нужно мне пройти,  
И в тучах нужно мне тонуть,  
Я всё перетерплю в пути.

Плыву вперёд. Что мне теперь  
Мятеж, предательство, война?  
Я так величествен и тих,  
Как восходящая луна  
Средь звёзд рассыпанных своих.

Мой чёлн всплывает выше звёзд,  
Залитый светом золотым.  
Плывёт среди воздушных волн,  
Сто тысяч звёзд плывут за ним,  
Всплывает выше звёзд мой чёлн.

---

\* Вильям Вордсворт (1770—1850) — английский поэт-романтик. Автор «Лирических баллад», «Описательных очерков» и др.



Вот Рак. Вот Бык. Вот Скорпион,  
Мы между ними проскользнём.  
Над Марсом плыть нам суждено,  
Он рыжий весь, рубцы на нём —  
Он мне не нравится давно.

Сатурн разрушенный, на нём  
Печальных спектров бродит тень,  
Я вижу в бездне двух плеяд,  
Целующихся ночь и день.  
Над ними плыть я очень рад.

Меркурий весело звенит.  
Юпитер светится вдали.  
Планет вселенная полна,  
Что им за дело до Земли —  
Едва заметного зерна?

Назад к Земле! К родной Земле!  
И если б я сто лет летал,  
Мир тем же был бы для меня,  
Он лучше бы ничуть не стал.  
Оставил дома сердце я.

Вот несравненная Земля!  
Распластан Тихий океан,  
Копьём вонзились в облака  
Верхушки Альп и древних Анд —  
Не сокрушают их века.

Вот красный Ливии песок,  
Вот Днепр, серебряный шнурок.  
А там сверкает изумруд,  
То лучший в мире островок,  
Его наяды стерегут.

## БЕССОННИЦА

Волокна шерсти мягкой, что прядёт  
Лениво прялка. Шум дождя и пчёл  
Гуденье. Всплеск реки, и ровный дол,  
И ветер в небе, и полотна вод —  
Я передумал обо всём и вот  
Лежу без сна. А скоро во дворе  
Услышу щебет птиц, и на заре  
Печальная кукушка пропоёт...  
Как прошлых две, я эту ночь опять  
Не в силах обрести тебя, мой сон.  
Ужели снова я тебя лишён?  
Что без тебя мне утро может дать?  
Приди, день должен быть тобою завершён.  
Приди, источник сил, здоровья мать!

*Перевод с английского Натальи Кончаловской.*



ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

## ТРУДНАЯ ВЕСНА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ\*

8

**Д**о кузнеца Сухорукова с Мартыновым лежал в палате учитель из Семидубовской средней школы, а ещё раньше — колхозный бухгалтер. И после Сухорукова вторая койка не пустовала — с ним положили рабочего из райпромкомбината. Новые люди — новые темы для разговоров, новые вопросы для раздумья. Ходячие больные из других палат, зная, что в больнице лежит секретарь райкома, часто заглядывали к нему решить какой-либо политический спор или просто побеседовать о жизни.

Никогда не перечитывал Мартынов так регулярно все газеты и журналы, что получал по подписке. Много прочёл он за эти месяцы и книг. И после всего ещё оставалось достаточно времени для размышлений. Ни звонков из обкома, ни телеграмм, ни заседаний. Лежи и думай... Тут только, в больнице, понял Мартынов, что и для мозговой работы требуется время и соответствующая, более или менее спокойная обстановка. В сутелке райкомовских будней, где всё соображаешь и решаешь на бегу, мелькнёт иной раз новая мысль — как крысиный хвостик из норы покажется, — и тут же исчезнет. Не удержал её сразу, не додумал до конца — завтра забудется, что же такое приходило тебе в голову. А здесь лежи на спине, смотри в потолок и тащи эти ускользавшие когда-то мысли «за хвостик» сколько тебе нужно!

По старой журналистской привычке Мартынов записывал многое из передуманного в блокноты. Записал туда и всякие меткие выражения, услышанные от собеседников. Для этого пришлось учиться писать левой рукой, да ещё лёжа, примостив блокнот к стопке книг на табуретке у койки, — трудное дело! Но опять же свободного времени у него хватало, можно было записывать не торопясь, хоть по одному слову в минуту.

Вот некоторые заметки из его блокнотов.

«Он из тех людей, которые дважды об одну и ту же кочку не спотыкаются». Хорошо сказано! Самая лучшая характеристика, какую только можно дать человеку!»

Приписано другим карандашом, вероятно, через несколько дней, после некоторого раздумья над этими словами:

«Хотелось бы и себе заслужить такую характеристику в народе».

«Из разговоров с бухгалтером Корзинкиным:

Мы наложили на систему организации и оплаты труда колхозников столько латок, что под ними уже не видно самой системы, как, бывает, под

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 5 с. г.

заплатами на зипуне не видно того основного материала, из которого шит зипун. По таким-то культурам—особое постановление, особый расчёт, за то-то—такие-то привилегии, там—дополнительная оплата, там—премия, а где же основная сплата обыкновенного колхозного трудодня? Иной раз по дополнительной оплате колхозник получает больше, чем по трудодням. Надо отодрать все латки и посмотреть, осталось ли под ними ещё что-нибудь от самого зипуна. Или, может быть, надо весь зипун шить заново?».

«Приезжал лектор в Семидубовку с путёвкой райкома читать лекцию на тему: «Есть ли жизнь на других планетах?» Народ собирался медленно, и лектор с заведующим избой-читальней успели раз пять сходить в закуточную. Пока началось, избач был уже так хорош, что объявил собравшимся: «Сейчас товарищ из района прочитает вам лекцию о загробной жизни». Кто же это приезжал? Надо выяснить».

«Некрасов:

Кто живёт без печали и гнева,  
Тот не любит отчизны своей».

«Оказывается, ещё Герцен называл идиотским закон, одинаково карающий и взяточника и взякодателя, так как это связывает их круговой порукой молчания»

«В маленькой партийной организации, где всего три человека,—«детская игра» в партсобрания. Один делает доклад, другой пишет протокол, третий выступает в прениях. Если в селе есть два колхоза, где всего по три-четыре коммуниста, то ничего бы не было плохого, если бы эти коммунисты состояли в одной парторганизации — обменивались бы опытом, коммунисты передового колхоза влияли бы на отстающих. В этой же парторганизации и председатель сельсовета и другие члены партии из сельских учреждений. Всё равно ведь все сельские работники живут интересами и нуждами колхозов, только о колхозах и говорят. Как бы поднять этот вопрос—«об укрупнении карликовых парторганизаций?»».

«Помню выражение этого Масленикова: «Пропустите сегодня за ночь через бюро человек пятнадцать председателей колхозов по хлебопоставкам!» «Пропустите!» Как будто у нас какой-то санпропускник!»

«Жизнь человека—целый роман, а мы иногда пытаемся втиснуть её в несколько строчек решения об этом человеке, в докладную записку».

«Учитель Сорокин:

Раньше бывало, если у кулака сын учился в городе в гимназии, то от хозяйства всё же не отрывался, на каникулы приезжал домой и отработывал отцу вдвое расходы по своему учению: пахал, косил, возил снопы наравне с батраками. А сейчас у нас иногда получается так. Девушка, дочь колхозников, потомственных хлеборобов, заканчивает в селе десятилетку и не умеет сено грести, снопы вязать. Восемнадцать лет парню, вырос в колхозе, на маминых трудоднях,— с грехом пополам лошадь запряжёт; заставят его телегу смазать — жмёт ключом гайки в одну сторону, не знает, что на левой стороне левая резьба на осях».

«Хвалим человека: «Напористый товарищ! Энергичный!» Только по этим качествам иногда и судим благоприятно о человеке: «Годится! Силён! Потянет!» А куда потянет? Разве при Николае Втором не было энергичных чиновников?»

«Юлиус Фучик: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что он должен сделать».

«Социализм отличается от капитализма, кроме всего прочего, ещё тем, что здесь общество, в противоположность капиталистическому, берёт на себя ответственность за личную судьбу каждого человека».

«Колхозы для нас не только производители хлеба, мяса, молока, овощей и пр. Колхоз — это люди, тысяча, полторы, две тысячи людей, которые должны жить хорошо. Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян, для улучшения их жизни! Мы, партия и Советская власть, взяли на себя ответственность за судьбы нашего крестьянства, обещали им в колхозах справедливую, материально обеспеченную, культурную жизнь, и мы должны добиться этого всюду!»

«Критика должна стать у нас безвозмездной» (пожарник Костин)».

«А народ наш сейчас уже не удивишь и не напугаешь высоким чином. Разговор двух больных из седьмой палаты: «Что ты говоришь?! Разве так можно его ругать? Он же депутат!» — «Депутат? Ну что ж, значит плохой депутат. Ошиблись, когда голосовали за него».

«Всё же холуй и угодник урожая не сделает. Урожай скорее сделает строптивый и колючий председатель, спорщик, «нарушитель», а не такой, что: «Чего изволите?»

«О Советах. Кричим о параллелизме, о том, что партийные и советские органы занимаются одними и теми же делами, что райкомы подменяют райсоветы, а где же выход, по какому направлению должна пойти «перестройка»? Давать большую самостоятельность Советам? Укреплять права и авторитет советских органов? Как укреплять?.. Об этом ещё надо думать и думать!»

«Только слабый, неуверенный в себе, в своём авторитете руководитель может бояться политической активности масс, инициативы, демократизма».

«Председатель «Искры» Федосей Григорьев сказал библиотекарьше: «Зачем нам книжки читать? Всё, что надо делать, нам райком подскажет». Вот как привыкли! Ах ты ж, Федосей! Погоди, поправлюсь, я тебе подскажу, что делать!»

«Это огромной важности задача, и дьявольски трудная: направить на производство тех людей, что высвободятся из сокращённых управленческих аппаратов и всяких ненужных ликвидированных учреждений. Таких людей будет много, среди них и высокопоставленные в прошлом. Я бы создал что-то вроде резерва, как в армии, и томил бы их там на минимальном содержании, на «тыловом пайке», пока сами не запросились бы в колхозы и на заводы».

«Шутки шутками, но, видимо, придётся открывать какие-то особые учебные заведения, без ограничения приёма по возрасту, где человек, ничему не научившийся пока, кроме как «руководить», мог бы и в сорок пять лет приобрести какую-нибудь полезную производственную специальность. И надо это дело ставить с большим государственным размахом. Иначе мы не вылезем из этих «бюрократических проблем».

## «Фельетон в стихах Степана Олейника: «Да какие ж то мужчины?»»

Я хочу в связи с уборкой  
 Вспомнить малость про мужчин,  
 Прoberу их речью горькой  
 Неспроста, не без причин.  
     У соседей все мужчины —  
     Кто за жнейкой, кто на ток.  
     А у нас не та картина:  
     Видно, сила им не впрок!  
 На собранья ходят дружно.  
 (А особенно — в буфет!)  
 Но когда работать нужно,  
 Будто их в артели нет.  
     В страдный день с утра до ночи,  
     Пусть там ливень или зной,  
     В поле белые платочки,  
     А фуражки — ни одной!..  
 Возле дуба чешут спины,  
 А вокруг кипит страда.  
 То ли это не мужчины?  
 То ли нет у них стыда?  
     Тут работа с жаром, с пылом,  
     А они как индюки.  
     Вон, глядите, тот верзила  
     Чинит сети у реки,  
 Тот — учётик (глянуть любо:  
 С метром шествует раз в день),  
 Тот — оратор, тот — завклубом,  
 Тот в саду сидит, как пень...  
     Мы в полях, мы у машин.  
     Им поспать бы да поесть...  
     Да какие ж то мужчины?  
     Бабы — вот они и есть!  
 Бабы, бабы — хоть и носят  
 Широленные штаны,  
 А не грузят и не косят,  
 Юбку просят у жены!.. — и т. д.

Здорово! Надо перепечатать в районной газете. А размер стиха такой, что это можно петь, как песню. Связаться бы с каким-нибудь композитором, чтоб положил это на музыку. Да чтоб девчата во всех колхозах разучили эту песню! Пусть ходят по селу и поют под окнами у тех, что «возле дуба чешут спины». Вот такая песня действительно «строить и жить помогает», она сработает в колхозах за полсотни уполномоченных! Молодец Степан Олейник, спасибо ему!»

«Инициатива и дисциплина. Самостоятельность и подчинение приказам сверху. Как это совместить? Где тут «дозволенные пределы», где грань, за которую нельзя переступать, чтоб не получилось вообще анархии? Не знаю, пока не совсем ясно. А ясно ли это тем товарищам, которые так часто стали упоминать сейчас слово «инициатива» во всех газетных передовицах?»

«Чёрт возьми, а всё же этого мало от председателя колхоза — чтобы он был честным человеком и не пьяницей! Надо же ещё уметь и хозяйничать на тысячах гектаров и руководить людьми! Вот в «Рассвете» выбра-

ли Артюхина. Я его совсем не знаю. Может быть, он честнейший старик, но хватит ли у него этого самого умения?.. Учить надо председателей. Не все ведь такие «от бога» талантливые хозяйственники и организаторы, как Опёнкин. А Грибов, Сазонов, Плотников, Нечипуренко? Тоже ведь не агрономы и не зоотехники. По происхождению-то все мужики, хлеборобы, но этого сейчас мало — старых навыков работы в отцовском маленьком хозяйстве. Было ведь и раньше такое. Рядом два помещичьих имения, одинаковые земли, равноценные угодья. Одно имение даёт крупный доход, там хозяйство поставлено на научной основе, у другого же помещика всё валится, земля тощает, скот дохнет, годового дохода от имения не хватает на один хороший кутёж в Москве. Но всех председателей разом на трёхгодичные курсы не пошлешь, да и время не ждёт. Значит, надо учить их «на ходу», дома, в работе. Кто должен учить? Мы, конечно, районные руководители. Стало быть, мы сами в первую очередь должны всё это отлично знать — и органоминеральные смеси, и всякие системы севооборотов, и колхозную бухгалтерию... Культура руководства. Вот сюда, в эту культуру, и входит всё: работа с душой и работа с толком, со знанием дела».

«Учить новому. Открывать новые перспективы. Но не надо учить людей тому, что они и без нас отлично знают: что вспаханную землю надо засеять, а созревший хлеб надо косить. Нельзя руководить колхозами точно так же, как руководили двадцать лет назад — путём проведения хозяйственно-политических «кампаний». Мы иногда перед народом бываем похожи на ту излишне чувствительную и заботливую мамашу, которая никак не может примириться с фактом, что сын её давно вырос, что он уже с усами, женить его пора. Всё хочется ей попрежнему кормить его с ложечки и водить по улице за ручку».

«А это как совместить — единоначалие и демократию? Талант, власть, ярко выраженная индивидуальность человека и — коллегиальность?»

«Если писатели — инженеры человеческих душ, то до какого ранга? Распространяются их права на души больших начальников? Если распространяются, то почему нет у нас в романах среди главных персонажей министров хотя бы? Алексей Александрович Каренин у Толстого крупный был чин!»

«Ленин о коллегиальности: обсуждение — сообща, а ответственность — единолична. Вот как. А у нас частенько бывает наоборот: сам решит, а ответственность потом, в случае неудачи, сваливает на других».

«Некоторые товарищи полагают, что высокий авторитет того учреждения, где они работают (райком, обком), возместит их собственное невежество, отсталость, нежелание думать».

«Надо кончать с этими рывками в нашей работе по сельскому хозяйству, односторонними увлечениями какими-то далеко не главными и не решающими дела частностями. Нужны планомерность и комплексность мероприятий и настойчивость в доведении начатых дел до конца. Настойчивость, но не упрямство, если в чём-то ошиблись».

«А с очковтирательством надо бороться, как с чумой, сыпняком, проказой! Сколько бед причинила нам трусливая, угодливая, лживая информация!»

«Вот что говорил Ленин о Советах: «...необходимо разграничить гораздо точнее функции партии (и Цека ее) и Соввласти; повысить ответственность и самостоятельность совработников и совучреждений, а за партией оставить общее руководство всех госорганов вместе, без теперешнего слишком частого, нерегулярного, часто мелкого вмешательства».

«Судя по печати, местами идёт опять укрупнение, местами разукрупнение колхозов. Но мы уж у себя больше не будем ни укрупнять, ни разукрупнять. Довольно! Опять ломать границы колхозного землепользования, ещё больше запутывать севообороты, которые и так запутаны до безобразия?.. Больной из четвёртой палаты говорил: «С этими постоянными ломками живём, будто на разорванной улице при большой дороге. Нет уюта в нашей колхозной жизни. Как на вокзале или на постоялом дворе — всё меняется, одни уходят, другие приходят, люди на чемоданах спят, гудки, шум, суета». Нет, довольно! Пусть люди хоть привыкнут немного к названиям своих колхозов».

«А старик Глотов, помню, говорил как-то: «Мечтаю дожить до того дня, когда на моих глазах завершится хотя бы одна ротация севооборотов в колхозах».

«Я думаю, в некоторых районах продолжают укрупнять колхозы потому, что секретарю райкома проще иметь дело, скажем, с двадцатью председателями, чем с сорока. Ради личных удобств районного руководства это делается».

«Самым нужным для нас из всех укрупнений (совершенно безболезненным, не связанным ни с какими ломками внутри колхозов) было бы укрупнение районов и МТС. Тут мы уже подошли бы как-то практически и к решению вопроса о сокращении наших управленческих аппаратов. Могучие штаты районных учреждений распростирали бы, по крайней мере, свою деятельность на большее количество колхозов. Но и здесь у нас какая-то перазбериха. «Левая рука не ведает, что делает правая». Начали поговаривать об укрупнении районов, а области разукрупняем. Разукрупнили Воронежскую область, Курскую, Ростовскую. Области были по размерам средние, ничего такого гигантского в смысле территории не представляли собой. Не Красноярский край. Территория вполне позволяла хорошо руководить всеми районами. Если где неважно шли дела, то не в территории причина. Зачем понадобилось выделять из них ещё новые области? Увеличивать вдвое на то же количество колхозов партийный, советский аппарат?»

«Не могу читать наши сатирические журналы! В фельетоне возмутительнейшие факты, самодурство и произвол, доходящие до уголовщины. Читаешь и зубами скрипишь: да что ж это такое делается, за это же расстрелять мало мерзавцев! А потом появляется: «По следам наших выступлений». «Произведено расследование, факты подтвердились, виновным объявлено по выговору». От такой «сатиры» со счастливыми концовками пользы ни на грош! От неё даже вред. Она убивает у людей веру в силу советской печати и вообще в успешность борьбы с бюрократизмом и прочими нашими болячками».

«Применяем мягкие, милые, безобидные формулировки, когда речь заходит о зажимщиках критики. Записываем иногда в решении: «Товарищ Н. болезненно реагировал на критику...» А эта «болезненность» заключается в том, что он за деловое критическое выступление на собрании уволил, как самовластный «хозяйчик», наплевав на все советские законы,

рабочего с завода, да ещё и позвонил на другой завод директору: «Не принимай такого-то, если придёт: демагог и склочник!» Какой «болезненный», несчастный человек! Нервы не в порядке, потому и не терпит критики. Подлечить надо на курорте за казённый счёт!»

«А. А. Жданов ругал наших философов за то, что они не разработали в своих теоретических исследованиях вопрос о большевистской критике и самокритике как могучей движущей силе социалистического общества. Право же, нам нужны сейчас не столько философские разработки этой темы, сколько практические действия в помощь развёртыванию критики и самокритики. Несколько громких дел — за зажим критики, невзирая на чины и заслуги, с преданием, может быть, суду. И уж во всяком случае предусмотреть, чтобы ответственные работники, снимаемые с должности за зажим критики, впредь навсегда лишались права занимать какие бы то ни было руководящие посты. Надо, чтобы уважительное, внимательное отношение к критике снизу стало атмосферой, климатом нашего государства!»

«А вообще-то вопрос о единоначалии и демократии решается просто. Умному человеку власть нужна не ради власти, а ради того, чтобы делать, пользуясь своими широкими правами, хорошие дела.»

«Власть ради развития демократии. Парадокс? Нет. Настоящий руководитель именно о том и заботится, чтобы общественная жизнь кипела ключом, чтобы вокруг него росли, поднимались люди, расцветали таланты. Власть свою он направляет на борьбу с плохим, властью же, данной ему, поддерживает всё здоровое, хорошее в нашей жизни.»

«Вот Долгушин, видимо, из тех директоров-единоначальников, которые не употребят свои права во вред народу.»

«Хорошо сказал этот комсомолец, агроном Шорин, что заходил ко мне с Нечипуренко: «Своей ответственностью за судьбу Родины, революции, социализма я равен любому, самому высокопоставленному нынешнему авторитету — разница в возрасте и масштабах работы особого значения здесь не имеет». Надо познакомиться с этим парнем поближе.»

«А между прочим, это очень серьёзный вопрос — о возрастном составе наших кадров! На моих глазах секретари райкомов стареют. Сейчас средний возраст секретарей райкомов по нашей области, вероятно, так — где-то между сорока и пятьюдесятью, ближе, пожалуй, к пятидесяти. Мне тридцать семь, и как посмотрю на областном совещании на своих коллег — я чуть ли не самый молодой. А через две пятилетки средний возраст секретарей райкомов будет под шестьдесят? А потом — под семьдесят? И в колхозах мало выдвигаем мы молодёжи на руководящую работу. Комсомол у нас подчас занимается детским делом — шефством над телёнком, сбором металлолома. А как было в гражданскую войну, в начале Советской власти, в первые годы коллективизации? Аркадий Гайдар в семнадцать лет был командиром полка! Щорс в двадцать четыре года командовал дивизией! Двадцати — двадцатипятилетние парни заворачивали в ревкомах, организовывали колхозы. Нет, что-то неладное у нас сейчас с воспитанием молодёжи и с отношением к ней.»

«В США молодёжь развращается голливудскими фильмами, а у нас многие ненормальности в среде молодёжи от канцелярской скуки в комсомоле.»



«Собственно, молодёжь у нас попадает на руководящую работу, но тут уже тоже выработался какой-то штамп выдвижения. Иной засидевшийся в комсомольском комитете «переросток», которому перевалило на четвёртый десяток, иначе и не представляет себе дальнейшей своей жизни, как — переход на партийную работу. Имеет, так сказать, на это преимущественное право, специализировался уже на произнесении речей, проведении пленумов, конференций. Выдвигаем молодёжь, да, но из ограниченного круга «избранных», отмеченных уже печатью более или менее руководящей номенклатуры. Бывшего секретаря горкома комсомола — на заведование отделом в обком партии и т. п. Вряд ли можно назвать таких «выдвиженцев» свежими кадрами. У них есть уже опыт работы с массами? Есть, конечно. Но какой работы? Может, это только опыт писать красивые резолюции и читать речи по бумажкам?»

«Так что молодость — это ещё не всё. Блеск в глазах и розовые щёки — это ещё не признак живой комсомольской души. Зародыш карьеризма может появиться у человека в очень раннем возрасте. Есть ребята, как говорится, из молодых, да ранние. От такого «раннего» чинуши в государственном или партийном аппарате вреда не меньше, чем от старого бюрократа».

«Ещё об инициативе. Всякий приказ, всякое обязательное хозяйственное предложение сверху — это уже есть как бы некоторое подавление инициативы местных работников. Но кто поручится, что наша инициатива — самая лучшая и поэтому её нельзя «подавить»? Может, действительно нам нужно занять ума у соседей? Ведь разумное предложение сверху тоже основывается на чьей-то хорошей инициативе, это аккумулятор многих и многих ценных предложений, идущих снизу, это «циркулярное», широкое распространение какого-то полезного, родившегося в определённом колхозе или районе човшества, до которого люди в других местах не успели ещё додуматься. Инициатива более перспективная с помощью государственных органов побуждает инициативу менее перспективную. Естественный процесс!.. Да, но всё это будет так, всё будет хорошо и нормально при одном лишь неизменном условии: если предложение действительно правильное, действительно выражает собой назревшую жизненную необходимость и стоит на твёрдой реальной почве в смысле возможностей его осуществления».

«Нечипуренко рассказывал, как в том районе, где он работал до войны, держали одного коммуниста «штрафника» в районном активе — специально для критики. Штук пять выговоров у него было, раз десять перебрасывали с места на место и всё же держали на ответственной работе — для критики. На партконференциях весь огонь обрушивался на этого деятеля за его безобразия. Не было бы его — кого-нибудь другого стали бы критиковать».

«Датская пословица, Андерсен Нексе: «Шагает шире, чем позволяют штаны».

«А в общем, если об инициативе только кричать, декларировать её, не подкрепляя декларации практическими делами, то из этого можно сделать очередную вселенскую говорильню».

«Да, но все ли у нас такие начальники, как Долгушин, что смело можно давать им широкие права? Нет, не все. Как же быть в тех случаях, когда человек может во вред народу употребить свою власть? Вот тут-то и нужны сильные, активные низовые парторганизации! Да чтоб побольше

было в них рядовых производственников. Рабочему нечего терять, он как «заведсвал» станком или кузнечным молотом, так и будет им заведовать, не на этом, так на другом заводе. Конечно, могут и рабочего прижать по-всякому за критику, но всё же у кого меньше привилегий, тот не так дрожит за своё благополучие. Смелая, здоровая критика — и сroeвременная сигнализация с места, если с начальником творится неладное. Надо добиться путём крепких государственных мер, чтобы критика у нас стала действительно «безвозмездной», как говорит пожарник Костин».

«Здоровые низовые партийные организации, народной контроль — вот самое верное средство от самодурства, беззакония, комчванства».

«И — поиски такой организационной системы, при которой и незадачливый начальник не мог бы так уж много напакостить. Чтобы его глупости, по крайней мере, не били по карману трудящегося человека».

«Думается, что в этих целях надо бы продолжать поиски такой системы хлебопоставок, которая надёжно гарантировала бы колхозников, что при любых умственных способностях их председателя колхоза, директора МТС и секретаря райкома трудодень у них будет не пустой. Надо, чтобы колхозники твёрдо знали наперёд, что же останется у них из валового сбора зерна на внутривоспроизводственные нужды — если не в центнерах, то хотя бы в процентах от фактического урожая. Нужно что-то вроде того железного хлебного закона, что был в тридцатых годах: ни грамма меньше, ни грамма больше! — но теперь уж на других основах, поскольку механизация сильно выросла и фактически судьба урожая сейчас в руках МТС. Почему мы так упорно придерживаемся ныне действующей старой системы, которая тоже уже вся в заплатах, как тот зипун? И которая — что греха таить — смахивает всё же несколько на продрозвёрстку, если учесть всякие дополнительные закупы и пр. В прошлом году четыре раза давали нам план! Нет ничего вреднее для сельского хозяйства, как «дёрганье» колхозников с хлебом. Мало радости, когда читаешь в газетах осенние рапорты областных организаций: «Сдача хлеба сверх плана продолжается». Значит, опять деревню лихорадит, опять у нас неустройство в самом главном деревенском вопросе — в вопросе о хлебе. Закупом можно всё смазать, снивелировать, можно, как и раньше было, свести передовой колхоз до положения отстающего — по выдаче хлеба на трудодень. Подрываем материальную заинтересованность. У колхозников попрежнему нет достаточно сильного стимула для борьбы за высокий урожай. Хорошо ли, плохо ли будешь работать, всё равно получишь на трудодень всё те же полтора-два килограмма, что и в отстающих колхозах стали уже получать люди. Конечно, по закупу колхозу платят больше денег, чем за зерно, сдаваемое по госпоставкам, но всё же не настолько больше, чтобы у колхозников сейчас совершенно уже отпал интерес к увеличению натуральной части стоимости трудодня. Пока что в основной массе средних полеводческих колхозов хлеб колхознику дороже денег. Понятно, что непредвиденные стихийные бедствия в каких-то районах страны заставляют нас брать дополнительно хлеб из других, более благополучных районов, отсюда и три-четыре плана. Но думается, что можно найти такую систему, при которой недобор хлеба против предполагаемого в одном месте автоматически перекрывался бы большими поставками в другом месте, причём на законном основании, совершенно безболезненно для этих других районов».

«Полевые работы в колхозах сейчас механизированы на 75—80 процентов, производятся силами МТС. От сроков и качества этих работ и

зависят по существу размеры урожая. Правда, если колхоз не выполнит свои 20—25 процентов работ — по удобрению полей, уходу за растениями и пр. — тоже высокого урожая не получишь. Но ведь МТС не прокатный пункт. Остаток не механизированных пока полевых работ тоже на совести и ответственности руководства МТС: если МТС и не сама производит эти работы, то, во всяком случае, должна влиять на колхозы, чтобы они своевременно и хорошо выполнялись. Так вот, поскольку судьба колхозного урожая фактически в руках МТС, не следует ли государству пойти «на риск» процентных отчислений от амбарного урожая? Скажем, так. И госпоставки, и натуроплату, и закуп соединить в один вид поставок: оплата государству хлебом всех работ, производимых МТС в полеводстве. И взять такой расчёт, к примеру: при 80 процентах механизации колхоз сдаёт государству половину фактически собранного зерна (при большей механизации — больше, при меньшей — меньше). Собрали в таком-то колхозе по двенадцати центнеров зерновых — получай и государство и колхоз по 50 процентов, по шести центнеров; собрали по двадцати пяти центнеров — получай каждый по двенадцати с половиной центнеров и т. д. При такой системе поставок интересы государства и колхозников тесно сочетались бы. Колхозникам прямой расчёт сдать больше хлеба государству, потому что в тех случаях, когда они сдают больше хлеба за работу МТС, и в самом колхозе его больше остаётся. Обе стороны кровно заинтересованы в повышении урожая! Колхозникам ничуть не обидно сдать больше хлеба, потому что расчёт ведётся от фактического урожая. А то ведь сейчас как получается, скажем, с натуроплатой МТС. Ставки-то твёрдые, да не связаны с урожаем. Колхозы платят за гектар пахоты столько-то килограммов зерна. Но ведь можно и хорошо вспахать землю, а все последующие работы провести так скверно или несвоевременно, что урожай в конечном итоге будет загублен. Не надо далеко ходить за примерами: одной лишь плохой уборкой можно загубить всё. И получается: в одной МТС урожай тридцать центнеров, в другой, рядом, — только десять, колхозы же платят за пахоту да и за все другие работы одинаково. Одинаково, потому что все эти отдельные работы расцениваются в отрыве от конечных результатов сельскохозяйственного цикла — урожая».

«Возражение против такой системы госпоставок хлеба — в процентах от урожая — может быть лишь одно: это, мол, игра вслепую, государство не сможет заранее спланировать, сколько будет в этом году заготовлено хлеба, тут надо идти на риск — либо выиграешь, заготовишь хлеба больше, чем обычно, либо проиграешь. Думаю, что неверно называть такую систему «игрой вслепую». Если взять фактический урожай прошлого года и подсчитать известные проценты от него — 50 процентов, что ли, или 40, — вот это и будет ориентировочный план заготовок на текущий год. Меньше хлеба не получим. А больше можем получить. «Риска» здесь нет никакого. Определённо будем в выигрыше. Главный выигрыш здесь — твёрдая уверенность колхозников в завтрашнем дне. Люди будут точно знать, что такая-то доля урожая останется в их распоряжении, для хозяйственных нужд и раздачи по трудодням. Эта гарантия поднимет дух колхозников, они будут гораздо лучше работать. Хорошая работа обеспечит высокий урожай. А из высокого урожая в свою очередь и государство получит больше хлеба — в процентных отчислениях».

«По 50 процентов — это, конечно, грубо примерный расчёт. Может быть, 40 и 60, может быть, 30 и 70. Важен принцип — в процентах от урожая, причём амбарного, фактически собранного. Детали, разумеется, требуют тщательной разработки. Ищите, товарищи учёные-экономисты, ищите да обрящете!»

«Нужно же наконец нам осуществить в деревне по-настоящему ленинское указание о том, что коммунизм надо строить не на энтузиазме непосредственно, а при помощи революционного энтузиазма, сочетая его с личной материальной заинтересованностью каждого работника в росте продукции, в повышении производительности труда! Ленин смело и честно признал ошибочность продрозвёрстки, когда увидел, какой вред она приносит. Надо и нам сейчас решительно и без промедления изгнать из наших заготовительных законов всё, что ещё хоть в какой-то мере смахивает на продрозвёрстку».

«Учитель Сорокин:

Мы пришли в нашей жизни к интересному конфликту — опять же в вопросе о молодёжи. И конфликт этот идёт не от каких-то недостатков нашего строя, а, наоборот, от его положительных сторон. Некоторые из рабочих и крестьян, когда свершалась революция, мечтали: «Ну, мы отмучились в шахтах, котельных, на пашне за сохой, зато детям нашим теперь уж не достанется этого испытать. Из кожи вылезем, но добьёмся детям высшего образования! Будут наши дети инженерами, профессорами, артистами, художниками, директорами, пойдут по чистой работе, им-то уж другая жизнь предстоит». Так оно отчасти и вышло. Вот мы иногда ругаемся: много развелось у нас чиновников, служащих в разных нужных и ненужных учреждениях. А кто они? Это же те дети рабочих и колхозников, что получили образование. Очень плохо, что у нас много лет прививался — через семью да и через некоторых горе-педагогов — взгляд на образование, как на средство получения чистой должности, и только. «Учись, Васька, негодяй! Ты же с такими плохими отметками ни в какой институт не поступишь! Колхозником хочешь остаться? Быкам хвосты крутить?» Ужили мы как-то сегодняшним днём и не заглядывали в будущее. Считалось доблестью, если парень хорошо учился в десятилетке и успешно сдал экзамены в институт. И комсомол таких хвалил, ставил другим в пример. А на того парня, что после десятилетки дома остался, смотрели даже с презрением. «Дурак! Сколько лет учился — и без пользы! Прицепщик — со средним образованием!» Этакий старомужицкий взгляд на школу: ходить в школу, бить обувь, тратить деньги на учебники — так надо же, чтоб потом это окупилось хорошей должностью! Учился парень, значит должен стать писарем, не иначе. А что же здесь постыдного, если прицепщик — со средним образованием? С каждым годом у нас всё более сложные машины появляются. Посмотришь на свеклокомбайн, на кукурузный комбайн — да это же целый завод на колёсах! Чтоб такой машиной управлять, нужен чуть ли не инженер! Очень хорошо, если бы все трактористы и комбайнеры были у нас со средним образованием! А дальше как будет? Мы же не ограничиваем для молодёжи возможности получения образования. В институты труднее стало поступать не потому, что мало институтов, а потому, что слишком много желающих учиться в них — больше, чем нам нужно иметь инженеров, бухгалтеров, адвокатов, архитекторов. А как будет при коммунизме? Рядовые работы ведь останутся и при коммунизме. А пути к образованию будут ещё шире. Но разве образование нужно человеку только для чистой должности? Да ведь образованному человеку интереснее жить на белом свете! Расширяется круг вещей, доступных его пониманию, его интересуют и литература, и искусство, и философия. Ему есть о чём поговорить с друзьями, с женой, которая, будучи девушкой, может быть, училась с ним в одной школе. Образование нужно просто для себя, для души, для полноты жизни! Для духовной жизни человека! Чтобы не кротом слепым существовать на земле!»

Приписано Мартыновым через несколько дней и подчёркнуто красным карандашом:

«Да, этот молодёжный вопрос — очень большой вопрос! Это — будущее нашего государства. Только самый распоследний эгоист, такой, что «после меня хоть потоп», не задумывается о молодёжи... А я комсомолом не занимался. Тоже «не дошли руки». Посмеивался только, что у наших комсомольцев бюрократизма развелось побольше, чем у их «старших братьев». Смешочками дела не поправишь. Надо как-то практически помогать им выбираться из нудной канцелярщины: из этого мертвящего всё живое, как суховей, формализма!»

Но оказалось, что в таком колхозе, например, как «Власть Советов», где двенадцатый год председательствовал Демьян Васильевич Опёнкин, никакого, собственно, «молодёжного вопроса» и не существовало.

Долгушин, когда начинал своё знакомство с колхозами зоны Надеждинской МТС, интересовался всем: и сколько свадеб сыграли за год, и сколько детей в селе родилось, и возвращаются ли домой отслужившие действительную солдаты, и куда деваются выпускники десятилеток. Заходил к колхозникам домой — не по выбору, а просто так, на какие хаты глаз глянет, — любил обстоятельно побеседовать с хозяйкой или хозяином обо всём: и кто вот это у них на фотокарточке, и кто вот это, и как жили они до войны, и что было здесь при немцах, и о бюджете семьи, и о детях, присутствующих и отсутствующих. Заглядывал как бы невзначай — попить воды или расспросить дорогу к правлению колхоза, — а уходил из этого дома уже своим человеком, хорошим знакомым, к которому при случае в Надеждинке можно было и завернуть в гости. Иной раз дела и жизнь одной семьи открывали перед Долгушиным историю жизни целого колхоза.

Когда он приехал первый раз во «Власть Советов» глубокой осенью, село ему не приглянулось. Старое русское село, обычное для средней полосы: избы густо прилепились одна к другой, улицы кривые, на холмах посреди села глубокий яр, крыши все соломенные, мало деревьев. Но от избы к избе тянулись провода электролиний, и приятно удивило его, что до глубокой ночи, часов до двенадцати, почти всюду светилось. Его, городского человека, больше всего удручал в деревенском пейзаже в иных местах мрак, в который погружалось село часов с семи вечера и до утра. Сразу видно, что главное удовольствие там у людей зимой — сон.

День осматривал Долгушин хозяйство колхоза: племенной скот на фермах, кормокухни, сытых свиней, силосные сооружения, электростанцию, мельницу, гараж, сортовое зерно в амбарах, теплицы. А на другой день сказал Опёнкину: «Всё ясно, Демьян Васильевич. Хозяйство у вас прекрасное, колхоз богатый. Давайте теперь посмотрим, к чему это всё. Как вы этим богатством пользуетесь, как люди живут». И они пошли по селу, к колхозникам.

Прочная привязанность людей к родному селу, к своему колхозу — вот что прежде всего бросалось в глаза. Не все мужчины, уходившие на фронт, остались в живых, но кто остался — все вернулись в колхоз. Среди полеводческих бригадиров было два старших лейтенанта; племенной конфермой заведовал майор в отставке, большой любитель лошадей; строительной бригадой руководил капитан, бывший командир сапёрной роты; на огородах закладывал парниковое хозяйство главный старшина морфлота, участник обороны Севастополя; колхозный автонарк был вручён командиру танка, лейтенанту; за бухгалтерским столом в конторе сидел майор интендантской службы, начфин дивизии, инвалид на протезе. Свои знаки различия и старые мундиры все берегли — для парадного случая.

В клубе Долгушин видел групповую фотографию, снятую в колхозе в День Победы, — Опёнкин с бригадирами, членами правления и завфермами, участниками Отечественной войны. Группа смахивала скорее на командный состав полка, нежели на колхозный актив, от звёздочек на погонах, орденов и медалей в глазах рябило, один Опёнкин стоял в штатском пиджаке, со скромной единственной партизанской медалью на груди. Сколько ни припоминали колхозники, перебирая подряд все дворы в селе, так и не смогли назвать ни одного фронтовика, который застрял бы где-то на какой-то лёгкой работе, вроде заведующего буфетом или парикмахерской, и не вернулся из армии в свой колхоз.

Была ли это просто крестьянская любовь солдат-колхозников к своей извечной земле, селу, где они родились и выросли, к земледельческому труду «на лоне природы» и нежелание менять приволье деревенской жизни на городскую тесноту и сутолоку? Вряд ли только это. Многие фронтовики ещё в армии знали из писем от родных, что председателем в их колхозе работает честный, справедливый, хозяйственный человек, что колхоз сразу же после освобождения от немцев пошёл в гору, что по трудодням люди там получают столько, что ни в каком буфете такой зарплаты не получишь. Образовался тоже «заколдованный круг», но совсем иного порядка, нежели в некоторых других колхозах: фронтовики все возвращались из армии домой потому, что в колхозе было хорошо, а дела в колхозе ещё больше улучшались оттого, что прибывало мужчин и сколачивался крепкий, работоспособный актив.

И в этом колхозе, как и в других, было много вдов, война и здесь оставила свои непоправимые последствия — осиротевшие семьи. Но время шло, дети, которым в начале Отечественной войны было лет по шести, семи, стали уже взрослыми людьми. Среди молодёжи убыль мужчин не так была заметна. Количество свадеб в селе приближалось уже к «довоенному уровню». В подворных сельсоветских списках появилось много новых молодых семей и новых жителей, родившихся в последние годы. Рождаемость намного превышала смертность в селе. «Если поработать над этим вопросом, — серьёзно заявил секретарь сельсовета, суровый старик в очках, — то можем догнать по приросту населения, в процентном отношении, Китай».

Во «Власти Советов» Долгушин встретил немало молодёжи, окончившей все семь, девять и десять классов и оставшейся работать в колхозе. Были в колхозе и свои специалисты, окончившие техникумы: электрик, лесомелиоратор, ветфельдшер. На медпункте работала врачом местная жительница, молодая женщина, бывшая колхозница. Среди учителей средней школы были тоже «свои» колхозники.

До этого Долгушин знал уже из рассказов людей и собственных наблюдений, что в некоторых случаях молодёжь уходит даже из богатых колхозов. Что тому причиной? «Не единым хлебом жив человек»? Культуры мало ещё в селе? Нет таких перспектив для личного роста, как в городе?

Колхоз «Власть Советов» тоже не блистал пока особенной культурой быта, не было ещё в селе асфальтированных тротуаров и троллейбуса, но то простое и небольшое, что надо было делать, чтобы молодёжи, да и всем колхозникам, жилось интереснее, правление колхоза делало: не жалело денег на колхозную библиотеку, на художественную самодеятельность, на клуб, на учёбу колхозников. Два хороших человека, два энтузиаста — молодая девушка-библиотекарь и музыкант-любитель, заведующий сельским отделением связи, старик, бывший полковой капелмейстер — сумели привить людям любовь к тому, чем сами увлекались. Не было в колхозе дома, где не читали бы книг, и очень много завелось среди колхозников музыкантов и певцов самого разного возраста, от школьников до дедов. В селе было два оркестра: духовой и струнный. Трубы, вал-

торны, флейты, кларнеты для духового оркестра купил колхоз, а балалайки, мандолины, гитары приобретали на свои деньги сами любители. Хор «Власти Советов» ездил на областной смотр. Был и драмкружок, участвовало в нём человек пятьдесят, поднимали большой репертуар: от «Чужого ребёнка» до «Оптимистической трагедии» включительно.

Опёнкин рассказывал Долгушину:

— Один представитель сделал нам замечание, что мы, дескать, разжигаем в колхозе собственнические тенденции, — за то, что мы особое внимание обратили на помощь молодым семьям. Были у нас одинокие парни, из остатков тех семей, что разорила война, поженились, а жить в зятях им не нравится. Всё вроде как на квартире, у жинкиной родни из милости. Мы им помогли отделиться. Живите самостоятельно, собственным домом. Дали им хорошие усадьбы, выделили лесу для построек, провели несколько воскресников — в общем, гуртом поставили на ноги таких молодых хозяев. Живите, укореняйтесь, будьте родоначальниками новых дворов в селе. Этому представителю я ответил, что такой вид собственности нам не страшен, когда колхозница свою хату белит, а муж её по-хозяйски обносит плетнём усадьбу. Те сёла страшнее, где все дворы разгорожены и у людей руки не поднимаются на своём же доме крышу починить.

Опёнкин был по-настоящему талантливым хозяйственником. И он не упускал возможности поторговать с выгодой на колхозном рынке, и он не прочь был использовать какую-то временную доходную «ситуацию», но никогда не строил он своих хозяйских расчётов только на этих случайных вещах.

— В первый год, как меня выбрали здесь председателем, — рассказывал он, — мы даже вениками торговали. Посеяли два гектара веничного проса, старики зимой навязали веников, и мы их продали облпотребсоюзу на пятнадцать тысяч рублей. Всё годится в хозяйстве. Можно и на конопельке отхватить миллиончик, пока эта культура пользуется привилегией, можно и маком поторговать, и стригуновским луком, и махоркой. Всё полезно, что в колхозную кассу полезло. Но увлекаться этим — боже упаси! А вдруг завтра по твоему примеру все колхозы нажмут на мак? И домохозяйки в городе не возрадуются, ежели на рынке, кроме мака, не будет ничего, и ты шиш получишь от своей коммерции. Нет, на это нельзя делать ставку. Если сумел сегодня взять на чём-то таком временном крупные деньги, надо опять же вкладывать их в развитие тех отраслей, на которых никогда не прогоришь. В животноводство надо вкладывать, в коров, в свиней. Хорошее животноводство — вот где самые верные деньги! Молоко, мясо, сало, бекон, масло — это дело вечное, всегда был спрос на эти продукты и будет.

Свои взгляды на капитальное строительство Опёнкин излагал так:

— Очень важно уловить момент, когда именно можно и нужно начинать большое строительство в колхозе. В ином колхозе не навели самого малого порядка на животноводстве, нет постоянных кадров, нет кормов, а затевают сразу строить кирпичные коровники под шифером. Ухлопают сотни тысяч, залезут по уши в долги и — никакой отдачи в хозяйстве от этого строительства. Скот стоит голодный, грязный, только и удовольствия коровам, что вода сама течёт в поилки, на асфальтированных дорожках навозу по колено, надои низкие. Как человек одевается по порядку — сначала наденет нижнее, потом брюки, сапоги, пиджак, — так и хозяйство, по-моему, надо поднимать. Если сначала сапоги наденешь, как же потом в них штаны заправлять? Когда средств ещё мало, тут-то и нужен очень точный расчёт — куда их в первую очередь употребить, чтоб был от тех денег оборот в хозяйстве, а с того оборота уже дальше дела делать. Больно смотреть, как иной председатель, чуть войдёт во власть, начинает швырять направо и налево колхозными сотнями тысяч. Без де-

нег худо, никакой мудрец ничего видного не сделает в колхозе без них, но и с деньгами можно по-разному обернуться. Одному председателю дай для начала двести тысяч, а другому дай миллион, и может так случиться, что первый председатель с тех двухсот тысяч через три года три миллиона наживёт, а другой загонит сразу все средства в тупик, в строительство, откуда никакого оборота — так и останется при одних шиферных крышах и автопоилках. На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк. Если животноводство слабое, не даёт дохода, но всё же какие-никакие постройки есть, скот не под открытым небом — надо о кормах позаботиться, людей хороших подобрать на фермы, те коровники, свинарники, что есть, подремонтировать, утеплить, пережить ещё какое-то время под соломенными крышами, но обязательно добиться от ферм продуктивности, дохода. А с того дохода начинать уже и капитальное строительство. Но опять же, если построили образцовый коровник, надо, чтоб и надои молока поднялись. А иначе для чего же и строили его? Для красоты только? В хорошем помещении лучше условия для ухода за скотом, а от хорошего ухода должно больше продукции быть — ясное дело! Не только силос и концентраты — и шифер должен прибавку молока давать! Так надо поставить дело, чтоб и самое строительство в несколько лет окупилось повышенным доходом от животноводства. Золотое слово — «оборот!» Уметь надо каждый рубль в хозяйстве истратить так, чтоб он через какое-то время колхозу трёшницей, а то и пятью рублями обернулся!.. Вот и были у нас тут чудеса, когда всё строительство в колхозах планировалось сверху. Дают району: построить в этом году столько-то новых коровников, свинарников, птичников, а район механически развёрстывает по колхозам: «Октябрь» должен построить два свинарника и коровник, «Маяк» — свинарник и коровник. Да откуда вам известно — там, наверху, — что этим колхозам именно сейчас пришло время начинать капитальное строительство? И какое вы имеете право так грубо распоряжаться колхозными средствами? Деньги-то колхозные, правление и общее собрание колхозников — хозяин этим деньгам. Если у председателя есть голова на плечах, дайте ему самому думать этой головой! Ему на месте виднее, куда лучше вложить сейчас средства, чтоб в оборот их пустить, а не в тупик загнать, не заморозить их мёртвым капиталом на много лет.

Но Опёнкин был не только замечательным хозяином. Он очень интересно воспитывал колхозный актив. Вот как во «Власти Советов» избирали правление — не первый год уже.

Обычно повсюду в колхозах в правление выбирают всю начальствующую «головку»: бригадиров, заведующих фермами, председателя, завхоза. Получается не правление, а «генералитет» колхозный. Бригадиры контролируют сами себя. Соберутся на заседание, и некому покритиковать их со стороны, все бригадиры связаны общей принадлежностью к «генералитету» и круговой самозащитой от критики снизу. Опёнкин предложил отступить от этих традиций. Совсем не обязательно, чтобы все бригадиры были членами правления, и ни в каком уставе не записано, что правление колхоза должно состоять исключительно из руководящих лиц. Стали избирать правление из пятнадцати человек; три-четыре человека — из руководства, остальные — рядовые колхозники из разных бригад и отраслей: доярки, свинарки, огородники, плотники, свекловичницы, фуражиры, прицепщики. Такой состав правления колхоза оказался более тесно связанным с массой колхозников, чем штатные «начальники», лучше знающим настроение и нужды рядовых колхозников. Член правления в бригаде не подменял бригадира, но мог, отведя в сторонку, чтобы не подрывать его авторитета, сделать ему какое-то замечание, дать совет. На заседания правления ворвались жизнь, горячие деловые споры, безбоязненная критика. Колхозники поправляли ошибки своих бригадиров, невзирая на их лейтенантские и майорские чины, и чем сильнее «летел пух» на заседании



с иного заслуженного вояки-орденоносца, тем веселее поблёскивали маленькие хитроватые глаза Опёнкина, восседавшего за председательским столом.

На очередном отчётно-выборном собрании обычно избирался новый состав правления — не потому, что старые члены правления плохо работали и потеряли доверие народа, а чтобы приучить и других людей к управлению своим общественным хозяйством. Колхоз был большой: семь полеводческих бригад, две садовоогородные, две строительные, четыре фермы, — одних демобилизованных офицеров не хватало на все руководящие должности, да и колхоз всё же не стрелковый полк, иная женщина, не знакомая с тактикой ведения уличных боёв, но надоившая от закреплённых за нею колхозных коров уже не одну сотню тысяч литров молока, может быть, справится с заведением молочной фермой не хуже участника штурма рейхстага? И вот из этих рядовых колхозников, прошедших некоторую школу управления хозяйством, проверенных на деле, выдвигали потом и бригадиров и завфермами, если где-то требовалось укрепить руководство. Управленческий актив колхоза подобрался, таким образом, из разных людей: и фронтовиков, и женщин, и стариков, и молодёжи.

Сильно было влияние Опёнкина в колхозной партийной организации. Вступил он в партию в 1927 году, ещё когда был трактористом первого в Троицком районе товарищества по совместной обработке земли, и с тех пор, третий десяток лет уже, ни на один день не отрывался (исключая время немецкой оккупации, партизанщину) от колхозного строительства. Работал он и бригадиром тракторного отряда, когда в Семидубовке организовалась МТС, — куда только не посылали его пахать землю; был и полеводом в своём родном колхозе, в Олешенке, и завхозом в другом колхозе, и секретарём парторганизации в третьем. Сколько повидал он по району разных председателей колхозов, с разными «стилями» работы! Сколько колхозов на его глазах от этих разных «стилей» либо круто шло в гору и расцветало, либо скатывалось в число самых отстающих, бесплодных и безденежных. Было на чём поучиться ему трудному искусству руководства людьми и управления большим общественным хозяйством — и на чужих ошибках и на собственных.

В 1943 году, сразу после освобождения, райком партии порекомендовал Опёнкина председателем в колхоз «Власть Советов». Первое время ему пришлось быть там и секретарём партийной организации. От некогда большой парторганизации осталось три коммуниста, все были на фронте: Встретил Опёнкин среди этих трёх и одного дезертира, который по решению райкома партии должен был уйти с ним в партизанский отряд в Михайловские леса, а пересидел лихое время дома, паутину собирал бородой по чердакам. Этого исключили, осталось в парторганизации, кроме Опёнкина, два человека: пастух, старик лет семидесяти, и доярка, вернувшаяся из Заволжья, куда угоняли колхозный скот. Потом стали возвращаться фронтовики, старые коммунисты и вступившие в партию в армии, сначала раненые, демобилизованные по инвалидности. Секретарём парторганизации избрали главного старшину морфлота Демченко, у которого после тяжёлой операции желудок совершенно не принимал спиртного. Избрали его, конечно, не только за это достоинство, а за то, что он хорошо работал как бригадир огородной бригады и от других коммунистов требовал в первую очередь образцовой трудовой книжки. Верно взятая с самого начала линия в партийной работе оберегла парторганизацию от белоручек и болтунов, росла она за счёт настоящих передовиков колхозного производства, которые, и вступив в партию, не стремились уйти с поля или фермы в какую-нибудь канцелярию, оставались на своих местах, только старались, получив партбилет, работать ещё лучше.

Опёнкину и Демченко нетрудно было воспитывать молодых коммунистов, для этого им не надо было придумывать какие-то особые формы

воспитательной работы и произносить длинные назидательные речи-проповеди на собраниях. В их личной работе и жизни не было фальшивой поповской раздвоенности на слова и дела. Колхозники не помнили дня, ни зимой, ни летом, чтобы солнце застало председателя колхоза и секретаря парторганизации в постели. Первые два года Опёнкин жил в землянке, как и многие колхозники, у которых немцы при отступлении сожгли избы, и построил себе дом, когда уже почти все семьи были водворены в новое жильё. Ни килограмма мёда, ни охапки сена не выписал он себе сверх того, что причиталось ему по общей раскладке на его председательские трудовни. Один бригадир, коммунист, взял у колхозницы взятку, пол-литра водки, за подводу в больницу для больной дочери. Его исключили из партии, решением правления сняли с поста бригадира, а на общем собрании, по настоянию Опёнкина, записали ещё пункт: не допускать его больше никогда к руководящим постам. Может быть потому, что решение было таким строгим, оно и было почти единственным за ряд лет и крепко запомнилось всем колхозникам.

Партийная организация во «Власти Советов» выросла до двадцати восьми человек. В колхозной комсомольской организации было около ста парней и девушек. Комсомольцы брали в работе пример с коммунистов. И Долгушин убедился здесь, что в богатом и здоровом колхозе нет никакого особого «молодёжного вопроса». Смена старикам растёт хорошая, трудолюбивая, отношение к «простым» работам в поле и на животноводстве уважительное, молодёжь не бежит из сельского хозяйства, располагается жить в родной деревне прочно и надолго. Встречал он здесь и прицепщиков, и ездовых со средним образованием, и студентов-заочников, совмещающих учёбу с хорошими заработками в колхозе. И что редко ещё можно услышать в других местах, здесь он услышал, и даже не от одного парнишки школьного возраста: «Кем хочешь быть?» — «Колхозником».

И ещё очень продуманно, по-человечески правильно был решён во «Власти Советов» вопрос обеспечения потерявших трудоспособность стариков и инвалидов. Старость — это по закону природы, к сожалению, завтрашний день каждого человека. Молодёжи несвойственно преждевременно задумываться о старости, но человеку пожилому, под пятьдесят, особенно одинокому, нет-нет да и придёт в голову: «Ну ладно, сейчас-то мне в колхозе живётся неплохо, есть ещё сила в руках, трудней у меня много, и трудовень в колхозе не пустой, а что будет, когда уже не смогу по старости работать или заболею? У рабочих и служащих есть пенсии, а меня здесь кто докормит до смерти?» В иных колхозах старикам давали продукты из специального фонда, если после госпоставок и первоочередных отчислений оставалось из чего создать такой фонд. Бывало, это снабжение стариков и инвалидов носило характер подачек из милости. Выпросит какая-нибудь престарелая бабка у председателя пол-литра масла и десять килограммов муки — её счастье, в добрую минуту, значит, подвернулась. Да ещё скажет ей председатель, подписывая накладную: «Вечером придёшь в кладовую получить, а то понесёшь днём через село, все узнают, что выписал я тебе продукты, — припрутся все просить. Как вы мне, черти старые, надоели!»

Опёнкин поломал эти унизительные обычаи, повернул дело по-иному. Назначенная правлением комиссия разработала нечто вроде колхозного положения о пенсиях: с какого возраста считать стариков и старух нетрудоспособными, сколько начислять им трудодней в процентах от средней выработки за те годы, когда они ещё участвовали в колхозных работах, как брать в расчёт состав семьи и т. п. Это дополнение к уставу утвердили на общем собрании, и оно стало законом их колхозной жизни. Старикам и инвалидам трудовни записывали в книжку одновременно со всеми колхозниками, и получали они по трудовням продукты и деньги из общего фонда распределения. Жить в колхозе при таком твёрдом порядке

обеспечения нетрудоспособных стало спокойнее и уютнее не только старикам — всем.

Был у Опёнкина недостаток — не любил он газетчиков, на областных совещаниях убежал от них, неохотно «давал интервью» и в колхозе принимал корреспондентов не слишком хлебосольно — чтобы не зачастили к нему.

— А ну их, этих писателей! — отмахивался он. — Они меры не знают. Как насядут на один колхоз либо на какого-нибудь одного передовика, как начнут восхвалять его да возносить — не отстанут, пока не испортят человека.

Может быть, вследствие прохладных отношений Опёнкина с областными и приезжавшими из Москвы журналистами колхоз «Власть Советов» реже хвалили на страницах печати, чем он того заслуживал, и его лучшие передовики животноводства и полеводства были несколько обойдены славой по сравнению с передовиками других видных колхозов. Но Опёнкина это не огорчало.

— Вот только и поработаем спокойно, пока ещё не растрезвонили о нас на весь Советский Союз, — говорил он. — А как, не дай бог, прогремим, вроде Дубковецкого или Лыскина, как поедут к нам одна за другой делегации — американцы, индусы, французы, — то уже будет не работа, а сплошная сельскохозяйственная выставка, и я из председателя в экскурсовода превращусь, буду с киём ходить и диаграммы показывать, а на поле — волк траву ешь!..

У Долгушина, после того как он обстоятельно познакомился с колхозом «Власть Советов», был большой разговор с Опёнкиным о будущем.

— Хоть вы, Демьян Васильевич, и боитесь чересчур громкой славы, но всё же двигаться вперёд надо, и может быть, даже побыстрее, чем двигались вы до сих пор, — говорил Долгушин. — Денег у вас в колхозе и у колхозников достаточно, чтобы начать по-настоящему перестраивать деревенскую жизнь. Колхозные ребята у вас в обиде на телят и на поросят.

— Почему — в обиде? — не понял Опёнкин.

— А вот почему. В телятниках и свинарниках у вас площадь, кубатура помещения, свет, вентиляция — всё рассчитано по научным нормам. Строите прогулочные дворики, откормочные площадки, ванны, чтобы молодняк рос здоровым, весёлым, чистым, упитанным. А в избах колхозников есть эти нормы света и воздуха? Это по-научному, когда семья в шесть, семь душ живёт в одной комнате? Тут и кухня, и спальня, тут и бельё стирают, и моются в кадке, и школьники уроки учат. Колхозные коровы у вас пьют воду из автопоилок, значит у коров водопровод. А колхозница, чтобы чаю согреть, должна итти по воду к колодцу, а колодцев с хорошей водой всего два на всё село. За полтора километра носят воду на плечах! Кому же лучше живётся у вас — коровам или колхозникам? Телятам или ребятам?

— А телята — это наше колхозное добро, — возразил Опёнкин. — Нельзя бесхозяйственно к нему относиться. Доход от животноводства поступает нам, колхозникам. Нам же польза от того, что телята и коровы у нас в хороших условиях.

— Правильно. Без хорошего помещения и ухода не получишь высокой продукции от животноводства. А это всё — общественный доход колхоза, который распределяется между всеми колхозниками по трудодням. Всё понятно. Но всё же как-то странно получается, что у животных их условия жизни — применительно, конечно, к их потребностям — обставлены куда культурнее, чем у хозяев этих животных — людей. Разве так и должно быть вечно? Ведь всё же мы на лошадях ездим, а не лошади на нас! Коровы для нас, а не мы для коров! Я думаю, Демьян Васильевич, ваши животные в благодарность за человеческое к ним отношение нако-

пили уже достаточно денег колхозу, чтобы и у их хозяев дома́ были просторные, многокомнатные, с пужной кубатурой воздуха. Можно бы уже начинать вам строить новую деревню. Это не те, конечно, капиталовложения, что немедленно дадут колхозу оборот. «Трёшницу на рубль» тут, может быть, не получите, но получите другое — хорошую жизнь людей. Ведь в конце концов все наши гектары и центнеры — для человека! А разве четыре килограмма пшеницы и пятнадцать рублей на трудодень — это предел всех потребностей колхозника? Идеал нашей жизни? Засыпать хлебом чердаки в хатах, и пусть гнилые балки рушатся людям на головы?..

Опёнкина не пришлось особенно уговаривать. Он был не из тех мужиков, что мечтали сало с салом есть и на соломе спать, если бы случилось им царствовать. Он и сам уже давно подумывал о переустройстве села, да не знал, с какого края взяться за это огромное дело. Денег из колхозных средств для начала можно было выделить миллион, да в каждой колхозной семье был отложен на сберкнижке для строительства нового дома не один десяток тысяч рублей — дай только материалы, транспорт, мастеров!

Зимой Опёнкин усилил заготовки и вывоз леса из Кировской области, где отводили им делянки для разработок. Обсудили вопрос о строительстве нового села на общем колхозном собрании. Все колхозники были согласны хоть сейчас приступить к делу. Для начала решили построить и пустить в ход к лету кирпичный и черепичный заводы. Облисполком пообещал помочь оборудованием. Начали проектирование жилых домов, нового большого клуба с залом на семьсот мест, парка культуры и отдыха со стадионом, детсада, круглосуточных и круглогодичных детских яслей, радиопузла, гаража на десять машин, водонапорной установки для села и новой бани. Сверх всего Опёнкин предложил не пожалеть ещё сотню тысяч рублей и построить хорошую мастерскую со слесарным, токарным, столярным и кузнечным цехами, оборудовать её станками и инструментом и передать сельской средней школе — пусть учат в этой мастерской школьников старших классов, попутно с общеобразовательной программой, разным техническим специальностям, которые в наше время механизации пригодятся парням, на какую бы отрасль сельского хозяйства их ни потянуло.

Предложение Опёнкина о строительстве мастерской навело Долгушина на мысль, что и МТС может крепко помочь школам в политехническом обучении — со своими новейшими сельскохозяйственными машинами и кадрами опытных механизаторов. В зоне Надеждинской МТС было ещё две средних школы. Долгушин повёл переговоры с директорами школ насчёт организации летней практики учеников в МТС, при тракторных бригадах. Председатели колхозов, на территории которых находились эти школы, Золотухин и Нечипуренко, узнав о затее Опёнкина, пообещали и у себя выяснить возможности строительства школьных мастерских и обсудить это дело на общих собраниях колхозников.

Пока Мартынов размышлял, лёжа в больнице, о «молодёжном вопросе», в районе начали уже практически кое-что делать для жизненно правильного решения этого в общем-то не очень запутанного вопроса.

Почему случилось так, что Медведев, молодой и неопытный ещё руководитель партийной организации, сразу перенял всё самое плохое, что только можно было перенять от некоторых других, опытных, но отнюдь не заслуживающих подражания руководителей? Работать он ещё не умел. Несколько упрощая вопрос, можно предположить, что он в равной мере не умел ещё совершать ни хороших, ни дурных дел, и тому и другому ему

нужно было ещё учиться. Почему же дурное он постиг скорее и успешнее, чем хорошее?..

Когда человек покупает себе в магазине комиссионных вещей одежду, он выбирает из чужих костюмов тот, который ему по плечу. Несомненно, Медведев встречал в своей жизни разных руководителей, и хороших и плохих. Видел он, вероятно, и таких, у которых достоинства и недостатки переплелись, как пшеница с травой берёзкой на засорённом поле. Есть такие сложные натуры. Талантливый организатор, умеющий вдохновить и поднять на какое-то важное дело всё живое и мёртвое, и в то же время самодур, грубиян, честолюбец. Лично смелый в решениях и поступках человек, но совершенно не терпящий рядом с собой других смелых и самостоятельных людей. Массовик, блестящий оратор, рубаха-парень (пока разговаривает с народом на собраниях), а в стенах своей канцелярии зажимщик критики и глушитель инициативы. Искренний враг и гонитель аракчеевщины во всём, кроме собственной сферы деятельности. Сам не лакей и не подхалим, но не противник угодничества и подхалимажа со стороны своих подначальных. Вот из этой «сложности» качеств некоторых знакомых ему руководителей Медведев и выбирал, вероятно, для подражания то, чему проще всего было подражать, на что хватало его способностей. Недостатки, таким образом, возводились в превосходную степень, а достоинства оригинала, с которого снималась копия, полностью выпадали. Выпадали потому, что тут уж, чтобы перенять их хотя частично, нужен был всё же какой ни есть талант.

Вот так и получилось, что Медведев, став во главе районной партийной организации, воспринял все более или менее распространённые пороки плохих и считающихся даже хорошими секретарей райкомов, и среди них наиболее чреватый последствиями порок — равнодушие к людям. Председатели колхозов и директора МТС были для него не товарищами по работе, а лишь промежуточными рычагами для нажимания на них и выполнения на местах посредством этого нажимания спущенных сверху директив. О рядовых колхозниках уж и говорить нечего — на них он смотрел только как на живых виновников невыполнения того-то или того-то.

За время весеннего сева Медведев успел так прославиться всюду своей строгостью, что им уже в колхозах матери стали пугать детишек:

— Вот погоди, придет на зелёной «Победе» тот дядька в золотых очках, что на нас в поле кричал, — я ему расскажу, как ты балуешься!..

Флегматичный Глотов, директор Семидубовской МТС, показался вначале Медведеву человеком безответным. После нескольких осечек с Долгушиным, который за словом в карман не лез и при несправедливых нападках на него тут же давал отпор, Медведев стал наседать больше на Глотова, ездил чаще всего в колхозы Семидубовской зоны. Старик как бы принимал указания Медведева, в открытые споры не вступал, если Медведев приказывал пускать бороны по мокрой зяби, со своей стороны тоже давал распоряжение бригадиру налаживать и заводить машины, но лишь только райкомовская «Победа» скрывалась за бугром, останавливал тракторы и продолжал делать всё по-своему. Трактористы, народ сообразительный, называли такие действия своего многоопытного, умудрённого жизнью директора «тактикой мирного неповиновения». Бывало и хуже. Если Медведев очень уж нажимал, чтобы начинали сеять в холодную почву просо или кукурузу, грозя за промедление всяческими карами, Глотов давал указание бригадирам обойти загоны с сеялками по разу и на этом пока прекратить, а сам общал в район, что посеяно тридцать—сорок гектаров (чтобы открыть сводку и этим несколько успокоить Медведева), и после этого ещё несколько дней не сеял, выжидал тёплой погоды. Это уже было: борьба с преступлением методом преступ-

ления же. Но не столь тяжёлого по своим последствиям для урожая, как посев поздних культур в непрогретую почву. Лавируя так и сяк, невозмутимый, спокойный на вид Глотов сумел всё же выдержать и хорошее качество обработки земли и наилучшие сроки сева всех культур.

На севе кукурузы Медведев приехал в колхоз «Родина», где председателем работал беспартийный Дорохов, бывший лесник. У большой проезжей дороги, на хорошо разработанном поле, сеяли специальной сеялкой, с мерной проволокой, точно по квадратам. Присутствовал на севе и директор МТС. У Медведева за время его поездок по колхозам стал уже вырабатываться глазомер в определении земельных площадей. Он окинул взглядом поле.

— Но это же не вся ваша кукуруза. Здесь будет всего гектаров пятьдесят. Где ещё сеете?

Дорохов указал рукой.

— Вон там, за той лесополосой.

— Поедьте туда.

— Туда сейчас не проедем на машине, — замялся Глотов.

— Почему?

— Там мостик через речку неисправный, провалимся. Надо ехать через село, назад, кругу давать километров пятнадцать.

— Да вот же накатанная дорога прямо в ту сторону. Куда же ездят по ней? Свежий машинный след.

Дорохов переглянулся с Глотовым.

— А может, уже исправили. Я давеча говорил бригадиру...

Поехали на другое поле. Мост оказался починенным, и, как видно, уже давно, свежая стружка на брёвнах настила и перилах успела потемнеть. Кукурузу на этом поле, укрывшемся между оврагами и лесополосой, сеяли обыкновенными сеялками — междурядья положенной ширины, но рядок сплошной, не гнездами.

Медведев схватился за голову.

— Это что ж такое делается? Где же у вас тут квадраты?..

— Не беспокойтесь, Василий Михайлович, — ответил ему Глотов. — Квадраты здесь будут ещё лучше, чем на том поле. Потерпите до первой культивации.

— Как — потерпеть?..

Дорохов стал объяснять:

— Когда появятся всходы, мы пустим тракторные культиваторы и вдоль и поперёк рядков. Ножи сами прорежут поперечные междурядья на нужную ширину, а те растения, что останутся, будут как бы гнездом, получатся правильные квадраты.

Медведев уничтожающе мерил Дорохова взглядом с ног до головы.

— Ваша собственная выдумка?.. Вы беспартийный, товарищ Дорохов?

— Беспартийный... Был в партии с тридцать восьмого года, исключён. Да вы моё дело знаете.

— Что ж, будем вас судить за грубое нарушение агротехники на севе кукурузы. Самой ценной зерновой и фуражной культуры!..

— Погодите, Василий Михайлович, — вмешался Глотов. — Если его судить, то меня надо судить в первую очередь. Это не его выдумка. Это я ему посоветовал так посеять. Вся Кубань так сеяла до войны кукурузу, и получались прекрасные квадраты. Я же её знаю очень хорошо, эту культуру, имел с нею дело, три года работал на Кубани управляющим отделения совхоза. Квадратно-гнездовых сеялок тогда ещё не было, сеяли её простыми зерновыми сеялками, сплошным рядком, а потом прорезали

поперёк культиваторами и так потом и обрабатывали вдоль и поперёк. Те же квадраты. Только называли их тогда — букетировка.

— Ни в каких агроправилах вы не найдёте такого способа!

— Да, нету в агроправилах, — продолжал настаивать Готов. — Вот мы выждали наилучшее время для посева и за два дня всё это поле засеём. Через неделю уже всходы будут. А руками сеять — на десять дней растянем, до суши. Здесь у них, правда, пойдёт лишних семян килограммов по пять на гектар. Но семена у них есть. В «Родине» колхозники давно сеют кукурузу на усадьбах, в каждом дворе она есть, собрали семян даже с излишком. А вот с рабочей силой у них вопрос стоит остро. В этом колхозе очень много земли приходится на трудоспособного. И специальных сеялок для квадратно-гнездового не хватает ещё у нас. Им есть смысл потратить и десять килограммов лишних семян на гектар, лишь бы вовремя посеять и не снимать людей со всех работ сюда для ручной посадки. У них же и строительство начато большое, и траншеи надо копать под силос, и в лес посылают людей.

— Значит, квадраты появятся только после первой культивации?

— Будут квадраты, — уверял Дорохов. — Как рассказал мне Иван Трофимыч, я подумал, подумал: конечно, получатся квадраты. А лишних пятнадцать центнеров кукурузы израсходовать на семена — это для нас копейки против того, сколько нужно сюда вложить труда, если руками сажать. Приезжайте, Василий Михайлович, недели через две, посмотрите, какие будут здесь квадраты.

— Через две недели? А сегодня как мне сообщать об этом посеве? Вы знаете решение обкома? Весь посев кукурузы должен быть произведён только квадратно-гнездовым способом! Сегодня же это ещё не квадраты? Как мне в сводке писать?

— Напишите: посеяно столько-то гектаров будущими квадратами.

— Вы ещё собираетесь, кажется, шутить, товарищ Дорохов? — грозно повысил голос Медведев.

— Какие уж тут шутки! — угрюмо ответил Дорохов, отворачиваясь, глядя себе под ноги, чтобы не встретиться глазами с Медведевым. — Кукурузы мы сеём много, трудности с нею без специальной техники будут большие, да если ещё вы не даёте нам соображать своей головой, как её лучше посеять и обработать, — тут уж нам не до шуток!..

— Вот что у вас тут завелось! Оказывается, у вас тут свой Совет министров! Сами себе издаёте обязательные постановления! Ну, погодите, дорогие друзья! Созовём пленум райкома, там поговорим обо всём, подведём итоги сева! Извиняюсь, товарищ Дорохов, я всё забываю, что вы беспартийный. Вас-то мы на пленум не пригласим. Но вот директор МТС, старый коммунист! Учит беспартийных председателей заниматься очковитирательством! Обманывать райком партии! Мостик, видите ли, у них неисправный. У дороги сеют кукурузу квадратно-гнездовым способом, а там как поало, туда, мол, секретарь райкома не заглянет! Но и на вас, товарищ Дорохов, мы найдём управу! Не позволим и вам безобразничать! На беспартийных председателей у нас есть соответствующие органы! Воздадим и вам по заслугам! Поставим на ваше место человека который способен правильно понимать политику партии на данном этапе!..

Вот так приезжал Медведев в колхозы. Это были «налёты», а не поездки. Малейший проблеск самостоятельной мысли казался ему злостным нарушением партийной и государственной дисциплины. Сам он не осмеливался никогда ни на волос отступить от областных директив, не решался даже подумать про себя, что есть, возможно, при сложившихся условиях какое-то другое, лучшее решение вопроса, и от других требовал такого же слепого преклонения перед буквой инструкции. Трусость, боязнь за свою шкуру, порождала хамское отношение к людям, истощный крик, бес-

конечные угрозы. Колхозники после его отъезда долго ошалело качали головами:

— Как же с таким секретарём жить?..

До пленума райкома Медведев успел ожесточить против себя всех председателей колхозов. Назревал скандал. Что-то должно было неминуемо произойти.

Когда наконец пленум собрался — в середине июня, в междупарье, — по началу заседания это было нечто похожее на судебный процесс над доброй половиной председателей колхозов и директорами МТС. Доклад Медведева состоял из протокольного перечисления всех ошибок и упущений, обнаруженных лично им и работниками райкома в колхозах за время весеннего сева и начала прополочных работ. Соответственно тяжести совершённых ошибок виновные обзывались «саботажниками», «срывщиками планов», «дезорганизаторами» и даже «вредителями колхозного строя». Долгушин попал в разряд «государственных нахлебников».

С Надеждинской МТС Медведев начал свой доклад, ею же и закончил. Нужды нет, что колхозы Надеждинской зоны выделались на весеннем севе организованностью работ и что и по животноводству, надоям молока, откорму свиней именно этим колхозам принадлежали лучшие показатели. Медведев припомнил Долгушину все его грехи, начиная с того дня, как тот впервые переступил порог директорского кабинета в конторе МТС: и перерасход ремонтного фонда, и аварию с дизелем в мастерской, и зафиксированное актом пожарного инспектора нарушение правил складирования горючего, и незаконное израсходование денег МТС на покупку минеральных удобрений для колхозов, и выборы нового правления в «Рассвете», проведённые без ведома райкома. А особенно навалился Медведев на Долгушина за то, что в зоне Надеждинской МТС было за время сева, как выявила специальная комиссия, больше всего случаев повторных перепашек и культиваций по причине недоброкачественной обработки почвы.

— Дорого обойдётся ваш хлеб государству, товарищ Долгушин, если будете дважды пахать каждый участок! — гремел Медведев с трибуны. — Вы там в Надеждинке к середине лета все годовые лимиты перерасходите! В трубу вылетите с такой работой!

По этому делу Долгушин давал объяснение Медведеву ещё до пленума — почему в МТС так много случаев перепашек.

— Вы думаете, в прошлом году в Надеждинке меньше было брака на пахоте? В других МТС меньше брака, чем у нас? Не меньше. Но здесь сложились уже такие дурные традиции — не выносить сор из избы. Колхозный бригадир принимает плохую пахоту, не составляя актов на бракоделов, потому что, если он рассердит трактористов, те тоже предъявят ему счёт: тогда-то простояли полдня без воды, тогда-то семян не подвёз, тогда-то прицепщиков не дал. Круговая порука безответственности: ты меня не трожь — я тебя не трону. Конфликты улаживались домашним путём: пол-литра с нарушителя агротехники, и всё. Мы решили предать гласности такие факты. Колхозы не должны страдать от недобросовестности трактористов. Наша вина — нам и ответить. Мы сами выводим на чистую воду бракоделов и колхозы просим не жалеть их. Акты на перепашку подписывает наш главный агроном. Но нельзя же делать из этого вывод, что МТС стала хуже работать. Брак у нас сейчас не больше, чем было раньше, — меньше. Больше стало случаев выявления этого брака и наказания виновных, чего раньше не делалось. Но это же разные вещи!

Объяснение не удвлекло Медведева, и на пленуме он целых двадцать минут говорил об этих фактах перепашки.

— Так всякий сумеет получить высокую урожайность, если дважды пахать землю! Но сколько будет стоить нам этот урожай? Или вы при-



выкини, товарищ Долгушин, по своим московским масштабам бросаться миллионами на ветер? Безобразие! Не работа, а сплошной брак! А на уборку будете просить добавочные лимиты горючего? Государство для вас — дойная корова?..

То, что долго нарывало, должно было наконец прорвать. И прорвало на этом пленуме.

— Стриг чёрт свинью — визгу много, шерсти мало, — таким необычным вступлением начал свою речь в прениях расвирепевший флегматик Глотов. — Как нам это надоело, товарищ Медведев! Крик, крик и крик. «Срывщики!» «Саботажники!» Получается, что вроде ты один в районе за государственные интересы и вообще за Советскую власть, а мы все какие-то враги государства либо недоумки. Новый ты человек в районе, молодой секретарь, а за такую старину принимаешься, что нам, пожилым, она уже все печёнки и селезёнки проела! В тридцать седьмом году ты, видно, мальчишкой ещё был, голубей гонял, но если б тогда уже был в силе — ого! — чего бы ты по тому времени натворил! Не один десяток людей в тюрьму засадил бы!.. Чего ты взъелся на товарища Долгушина? Человек работает во всю силу. Гбда ещё нет, как он стал директором МТС, а уже мне, старому хлеборобу и механизатору, есть чему у него поучиться! Цека отобрал таких людей нам в помощь. Рабочий класс шёл навстречу деревне и в тридцатом году и сейчас идёт. Только тогда тот двадцатипятилетний Давыдов простым слесарем был, а сейчас нам инженеров дают. Понять надо по-человечески: товарищу Долгушину тоже нелегко было на шестом десятке ломать свою жизнь, привыкать к деревне после Москвы, переучиваться с металлурга на хлебороба. А как ты ему помогаешь, как поддерживаешь его настроение? Так поддерживаешь, что был бы он послабее характером или из тех коммунистов, которым партбилет только для блага жизни нужен, давно бы уже под каким-нибудь предлогом удрал обратно в Москву! Вот он сейчас прослушал твой доклад, и вид у него такой, будто мыла наелся. И меня тоже что-то тошнит. Разве ж это руководство? Я просил тебя как-то: помоги нам перейти на круглогодовой ремонт тракторов, мы сами не можем решить этого дела, тут надо ломать порядок финансирования ремонта и снабжения нас запчастями. Что ты сделал? Поставил этот вопрос перед областью, министерством? Звонил куда, писал? Ничего не сделал! Ты даже боишься этот вопрос поднимать самостоятельно! А вдруг это какая-нибудь ересь — «круглогодовой ремонт»? А что ты мне сказал, когда я приходил к тебе насчёт огородов? «Увеличиваем, говорю, Василий Михайлович, вдвое площадь под овощами, но ведь и в прошлом году были случаи, когда торговые организации отказывались принимать от колхозов овощи. Можно ли надеяться, что в нынешнем году наши кооператоры лучше будут работать, сумеют реализовать колхозный урожай? Не побьют ли нас колхозницы тяпками, если на их глазах готовая продукция будет гнить в кучах на огородах?» Что ты мне ответил? Хвостистом обозвал! Я, дескать, поддерживаю отсталые настроения колхозников! Не желаю улучшить снабжение трудящихся овощами! Это вместо того, чтоб вникнуть, разобраться, в чём загвоздка, где тут узкое место, как его преодолеть. Какое ж это руководство? Ты надсмотрщик и погоняла, вот кто ты есть таков, товарищ Медведев, а не руководитель, секретарь райкома!..

Руденко говорил:

— Брось эти методы, Василий Михайлович! До тебя тут уже кое-кто пытался такими методами районом управлять, и доуправлялись до того, что вот пришлось нам, членам бюро райкома, итти председателями колхозов, чтоб выправить положение. Ты с Борзовым не знаком, с Виктором Семёнычем, что был у нас тут четыре года секретарём райкома? Не знаком? А посмотреть на вас — вроде как ты его меньшей брат. Ежовые

рукавицы и страх — это для нас не открытие, верно Глотов сказал. Другое требуется сейчас, товарищ Медведев: учить людей думать своей головой, воспитывать в них смелость, честность перед партией и своей совестью! А смелость не палкой воспитывается. Отстаёшь ты от жизни! Как на охоте случается: по старому следу пошёл. Не убьёшь на этом следу зайца, след-то ещё позавчерашний!..

Грибов говорил о работе на сводку, на рапорт.

— Вы назвали председателей колхозов вредителями, но больше всех вредите урожаю лично вы, товарищ Медведев. Дорого обходятся колхозам ваши фельдфебельские методы! Вот мы — я, Руденко, Плотников, Опёнкин — не испугались ваших угроз, сумели посеять всё в своё время. А поезжайте теперь в те колхозы, где председатели не выдержали, посеяли кукурузу в холодную почву, — что там сейчас? Чёрное поле, стебелёк от стебелька на десять метров, семена погнили, и всходов там уже не прибавится. И это всё ради сводки, ради того, чтобы побыстрее отрапортовать об окончании сева, шегольнуть, выслужиться перед областью! И теперь вы, небось, не показываете в отчётах эти погибшие посевы кукурузы? Площадь кукурузы, что вписана в сводку, ни в коем случае не должна сократиться! И не разрешаете колхозам пересевать погибшую кукурузу другими культурами. Заставляете эти лысины подсеять кукурузой же, вручную. Сколько это займёт времени? Месяц будет ещё колхозники там ползать по рядкам! А когда эта кукуруза теперь взойдёт? Что из неё получится? Вот где самое настоящее преступление! Вы своими «командами» погубили тысячи тонн урожая!..

— Узкобоевое руководство, — добавил Нечипуренко. — Один красивый рапорт о весеннем севе ещё ничего ведь не решает. Целое лето впереди! Да и рано посеять всё — это ещё не значит хорошо посеять. Такие секретари райкома, как ты, Василий Михайлович, заставляли председателей колхозов соревноваться — кто быстрее запряжёт. Воспитывали лихачей, кучеров, а не хозяев! Кто наловчился быстро, лихо запрягать, с шиком подавать карету к крыльцу — тот и «передовик». Но ведь гораздо важнее не то, кто как запрягает, а кто сколько груза везёт!..

Председатель райисполкома Митин сказал:

— Боюсь, Василий Михайлович, что мы останемся без помощников, если будем налегать исключительно на административные меры. Отступит народ от нас.

Борзова говорила:

— Вот вы, Василий Михайлович, делаете всё то, что и товарищ Мартынов до вас делал: и совещание передовиков созывали, и собрание механизаторов, и партактив, а пользы от этих собраний никакой! И доклад и выступления — всё как нужно, форма та же, а за душу никого не берёт. Сидят люди и слушают: «вы должны», «вы обязаны», «надо мобилизоваться»... Может, вам самому это не интересно — такие встречи с колхозниками? И что сказать им нового, волнующего, не знаете? Лишь бы отчитаться перед обкомом, что провели такое-то количество совещаний? Если у вас нет вкуса к партийной работе, то лучше бы вам по-честному признаться, что вы это дело не любите. Может, вы больше пользы принесли бы на таком месте, где не с живыми людьми приходится иметь дело, а с какими-нибудь документами, архивами, первоисточниками? А так же ведь нельзя: должность первого секретаря райкома партии любить, а партийную работу не любить.

Выступал и Опёнкин:

— Товарища Долгушина полюбил у нас народ. Он умеет работать с людьми, у тебя, Василий Михайлович, такого умения нет — в этом и вся причина, почему ты злобишься на него. Но нет! Такого директора мы тебе на расправу не дадим! Да и не за что чинить над ним расправу. Осень придёт — урожай покажет его работу. Я многих директоров МТС пере-

видал на своём веку, это, может, первый настоящий директор, какого я знаю, которого председатели колхозов и без приказа слушаются. Слушаются потому, что он, прежде чем нам что-то предложить, и у нас совета и ума спрашивает. Такие люди нам в районе нужны!..

До такой степени коммунистам было уже невмоготу — вспомнились и Борзов и некоторые его предшественники, — так возмутил и разозлил всех «прокурорский», казённый, бездушный (и угрозы даже читал по бумажке!) доклад Медведева, что, когда заведующий отделом пропаганды райкома вышел с проектом решения, его сразу же остановили вопросами:

— Сколько страниц?

— То же самое, что и в докладе мы уже слышали?

— Нового ничего?

Поднялся Рыжков, секретарь партийной организации колхоза «Борьба», бывший секретарь райкома комсомола, и предложил вместо этой заготовленной, видимо, Медведевым же резолюции принять по его докладу другое, короткое решение: «Объявить секретарю Троицкого райкома партии товарищу Медведеву выговор за возрождение в районе борзовских методов руководства колхозами».

И за предложение Рыжкова проголосовали почти все члены райкома.

На третий день после пленума в райком приковылял на костыле выписавшийся из больницы Мартынов.

В жаркий полдень на улицах городка было пусто. У райкома Мартынов встретил Рыжкова с перевязанной щекой, приехавшего в Троицк рвать больной зуб.

— Что ж это вы, умники, натворили? — хмуро спросил его Мартынов. — Какой-то небывалый пленум. Таких решений по докладу секретаря о весеннем севе, вероятно, ещё нигде не принимали.

— Да так как-то получилось, Пётр Илларионыч, — смущённо оправдывался Рыжков. — Очень уж надоело нам это всё!

— Решение, в общем-то, очень принципиальное, куцее решение, — пожал плечами Мартынов. — До конца всего не договорили... Как же дальше партийная организация будет строить отношения с ним? Вы думали, что после такого случая ему невозможно здесь работать?

— Ничего мы не думали. Пусть теперь обком думает!.. А может, и думали, — хитровато подмигнул вдруг Мартынову Рыжков. — Вот это самое и думали: что теперь, после такого скандала, он у нас не останется!..

Медведева не было в райкоме — выехал куда-то. Не заходя в кабинет, Мартынов от Трубицына позвонил в обком. Там из секретарей он застал только Масленикова. Мартынов доложил, что выписался из больницы, что совсем уже здоров, немного только побаливает нога, но ходить на костыле и ездить в машине уже может, врачи разрешили. Спросил: приступать ли ему к работе в райкоме или, может быть, есть уже какое-то другое решение о его судьбе?

Маслеников ответил, что никакого другого решения пока нет, что если здоровье ему позволяет, надо начинать работать, оформив своё возвращение на пост первого секретаря через бюро райкома.

— Давай, давай, приступай! — повысил голос Маслеников, сразу беря деловой тон в разговоре уже не с больным человеком, а с возвращающимся к своим обязанностям секретарём райкома. — Нажми на молоко! С четвёртого места на девятое съехал район за последние пятидневки. Лукашёвцы вас обогнали. Позор! С ремонтом комбайнов у вас неважно. Там у вас Долгушин всё мудрит, на качество ссылается, будто мы не требуем хорошего качества ремонта. Само собой разумеется, что надо ремонтировать и быстро и хорошо! Да разберись в ближайшие дни, товарищ Мартынов, кто там у вас партийную организацию баламутит? Что за дикий случай на пленуме райкома? Как можно без согласования

с обкомом допускать такие вещи? Кто выносил это предложение? Кто голосовал? Какой-то цирк устроили из пленума! Безобразие! Мальчишество! Мы думали, что у нас в Троицке зрелая партийная организация. Хотя это случилось и в твоё отсутствие, но с тебя ответственность не снимается. Твоё воспитание?..

— Разберёмся, Дмитрий Николаевич, — ответил ему Мартынов. — Много тут, кажется, накопилось такого, что придётся теперь как следует разобраться. А насчёт воспитания не торопитесь меня ругать. Надо ещё посмотреть, за что же ругать. Когда коммунисты выступают так, как на этом пленуме выступали, критикуют секретаря, о котором в обкоме ещё не предreshён вопрос, что его будут снимать, не боятся, что им худо будет, если он останется на месте, не дрожат, в общем, за свою шкуру, — я думаю, останетсь неплохое воспитание. Во всяком случае, я доволен, если тут есть результаты и моей работы. Не зря, значит, прожил в Троицке четыре года.

## 10

Так соскучился Мартынов в больнице по степному приволью, солнцу, людям, что первые дни, не засиживаясь в райкоме, почти не заглядывая в свой кабинет, всё ездил в колхозы, на поля. А в полях было хорошо! В начале весны обстановка складывалась тяжело, бóльшая часть озимых погибла от февральской гололедицы, но их пересели, быстро и хорошо и культурами, яровой пшеницей, ячменём; шли дожди, дули влажные мягкие западные ветры, и сейчас яровые почти догнали в росте озимую пшеницу на уцелевших участках. Хороши были всходы сахарной свёклы. Заметно бросалась в глаза всюду лучшая обработка почвы против прошлых лет, особенно на массиве Надеждинской МТС. Можно было ожидать неплохого урожая.

Прихватив в новый вездеход Долгушина, который остался совсем без колёс, так как старый его «газик» окончательно рассыпался, а областное управление сельского хозяйства в наказание «за непочитание родителей» не торопилось выделять ему новую машину, Мартынов ехал по полям колхоза «Вехи коммунизма».

— Завернём к нашему главному инженеру? — спросил его Долгушин.

— Это куда же?

— В тракторную бригаду, к Андрею Ильичу Савченко. Помните такого человека?

— Бригадира? Как же, помню. Давайте завернём. А почему вы называете его главным инженером?

— Потом расскажу.

На бригадном стане было тихо и малоллюдно. Один трактор стоял разобранный — какие-то части с него увезли в мастерскую для ремонта, — кухарка у костра чистила картошку, два тракториста окапывали землёй бак для горючего, в вагончике сидели бригадир Савченко и председатель колхоза «Вехи коммунизма» Руденко, и между ними шёл спор не спор — крупный разговор.

Поздоровались. Савченко продолжал горячо доказывать председателю:

— Разве ж это работа? Два трактора пашут пар на Лужках, за три километра отсюда, один свёклу мотыжит в пятой бригаде, чёрт-те где, за пять километров, два кукурузу культивируют, в разных местах, за лесом и вон там, возле Сейма, а к вечеру им придётся переезжать на ту кукурузу, что на прифермском участке. И свёкла у нас в пяти местах, и пар клочками по всем полям. Где бы я ни стал вагоном, всё равно не соберёшь машин в кучу. Кухарка понесёт обед трактористам — пятнадцать километров избегает по полям со своими чугунками! Вот вам тут всё — и экономия горючего и техобслуживание!

— О чём разговор? — спросил Мартынов.

— Всё о том же, Пётр Илларионыч, — ответил Руденко. — О севооборотах.

— Если мы не наведём порядка на полях, — сердито говорил Савченко, — тогда покупайте мне колхозом вертолёт, чтоб я успевал за сутки побывать возле всех машин!

— Почему же ты, Андрей Ильич, — заметил Долгушин, — ничего не говоришь о засорённости почвы, о разрушении структуры? Разве только в том беда, что тебе и кухарке далеко бегать от трактора к трактору? Учу и учить буду всегда всех вас, работников МТС: не отрывайте наших механизаторских забот и печалей от урожая!

— Так это, я считаю, только ребёнку не ясно, что без правильного севооборота мы и урожая хорошего не получим! — сказал Савченко. — Что говорить, вот на моих глазах, за то время, что работаю я в Надеждинской МТС, земля стала хуже родить. Раньше тут у стариков была поговорка: «Два дождя в маю — и на агротехнику наплюю!» А теперь, я замечаю, эта поговорка уже недействительна. Мало двух дождей в мае месяце. Пусть даже весь май льют дожди, а если в июне засуха — хлеба не будет. Озимые, может, выйдут, а яровые погорят. Земля стала неструктурная, комочков нет, распылённая, как зола, не держит влагу. На такую землю через день нужен дождь и в мае и в июне — тогда только будет хороший урожай.

— Прав Савченко, и вы правы, Христофор Данилыч, — соглашался Руденко. — Без севооборотов мы добьём землю до ручки! Знаешь, Илларионыч, как тут в этом колхозе пахали, сеяли? Уборка срывается, какие-то культуры ещё не убраны, а надо уже озимую сеять. Выбирают свободные участки и сеют где попало. Так же и под зябь пахали. Где чистая стерня, свезли солому — там пашут, где не свезли — там бросают. А потом, весной, которые культуры поценнее, те размещают по зяби, что второстепенное — по весновспашке. Никакого и подобия севооборота! Я в ужас пришёл, когда наша агрономша ещё зимой, по расказам бригадиров, составила схему полей. Восемьдесят семь участков! И квадратами, и клиньями, и кругами, и гитарами, и балалайками! Укрупняли колхозы, чтоб увеличить и земельные массивы, чтоб был простор машинам, а тут размельчили участки и совершенно уничтожили севооборот! Что ж это получается?

— Что получается? — усмехнулся Мартынов. — Об этом ты, Фомич, спроси бывшего председателя Троицкого райисполкома товарища Руденко, у которого, кстати, был и районный отдел сельского хозяйства с огромным аппаратом специалистов.

— А этих специалистов, — взвился Руденко, — не спрашиваясь товарища Руденко, товарищ Борзов посылал, как и всех, уполномоченными в колхозы! Что мог сделать районный землеустроитель, если он всё лето сидел уполномоченным в одном колхозе? Да и вообще тогда не очень-то считались с райисполкомом и с его специалистами. Сей хоть по оврагам, хоть по лесополосам, лишь бы план выполнить! А после товарища Борзова не успели мы ещё прийти в чувство, как и самого товарища Руденко перенесло с его председательского кресла в колхоз, и отдел сельского хозяйства ликвидировали. Нет, давай уж теперь о прошлом не вспоминать, а то много насчитаем виноватых!..

— Что думаете делать, Христофор Данилыч? — спросил Мартынов. — Такое положение, вероятно, по всей зоне МТС?

— По всей зоне, кроме «Власти Советов» и «Спартака». Но в этом году и у них севообороты нарушил. Кукуруза не вместились в старые поля. Делаем вот что... У нас, Пётр Илларионыч, неладно с главным агрономом, Кудрявцевым. Прислан он к нам с юга, из Астраханской области, работал там в тресте совхозов. Весьма почтенный человек, агроном с большим стажем, дело знает. Но с ним такая же история, как в Олешенке

со Стрельниковым. Тоже травопольщик, потерпел на этом аварию, били его там на всех совещаниях. И вот попал к нам в МТС. Сам просил, чтоб отпустили его на низовую работу, в другую область. Не знаю, какой даю урожай многолетние травы в Астраханской области, но здесь ведь клевер издавна сеют. Наши почвы и климат как будто подходящие для трав. Колхозники рассказывали мне, что некоторые культурные хлебобобы сеяли здесь клевер ещё до коллективизации. Если в последнее время в каких-то колхозах стали получать плохие урожаи клеверного сена, так надо же разобраться в причинах, не делая поспешных выводов.

— Вот именно, надо разобраться! — сказал Руденко. — Здесь, в «Вехах коммунизма», и озимая пшеница давала четыре центнера с гектара, и гречка не родила, и коровы давали по пятьсот литров молока, и куры — по десять яиц в год. Так, может, не сеять здесь ни озимой, ни яровой пшеницы и коров, кур уничтожить, потому что они давали низкую продукцию? Не сам клевер виноват в том, что плохо родил здесь, а те бездельники, что руководили колхозом! Не было же никакой агротехники! Не боронили его, не подкармливали. И то сено, что накашивали, наполовину погибало от дождей, не убирали во-время!

— Но как я уже окончательно убедился, — продолжал Долгушин, — Кудрявцев не сможет нам навести порядок в севооборотах. Он так пришиблен всякими проработками, что теперь уж ни в чём своего мнения не имеет. Прикажи ему немедленно распахать все клевера — распахает и не содрогнётся. Есть люди, которым житейская тёрка, всякие неудачи и расплата за эти неудачи идут на пользу — характер у них закаляется. Кудрявцеву битьё пошло во вред, превратило его в «чего изволите?». Опасный человек в роли главного агронома МТС. Пробую сейчас всякими мерами вселить в него гражданское мужество, но не знаю, что из этого выйдет. Не уверен в успехе. Ему уже пятьдесят лет, сложившийся характер, перевоспитанию поддаётся с трудом, да и от природы, видимо, не храброго десятка человек. Я освободил его сейчас от решения вопросов, связанных с севооборотами, и сделал одно незаконное дело. У нас в МТС гуляет должность агронома-энтомолога — нет специалиста. Мы взяли на эту ставку молодого агронома, комсомольца Шорина. Он по своему уклону почвовед и, как я заметил, одержим как раз идеями сохранения и повышения плодородия почвы. Выпускник Свердловского сельскохозяйственного института, бывал несколько раз на практике у Мальцева. Видимо, от него напитался лютой ненавистью к шаблонам и ко всякому флюгерству в науке.

— Это какой Шорин? — спросил Мартынов. — Тот, что в «Борьбе» был? Что заходил ко мне в больницу с Нечипуренко?

— Да, тот, что работал в «Борьбе». Ругался Нечипуренко, когда забрали его в МТС, но я убедил его, что это на пользу делу. А в «Борьбу» мы послали другого агронома, со средним образованием, но хорошего практика.

Мартынов вспомнил понравившиеся ему слова комсомольца Шорина, которые он даже записал в больнице в свой блокнот: «Своей ответственностью за судьбу Родины, революции, социализма я равен любому, самому высокопоставленному нынешнему авторитету — разница в возрасте и масштабах работы особого значения не имеет».

— Вот этому Шорину, — продолжал Долгушин, — я и поручил заняться вместе с колхозными агрономами наведением порядка в севооборотах. Агроном смелый, умный, любит землю — можно надеяться, что он не будет рабски копировать ни Вильямса, ни Мальцева, ни их противников. За лето, не дожидаясь решения этого вопроса в высших научных сферах, найдём что-то своё, ясность в севообороты внесём. Пахать зябь будем уже в границах новых полей. Эту раздроблённость полей в колхозах на семьдесят—восемьдесят участков ликвидируем. И когда у нас будут хотя

бы вчерне схемы севооборотов, мы окончательно определим и площади всех культур. Ни одна культура не должна вылезать из своих рамок. Найдём наилучшие севообороты — чтоб могли мы и зерна, и сена, и овощей получать достаточно и чтоб было хорошее чередование культур, — и тогда уж — закон! Из возможностей севооборота будем исходить при установлении посевных площадей в колхозах, а не просто — какая цифра в голову взбредёт. Конечно, будет большая драка, нам, возможно, опять станут доказывать, что севооборот — дело, так сказать, прикладное, что надо севооборот подгонять к заданным цифрам, а не площади — к севообороту, но мы постараемся доказать, что это неверно, не по-хозяйски. Есть уже горький опыт. Земля действительно так запущена, такая неразбериха на полях, столько лет уже местами здесь сеется хлеб по хлебу, что дальше ехать некуда!.. Между нами говоря, у меня большие виды на Шорина. Если он хорошо справится с севооборотами, выдержит этот экзамен, может быть, сделаем его главным агрономом?..

Мартынов увидел в вагончике на полке над столом книги, поднялся, поглядел на корешки. Среди брошюр по сельскому хозяйству и художественной литературы отдельной стопкой были сложены учебники для старших классов средней школы.

— Кто это у вас в школу ходит? — спросил он у Савченко. — У вас же в Надеждинке нет вечерней средней школы. Да и занятия уже всюду закончились.

Савченко замаялся.

— Да это так... Для повторения. Когда свободное время есть...

Руденко стал рассказывать Мартынову о делах в колхозе.

— Всё оказалось гораздо труднее, чем представлялось мне, когда я шёл в колхоз. Помнишь наши речи на том партактиве? «Сделаем своими руками!» Одних благих намерений мало, чтоб поднять хозяйство, когда приходишь на пустые амбары и пустую кассу. Ведь я же, кроме долгов, ничего не принял от Гусельникова. Колхозники-то мне верили, что я пришёл сюда работать, не мух ловить, но всё же присматривались: а как он сумеет в таком положении обрнуться?.. Обернулся. Теперь уже легче. Скоро урожай начнём убирать, уже видим его. Свинины продали на восемьдесят тысяч, и ещё пятьдесят голов на откорме. За свёклу получаем уже по контрактации. Начиная с марта, авансы даём по два рубля. Но чего мне это стоило! — Руденко снял кепку, потерев свои рыжие, цвета червонного золота волосы, покрывшиеся каким-то странным пепельным налётом, будто ему припудрили голову, — потускнело золото. — Видишь? Седеть начал. Это всё за прошлую зиму...

— Страшно было, Илларионыч, — говорил Руденко. — Боялся стыда. Вдруг сорвусь? Здоровый мужик, сорока пяти лет, с опытом руководящей работы, член партии с тридцать восьмого года, и вдруг — не справлюсь с колхозом?.. А пуще всего жены боялся, Варвары Фёдоровны. От колхозников, в случае чего, можно удрать, скрыться с глаз, и из района можно, на худой конец, уехать. На Камчатку можно завербоваться, на Сахалин, где тебя ещё не знают. Но от жены-то никуда не скроешься! А она у меня такая — уважает меня, пока есть за что уважать. Ведь меня ни разу ещё не снимали с работы, и взысканий не имел, кроме как за утерю партбилета. А случись со мной такой позор, что выгонят из колхоза, она же меня и за мужа не признаёт! Скажет: «Никчёмный ты человек! Речи только произносил, других учил, а сам работать не умеешь! Болтун! Коробкин ты!..» Стал я осматривать хозяйство после того, как выбрали меня председателем. Пошёл на птичник. Штук пятьсот кур было там. Прихожу, смотрю — стоит возле птичника что-то похожее на лошадь, скелет в коже. Стоит, расставив ноги, от ветра качается, но не падает. Должно быть, ноги закаменели на морозе так, что и упасть уже не может. Спрашиваю дев-

чат-птичниц: «Что это у вас такое?» Они замялись. «Да вот дали нам ещё при старом председателе на птичню лошадь». — «Для чего дали?» — «Воду возить, корма». Обошёл я этот экспонат со всех сторон, посмотрел — почти уже и не дышит, по глазам только можно заметить, что живая лошадь, чуть мигает веками. «Ой, врётё, говорю, девчата! Что на ней можно возить? А где же ваша сбруя, повозка?» Признались они. Дали им эту выбракованную лошадь, чтоб они её убили — у них и ружьё было на птичнике — и сварили мясо для кур, а им страшно её убивать, ждут, пока сама издохнет, две недели уже не кормят и не поят её, а она всё живая, стоит. Пристрелил я её. Спрашиваю: «А ещё какие корма есть?» — «Да вон там привезли с мельницы два мешка отходов — одна пыль». И в амбарах — я уже знал — зерна нет ни грамма, кроме семенного фонда. Вот, думаю, так мы, районные организации, и планировали развитие подсобных отраслей в колхозах! Обязательно имей птицеферму на столько-то кур! А чем кормить? Без зерна птицу не продержишь. Поставил вопрос на правлении: порезать и продать кур на базаре, всё равно ведь за зиму подохнут. Кто же назовёт нас хозяевами, если всё это добро пойдёт лицам на продовольствие? Отложим это дело, птицеводство, до лучших времён. Будет зерно в хозяйстве — за одну весну три тысяч кур разведём, возьмём цыплят в инкубаторе. Так и сделали. Пять тысяч выручили за тех кур. Потом осмотрел поголовье свиней. Страшные были свиньи! Зайдёшь в свинарник — мечется голодные, как тигры в клетках. Станут на задние ноги, положат рыла на дверцы и орут. Того и гляди какая-нибудь за ухо тебя хватит! Сделали мы расчёт, каких маток оставить на племя, сколько молодняка сберечь для роста поголовья, а сколько можно сейчас откормить и продать, чтоб и госпоставки покрыть и на базаре, может, поторговать. Отбрали группу. А кормов у нас уже немножко завелось. Вот Христофор Данилыч помог, навозил нам эмтээсовскими машинами жома с сахарного завода, выпросили у Опёнкина заимообразно сто центнеров сменья, Золотухин пообещал нам яму картошки до нового урожая. Стали кормить свиней. И тут вдруг, среди зимы, ураганом сорвало крышу со свинарника. Там и крыша была вся в дырках, гнилые стропила, того и гляди рухнут, а тут её совсем снесло, начисто. Вот в ту ночь-то мне и посыпало голову пеплом. Снег валит, морозы тридцать градусов, а свиньи под открытым небом. Единственная наша надежда, только стали было в тело входить... Законно ли, незаконно сделали мы, не знаю, но другого выхода не было: раздали свиней для откорма колхозникам по дворам. Вот тебе три головы, вот корма по нашей норме, что не хватает — добавь, откормишь до такого-то веса — получай себе одну свинью, а две в колхоз. Больше, конечно, мы так делать не будем, содержать по частным дворам общественное животноводство — это не по-колхозному. Но что можно было другого придумать тогда? За трудодни никто не соглашался их кормить, потеряли здесь люди веру в трудодень. Пришлось заплатить свининой. Но всё же сорок голов откормили до хорошей кондиции, отвезли на поставки и на рынок. Тут уж взяли сумму денег покрупнее. Потом продали «Победу» — те деньги пошли исключительно на бытовые нужды, на детясли. На молочной ферме стали наводить порядок, послали туда заведующим хорошего парня, комсомольца. От молока появились деньжата. Прошлогодную коноплю довели до ума, продали, хоть не первым сортом, но всё же деньги. Покопался в бухгалтерии — обнаружил дебиторов: тот должен колхозу за работу наших людей на элеваторе, тот три года не платит за аренду колхозных построек, что заняты мелькомбинатом, тот сено для своей организации косил на наших лугах. Ну-ка, друзья, платите, не доводите дело до суда. Не знаю, за что Гусельников прощал вам эти долги, а я с вами водку не пил. Ну, так и пошло и пошло. И крупные суммы и по мелочи. Теперь уж редкий день обходится, чтоб не



было поступлений в нашу кассу. Можно уже как-то дышать. Иной раз даже и не поймёшь, откуда берутся деньги. Капают и капают!..

Руденко в этом месте своего рассказа помог словам выразительным жестом.

— Раньше было здесь в хозяйстве вот так, — он развёл руками в стороны, — а сейчас у нас пошло вот так, — сделал руками широкое обратное собирательное движение.

— Ясно, — кивнул головой Мартынов. — Бухгалтерия простая и понятная.

— Но знаешь, Илларионыч, — продолжал Руденко, — вот только теперь, когда сам снизу всё просмотрел, вижу я, как много трудностей у председателя колхоза. И не только в безденежном колхозе — и в денежном! Мы же никогда не спрашивали у председателя, как он сумеет построить или приобрести что-либо. Сделай, и всё! Ну, теперь я узнал, как это — «сделай»!.. Мы совсем забыли простое, благородное слово: «купил». Только и слышно: «достал», «добыл», «вырвал», «отхватил». Такой-то колхоз достал, говорят, запчасти для жнеек. Что это значит — «достал»? Откуда достал? Со дна морского, что ли? Неужели мы в нашей богатой стране не можем как следует организовать торговлю хозяйственными товарами для колхозов? За каждой чепухой гони машину в облсельхозснаб! Да и там никогда ничего не захватишь. Надо, чтобы в каждом районном центре был хороший магазин, где бы продавали колхозам всё — от конных жнеек, сепараторов, телег, хомутов до камер и покрышек на машины и кровельных гвоздей. Свободная торговля, без разрядок и без блата! Никак не могу я согласиться с тем, что у нас из-за нехватки какой-то промышленной продукции нельзя организовать такую широкую продажу колхозам хозяйственных товаров! Привыкли валить всё на «нехватку» и валим вот уже тридцать лет! Взять хотя бы автотранспорт. Ведь как-никак, всё же не стоят в колхозах машины без колёс, ездят. И в «снабах» наших никогда не купишь по-честному резину. Откуда же она «добывается»? Есть, стало быть, в натуре эта резина? Есть. И подшипники есть, и горючее, и мешковина, и кабель для электропроводки. И всё это в конце концов доходит до потребителя. Но только по каким-то другим каналам!..

— Ты знаешь, Иван Фомич, я уже устал писать письма по таким вопросам, — сказал Мартынов. — Ты сам человек грамотный. Пиши, брат! Пиши в «Сельское хозяйство», в «Правду». Не носи эти мысли за пазухой.

Когда собрались уже ехать дальше и вышли из вагончика, Мартынов взял Руденко под руку и отвёл его немного в сторону.

— Ну, а всё же как настроение, Фомич?..

— Настроение?.. — Руденко посмотрел по сторонам, на поля, на село за Сеймом, на тракторный вагон, поскрёб пальцами небритый, колючий подбородок. — Да вот уж я теперь убедился, что за год чего-нибудь особенно видного в хозяйстве не сделаешь. Мал срок. За год можно только фундамент заложить. Если получим нынче хороший урожай и выдадим прилично на трудодни, это ещё не всё. Все самые знаменитые колхозы, что гремят по всему Советскому Союзу, это те колхозы, где председатели по пятнадцать—двадцать лет работают. И Демьян во «Власти Советов» двенадцатый год уже трудится... Строиться буду, Илларионыч! — решительно сказал Руденко. — Беру кредит и этим летом начну строить себе дом в колхозе. Вот моё настроение и мои планы. Брехуном перед партией никогда не был и не буду. Не для того я шёл в колхоз, чтоб только сдвигов добиться. Мало этого. Неужели моя голова не сработает за другие председательские головы? И у меня она ведь не соломой набита... Сейчас вызывать «Власть Советов» ещё рановато, это было бы нахальством с нашей стороны, посмеялись бы только люди. Но с будущего года начну соревноваться с Олёнкиным!..

Беседуя с Руденко, Мартынов краем уха слышал обрывки разговора Долгушина с бригадиром Савченко.

— ...Заело на прогрессиях, Христофор Данилыч! Решаю задачки — не выходят.

— Я и сам-то их уже твёрдо не помню, эти прогрессии. Прочитай ещё раз учебник.

— ...Трудно, Христофор Данилыч! Редкий день выберется час-два свободного времени.

— Отпуск дадим, я уж тебе говорил!..

По пути в следующий колхоз Мартынов спросил Долгушина:

— О каких это прогрессиях вы толковали с Савченко?

— А вот это и есть, Пётр Илларионыч, наш будущий главный инженер! — сказал Долгушин. — Никому пока не говорю и ему не говорю ничего, но готовлю его на эту должность. Вы хорошо знаете Савченко?

— Знаю как одного из бригадиров. В прошлые годы он ничем особенным в Надеждинке не выделялся.

— Да, человек он незаметный, в глаза не бросается... Знаете, чем он меня заинтересовал ещё зимой, на ремонте? Сумел так наладить уход за машинами и профилактику в своей бригаде, что, когда пригнали в мастерскую его тракторы и осмотрели, оказалось, ни одна машина не нуждается в капитальном ремонте. Рекордами он не гремел, да и в их колхозе было такое положение, что трактористы сами и свёклу убирали и семена чистили. Какие там рекорды! Но по экономии запасных частей, по расходу горючего, по сменной выработке это лучшая бригада в МТС. У Савченко себестоимость гектара пахоты в два раза ниже нашей средней себестоимости. Вот вам и незаметный человек! Прекрасно знает машины всех марок, любит технику. Капитан запаса. В последние месяцы войны командовал батальоном. И образование у него, если посчитать всё — и семилетку, и школу лейтенантов, и военно-технические курсы, — почти среднее. Вот я насел на него, чтобы он сдал экстерном за десятилетку. Изыщу как-нибудь возможности предоставить ему для подготовки отпуск месяца на два. И потом определим его на заочное отделение института механизации сельского хозяйства. Время сейчас такое, что без диплома его не утвердят в должности главного инженера, как бы мы ни просили. Но если он будет студентом-заочником, то уже есть шансы. Да если ещё вы поддержите нас перед областью!..

— Я пока ещё не знаю, за что нужно снимать главного инженера Морозова, — сухо заметил Мартынов. — Со мной никто об этом не советовался.

— Зачем снимать? Мы ему дадим другую работу.

— А чем вам не нравится Морозов?

— Нравится. Хороший инженер, честный человек, работяга. Мне он тем более нравится, что он мой брат. Тоже попал в деревню из промышленности, с большого завода. Из более близкой к сельскому хозяйству промышленности, чем я, — с завода Сельмаш. Машины наши знает. Но он очень больной человек. Не может выезжать в бригады. У него и гастрит, и почки, и ещё что-то. Совершенно не выносит тряской дороги и грубой пищи. На него жалко смотреть, когда он возвращается в МТС из поездки, я немедленно гоню его домой отдыхать. Я предлагал ему с миром и честью, с отличной характеристикой откомандировать его обратно на завод — ведь он умолчал там в горькоме о своих болезнях. И слушать не хочет! Но сам уже заговаривал со мной о ремонтной мастерской. На заводоване мастерской он перешёл бы с охотой. Как видите, дело совсем не в том, что я не люблю Морозова. Я не выживаю его из МТС, хочу только найти ему такое место, чтобы и для него и для дела было лучше. Уверяю вас, Пётр Илларионыч, с Савченко мы не ошибёмся. У него необычайные способности к механике. Талант! Послушает пять минут

чужую, незнакомую ему машину — и можете смело по его заключению составлять дефектную ведомость. Такой-то подшипник постукивает, такая-то шестерёнка в заднем мосту подработалась, там люфт, там эллипс — разберите трактор, и всё окажется в точности так. Кроме всего, он просто хороший человек. А мы на эту сторону дела как-то мало обращаем внимания, когда выдвигаем кого-либо на руководящую работу. Я знаю его семью, жену, детей, старика отца, которого мы помогли ему перевезти из Челябинска. Хороший, добрый сын и хороший, любящий, строгий отец. Главный инженер в МТС — большая фигура. Не только с железками имеет он дело — с людьми, с целой армией механизаторов. Если он сам порядочный человек — и на производстве и в домашней жизни, — ему и других легче воспитывать... Может быть, это — старое моё заблуждение, но я никак не могу согласиться с тем, что мы, хозяйственники, должны заниматься только центнерами, кубометрами, запчастями, неодушевлёнными, в общем, предметами, а в воспитании наших подчинённых можем целиком положиться на партийные органы: это, мол, за нас сделают другие товарищи. А если в этом самом партийном органе люди занимаются тоже только центнерами и кубометрами, тогда как?..

— Хочу, Пётр Илларионыч, — добавил Долгушин, — сколотить такие кадры в МТС, чтобы, когда Маслеников выгонит меня отсюда, не говорили потом про меня, что Долгушин тянул всё сам и не оставил после себя подготовленной к самостоятельной работе смены.

В «Борьбе» секретарь парторганизации Рыжков после разговора о хозяйственных делах шуточно приложил руку к козырьку кепки: «Товарищ секретарь райкома, разрешите обратиться к директору МТС?» — и начал спрашивать у Долгушина совета, как лучше им организовать в колхозе работу учеников старших классов в летнее время — создать особые бригады школьников или влить их в колхозные производственные бригады? И как быть, если некоторые ученики, с расчётом выбора будущей профессии, захотят работать не в полеводческих бригадах, а на фермах? Ведь там штаты постоянные и лишних работ нет. Нельзя ли учеников сделать на фермах подсменными? В полеводческих бригадах как дождь, так люди отдыхают, общий выходной, и зимой у всех достаточно свободного времени, а на животноводстве работа круглогодичная, ни в дождь, ни в снег перебоя нет, — пора подумать о регулярных выходных днях для всех работников животноводства. Вот в летнее время можно подменять школьников то ту, то другую доярку или свинарку. И для штатных животноводов облегчение, и для молодёжи это будет как бы стажировка.

Нечипуренко, присутствовавшему при этом разговоре, стало неловко за Мартынова, и он сделал замечание Рыжкову:

— Что ж ты, Василий, при живом секретаре райкома обращаешься с таким делом к товарищу Долгушину? Я помню, Пётр Илларионыч ещё зимой, до больницы, советовал нам обдумать этот вопрос — о выходных днях для животноводов.

Но Мартынов сделал вид, что бестактность Рыжкова его несколько не обидела.

— Вот ещё, субординацию какую-то завели! Мы не в армии.

А в «Рассвете» сам Мартынов с большим интересом слушал, как Долгушин рассказывал председателю колхоза Филиппу Касьянычу Артюшину о постановке экономического учёта в промышленности, подводя дело к тому, что и в колхозах не вредно было бы заняться наконец подсчётом прибылей и убытков и выяснении себестоимости продукции.

— Вот Золотухин в «Спартаке», — говорил Долгушин, — как будто способный хозяйственник. Даже слишком способный — до сих пор не может согласиться, что ему правильно объявили на партийном собрании строгий выговор за барышничество. Но вот и он, при всей его ловкости и

изворотливости, оказалось, ведёт хозяйство вслепую, выезжает на многолетнем навыке и некотором чутье, а в цифры выпикать не любит, не имеет к ним вкуса. Наш инструктор-бухгалтер поработал у них в колхозе две недели, и там выяснилось много интереснейших вещей. Племенная коневферма, например, которой так гордился Золотухин, в течение ряда лет, кроме похвальных грамот с выставок да убытков, ничего им не давала. Видимо, коневодство выгодно лишь в больших размерах, а держать маленькую ферму, вроде любительской, как у них, нет никакого смысла. Овцы тоже не дают им дохода. Кончатъ надо с этой старой крестьянской привычкой — не считать, во что обходится в хозяйстве вырастить овцу или получить ведро молока! Что, мол, считать эту солому, сено не купленное, своё! Да, своё, и труд колхозников свой, но это же «своё», если его повернуть на какое-то другое дело, может быть, даст колхозу куда больше дохода?.. Вы, Филипп Касьяныч, всего лишь два месяца, как выбраны председателем, только начинаете хозяйствовать. Так давайте сразу отказываться от кустарщины и ставить дело на научную ногу. Я пришлю и к вам нашего бухгалтера. Пусть вместе с вашими счетоводами выявит себестоимость каждого вида колхозной продукции. Это для начала, чтоб у вас была полная картина состояния хозяйства. А потом вместе подумаем, на что приналечь, какие стороны хозяйства двинуть вперёд. И как те отрасли, которые всё же нужно сохранить, из убыточных сделать доходными. Я, занимаясь колхозными балансами, выяснил для себя ещё одну примечательную вещь. Чем крупнее животноводство в колхозе, тем дешевле себестоимость продукции. Это лишний раз доказывает, что нам нужны в колхозах большие фермы. Совсем не обязательно иметь в каждом колхозе фермы всех видов животных, какие только существуют у нас, от кроликов до орловских рысаков. Не надо распылять силы. Если разводить в колхозе птицу, то это должна быть действительно птицефабрика, а не какие-то жалкие три сотни кур — только для отчёта, что есть птицеферма. Пятьдесят коров в крупном колхозе — это декоративное стадо, а не промышленное. Очень дорого обойдётся колхозу молоко, пусть даже по три тысячи литров даст каждая корова. А пятьсот коров — это деньги!

— Ну, конечно,— согласился Артюхин,— пятьсот коров дадут больше дохода, чем пятьдесят.

— Нет, Филипп Касьяныч, вы поймите меня правильно,— доказывал Долгушин.— Здесь доход возрастает не в простой пропорции. Пятьсот коров дадут дохода больше, чем пятьдесят, не в десять раз, а раз в двадцать! В крупном животноводстве больше условий для механизации — значит, меньше людей будет занято на уходе за скотом. Гораздо дешевле обойдётся строительство колодцев, силосных траншей да и самих коровников — в расчёте на одну голову. Если бы речь шла только о том, что две коровы дадут молока больше, чем одна, то о чём же и спорить, это всем ясно. Две коровы дадут больше молока, чем одна, и себестоимость молока будет ниже. Вот в чём дело! Тут-то и начинается прибыльное ведение хозяйства!

— Дошло, Христофор Данилыч,— кивнул головой Артюхин.— Я читал в книжке, что в Америке если уж мясное животноводство, так мясное, если молочное, так молочное. Имеет фермер, скажем, триста голов мясного скота и — ни одной молочной коровы. Ему выгоднее для своего потребления купить пять литров молока в магазине, чем тратить время на дойку этой коровы.

— Да. И учтите, что это молоко привезено в магазин не его соседями. Все фермеры в округе ведут так хозяйство. Ни у кого не пайдёшь ни стакана собственного молока. Оно попало в магазин откуда-то издалека. Вот это и называется специализацией сельского хозяйства. Мы не можем в такой степени специализировать своё хозяйство, нам не так легко пере-

брасывать скоропортящиеся продукты из одного конца страны в другой, как это делают американцы при их дорогах и транспорте. Но всё же надо бы и нам придерживаться правила: лучше меньше всяких ферм в колхозе, да покрупнее. Это как поточное производство в промышленности. Только поток даёт самую низкую себестоимость!

Старик Артюхин и Мартынов были ещё мало знакомы друг другу. А у Долгушина с Артюхиным, как заметил Мартынов, установились уже близкие отношения. Рассказывая о своих хозяйственных начинаниях, о трудностях, с которыми он встретился, о людях колхоза, Артюхин обращался больше к Долгушину, как к человеку, который хорошо знал, что было здесь в колхозе раньше, и сам, собственно, был виновником происшедших перемен в руководстве. Минутами, увлечшись разговором, оба забывали даже поворачиваться из вежливости в сторону третьего собеседника.

Подошёл Зеленский, новый секретарь колхозной парторганизации, стал рассказывать о последнем партийном собрании, на котором приняли в партию ещё двух рядовых колхозников, о том, как ведут себя многочисленные родственники осуждённых и посаженных в тюрьму жуликов, какое брожение идёт в колхозе, — и тоже больше рассказывал это всё Долгушину, главному как бы для него авторитету в решении сложных вопросов колхозной жизни, работы с людьми.

Мартынову вдруг стало чего-то не по себе, и он под предлогом, что у него сильно разболелась голова и ему надо минут десять подремать в тишине, пошёл, ковчег костью, к машине, сел на заднее сиденье в угол, привалившись спиной к борту, и так и сидел там целый час, молча, закрыв глаза, не перекинувшись ни словом с шофёром, пока Долгушин не вышел из конторы.

Поехали на поле к свекловичницам. И там Долгушина встречали в каждом звене, как старого знакомого, приезда которого ждут: «Вот погодите, приедет директор — у него спросим, как лучше сделать»; «Христофор Данилыч приедет — не забудь рассказать ему про своё дело». К нему обращались и за советами по агротехнике — правильно ли агроном предложил им такую-то смесь удобрений вместо такой-то для подкормки, — и за разъяснениями по поводу нового закона о поставках, и со всякими бытовыми нуждами. Одна колхозница, отведя его в сторону, долго рассказывала о своих домашних неурядицах и просила его, чтобы он как-нибудь заехал к ним, поговорил с дочкой, образумил её: влюбилась в пьяницу и развратника, который на пятнадцать лет старше её, двух жён уже бросил, за трёх детей алименты платит! Хочет выходить за него замуж. Что ж это за жизнь будет у неё? Сама дура девка лезет головой в петлю! Долгушин по крайней мере половину встречавшихся им в поле женщин называл без особого напряжения памяти по имени, а то и по имени-отчеству.

— Завидую вам, Христофор Данилыч! — сказал Мартынов, когда они поехали дальше, уже к повороту на надеждинский грейдер. — Как вы тренировали память? Вероятно, знакомы с какой-то особой системой мнемоники?

— Нет, никаких систем мнемоники я не знаю, — ответил Долгушин. — Просто записывал в тетрадку, кого как зовут — наших трактористов, звеньевых, доярок. Я и сейчас её с собой вожу, — Долгушин похлопал по внутреннему карману пиджака, — по уже не так часто в неё заглядываю. Припомнишь, при каких обстоятельствах встречался с человеком, в каком колхозе, его наружность, как он работает, какое-то словечко, что он сказал тебе, — и тут само встаёт в памяти и его имя. Это, знаете, очень хорошо действует на колхозников, когда называешь их по имени-отчеству. К ним уважительно, и они к тебе так же.

— А почему вы, Христофор Данилыч, не перевозите семью из Москвы? — спросил вдруг Мартынов. — Вот это-то нехорошо действует на людей! Плотников и Сазонов, оказывается, тоже до сих пор не перевезли свои семьи из Троицка в колхозы — по вашему примеру. На первом же бюро поставим вопрос о них! Но надо полагать, что разговор зайдёт и о вас.

— Почему не перевозу семью из Москвы? — удивился Долгушин. — Видите ли, мне очень трудно сейчас собрать свою семью даже в Москву, не говоря уж о переселении всех в Надеждинку... Один сын у меня полковник, служит на иранской границе. Другой — дипломат, в Индии. Дочь на Дальнем Востоке, замужем за судовым механиком. Был ещё сын — погиб на фронте. Осталась только жена. Вчера получил от неё письмо — грузит вещи малой скоростью и на днях выезжает ко мне. У нас уже пять внуков, а детей при нас — ни души. Вот такое у меня семейство... Выпросим себе на воспитание хотя бы двух внуков и будем с женой как бы начинать жить сызнова. На новом месте — и мы как будто опять молодые, и у нас маленькие дети...

— Простите, я не знал, что за семья у вас, — пробормотал Мартынов. — Если дети живут уже самостоятельно, то, конечно...

И ещё, после долгой паузы, Мартынов спросил Долгушина:

— Всё-таки хотите строиться в Надеждинке?

— Не только хочу, а уже сельсовет дал усадьбу, и мне туда привезли лес и кирпич. На днях начнут класть фундамент. Думаю к зиме справить новоселье, — ответил Долгушин.

— Не советую, — сказал Мартынов.

— Почему? — возразил Долгушин. — Мне ведь тоже хочется как-то уютнее обосноваться на месте. Не жить же всё время на квартире. Жена моя очень любит возиться с цветами, с огородом... Думаете, будут разговоры? Я уж это предвидел и во избежание всяких кляуз даже машины для перевозки стройматериалов брал не в МТС, а в автоколонне. И рабочих беру на стороне. Мне сельсовет нашёл трёх каменщиков и двух плотников. Уже договорился с ними, заканчивают ремонт школы и переходят ко мне.

— Дело не в кляузах...

— А в чём же?

Мартынов так долго молчал после каждой фразы, как будто ему самому трудно было продолжать начатый разговор.

— Руденко я посоветовал строить себе дом в «Вехах коммунизма». Это — его место. Ему, может быть, действительно придётся там поработать лет десять... А вам не рекомендую затевать стройку в Надеждинке. Ваше положение там не так прочно.

— Выгонят-таки?..

— Не выгонят, а выдвинут. Наши коммунисты выдвинут... Вот будет у нас через месяц районная партийная конференция — меня, как слабого работника, освободят, а вас изберут секретарём райкома.

— Шутите, Пётр Илларионыч? — Долгушин с любопытством поглядел на Мартынова.

— Какие шутки!..

Долгушин спокойным, ровным голосом стал говорить, положив руку на спинку переднего сиденья и загибая пальцы.

— Во-первых, это чепуха. Какой вы слабый работник? Дай бог, чтобы все секретари райкомов у нас были такими слабыми, как вы! Кого прокатят на конференции на вороных, так это, конечно, Медведева. Во-вторых, я достаточно знаю порядок выборов наших партийных органов, чтобы не бояться никаких случайностей по отношению к своей персоне. Прокатить кого-либо «случайно» у нас на конференции могут, но выбрать секретаря без рекомендации сверху — вряд ли. А мнение обо мне сложит-

лось в области такое, что можно не ждать подобных рекомендаций. В-третьих, я приехал сюда не для того, чтобы меня перебрасывали, как мячик, с места на место. Я и года ещё не поработал в МТС. В-четвёртых, я хозяйственник и никогда не был...

— А в-пятых, поживём — увидим! — оборвал его почти грубо Мартынов.

Долгушин, поняв, что Мартынов чего-то нервничает, пожал плечами и замолчал.

Совместная поездка в колхозы и этот разговор не сблизили Мартынова и Долгушина. Встречаясь, они всякий раз чувствовали какую-то неловкость, будто были в чём-то виноваты друг перед другом. Долгушину казалось, что Мартынов действительно боится критики на предстоящей партийной конференции и какой-либо неожиданности при выборах. А Мартынов очень жалел, что дал повод Долгушину для таких предположений. Чтобы поправить дело, он сказал однажды Долгушину:

— Сам буду агитировать, Христофор Данилыч, за вашу кандидатуру.

— Ей-богу, не пойму вас, Пётр Илларионыч, шутите вы или всерьёз это говорите? — Долгушин в недоумении развёл руками. — Если не шутите, то ещё хуже! Тогда это просто никчёмный и пустой разговор. Взбрело ему в голову, что он плохой секретарь райкома! Ребячество какое-то!

— Отнюдь. Плод размышлений зрелого мужа, не ребёнка. — Мартынов выжал на своём похудевшем лице улыбку. — Весьма долгих размышлений.

— Вы плохо выглядите, Пётр Илларионыч, у вас нездоровый вид. Вам надо было после больницы поехать на курорт, ещё подлечиться, а не приступать сразу к работе.

— Наоборот, я чувствую себя сейчас, как никогда, способным горы свернуть!

— Так в чём же дело?..

— Вы знаете, что такое гамбургский счёт?

— Что-то смутно помню. Где-то читал.

— В старое время у борцов был обычай — раз в несколько лет съезжаться в Гамбург и бороться без публики, при закрытых дверях, просто так, для себя, для души, чтобы узнать, кто же из них действительно сильнее.

— Ещё что скажете?.. Ну, я старше вас по партийному стажу, по житейскому опыту, но что из этого? Какой я секретарь райкома? Загляните в мою анкету. Я нигде никогда не был на партийной работе. Даже секретарём первичной парторганизации не был.

— А разве нам в наших выборах партийных органах нужны какие-то особые запатентованные специалисты по партийной работе? И должна ли быть вообще такая специализация? Ведь сами коммунисты выбирают своё партийное руководство. А вдруг на сей раз не выберут этакое «специалиста»? А он ничего больше другого делать не умеет? Вы думали когда-нибудь об этом, Христофор Данилыч? Или вы не имели за последнее время столько свободных дней и ночей для раздумья, как я в больнице?..

Мартынов послал в обком первому секретарю небольшую записку с просьбой назначить ему день для приезда и разговора о положении в районе. Через несколько дней Крылов вызвал его телеграммой в обком.

В этот приезд секретарь обкома Алексей Петрович Крылов показался Мартынову не то несколько отяжелевшим, не то каким-то более суровым и официальным, чем был он раньше. И вообще за те месяцев пять, что Мартынов не видел его, Крылов заметно постарел, как-то поплёк. Посидев в приёмной полчаса до прихода Крылова, Мартынов уже узнал от его помощника, что он болел зимой — плохо было с сердцем — и что врачи запретили ему временно любимый его вид отдыха: охоту и рыбную ловлю. В каком-то месте разговора Крылов поднялся из-за стола, прошёл по кабинету, остановился возле календаря, посмотрел на него, пробормотал: «Суббота сегодня» — и тяжело вздохнул. В глазах его на минуту появилось выражение усталости. «Тоскует по своим озёрам и лесным трущобам», — подумал Мартынов.

Но, кроме всего, Мартынову показалось, что Крылов стал каким-то успокоившимся или ищущим спокойствия.

— Мы дождались прекрасных решений по сельскому хозяйству — того, о чём мы с тобой, товарищ Мартынов, могли мечтать несколько лет назад, — говорил Крылов. — Одно снижение налогов и поставок с колхозников чего стоит! Мы боялись об этом и заикнуться, а правительство и без наших ходатайств пошло на этот шаг. А какие решения о кадрах, о материальном и техническом снабжении! Ты можешь думать обо мне, что я заболел казённым оптимизмом, но, право же, у нас сейчас есть все основания смотреть на жизнь куда веселее.

— А я никогда не смотрел на жизнь мрачно, — вставил Мартынов.

— Я недоволен нашей печатью, — продолжал Крылов. — Разворачиваешь номер областной газеты — материал на три четверти критический. Там недостатки, там непорядки, там преступления. Нельзя же так односторонне освещать жизнь! Да, скажем прямо, до сентябрьского Пленума трудно было найти в деревне хорошие образцы и партийной работы и хозяйственного руководства. Но с тех пор прошло уже немало времени. Уже есть большие сдвиги. Сейчас нам надо не столько бичевать недостатки, сколько утверждать то новое, хорошее, что появилось у нас!

— Я знаю по своей газетной практике, Алексей Петрович, — сказал Мартынов, — что очень трудно отделить одно от другого — бичевание недостатков от утверждения хорошего. Это взаимосвязано. Мне, например, никогда не удавалось написать статью о чём-нибудь хорошем, чтобы тут же не разозлиться на плохое, которое мешает этому хорошему ещё лучше развиваться.

Мартынов повёл глазами по сторонам, осматривая кабинет первого секретаря обкома, в котором ему не так уж часто приходилось бывать, — за время работы в Троицке всего лишь третий раз сидел он здесь. Полуспущенные голубые шёлковые шторы задерживали бьющие прямо в окна солнечные лучи, мягко рассеивали свет. Огромный, чуть не на весь кабинет, толстый ковёр приятно пружинил под ногами — будто почва на старом высохшем торфянике. В углу медленно, с чуть слышным тиканьем ворочался под стеклом футляра-шкафа бронзовый маятник больших часов. Тихо журчали два вентилятора: один на сейфе, другой на столе, но, кроме них, видимо, ещё какие-то электрические приборы охлаждали воздух — в кабинете было прохладно, как в мраморных подземных залах Московского метро... И Мартынову вдруг вспомнилось, как однажды на фронте его, командира стрелковой роты, вызвали с передовой, чуть ли не прямо из боя, в штаб дивизии для нового назначения. Он побрился, почистил сапоги, подшил свежий подворотничок, по стираной гимнастёрки в запасе не оказалось, и он пришёл в штаб с белой от солёного пота спиной, с бурыми пятнами на рукавах от крови похороненного вчера, скончавшегося на его руках замполита. Штаб дивизии расположился в поросшей



молодым дубняком балке, в блиндажах, вырытых на косогоре. И тут была война, жужжали зуммеры телефонных аппаратов, офицеры с озабоченными лицами перебегали из блиндажа в блиндаж с какими-то пакетами и картами, и сюда изредка долетали снаряды тяжёлой немецкой артиллерии, и несколько раз за день слышалась предупредяющая команда наблюдателей: «Во-озду-ух!» — но всё же здесь было куда тише и не пахло так солдатским потом, гарью стреляных гильз и ещё чем-то гниющим там, впереди, за проволочными заграждениями, откуда подувал ветерок, как пахло всем этим в окопах передовой стрелковой линии. Начальник штаба даже пил чай не из алюминиевой кружки или консервной банки, а из настоящего стакана с серебряным подстаканником. И из наивных расспросов некоторых молодых офицеров о том, что делается там, понял он, что кое-кто из этих щеголеватых, с безукоризненной выправкой военных имеет всё же смутное представление о настоящем бое, настоящей войне... Этого нельзя было сказать о командире дивизии. Когда Мартынов предстал перед генералом, с первых же его слов он почувствовал, что разговаривает с человеком, который съел с солдатами не один пуд соли и видел смерть в глаза, вероятно, тысячу раз. И немудрено. Этот генерал начинал свою армейскую службу с должности рядового стрелка в первую мировую войну, был ефрейтором, унтер-офицером, командиром эскадрона в гражданскую войну, командиром полка в финскую и, наконец, на тридцатом году службы дотянул до генерала. Но и в этом чине он ежедневно не меньше трёх-четырёх часов проводил в частях, в окопах на передовой, чтобы не забывать солдатскую жизнь и не отрываться от неё, слышал перед собой близкие пулемётные очереди и обонял весь букет запахов обжитого в долговременной обороне бойцами переднего края — всё то же, что слышал и обонял он, будучи ещё ефрейтором. Видимо, генерал был не только храбрым солдатом, но и мудрым человеком и знал, что отрыв на длительное время от трудностей, которые несёт на переднем крае народ, иной раз притупляет у начальника способности чутко улавливать настроение людей, обрывает те душевные нити, что незримо связывают его волю, чувства, устремления с чувствами и волей подчинённых ему рядовых бойцов.

Крылов говорил:

— Всё дано нам, что мы просили и чего не просили. Теперь надо работать! Меньше разговоров, больше дела! Ваш район как-то странно лихорадит. То вы в первой пятёрке по полевым работам и молоку, то вдруг окажетесь где-то на десятом или двенадцатом месте. А у вас есть все данные к тому, чтобы прочно занять первое или одно из первых мест в области. Секретарь райкома молодой, энергичный, хорошие кадры председателей колхозов — что же вам не под силу такая задача? Прости, я забываю, что ты последние месяцы не работал... Ну, как сейчас твоё здоровье? С костылём всё же не расстаёшься?

— Здоровье ничего. Скоро и костыль брошу... А не кажется вам, Алексей Петрович, что у нас осталось ещё много нерешённых вопросов по сельскому хозяйству? Я написал вот что-то вроде «Писем из деревни». Начал писать ещё в больнице, а кончил вчера дома. Посмотрите. — Мартынов положил на стол перед Крыловым довольно толстую папку.

— Хорошо, почитаю на свободе. — Крылов открыл папку, полистал странички. — Много стали нам писать в последнее время. Пишут и доярки, и свиарки, и учителя, и железнодорожники, и водопроводчики. У каждого какие-то государственные предложения, советы.

— Я думаю, это хорошо, что много пишут. Одна дельная мысль в письме и то уже ценность.

— Конечно, неплохо, что пишут. Но надо же и практическим делом заниматься... Вот у тебя сколько это отняло рабочего времени?

— Я в больнице лежал, — напомнил Мартынов.

— Прости, забываю... Сорск восемь страниц. Это всё, по-твоему, нерешённые вопросы?

Крылов захлопнул папку, отложил её на край стола.

— Егозишь ты что-то всё, товарищ Мартынов. Ну, чем ты недоволен? Чего тебе ещё надо?.. Меньше уже надо заниматься всякими прожектами, а на той реальной основе, что создалась у нас, бороться за крутой подъём сельского хозяйства. Тот будет из нас лучшим мыслителем-философом и радетелем государства, кто сумеет получить больше молока, больше мяса, больше зерна. Вот что нам нужно сейчас для благосостояния народа! Конкретное практическое дело, а не маниловские мечты вслух о красивой жизни!

Мартынов слушал Крылова, угрюмо нагнув голову, и сам чувствовал, как кровь приливает к его щекам и он краснеет, но не от стыда.

— Я не отрываю человеческие вопросы от производства зерна и молока. Это всё для подъёма колхозов! Не сам райком ведь пашет землю и доит коров...

— С чем приехал, кроме этой папки? — резко спросил Крылов, так что Мартынов невольно вздёрнул голову. — Ты писал, что хочешь поговорить о положении в районе. Что за положение там у вас?

«И вот с этим самым Алексеем Петровичем, в этом же кабинете у нас однажды был совсем другой разговор! — подумалось Мартынову. — Как он меня тогда поддержал, когда Голубков донёс на меня, будто я сорвал собрание партактива! Как он меня понял с полуслова, с каким гневом говорил о своих областных «классиках» пустозвонства! Помог мне додумать до конца то, о чём я лишь догадывался... Что сделалось с ним? Хотя его, конечно, можно по-человечески понять. Больше десятка лет работает уже секретарём обкома, в других областях и у нас, и всё в трудных условиях. Ему уже хочется поскорее увидеть полный порядок всюду и сплошное довольство. Хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только получше написанного и уже про наши дни. А тут опять о недоработках, неполадках, неурядицах. Надоело ему уже это всё хуже горькой редьки!.. Устал? Укатали сивку крутые горки?..»

— Я приехал, Алексей Петрович, — начал Мартынов, — во-первых, просить вас поскорее решить вопрос о нашем втором секретаре. Вы слышали, какой у нас был пленум райкома?

— Слышал. Докладывал мне. Станный пленум.

— Да. То же самое и я сказал, когда узнал о решении пленума. У членов райкома не хватило духу освободить товарища Медведева от обязанностей секретаря. Решение половинчатое.

— А твоё мнение — надо освободить?

— Конечно. Вообще. не надо было и выдвигать его на партийную работу.

— Ещё один не угодивший тебе?..

— Ну, нет! — тряхнул головой Мартынов. — Теперь я этого не буду бояться! Думайте что хотите о моём характере, а мне положено всё-таки заботиться о районе, поскольку я там ещё секретарь райкома. Перетерплю личные неприятности ради интересов дела. Был раньше кисейной барышней, стеснялся говорить с вами о Медведеве, чтоб не думали нелестно обо мне, но больше ею не буду!

Крылов пересел из-за стола на широкий кожаный диван и Мартынова пригласил сесть рядом с ним.

— Иди сюда, садись. Неудобно разговаривать через стол. Ты тихо говоришь, я плохо тебя слышу. Я, брат, тоже тут болел. Пичкали меня врачи всякой дрянью. А сейчас постоянно шум в ушах, будто только что из самолёта вышел... Так в чём же дело? Чем, собственно, Медведев там провинился? За что на него обрушился пленум? Что он за человек? Как его можно коротко охарактеризовать?

— Коротко?..

Мартынов рассказал, как работал Медведев при нём, ещё в роли второго секретаря, и как работал после — по рассказам коммунистов, — какой сделал доклад на пленуме и какую дали ему отповедь председатели колхозов.

— У этого образованного учителя и лектора с того дня, как он стал секретарём райкома, вдруг все слова вылетели из памяти, кроме: «Не допущу!», «Не потерплю!», «Разгоню!» Согласитесь сами, что такого лексикона маловато для руководства районом.

— Так... Ты всё же немало времени поработал с ним вместе. Почему не воспитал из него хорошего второго хотя бы секретаря?

— Вот этого я не понимаю! — возразил Мартынов. — Зачем нам нужно обязательно трудиться, потеть над воспитанием секретаря райкома из человека, у которого для этого нет, может быть, никаких данных? Мы совершаем ошибку, человек случайно попадает в номенклатуру руководящих партийных кадров, и мы же сами потом должны ломать голову над тем, как сделать из этого предмета нашей ошибки хоть более или менее приличного секретаря? Зачем? Что нам, свет клином сошёлся? Людей у нас нет?.. Я не предлагаю, Алексей Петрович, каких-то суровых мер. Я предлагаю только освободить его от руководящей партийной работы, вернее, этот пост освободить от него. И пусть он работает там, где принесёт, может, какую-то пользу обществу. Да, кстати, и он сам после пленума в райкоме уже не появлялся. Заболел, сидит дома в ожидании решений обкома. И на его месте ничего лучшего и нельзя придумать. Я не забыл, Алексей Петрович, — добавил Мартынов, — как вы мне здесь рассказывали однажды о некоторых ваших обкомовских обывателях, что смотрят на партийную работу, как на службу, как на хорошую карьеру.

— Значит, во-первых, освободить Медведева от обязанностей второго секретаря? Хорошо. Пятнадцатого у нас будет бюро. Приедете вдвоём с Медведевым, доложите об этом самом пленуме. Обсудим. Чёрт возьми! У вас что ни пленум, что ни партактив, то всё какое-нибудь событие!... А во-вторых?

— Во-вторых, прошу и меня освободить от обязанностей первого секретаря.

— Что-о?!

— В интересах района, Алексей Петрович. Там есть сейчас человек, который лучше меня сможет руководить партийной организацией. А значит, и быстрее добьётся крутого подъёма хозяйства. Район выйдет на первое место... У нас скоро будет партийная конференция. Если бы делегатам дано было право избирать секретаря райкома прямо на конференции и никого не рекомендовать сверху — выбирайте, мол, сами, кого вы считаете достойным стоять во главе организации, — его кандидатуру сразу бы назвали. Уверен. Его очень уважают у нас коммунисты. Возможно, и меня бы назвали, но я бы сам снял свою кандидатуру. С ним я тягаться не стану. Да, ему по праву надо быть у нас первым секретарём.

— О ком ты говоришь?

— О директоре Надеждинской МТС Долгушине.

Крылов внимательно посмотрел на Мартынова.

— Ты что, нашёл себе другое местечко, получше? Не к журналистике ли хочешь вернуться? В Москву, в газету? Писал в Цека, что ли? И получил положительный ответ?

— Никакого другого места не искал и не ищу. Буду работать там, куда пошлёт. Посылайте хоть в Грязновский район, на любую работу. Или останусь в Троицке. Пусть Долгушин будет первым секретарём, а я — вторым... Хотя, честно говоря, последнее было бы для меня наименее приятным.

— Тогда я не пойму, что за всем этим кроется...

— А ничего не кроется, Алексей Петрович.

— Но почему тебе желательно уступить своё место Долгушину?

Мартынов пожал плечами.

— Это место не моё, не откупленное мной навеки. Оно переходящее — кого выберут на него коммунисты. И вот я вижу сейчас, что в районе есть более подходящий человек на это место.

— Что за романтика в партийной работе! Рыцарство какое-то! — Крылов нагнулся к Мартынову, заглянул ему в глаза. — Ты вообще, товарищ Мартынов, не из породы донкихотов?..

Открылась дверь, на пороге показалась туслая фигура Масленикова.

— Заходи, заходи, Дмитрий Николаевич! — позвал его Крылов. — Тут у нас интересный разговор. Садись. Мартынов просит перевести его в другой район.

— Да? — Маслеников взял стул от стены, поставил его против дивана, присел. — Какая же причина? Требуется переменить обстановку? Набедокурил чего-то? По женской части? Там у тебя, Пётр Илларионович, кажется, с Борзовой что-то закрутилось?..

Мартынов вспыхнул.

— Сводки и сплетни ездите собирать по районам, Дмитрий Николаевич? Прекрасное занятие!

Крылов предостерегающе поднял руку.

— Ну-у! Зачем же так резко? Маслеников пошутил.

— Неумная шутка!

Маслеников с кислой улыбкой приложил ладонь к груди.

— Прошу извинения, товарищ Мартынов, если оскорбил вас! Дело естественное. Только что, на вчерашнем бюро, по такой причине перевели одного работника из Малеевки в другой район.

Крылов недовольно поморщился.

— Не торопись со своими предположениями. Слушай дальше. Мартынов считает, что в районе есть человек, который лучше его может справиться с обязанностями первого секретаря райкома партии. У них будет скоро партийная конференция. Он заранее ставит перед нами этот вопрос. И знаешь, кого он рекомендует там в секретари? Долгушина, директора Надеждинской МТС, твоего приятеля.

— Что? Долгушина? Секретарём?.. — Маслеников тупо поморгал глазами. — А он сам что? Просится на учёбу?

— Никуда не пойдёт. Согласен работать где угодно, куда пошлём.

— Не понимаю... Сам на своё место рекомендует другого человека?

— Да. И именно Долгушина.

— Так Долгушин работает директором МТС. Как же его — в райком?..

— Очень просто. Изберут коммунисты — станет секретарём райкома, — сказал Мартынов.

Маслеников подумал и махнул рукой.

— Несерьёзный разговор! Такого не бывает, чтобы человек сам просился из хорошего района в плохой. В моей практике таких случаев не было. Мудрят они там что-то, Алексей Петрович. Долгушин их там всех опутал... Интересный тип! Давно надо бы его проучить! Нахал, грубиян, не признаёт совершенно никакой власти над собой! В частных разговорах с сотрудниками МТС критикует работу обкома. Да, да! У меня есть целая папка докладных записок зонального секретаря. Я готовил материал, хотел предложить вам, Алексей Петрович; поставить отчёт Долгушина на бюро, но, понимаете, не к чему придаться! Отличные показатели. Лучшая зона в районе. Хитро работает москвич!.. — Маслеников рассмеялся, покачиваясь на стуле. — Ха-ха-ха! Долгушина — секретарём райкома партии! Нет, это ты что-то для смеху придумал, товарищ Мартынов! Да ведь

он чёртом смотрит на всех партийных работников! Он вообще против партийных органов!

— Он против пустозвонов и пришибеевых, затесавшихся в партийные органы, а не против самих партийных органов! — не выдержал наконец Мартынов.

И у него с Маслениковым начался такой разговор, какого, вероятно, ещё никогда не слышали стены кабинета первого секретаря обкома.

— Рыбак рыбака видит издалека! — говорил Мартынов. — Вы ненавидите Долгушина, но зато поддерживаете Медведева, потому что вы сами Медведев! Вы тоже такой же толкач и погоняла, а не секретарь, как и Медведев! Вас вполне устраивают мыслительные способности Медведева. Умеет орать на людей — и ладно. А больше вы и не знаете, чего требовать от секретаря райкома, потому что это предел и ваших организаторских дарований. Холодов ведь прошёл здесь тоже через вашу комиссию? Кадрами зональных секретарей вы занимались? Вы отобрали на партийную работу этого следователя по особо важным делам?.. Вам нужны в районах манекены, а не живые люди с умом и сердцем! Перевалочные пункты для директив, и только — вот как вы, товарищ Маслеников, смотрите на райкомы! Вы любите в районах таких людей, которые ели бы вас глазами и, как попугаи, не рассуждая, повторяли за вами слово в слово всё, что вы скажете. И Долгушина вы ненавидите именно за то, что он не манекен, а живой человек. Он талантливый руководитель, нам надо такие таланты искать всюду, радоваться, когда находим их, как радовался талантам Ленину, давать им простор! Но не вам, конечно, ценить чужие таланты, потому что вы сами как руководитель бездарны!.. Вы злобствуете сейчас оттого, что чувствуете — время наступило для вас тяжёлое! Перед руководителями стоят сложные задачи. На одних общих командах и крике далеко не уедешь. А вы не можете руководить иначе. Ничего из вас больше не выжмешь! Это и есть всё, на что вы способны! Как вы сейчас будете перестраиваться на другие методы — не знаю. И вы не знаете. И не сумеете вы перестроиться — не в ваших это возможностях! Дело ваше, Дмитрий Николаевич, швах!..

Маслеников, вначале совершенно обалдевший, растерянно поглядывал на Крылова в ожидании, что тот призовет Мартынова к порядку и, может быть, даже предложит ему покинуть кабинет. Но Крылов молчал.

— Что это за разговоры? — вскочил наконец Маслеников. — От кого я это всё слышу? Я не верю своим ушам!..

— А вы верьте. Уши вас не обманывают. Могу повторить всё с самого начала.

— «Манекены!» «Райкомы — перевалочные пункты для директив!» Это злостная клевета на нашу здоровую и боеспособную областную партийную организацию!

— Я говорю: это вы так смотрите на райкомы, как на перевалочные пункты.

— «Пришибеевы!» «Ненавидите талантливых людей!» Это мы всё запишем, товарищ Мартынов! Да кто вам дал право разговаривать в таком тоне с секретарями обкома партии?

— С секретарём. Это всё адресовалось лично вам. Не передёргивайте, товарищ Маслеников!

Крылов пересел с дивана за стол в кресло и, не вмешиваясь в перепалку, слушал их спокойно, положив руки на подлокотники и глядя в сторону, за окно, с выражением задумчивости на лице.

Зазвонил телефон. Крылов снял трубку.

— Да раньше за такие разговоры, знаешь, что с тобой сделали бы!..

— Знаю.

— Тише! — крикнул Крылов. — Вы мне мешаете, ничего не слышу. Из Рубцева звонят. Что у них там за телефон? Пищит что-то, как цыплята в инкубаторе!..

И пока он разговаривал по телефону, Мартынов и Маслеников сидели молча, тяжело дыша, как боксёры в перерыве между раундами, исподлобья бросая друг на друга горящие взгляды, с трудом удерживаясь, чтобы не схватиться опять. Крылов, одной рукой держа трубку, другой потянулся через стол и палил им по стакану боржома.

— Вот что, Дмитрий Николаевич, — сказал Крылов, закончив разговор с Рубцевским райкомом, и взглянул на часы. — Мне через три минуты дадут министра здравоохранения. Я хотел говорить с ним о мединституте. Ты был вчера на бюро, знаешь, в чём дело. Пойди, переключи на себя и поговори с ним сам из своего кабинета. Мне сейчас некогда. А этот ваш, — он покрутил пальцем, подыскивая выражение, — обмен любезностями с Мартыновым вы продолжите и закончите после.

— Хорошо, поговорю. — Маслеников встал. — Но этого дела я так не оставляю! Вы слышали всё, Алексей Петрович, и я прошу вас сделать выводы! Он должен ответить за эти оскорбления! Я напишу записку на бюро!

И, уходя, он так резко, рывком распахнул дверь, словно собирался хлопнуть ею, но во-время сдержался, вспомнив, что кабинет-то не Мартынова. Оглянувшись виновато на Крылова, прикрыл дверь за собой, как всегда, осторожно, бесшумно.

— Горячка ты, Пётр Илларионович, — сказал Крылов после ухода Масленикова. — Жалко мне всё же будет тебя, если ты где-то на чём-то свернёшь себе шею.

— Алексей Петрович! Партийные органы — это самое главное у нас! Отсюда идёт всё руководство, всё направление нашей жизни. Как же можно терпеть в них таких людей? Головоотяп в партийном органе вдесятеро страшнее, чем в каком-либо другом учреждении. Ему же даны большие права!

— Ну, ты, знаешь, всё-таки осмотрительнее выбирай выражения! О Масленикове говоришь? Он ещё, как-никак, секретарь обкома, его ещё не прокатили. И один твой голос на конференции не решит его судьбы!..

Он готов был, видимо, рассердиться не на шутку, но у Мартынова хватило выдержки немного помолчать, и Крылов, тоже помолчав и побавравив пальцами по столу, отошёл, стал говорить с ним мягче.

— Вот ты назвал Масленикова толкачом и погонялой. Я сам знаю ему цену, не преувеличиваю его талантов. Но представь себе, что такие люди всё же нужны в обкоме. Ты дальше своего района не знаешь области и думаешь, может быть, что всюду так, как у вас в районе. На свой аршин меришь. По себе судишь о других местных работниках. Но, видишь ли, дорогой товарищ Мартынов, к сожалению, у нас в области есть ещё немало таких секретарей райкомов, которые действительно нуждаются в толкачах. Ты думаешь, можно уже не напоминать вашему брату о таких общеизвестных истинах, что свёклу нужно во-время прорывать, иначе потеряем половину урожая, что упущенный день на уборке стоит нам многих тысяч тонн зерна, что пары надо поднимать в мае, а не в июле? Ошибаешься! Приходится напоминать и напоминать! Вот сейчас нам нужно за лето нарыть много траншей на то количество силосной массы, что мы получим. Всюду секретарями райкомов сидят люди взрослые, не новички в сельском хозяйстве, знающие, что силос квасят не в бочках, как капусту, и что если мы не заготовим траншеи к началу уборки силосной массы, то вся наша борьба за кормовую базу для животноводства пойдёт насмарку. И что же ты думаешь, если пустить это дело на самотёк, не нажимать, не приказывать, не угрожать наказаниями, будем мы иметь траншеи? Заверения и обещания — вот что будем иметь, а не траншеи!..

Плохо ты знаешь наши кадры! Есть такие секретари райкомов и председатели райисполкомов, что только лишь тогда и начинают чуть шевелиться, когда получают предупреждение или выговор. А какие у нас есть ещё директора МТС! Позавчера я был в Зайцевской МТС, полюбовавшись, как ведётся там хозяйство, и при всём своём неуважении к ругательствам назвал директора этой МТС Сучкова мерзавцем и вредителем. Ходит по двору, руки в карманы, бездельник, с утра пьяный, красная запухшая рожа, и ничего не знает, что у него делается: почему в «Заре» тракторная бригада четвёртый день не работает, сколько комбайнов вышло из ремонта, выдана ли рабочим зарплата за прошлый месяц. Меня там чуть инфаркт не хватил, когда я посмотрел инвентарь. На усадьбе всё свалено в кучу — и сеялки, и картофелесажалки, и плуги, — всё в грязи, не очищено, не смазано. В свеклокомбайнах сгнившая прошлогодняя свёкла. И никакой охраны, ребяташки из села откручивают с машин гайки на грузила, делают себе самокаты из каких-то колёс. Где ещё есть инвентарь, кроме центральной усадьбы, какой, сколько, в каком состоянии, кто отвечает за его сохранность — никто не знает: ни директор, ни главный инженер, ни главный бухгалтер. В пятнадцать миллионов по балансовой стоимости оценивается имущество МТС! И эти государственные миллионы доверены вот такому обалдую! Судить будем его, показательным процессом. Прокурор выслал уже туда следователя. Подсчитает всё до копейки, на сколько миллионов загубил он машин. Но ведь этот Сучков работал там директором пять лет. И если МТС всё же пахала, сеяла, убирала хлеб, выполняла хлебопоставки, то это только благодаря тому, что кто-то ходил за Сучковым по пятам с дубиной и разъяснял ему, что тракторы надо ремонтировать, что пахать нужно на такую-то глубину, что заросшие пары надо культивировать. Нет, брат, нужны нам ещё и толкачи и погонялы! Не будь идеалистом!.. И вот тут-то и необходимы нам такие люди, как Маслеников. Тоже своего рода талант, если уж на то пошло! Если его послать в район с каким-то конкретным заданием, он в лепёшку расшибётся, поднимет там всё живое и мёртвое, но задание выполнит! Он способен трое суток не спать, пока не проверит лично сам в каждом колхозе все сеялки или комбайны. Маслеников у нас из шести рабочих дней в неделю, может быть, только два дня сидит здесь, в своём кабинете, а то всё в разъездах. Мы уж подшучиваем над ним, что у него машина, как старая учёная лошадь, сама в сёлах заворачивает к правлению колхоза. Никто не может так, как он, расшевелить бездельников, создать в районе мобилизационную обстановку вокруг какой-то кампании. Это тоже надо оценить!..

Мартынов давно уже порывался возразить Крылову, но тот всякий раз, как Мартынов раскрывал было рот, останавливал его жестом.

— Я же тебе предлагал работу в обкоме. Не пошёл. Так нечего теперь и упрекать меня за Масленикова! Его к нам прислали из Н-ска. Я знал, кого мы берём, разговаривал с Н-ским секретарём, он мне точно охарактеризовал Масленикова: исполнитель, больше ни на что не способен, пороку не выдумает. Если бы ты дал тогда согласие, можно было бы от него отказаться. Что ж, не пошёл — мне тоже надо здесь с кем-то работать. Область большая.

— Не пошёл, Алексей Петрович, откровенно говоря, потому, что именно этого и боялся — что я буду нужен вам только как чиновник для особых поручений, — ответил Мартынов.

— Глупости говоришь! Я знаю, от кого что можно потребовать. Ты бы мог здесь заниматься делами и посложнее.

Помолчали. У Мартынова не сходило с лица выражение упрямого несогласия с тем, что секретарь обкома довольно терпеливо доказывал ему целых полчаса.

— Нет, — покачал головой Мартынов, — вы меня, Алексей Петрович, всё же не убедили. Если есть у нас ещё такие секретари райкомов, на которых нельзя положиться, что они сами, без понуканий, не упустят ни часа на уборке и способны собственной головой дойти до такого открытия, что для закладки силоса нужны траншеи, то надо просто освободить таких секретарей от занимаемых постов! Странная у вас какая-то логика. Выходит, что Маслеников нужен в обкоме потому, что есть и в районах ещё такие маслениковы — разучившиеся или никогда и не умевшие работать своими мозгами исполнители, которых нужно всякую минуту накачивать и подталкивать в спину!.. Мне кажется, простите за откровенность, что вы немного устали. Вам надоела возня с кадрами, вам хочется уже какой-то стабильности. Что, опять пересматривать состав секретарей райкомов? Ещё брать кого-то из областных аппаратов? Опять уговоры, споры, семейные трагедии, справки о болезнях? Да, ничего не поделаешь, это самое трудное — укрепить кадрами низы, но отбой давать ещё рано, надо продолжать это дело. И стабильности здесь, вероятно, никогда не будет, коррективы всегда придётся вносить то там, то там... Между прочим, я думаю, Алексей Петрович, что не только в областных аппаратах надо искать хороших секретарей райкомов. В каком-то районе, может быть, следует избрать секретарём райкома местного товарища — лучшего председателя колхоза или директора МТС.

— Встречные перевозки? — усмехнулся Крылов. — Районный актив посылали в колхозы председателями, а из председателей теперь брать кого-то на работу в район?..

— И ничего здесь противоречивого нет! Одно с другим прекрасно увязывается! — горячо доказывал Мартынов. — Председателями мы посылали из районного актива десять — пятнадцать человек, а здесь идёт речь об одном лишь человеке, об одной крупной фигуре. Совсем не похоже на встречные перевозки! Я вам должен, Алексей Петрович, — продолжал Мартынов, — объяснить всё до конца. Вот я поднял вопрос о Долгушине. Это не из личных симпатий. Мне, прямо скажу, не очень приятно было, когда я убедился, что Долгушин в своей зоне гораздо лучше руководит колхозами, чем получалось это у меня. И я не из какого-то особого душевного расположения к Долгушину говорю сейчас, что ему надо быть секретарём райкома в Троицке. Я не за него стою, а за принцип! Партийные органы — выборные органы. И профессионализация здесь, пожалуй, менее всего нужна. Да, вчера я был секретарём райкома в Троицке. А сегодня коммунисты, решив, что в парторганизации есть более подходящая кандидатура, избирают секретарём райкома Долгушина. Что же из того, что он не был никогда на партийной работе? Это, может быть, даже к лучшему... Представьте себе, Алексей Петрович: в районе избирают секретарём райкома лучшего директора МТС или председателя колхоза. Конечно, не такого председателя, что с трудом выводит свою фамилию на банковом чеке. Есть такие стихийно талантливые хозяйственники, но совершенно малограмотные, не читающие даже газет. Я не о таком председателе говорю, а о человеке образованном, политически грамотном, культурном. Вот он становится секретарём райкома — опытный, авторитетный практик колхозного строительства, который много лет удивлял всех прекрасными урожаями и богатым трудовым. Ведь ему есть что посоветовать председателю, когда он придет в колхоз! Он сам был в его шкуре, сам когда-то начинал наживать хозяйство на голом месте, сам знает, что невозможно, а что возможно сделать в таких-то условиях. Этот новый на партийной работе человек, несомненно, внесёт и что-то новое в жизнь партийного органа. Он уже не потерпит болтовни, пустозвонства, канцелярщины. Это человек дела. Он сам иной раз изнывал от тоски на наших заседаниях, сам возмущался, сколько рабочего времени



отнимают у него эти вызовы в район. Он, будучи председателем, снизу просмотрел всю работу райкома, и отделов его, и инструкторов, он знает, что и как нужно поправить, чтобы все эти колёса не вертелись вхолостую... Нет, Алексей Петрович, если мы хотим по-настоящему поднять работу райкомов партии, нужны такие люди в райкомах! И надо всё же как-то свободнее выбирать верхушку наших партийных органов, секретарей. Конечно, и сейчас у нас есть всё — и тайное голосование и право отвода. Если кого-то забаллотировать при выборах в члены райкома, то он уже и дальше не продвинется. Но разговор на первом после конференции пленуме ведётся обычно только о предложенных обкомом кандидатурах. Выбирают зачастую из определённого узкого круга уже так или иначе заноменклатуренных «специалистов» по партийной работе. А может быть, неспециалист окажется лучшим секретарём? Расширять надо этот круг! Надо больше доверять местным коммунистам. Они же сами не меньше обкома заинтересованы в том, чтобы во главе их парторганизаций стояли достойные люди. Когда хорошо с партийным руководством, тогда всё в жизни налаживается правильно. И с директорами предприятий будет благополучно, и в школах будет хорошо, и в магазине не предложат покупателю хлеб с водичкой. На хозяйственной работе у нас назначение, но здесь должна быть постоянная выборность. И без помощи партийных масс сами вы, Алексей Петрович, никогда не найдёте для всех районов хороших секретарей!..

Мартынов, выложив всё, умолк, вытер простецким жестом, по-рабочему, рукавом пиджака вспотевший лоб, достал из кармана папиросы, хотел закурить, но, глянув на пластмассовую дощечку на стене с надписью: «Здесь не курят», — положил папиросу обратно в коробку.

— Кури, — кивнул ему Крылов. — Ты сколько времени ещё здесь про-будешь?

— Да больше у меня тут нет никаких дел.

— Не уезжай сегодня. Заночуй в гостинице. Я тебе позволю туда. А сейчас иди.— Крылов поднялся и протянул ему через стол руку.— Ты у меня занял два часа, разговор, правда, интересный, но надо же и другие дела делать. Сейчас ко мне придут строители нашей ТЭЦ, которые зимой обещали рапортовать об окончании строительства к Первому мая, а сейчас просят отсрочки к Октябрьской годовщине. Как прикажешь мне с ними разговаривать? Нажимать или не нажимать? Подгонять их или не подгонять? Может быть, не надо подгонять? Угостить их чаем с бутербродами, расспросить о здоровье, о детисках и отпустить с миром? Ведь они люди взрослые, не мальчики, и совесть у них есть — сами понимают, что чем скорее они дадут энергию нашей промышленности, тем лучше... Ладно, иди отдыхай, после поговорим.

Выйдя из обкома, уже на улице, у подъезда, Мартынов встретился лицом к лицу с Борзовым, заметно постаревшим, загорелым, в запылённых сапогах, с головой, не бритой наголо, как раньше, а коротко остриженной под машинку. Поздоровались.

— Ну, брат, у тебя вид — как из бани выскочил! — заметил Борзов.— Там был? — Он указал глазами на окна третьего этажа над подъездом — кабинет первого секретаря.

— Там.

— Давали духу?.. Сколько раз и мне там,— он опять повёл глазами вверх,— высыпали! За что тебе? За ремонт комбайнов?

— Нет, я не в бюро. Бюро здесь вчера было. Так приезжал. По кадрам.

Отошли немного в сторону от двери, чтобы не мешать входящим и выходящим из обкома.

— Ну, слышал про меня,— усмехаясь, спросил Борзов,— какой мне дали ответственный пост? Председатель самого крупного в Борзовском

районе колхоза — «Страна Советов». Вот! Это тебя надо поблагодарить. Спасибо за твоё начинание!

— На здоровье! — ответил Мартынов. — Неужели ты, Виктор Семёнович, думаешь, что без моего начинания дело не дошло бы до этого?

— Да нет, я шучу. Конечно, дошло бы. Надо же кому-то вытягивать колхозы из прорыва... Да, вот уж четвёртый месяц я в колхозе. «Страна Советов» называется. Почти как у Опёнкина — «Власть Советов». Но по хозяйству ничего похожего! Когда посылали меня, то уговаривали: «Учти, товарищ Борзов, очень перспективный колхоз! Сколько земли, какие угодья!» Что ж, перспективы-то есть, а больше пока ничего. Одни перспективы только и принял от старого председателя. С чего начинать, за что хватиться — не придумаю. Нет зацепки, ни одна отрасль не даёт такого дохода, чтобы вот сегодня уже можно было за её счёт сделать оборот в хозяйстве. Ты не рыбак? Не приходилось тебе руками в речке налимов ловить? Нащупаешь его, а он голый, без чешуи, слизь на нём, схватишь рукой — выскальзывает. За что его тащить?

— За жабры, я думаю, — сказал Мартынов.

— Да, за жабры! А голова под корягой! Нет, и ты не сможешь мне ничего дельного посоветовать. Я хочу к Демьяну Богатому съездить, вот тот чему-нибудь научит... Я думал было, Пётр Илларионыч, как принял колхоз, сразу сделать целый переворот в хозяйстве. Колхоз наш под самой Борисовкой, в двух километрах железная дорога, большой узел, в разные концы идут поезда. И автотрасса через Борисовку проходит. Богатейшие условия для сбыта продукции, надо, стало быть, и хозяйство перестраивать под эти условия. Я говорил у нас в райкоме и сюда приезжал, в сельхозотдел, ещё в феврале: «Помогите нам оборудовать теплицы, дайте на них кредит и материалы, подкните нам две автомашины и снимите с нас часть зерновых и технических культур — и я за год сделаю колхоз трижды миллионером! Вот вы рассовали по всему району огородные культуры, в дальних колхозах люди от них отказываются, потому что не смогут довести до ума урожай, — дайте нам эту площадь. Наш колхоз нужно сделать именно огородным. Овощи, ягоды, сад молодой насадить. А первые годы в саду по междурядьям можно опять же разводить клубнику, картошку сажать. Огород, сад и животноводство — вот на что нам нужно напирать в наших условиях. Но животноводство сразу не поднимешь, на фермах у нас нет ни построек хороших, ни племенного поголовья, туда надо ещё вложить много средств, пока дождёшься хорошей продукции. Огород скорее даст нам доход. В этом году я нажму всеми силами на огород, а с будущего года начнём поднимать и животноводство». Вот такой у меня был план. Так разве же с нашим секретарём райкома можно сделать дело? Ох, и секретарь у нас, товарищ Гусев, — дуб дубом! «А куда мы денем ту пшеницу и сахсвёклу, если вам урезать план? Это же обязательные культуры, сокращать их мы не имеем права». — «Да вот и добавьте их в те колхозы, где невыгодно заниматься овощами. Или, в крайнем случае, поставьте вопрос перед областью, что в таких-то пригородных колхозах действительно нужно сократить несколько площадь зерновых, и доказывайте, что это будет только на пользу делу!» — «Нет, я такую миссию на себя не возьму». Вот тебе и свободное планирование!..

Борзов вынул из кармана пачку «Казбека», угостил Мартынова, сам взял папиросу. Закурили.

— Чего посмотрел так на мои папирасы? Человек я одинокий, зарплату председательской хватает, какие в райкоме, бывало, курил, такие курю и в колхозе. В моём положении самое главное — не опускаться!.. Да, планирование! — продолжал Борзов. — Дал нам крылья, машем, машем мы ими, а взлететь не можем. Столько грузу ещё на ногах, этого бюрократизма проклятого!.. Ты меня, Пётр Илларионыч, знаешь, энергии у меня хватает, без дела сидеть не люблю. Послали меня в колхоз — так дайте

же мне возможность развернуться там по-настоящему! Если и мне, как моему предшественнику, считать там эти несчастные копейки и граммы, по пятнадцать яиц от курицы-несушки в год собирать — я же от скуки подохну! Нет, куда ни кинешься — того нельзя, то не разрешается, то надо ещё согласовать. Вот третий раз уже приезжаю сюда насчёт локобиля. Стоит у нас в колхозе государственный локобиль с той самой оросительной сети, что недостроили. Кое-какие части уже сняли, ржавчина его ест, но ещё можно наладить его и пустить в ход. Прошу: дайте нам этот локобиль, торфу у нас неисчерпаемые запасы, есть жерновой постав — оборудуем мельницу, и своим колхозникам нужно зерно молотить, и со стороны, может, хоть какую тысячу рублей подзаработаем. Нет. Никто не решается сказать мне одно-единственное слово: «Бери». Пусть лучше совсем погибнет машина, чем разрешить использовать её не по назначению. А со снабжением что у нас делается? Я считаю, Пётр Илларионыч, вот это у нас ещё неправильно делается — подачи какие-то, а не снабжение! Приезжает товарищ Крылов в колхоз, и если его там настойчиво попросят, то даёт, как бы из милости, столько-то сотен листов шифера или автомашину. Значит, выезжает он в колхозы и везёт с собой в портфеле какие-то резервы для раздачи нуждающимся — в память о посещении колхоза первым секретарём обкома партии. Нехорошо это, некрасиво! Это же не система. А как быть тем колхозам, которые он не посетил? Вот у нас он не был ни разу и ещё, может, пять лет не приедет. Как же нам жить? Чем нам крыть коровники? На чём хлеб возить в поставку?..

Разговор перекинулся на воспоминания.

— Ну, что там сейчас в Троицке? Как Руденко в колхозе работает? Как Глов, Грибов, Нечипуренко?

Мартынов рассказал.

— Эх, Пётр Илларионыч, — махнул рукой Борзов, — как повидал я других секретарей райкомов, да сам под их начальством походил, да вот теперь в колхозе поработал — ей-богу, я не самым плохим был секретарём! На меня стучали кулаками, и я стучал; на меня давили, и я давил. А насчёт планов мы все тогда были так воспитаны: выполняй и не рассуждай, что из этого получится! Помню, ещё в Лужниковском районе составил я хлебофуражный баланс, и налетел на меня один бо-ольшой представитель! «Что-о? Балансами занимаетесь? Кто вам разрешил это делать? Для свиней зерно оставляете! Собираетесь свиней хлебом кормить? Ячмень — это тот же хлеб! Вы кто — дурак или вредитель?» Конечно, когда перед тобой так ставится вопрос, то скорее согласишься признать себя дураком. А как без зерна сало получить? Чем же кормить свиней, если всерьёз заниматься животноводством? Соломой? Вот как оно было. Думаешь, у меня не болело сердце, когда иной раз заставлял колхоз чистосортные семена вывозить в хлебопоставку?.. Я вот читаю сейчас в журналах: в некоторых морях у нас повыловили рыбу до мальков. Это ещё похуже, знаешь, чем колхоз оставить без хлеба на трудодни. Тут всё же с урожаем дело связано, со стихиями, а там ни град, ни засуха не мешают рыбе плодиться. Не надо ни пахать, ни сеять, сумей только сберечь то, что сама природа тебе даёт.

— Всё же со мной как-то нелепо получилось, — продолжал Борзов. — Вроде как бы в бою, при атаке поскользнулся и сломал ногу. Не от пули, не от осколка получил ранение, а от собственной неосторожности. Если б не этот дурацкий случай с Мухиным — что бы я, не работал сейчас секретарём райкома? Хуже Гусева бы работал? Не смог бы перестроиться?..

Но это Мартынову было уже неинтересно слушать, и он стал прощаться.

— Вижу по костылю, — задержав его руку в своей, сказал Борзов, — что ты недавно из больницы выписался. Слышал, слышал, какой с тобой

был случай, как ты чуть не угробился. Ну и как теперь? Куда после больницы? На старое место?

— Вероятно, пошлют в другой район, — ответил, помолчав, Мартынов.

— Да? В другой район? Есть такая намётка?.. А Марья Сергеевна как? — совсем некстати спросил Борзов.

— Её, пожалуй, назначат директором Надеждинской МТС.

— Ну-у?.. Вот не ожидал от своей бывшей супруги таких талантов! А справится?

— Ей за это время там было у кого поучиться работать. Ты не знаешь его, Долгушина. Без тебя уже прислали его к нам директором МТС.

— А его что же, переводят куда?

— Да так, в общем, кое-что намечается, — неопределённо ответил Мартынов.

— Слушай, Пётр Илларионыч, дело прошлое, — сказал Борзов, — я тебе должен по-честному признаться: плохое думал про тебя и про Марью Сергеевну. Собственно, насчёт того, что она к тебе равнодушна, я не ошибался, да она и сама это мне сказала. Но я думал, что и ты имеешь на неё виды... Теперь я вижу, что зря тебя подозревал. Рассказывали мне троицкие товарищи, с которыми приходилось встречаться, что ничего такого между вами нет... Я тебя прошу: скажи ей, пожалуйста, что я приеду к ней на той неделе. Возьму отпуск дня на два. Если не захочет, чтоб у неё жил, я в Надеждинке где-нибудь на квартире перебуду, у меня там есть знакомые. Очень соскучился по ребятам, хочется их повидать!.. Если б ты уговорил её, чтоб она отдала мне Мишутку!

— Передам ей всё, что ты мне рассказал, Виктор Семёныч, но не ручаюсь, что уговорю её. Дело такое, сам понимаешь, тут не предложишь и не обяжешь.

— Хоть бы мне договориться с нею так, чтоб какое-то время ребята у неё жили, а потом я бы забирал их к себе пожить... Тоже не выход из положения. Два дома будет у них. Да и некому у меня за ними присматривать. Я же сейчас один, как перст. Нина с прошлого года в институте в Ленинграде... К пятидесяти годам дело идёт, а жизнь расклеилась. Подурачки как-то всё вышло. Страшно подумать, что же будет, когда вырастут дети? Неужели станем чужими друг другу?.. А эта Тамара, борисовская моя, большой дрянью оказалась. Вдруг завелись в доме такие разговоры, каких от Маши я никогда не слышал. «Ты же председатель райисполкома! Какой же ты хозяин района, если не можешь жену за счёт собеса на курорт послать?» Или: «Бывшему председателю Рындину всегда под Первое мая и под Октябрьскую годовщину по две корзины продуктов приносили из «Гастронома» на дом, и бесплатно. А ты за всё деньги платишь!» — «Нет, говорю, голубушка! Борзов во многом, может, виноват перед партией, но в одном не виноват: никогда не залезал в государственный карман!» Прогнал я её.

Впервые за несколько лет знакомства с Борзовым Мартынову захотелось сказать ему что-то тёплое, сочувственное, но слов не нашлось, и он лишь крепко пожал ему руку.

В одиннадцатом часу вечера Крылов позвонил Мартынову в гостиницу и позвал его в обком.

— Вот ты, товарищ Мартынов, кажется, невысокого мнения о товарище Масленикове, а он сегодня неплохую штуку придумал, — начал Крылов. — Когда я ему рассказал о твоей увсеренности, что если поставить на выборах две кандидатуры, твою и Долгушина, то коммунисты изберут секретарём райкома Долгушина, а не тебя, он предложил так и сделать. «Что ж, — говорит, — можно в порядке пробы порекомендовать пленуму райкома две кандидатуры. Пусть сами выбирают, кто им больше нравится». Как? По-моему, умён. — Крылов бросил на Мартынова быст-

рый, колючий взгляд. — Это чтобы ты уехал из района с аттестацией забаллотированного секретаря.

Мартынов хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, чтобы скрыть смущение, низко нагнулся над столом. Крылов расхохотался.

— Это он тебе в отместку за сегодняшний разговор! Видимо, всё же тебя он не любит ещё больше, чем Долгушина. Ладно, не волнуйся, мы, конечно, на это дело не пойдём. Но видишь, как оно получается, дорогой Пётр Илларионович! — с лукавством в голосе сказал Крылов. — Значит, обком должен всё-таки руководить выборами секретаря райкома? Не пускать их на самотёк? Должен как-то направить выборы, чтобы не получилось такого нежелательного ни для тебя, ни для нас казуса? А? А то ведь кто поймёт впоследствии твои честнейшие, возможно, побуждения? Всю эту романтику в учётную карточку не занесёшь, там будет лишь два слова: «Не избран», и всё!..

Дальше разговор продолжался стоя и на ходу. Крылову надоело за целый день сидеть — он, отодвинув кресло, вышел из-за стола. Встал и Мартынов.

— Хорошо. Предположим, Долгушин действительно обладает всеми качествами для того, чтобы его избрать секретарём райкома в Троицке..

— Вы, Алексей Петрович, познакомьтесь с ним лично. Не верьте рассказам Масленикова. Поговорите сами с ним. Вначале он вам, возможно, не понравится. Он резок, не старается угодить начальству, может отпустить вам даже какую-то колкость, но вы не поддавайтесь первому впечатлению, переступите через это неприятное и доберитесь до его человеческой сути!

— Да этому я уже научился в разговорах с тобой!.. Так вот, если Долгушин — секретарь райкома, то как другие кадры расставим? Продумал?.. Ты куда?

— Продумал. Могу пойти директором МТС, на его место. Хозяйственная работа мне знакома, я же был и председателем колхоза. Да и работая в райкоме, от хозяйства не отрывался.

— А если не тебя директором? Тогда кого?

— Тогда есть там хорошая коммунистка, Борзова Марья Сергеевна. Работает сейчас в Надеждинской МТС секретарём парторганизации.

— Слышал о ней.

— Справится, Алексей Петрович! Не знаю только, как у неё с дипломами. Она закончила вечернюю среднюю школу и больше не училась, технического образования не имеет. Но у неё большая практика. Она из трактористок. И Долгушин останется ведь в районе, он будет ей помогать. Он умеет помогать людям. Справится — это я даже не то слово сказал. Я предлагаю её кандидатуру не потому, что больше некого. Уверен, что из Борзовой выйдет хороший директор МТС.

— Так... Ну, а тебя всё же куда? Ты вообще сам-то как, считаешь себя «специалистом» по партийной работе?

— Нет. В анкетах пишу: журналист... Но партийную работу я люблю.

— Ты не шутил насчёт Грязновки? У нас ведь там с секретарём худо!

— Не шутил.

— Район запущенный, но должен тебе сказать — очень перспективный!

Мартынов вспомнил, как Борзов принимал в колхозе от старого председателя «одни перспективы», и улыбнулся.

— Чего смеёшься? Район этот может стать самым богатым в области! Нигде ведь нет столько земли, как в грязновских колхозах. Ни дерева, правда, ни кустика, голая степь, но зато какие посевные площади! Тебе же не пейзажи нужны, а хлеб! Сейчас там эти излишки земли даже как-то угнетают колхозы, нет сил у них хорошо обрабатывать поля. Но если по-настоящему механизировать полеводство!.. Подкинем техники, да разумно

её использовать — и этот район станет житницей нашей области! А сколько там можно выкармливать свиней, какие условия для молочного животноводства!..

— Если я попаду в Грязновку, — сказал Мартынов, — знаете, Алексей Петрович, с чего я там начну?

— С чего?

— Пошлю в Верховный Совет ходатайство о переименовании районного центра и района. Невозможно работать хорошо, когда у района такое название. Грязновка, Шелапутино, Облупихино — в таких сёлах одно название уже унижает как-то людей!

— Да, район надо бы переименовать... Но не будет ли это, Пётр Илларионович, противно твоим же принципам, — в глазах Крылова появились опять лукавые блёстки, — что тебя, как «специалиста по партийной работе», представитель обкома повезёт в Грязновку рекомендовать в секретари райкома? А? Что же, у них там нет своих людей? Где же тут «свободные выборы»? Ага! Молчишь! Сам запутался в своих принципах?.. Ну, я помогу тебе выпутаться. Видишь ли, товарищ Мартынов, не то плохо, что обком рекомендует партийной организации в секретари такого-то человека. Рекомендовать надо, на то мы и руководящий партийный орган. Всё дело в том, как рекомендовать! Надо именно рекомендовать, а не навязывать. Вот обком предлагает вашему вниманию такую-то кандидатуру, а там — обсуждайте, решайте, может быть, у вас есть на примете и более достойный человек. Давайте ваши соображения, поговорим, взвесим все обстоятельства. Так надо, а не нажимать, как нажимали иной раз районные уполномоченные на собрания колхозников, когда привозили им из района нового председателя: на измор брали, по десяти раз заставляли переголосовывать... В Грязновку я сам тебя повезу. Не ката в мешке привезу, а расскажу коммунистам о тебе всё, что знаю. Что ты за человек, как работал в Троицке, почему меняешь место работы, какие у тебя положительные качества, какие недостатки. Нажимать не буду! Понравишься — выберут. Не понравится — повезу назад. Так, что ли?

Мартынов молча кивнул головой.

— Ну, а ещё с чего бы ты начал там, кроме переименования района?

— Я не знаю ещё района, Алексей Петрович, его особенностей... С людей начну. С колхозных партийных организаций. С актива. Буду искать актив настоящий, которому колхозное дело дорого, как своя собственная жизнь. Будем принимать таких людей в партию — по мзоям на руках, а не на языке. Без рядовых коммунистов колхозные массы мы не поднимем, значит надо начинать с коммунистов... Думаю, что на новом месте буду работать лучше. Меня жизнь многому научила в Троицке. Об одну и ту же кочку дважды не споткнусь.

— Не считай, что всё уже решено, — предупредил Мартынова, прощаясь с ним, Крылов. — Я как бы примериваю, что и как может получиться из твоих предложений, но ещё не отрезал. Этот разговор пока что между нами. Никому ничего не рассказывай. Посоветуемся ещё здесь на бюро. Поезжай домой и работай так, как будто никаких и намёков на твоё перемещение в другой район не было и тебе предстоит трудиться в Троицке до окончания века... Медведев, если бслен и отлёживается дома после выговора, пусть отлёживается. Не тревожь его до самой конференции. Времени немного уже осталось. Ты ведь не очень скучаешь без него в райкоме?

— Не очень... А вы, Алексей Петрович, всё же прочитайте мои маниловские мечты о красивой жизни.

— Обиделся? Ладно, прочитаю.

— Секретарь райкома не чудотворец, и того, что сверх его сил или на

что не хватает его прав, он сделать не может. Требуйте с нас, но и помогите нам. Перед нами ещё целая гора вопросов, которых мы сами не можем решить.

В летнюю пору Мартынов редко когда оставался дома в воскресенье. В этот день не было никаких заседаний, в райкоме его не ждали посетители, и он обычно с утра уезжал в колхозы. Но в первое после возвращения из обкома воскресенье он никуда не поехал и предложил Надежде Кирилловне погулять весь день по окрестностям Троицка. Костыль он уже заменил палкой и ходил, лишь слегка опираясь на неё. Врачи разрешили прогулки — с отдыхом, не переутомляясь.

Взяв бутербродов и воды на дорогу, пошли за город в поле, к верховьям Бутова лога. По рассказам Димки, уехавшего на всё лето в пионерский лагерь, Мартынов знал, что это очень красивое место, но сам ещё не был там ни разу.

Пыльный грейдер, изогнувшись буквой «с», поднимался на бугор. По обеим сторонам дороги расстилались неровные, холмистые поля пшеницы, которая уже колосилась, зацветавшей гречихи, низкорослого, но густого, как щётка, проса. Туман, застилавший небо после вчерашнего дождя, разошёлся, солнце припекало. В просе выстукивали своё «пить-пойдём» перепёлки. В голубом небе парил, чуть пошевеливая крыльями, неизбежный в степном пейзаже ястреб.

— Ничего хорошего здесь не вижу, — сказала Надежда Кирилловна, вытряхивая из босоножки щебень. — Голая степь. Не туда мы пошли. Надо было идти на луг, к речке или в рошу.

— Погоди, дойдём до хорошего. Димка говорил: тут такие каньоны, как на реке Колорадо в Америке! Будто он там был!

Мартынов остановился у километрового столба с цифрой «2».

— Ну вот, он говорил: от этого столба смотрите вправо. Посмотрим, что же там вправо? Вон на гречихе какие-то кустики. Нет, то не кустики, то верхушки деревьев. Смотри, Надя! Будто из земли торчат верхушки берёз. Вот там, вероятно, и начинается лог.

Пошли напрямик через гречиху. И вдруг, когда уже кончилось обработанное поле и они прошли ещё метров тридцать по траве, перед ними у самых ног неожиданно открылась пропасть. Надежда Кирилловна даже чуть попятилась назад.

— Вот это да-а! — отводя руку в сторону, как бы удерживая Надежду Кирилловну, чтобы она не подходила к краю обрыва, сказал Мартынов. — Действительно Колорадо! Кто бы мог подумать, что, идя по степи, можно здесь наткнуться на такую штуку!

Надежда Кирилловна уже не скучала от унылого однообразия степного пейзажа, а во все глаза любовалась открывшейся перед ними картиной. В земле зияло прорытое за много лет снеговыми и дождевыми водами глубокое ущелье, которое, если смотреть снизу, со дна, показалось бы, пожалуй, не менее мрачным, чем Дарьяльское. Не хватало только Терека. Дно ущелья было сухое, и на склонах его росли кустарники, изредка берёзы, дубки. От главного русла расходились в стороны извилинами отроги. Это было начало, верховье каньона. Дальше, вниз к реке, ущелье раздвигалось, переходило в широкий лог.

— Красиво, но страшно, — сказала Надежда Кирилловна. — Вот что делает с землёй вода! Сколько разрушила она здесь пашни!

Прошли дальше краем обрыва, ища спуска вниз. Тут уже и грейдер, от которого они удалились недалеко, достигал перевала. С бугра открывался вид километров на двадцать в окружности — холмистые поля, деревни, перелески.

— Между прочим, Петя, мы находимся сейчас на самой высокой точке Средне-Русской возвышенности. — Надежда Кирилловна повернула Мар-

тынова лицом к вышке на перевале.— Вон знак. Чтоб было тебе известно. Это мне топограф один сказал.

— Замечательное место! — согласился Мартынов.— Название-то какое: «Средне-Русская возвышенность»!..

В той стороне, откуда они пришли, пониже того места, где они сейчас стояли, на берегу реки Сейма, в редкой зелени садов, поблёскивая на солнце золочёными крестами колоколен, лежал небольшой русский городок Троицк. С разным чувством смотрели они на него. Надежда Кирилловна ещё ничего не знала и просто любовалась красивым видом. А Мартынов прощался с этим земным уголком, ставшим ему за четыре года до боли родным.

— Не так самый город наш хорош, как его окрестности,— сказала Надежда Кирилловна.— Правда, чудные окрестности? На любой вкус! Кто хочет в поле, передёлок послушать,— иди вот так, как мы вышли. А на запад пойдёшь — вон луг зелёный. А по ту сторону Сейма — роща, дубы столетние. Весной грачи там кричат с утра до ночи, когда гнёзда делают. Некоторым не нравится, как грачи кричат, даже разоряют гнёзда возле дома на деревьях, а я так люблю их слушать!.. До чего же хороша наша русская природа! Скромная такая, не навязчивая. Хочешь — любуйся, если понимаешь настоящую красоту, не понимаешь — ступай мимо. Помню я, девочкой ещё первый раз уехала далеко из дому с отцом на Чёрное море. Два месяца мы там жили. Сначала очень нравилось мне всё — и море, и цветы, и лес тамошний, пальмы, магнолии, тиссы. А потом так надоело! И в тот же день, как вернулись мы домой, побежала я в наш лес. Хотя у нас уже и осень была, похолодало, с берёзок уже листья опали и дождь шёл в тот день, а я всё же в лес убежала и долго там сидела под дубом, слушала, как дождь шумит в листьях...

Прошли ещё немного вверх, нашли пологий спуск на дно оврага. Здесь было прохладно и сыро. В некоторые глубокие узкие отроги ущелья никогда не заглядывало солнце, и сейчас, в начале июля, когда всё давно уже покрылось зеленью, дубки и берёзы убрались в полную листву и земля поросла травой, здесь всё ещё пахло ледяной сыростью. Мартынов нашёл в одном таком тёмном, сказочно-таинственном ущелье лисью нору. Попробовали выкурить зверей дымом — ничего не вышло: дым не тянуло в нору. Пошли дном оврага вниз, к реке, где лог становился всё шире, склоны его раздвигались, посветлело вокруг, повеяло опять полевым простором. Из высокого бурьяна невдалеке от тропинки взлетела стая куропаток, сильно напугавших Надежду Кирилловну резким шумом крыльев.

— А чтоб вас лисица съела! — закричала она, швырнув им вслед камень.

У Сейма, в Стрелецкой Слободке, попросили у одного рыбака лодку. Поплавали по реке, переправились на тот берег, в дубовую рощу. Там Мартынов развёл на полянке костёр. Жарили хлеб с колбасой, пекли на угольях маленьких рыбок, которых Мартынов наловил «авоськой» в пересыхавшем заливчике Сейма. Надежда Кирилловна пошла по лесу собирать землянику и грибы, а Мартынов натаскал веток, устроил себе ложе под деревом в тени и подремал там часок.

— Да, хорошо здесь, слов нет! — сказал он, вздохнув, когда Надежда Кирилловна, вернувшись, села возле него на ветки и протянула ему на ладони несколько ягод земляники.— Значит, ты, Надя, степь не любишь?

— А что хорошего в степи? Пустота, и всё.

— Ну, это как сказать! Одному представляется, что степь — это пустота, а другой видит в ней простор, наслаждается её далями. На эту тему можно провести целую учёную дискуссию: что такое степь — пустота или простор.

— Нет, такая природа, как здесь, куда лучше! И леса есть, и озёра, и степь, и всего в меру, ничто не надоест. Отдыхать ты только не умеешь.



За сколько времени выбрались с тобой погулять! Всё в колхозы и в колхозы ездишь. Завёл бы себе лодку, ружьё, выехал бы иногда в воскресенье на речку, нас бы с Димкой взял с собой. Можно даже моторчик приспособить к лодке. У нас в «Динамо» сейчас продаётся такой подвесной моторчик.

— Теперь уж не к чему заводить лодку,— вырвалось у Мартынова.

— Почему?..

— Поедем, кажется, Надя, с тобой в такой район, где ни леса, ни речки хорошей нет. Одни голые степи.

— Опять поедем?..— горестно воскликнула Надежда Кирилловна.

— Опять. Собирай свои коврики, картинки, укладывай вещички в чемоданы...

И Мартынов рассказал ей всё. Долго рассказывал. И как он присматривался к Долгушину ещё до больницы, и что узнавал о нём от людей. лёжа там, и как он ездил вот недавно с ним по колхозам, и какое он вдруг принял решение, когда убедился, что ему не учить Долгушина, а учиться надо у него, как работать с людьми.

— В зоне МТС двенадцать колхозов, а в районе — тридцать. Как я могу оставаться здесь секретарём райкома, когда вижу, что, если уж на то пошло, мне надо быть в МТС, а ему — в райкоме! Пойми, Надя, что это очень важно в нашей жизни — чтобы человек занимал место по своим способностям. Пожалуй, самое важное!..

Рассказал подробно о поездке в обком, о разговоре с Маслениковым и Крыловым, о встрече с Борзовым. Надежда Кирилловна слушала его, понурив голову, перебирая в подоле платья цветы,— то отбирала ромашки от васильков и колокольчиков, то смешивала их опять, то откладывала в сторону одни колокольчики.

— Что же ты молчишь, Надя? — спросил Мартынов.

— Я думаю, что немногие на твоём месте поступили бы так...

— Но надо же кому-то поступать и так!.. Ну, скажи, правильно я сделал? — Он приподнялся, сел, согнув ноги в коленках.

Надежда Кирилловна вздохнула.

— Хоть бы уж куда-нибудь в другое место, не в эту Грязновку!..

— Да, тяжёлый район. И районный центр похуже Троицка, не город — село. Но это же в наших руках — сделать район хорошим. А?

Надежда Кирилловна положила руку на плечо Мартынову, повернула его лицом к себе, долго, пристально, серьёзно смотрела ему в глаза.

— Сколько в тебе ещё сил, Пётр! Ты, вероятно, никогда не устанешь. Ты совсем не меняешься. У тебя та же душа, что и была, когда я впервые тебя узнала... Но почему ты не сказал мне этого, когда ехал в обком? Зачем скрыл? Я бы не стала тебя отговаривать. Живи и делай всё так, как тебе велит твоя совесть.

Солнце перевалило уже далеко за полдень. На западе поднялись тучи. Надежда Кирилловна отогнала лодку к Стрелецкой Слободке, причалила её на место, отнесла весло хозяину и вернулась обратно вплавь, держа в одной руке над головой свёрнутое платье. Мартынов совсем не умел плавать. Решили идти домой другой дорогой — этой стороной Сейма, через луг, ещё через одну рощу и через понтонный мост, уже под самым городом.

На лугу было тоже хорошо. Траву уже скосили и просохшее сено сложили в копны. По густоте копён видно было, что трава здесь стояла ещё недавно по пояс. Но Надежда Кирилловна уже не обращала внимания на запахи свежескошенного сена и не нагибалась к земле, чтобы рассмотреть поближе какое-то прошелестевшее под ногами живое существо. Шли молча, погружённые каждый в свои мысли. У одной копны она вдруг приостановилась и жалобно спросила:

— А мой сад?

— Я думал, Надя, и о твоём саде,—ответил Мартынов.—Что же, ты своё дело сделала, посадила сад, теперь он будет расти и без тебя. Ты же не для себя его сажала—для людей. И там тебе найдётся работа. Вот там-то, в степях, и сажать сады! Заложим в каком-нибудь колхозе такие питомники, чтоб стали базой для разведения садов по всему району! Там я тебе задам задачку потруднее, не заскучаешь!..

Когда подошли к понтонному мосту, уже за вечерело. Солнце давно скрылось за тучи. Темнело, как будто оно уже совсем зашло. Но на реке было ещё много гуляющих. Рыбаки ловили с моста рыбу, свесив ноги над водой. Ребята ещё купались на пляже. На лодочной станции дежурный сзывал в рупор заплывшие за излучину реки шлюпки.

Мартынов и Надежда Кирилловна присели на перевёрнутую рыбацью лодку-плоскодонку у самой воды.

Быстро темнело. Набежал тучевой ветер, старая дубовая роща за их спиной угрюмо зашумела. Тяжёлая чёрная туча, надвинувшись с запада, закрыла полнеба. Вода в реке в той стороне, под тучей, была как дёготь. Послышались мерные, тяжкие вздохи дизеля на электростанции. В городе за рекой загорались огоньки—от нижних улиц и до вершины холма, застроенного маленькими одноэтажными домиками.

И когда стало уже совсем темно, почти как ночью, в тучах на западе, над самым горизонтом, вдруг прорезалось небольшое окно, и солнце, которое, оказалось, ещё не зашло, огромное красное солнце ударило в эту прорезь кинжальными лучами, низко, над самой землёй. На минуту всё вспыхнуло вокруг. Ночь отступила. На воде, на верхушках деревьев, на крышах домов в городе заиграли огненные блики. Тень от причального столба у лодочной станции протянулась через полреки. Птицы в роще откликнулись на появление солнца весёлым щебетаньем. В противоположной, чистой стороне неба одинокое белое облачко зарозовело, как на утренней заре.

— Солнце! Какое большое! Ой, как красиво!—воскликнула восхищённо Надежда Кирилловна. И заплакала...

Мартынов молчал. Он сам залюбовался закатом и не знал, чем утешить жену.

— Но ведь ещё нет решения, Надя. Или, может, не выберут меня там, в Грязновке. Ещё ничего не известно, как оно будет, — сказал он. — Не плачь.

— Неизвестно? — Надежда Кирилловна повернулась к нему. — А хочешь знать, как будет? Давай погадаю! — Она уже шутила сквозь слёзы. Солнце уже зашло, на этот раз окончательно, опять потемнело, на руке Мартынова ничего не было видно, да она и не смотрела на руку, смотрела ему в лицо, качая головой, улыбаясь.— Хороший, красивый, счастливый, давай погадаю! Позолоти, дорогой, позолоти! Цыганка всю правду скажет. Хожу я по залесью утренней росой, собираю травы зельные, варю травы зельные во медяном котле,—заговорила она нараспев.— Выйду во чисто поле, стану на восток лицом, на запад спиной. Давай, золотой, бриллиантовый, погадаю! Для дома, для дела, для сердца — всю правду скажу. Счастливый ты, в рубашке родился. Жить будешь долго, до самой смерти. Жена тебя любит, дети, внуки любить будут. А на недругов твоих болячка нападёт. А будет у тебя скоро ещё разговор в большом доме, а после того большого дома будет тебе дальняя дорога!

— Не миновать, значит?—засмеялся Мартынов.

— Не миновать, золотой! Дал бог тебе ума, не дал разума. Богатым не будешь, профессором не будешь, академиком не будешь, всю жизнь будет тебе дальняя дорога!..

— Вот и хорошо! Дорога. Всегда в дороге, вперёд...

В воде на мелкой волне дрожали огни—отражение города. Два детских

голоса перекликались на том берегу, один слышался у самой воды, другой отвечал откуда-то уже с горы.

— Миша-а! Ты взял мою сандалию-ю?..

— Не бра-ал! Смотри там, где раздева-ались!..

— А где твой кука-ан, Миша-а?..

— Зачем он тебе? Там одни ёршики, ма-аленькие!..

— Я ко-ошке нашей хотел отнести-и!

— Ищи там, под ракито-ой!

— Там темно, бою-юсь!..

Зыбь на реке развело в небольшую волну, вода плескалась о берег. Ниже по Сейму, по железнодорожному мосту, прогремел с протяжным гудком скорый поезд. Из Слободки доносило ветром пиликанье гармошки и песню—молодёжь гуляла. Девчата пели, как частушки, песню про лодырей-мужиков: «Мы в полях, мы у машины, им поспать бы да поесть! Да какие ж то мужчины? Бабы—вот они и есть». Прошёл, сверкая освещёнными окнами, автобус со станции, везя в Троицк приехавших домой на каникулы студентов и командировочных. Вслед за ним и Мартынов с Надеждой Кирилловной пошли по мосту в город. На понтоне сидел, не боясь надвигавшегося дождя, накрывшись плащом, какой-то рыбак-ночник и время от времени посвечивал карманным фонариком, обводил лучом прыгавшие на неспокойной воде поплавки.



---

# ИЗ ДАГЕСТАНСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИКИ

## *Старые песни*

\* \* \*

### *Аварская*

Я на тебя работал,  
От пота кожа горела.  
Я на тебя работал,  
Тело моё болело.  
Я одёжки трепал свои,  
Я лепёшки жевал свои,  
Я всем тебе угодил,  
А чем ты мне заплатил?

Я работал три года длинных,  
Я не видел ни ночи, ни дня.  
Ты, хозяин, яйцом петушиным  
За труды наградил меня.

## У КУПЦА В МАГАЗИНЕ

### *Аварская*

У купца в магазине  
Дорогую бутылку  
Даже тем, кто не купит,  
Поглядеть разрешают.

И в саду богатея  
На чудесную розу  
Даже бедным проходим  
Поглядеть разрешают.

И добром не владеть мне,  
И цветка не сорвать мне.  
Почему ж и глядеть мне  
На тебя запрещают?

## УХОДЯЩЕМУ

### *Даргинская*

Уходящий, уходи,  
Только оглянись назад —  
Погляди на то, что ты  
Оставляешь навсегда.

Уходящий, уходи,  
 Но скажи в последний раз  
 Слово доброе тому,  
 С кем расстаться ты решил.

### ЕСЛИ, ПАРЕНЬ, СОКОЛА...

*Кумыкская*

Если, парень, сокола  
 Пустишь в облака,  
 Если пустишь сокола,  
 Пускай на гусака.

Если, парень, женишься,  
 Чёрт тебя дери,  
 Если, парень, женишься,  
 Красавицу бери.

Чем чадить да мучиться,  
 Лучше уж сгори.  
 Если смерть назначена,  
 То от ран умри!

Чем прийти нетронутым  
 Трусом-подлецом,  
 Воротись на родину  
 Мёртвым храбрецом.

### ТЫ БЫЛ

*Кумыкская*

Ты был горою —  
 Моей твердыней,  
 Ты был рекою,  
 Рекою синей.  
 Гора осела —  
 Низиной стала.  
 Река обмелела —  
 Трясиной стала.

### ТРУСЫ

*Кумыкская*

Кругом тишина —  
 Трусы шумят.  
 Грохочет война —  
 Трусы молчат.  
 Свадьба идёт —  
 Трусы вперёд.  
 Кличут поход —  
 Трусы назад.

Пьют да едят —  
 Трусы красны.  
 Стрелы летят —  
 Трусы бледны.  
 Трус говорит:  
 Я, мол, герой.  
 Битва гремит —  
 Он за горой.  
 Кругом тишина —  
 Трусы шумят.  
 Грохочет война —  
 Трусы молчат.

### ТРУДНО ЛИ БЫТЬ МУЖЧИНОЙ?

*Лакская*

Нынче всякий говорит:  
 «Я мужчина, я джигит!»  
 Очень просто слыть мужчиной,  
 Очень трудно быть мужчиной.

Дело вовсе не в названье.  
 Нету мужества в крови —  
 Ты мужчиною не станешь,  
 Как себя ни назови.

Шли проклятия судьбе —  
 Нету мужества в тебе,  
 А купить его едва ли  
 Можно и за сто рублей...

И не приварю я стали  
 К войлочной душе твоей.

\* \* \*

*Лакская*

И сад орошает дождём проливным,  
 И скалы, хотя не нужна им вода...

Приходит любовь к тем, кто будет любим,  
 И к тем, кто не будет любим никогда.  
 И к тем, кто не будет любим никогда.

*Переводы Н. Гребнева.*



---

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

★

## В ПРИГОРОДНОМ ПОЕЗДЕ

Под колёсами у поезда,  
Чуть дрожа, поют мосты.  
Достают ему до пояса  
Придорожные кусты.

И, на странников похожие,  
Скрыты ранней полутьмой,  
Как индейцы, краснокожие,  
Едут мальчики домой.

За день стоптанные тапочки  
Исходили весь район.  
На двухместной тесной лавочке  
Уместились все втроём.

Разговор в дороге начали.  
Двое вспомнили отцов.  
Как с отцами в ночь рыбачили,  
Щук ловили на живцов.

Да, с отцами дело ладится...  
За окном поля рябят.  
Тихо пригородный катится,  
Словно слушает ребят.

Рассуждают два приятеля.  
Только третий тих сейчас.  
Он их слушает внимательно,  
Молча к стенке прислонясь.

Утомился, что ли, к вечеру,  
Что молчит он без конца?  
Нет! Сказать мальчишке нечего:  
У него ведь нет отца.

На войне от пули недруга  
Не погиб его отец.  
Не скончался он от недуга,  
Сдавшись смерти наконец.

Но мальчишка помнит издавна,  
Как отец ненастным днём  
Вдруг ушёл навечно из дому,  
Не подумавши о нём.

Хорошо с отцом, наверное,  
На рыбалку ночью плыть.  
Хорошо с отцом, наверное,  
В зимний день дрова пилить,

Как со старшим другом, попросту  
У огня сидеть вдвоём.

Но не стоит думать попусту:  
Позабыл отец о нём.

Как с бедой такую справиться?..  
Смолкли шумные друзья.  
Паровозу мчаться нравится,  
Да устал, быстрее нельзя.

Ночь проходит тёмной тучею  
Над рдеющим леском.  
В темноте слезу колючую  
Вытер мальчик кулаком.





# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

## В КИТАЕ\*

*Между похожим и непохожим.*

**О**коло ста лет назад на хуторе Синдоутан, в провинции Хунань, в уезде Сянтань, жила бедная крестьянская семья. Синдоутан — значит звёзды и пруд. Тяжело и трудно жилось около ста лет назад в провинции Хунань. Смотреть на звёзды не было времени. Но всё же, видно, поглядывала на звёзды бедная китайская крестьянка, если в сердце её зародилось желание добиться для своего сына-пастушка А-Чжи лучшей судьбы, чем её собственная. Но кто поможет бедняку? Где добыть средства, чтобы маленький пастушок не вырос тёмным, беспомощным батраком?

Несколько лет мать старательно претряхивала обмолоченную солому у помещика, нет-нет да упадёт зёрнышко. Она собирала их в мешочек, одно к одному, будто крупицы золота. Собирала для счастья сына, для того чтобы лучшей была его жизнь. И на эти собранные в обмолоченной соломе зёрна маленький А-Чжи смог потом проучиться полгода.

«В казане не сварить того, чему ты научишься», — ворчала бабка, и А-Чжи со своей полугодовой учёностью вернулся к прежнему занятию. В двенадцать лет его послали ходить за плугом. Но он был слишком маленький и слабый, у него не хватило сил для такой работы, и родители отдали его в учение к плотнику, их родственнику. Но, видно, не случайно именно с этим сыном мать связала свои мечты. Мальчик не только научился хорошо строгать и тесать — он открыл, что можно вырезать из дерева, и стал вырезать. И ещё он продолжал учиться писать. Ему не на что было купить бумагу, и он чертил иероглифы на земле. Это была его первая тетрадь. Случайно в руки к нему попала книга с китайскими гравюрами, и это был его первый учитель. Он копировал гравюры и сам делал их, подражая изгибам чёрных линий. В деревне стали поговаривать о нём, о его способностях и умении. Все хотели иметь мебель, украшенную его резьбой. К двадцати годам он прославился в своей округе и как живописец. Он так чудесно умел выписать переливы шёлка на платье молодой красавицы, сквозь дымку газа выявить блеск атласа и нежный узор вышивки на свадебном наряде, передать взгляд и улыбку человека! Он писал отличные портреты и не имел никакого образования, кроме того, что было оплачено собранным в обмолоченной соломе зерном.

Когда ему исполнилось двадцать семь лет, случайно попавший в их деревню учёный человек заинтересовался им. Он делился с ним своими знаниями, познакомил его со стихами древних поэтов, и деревенский плотник сам стал писать стихи. «Долго пришлось мне ждать, пока я смог начать по-настоящему учиться. Лишь в двадцать семь лет я нашёл учителя. Ничего, что в лампе нет масла, я могу зажечь еловую лучинку, чтобы читать стихи танских поэтов», — напишет потом знаменитый скульптор, живописец, поэт Ци Бай-ши, некогда деревенский пастушок и плотник из провинции Хунань.

Мы идём в гости к Ци Бай-ши. Ветхий домик на узкой, маленькой улочке. Один, другой дворик, как во всех старых пекинских домах. По деревянным ступенькам под-

\* О ф о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 8 с. 6.

нимаемся в просторную комнату. Много света и воздуха. Лёгкие деревянные стены, над ними стропила — потолка нет. Свитки картин на столе, в углу на полу рулоны, навёрнутые на палки. Повсюду стамески, кисти и кисточки, маленькие кирпичики туши. Вокруг небольшого стола потёртые кресла.

— Сейчас придёт, — говорит женщина в белом халате, очевидно, сиделка.

За дверью слышится покашливание и шарканье туфель. Входит старый человек в тёплом ватном халате. Он опирается на высокую палку. Чёрные весёлые глаза, редкая борода, живое лицо. Ему девяносто пять лет.

Здоровается с нами. В чёрных глазах вспыхивают лукавые огоньки. Нас предупреждают, что надо говорить громко: Ци Бай-ши плохо слышит.

Он смотрит на нас с улыбкой. Нет, он не важный, не надутый, не кичится своей славой. И тем не менее мы немного робеем. Как начать разговор?

Но начинает Ци Бай-ши.

— А можно в Советском Союзе, если умрёт жена, жениться второй раз? — задаёт он неожиданный вопрос, и чёрные глаза его весело поблёскивают.

— Конечно, — заверяем, немного обескураженные таким началом.

— Моя жена умерла очень давно, я хочу жениться, но никто не хочет брать меня в мужья. Не пойму почему, — смеётся он добродушно.

И сразу становится так, будто перед нами сидит не знаменитый художник Ци Бай-ши, а милый, давно знакомый старичок — наш отец или дедушка, близкий и не внушающий робости.

— Сегодня жарко? — спрашивает он у сиделки.

Художница, которая пришла с нами, помогает Ци Бай-ши снять тёплый халат. Нежно, осторожно.

— Я люблю его, как родного дедушку, — тихо говорит она.

Но, наверно, не только, как дедушку. В осторожных движениях молодой женщины, в её взгляде, в голосе столько материнского чувства, что мы знаем — она любит этого старого человека и как дедушку и как собственного ребёнка.

Подают чай, конфеты. Старик чем-то обеспокоен.

— Конфеты... Разве это конфеты?... Я угощу вас настоящими. Самыми лучшими, какие есть в Китае. Из моей провинции, из Хунани.

Он встаёт, долго ищет в складках одежды карман, в котором глубоко запрятана связка ключей, подходит к большому шкафу, долго выбирает ключ. Из шкафа он вынимает шкатулку, из шкатулки — коробку и ставит на стол «самые лучшие в Китае конфеты». Они похожи на нашу нугу, белые, чуть пожелтевшие небольшие кирпичики. Угощает.

Беру одну. Да, Ци Бай-ши девяносто пять лет, но эти конфеты, видно, ненамного его моложе. Он берёт конфету и не спускает с меня глаз, в которых пляшут весёлые чёртики. Я тоже беру конфету. Художница шёпотом предупреждает меня:

— Ешьте, он может обидеться.

Пробую. Повидимому, «лучшие конфеты Китая» в молодости и своей и своего хозяина тоже не отличались особенно приятным вкусом. Но старик жуёт с удовольствием.

— Это из моей провинции, из Хунани.

Ем и я. Если бы наш дорогой хозяин хоть на секунду перестал смотреть на нас... Но нет, он не спускает с меня глаз, пока я не проглатываю последней крошки. Лицо старого человека озаряет улыбка. Он рад — понравились его конфеты! Он чувствует в них, наверно, вкус давно минувшего детства, сладость родного дома, ласку матери, неповторимый вкус далёкого, невозвратимого прошлого. Никакую китайскую сласть он не может сравнить сегодня с тем, что девяносто лет назад было почти недостижимой мечтой маленького пастушка, — белый сладкий кирпичик в деревенской лавочке или на лотке странствующего торговца в далёкой хунаньской деревне. Нет, не только этот белый кирпичик — что угодно съела бы я, не моргнув глазом, чтобы лицо этого старого человека осветилось улыбкой.

Теперь лёд окончательно сломлен. Старик показывает нам печатки своей работы, трудное искусство резьбы иероглифов на кости. Он вырезает их и теперь — причём зачищает уже сделанные и вырезает заново, доводя до совершенства сложный рисунок

иероглифов. Эта работа требует уверенной и сильной руки, и сегодня руки этого почти столетнего человека — мускулистые руки скульптора.

— Я написал для вас картину. Она не очень хорошая, но примите такую, какая есть. Только ещё надо подписать.

Листья и веточки — чёрная тушь, цветы — красная акварель. Старый художник берёт кисточку и уверенно выводит на краю картины несколько иероглифов.

«Ци Бай-ши, девяносто пять лет», — читает нам художница. Старый художник на мгновение останавливается с поднятой в руке кисточкой.

— Господину Корнейчуку, — торопливо подсказывает сиделка, но Ци Бай-ши нетерпеливо отмахивается, словно отгоняет осу.

— Нет, не господину, товарищу Корнейчуку, товарищу, — говорит он быстро и снова уверенной, недрожащей рукой пишет ряд иероглифов.

Нам переводят: «Товарищу Корнейчуку. Ци Бай-ши, девяносто пять лет». Мы осторожно свёртываем картину с посвящением.

— Сколько времени занимает дорога в Москву? — спрашивает нас художник.

— Поездом мы ехали из Москвы в Пекин девять суток. Самолётом можно было добраться за полтора дня.

— Гм... Я бы охотно поехал в Москву, прочёл бы лекцию в вашей Академии художеств, — говорит Ци Бай-ши не то серьёзно, не то шутя, а в глазах его попрежнему мелькают лукавые огоньки.

Отвечаем серьёзно, но он смеётся.

— Да, да, до Москвы далеко, тем более, когда человеку девяносто пять лет. Но если подумать, то совсем не так уж далеко.

Боясь утомить его, прощаемся раньше, чем нам хотелось. Несмотря на протесты с нашей стороны, он провожает до дверей, стоит на пороге, опираясь на свою высокую палку, машет нам рукой. Переходя двор, мы оборачиваемся. Он стоит в открытых дверях, холодный ветер развеивает редкую серебристую бородку, на добродушном лице смеются чёрные глаза. Ци Бай-ши улыбается нам умной, доброй улыбкой почти столетнего человека.

Потом, в гостинице, мы долго сидим с сопровождавшей нас художницей. Она рассказывает нам о жизни Ци Бай-ши, что значит он для Китая и китайского искусства.

— Он считает, что самое главное в его творчестве — это стихи, их ставит на первое место. На второе — печатки. На третье — рисование иероглифов. Иероглифы совсем не такое простое дело. Можно их писать красиво и некрасиво. Писать красиво — это уже искусство, и довольно редкое. Оно ценится у нас очень высоко. У товарища Мао, например, большой талант в этой области. Искусством писать иероглифы славится Го Мо-жо. Свою живопись Ци Бай-ши ставит на последнее место, хотя мы считаем его прежде всего живописцем.

Стихи он стал писать ещё в ранней молодости, они были простые, понятные. По форме и содержанию отличались от классической поэзии, отходили от её канонов и требований. Когда они впервые появились, признанные, официальные поэты очень критиковали их. «Как можно писать о таких вещах? — говорили они. — Это не темы для поэзии». Но Ци Бай-ши считал, что всё, что окружает человека, на что он смотрит, всё достойно поэзии.

Когда ему было пятьдесят семь лет, во время одной из войн, которых так много велось на китайской земле, он вынужден был покинуть свою деревню и долгое время скитался. Об этом рассказывают его стихи: «Я спал на росе, моими соседями были лисицы и крысы в норах. Я питался, как муравьи и насекомые, и стал словно высохший стебель, от меня остались только глаза, и странно, что они ещё живут и я могу со страхом и изумлением смотреть на всё, что меня окружает».

В живописи он тоже воплощает то, что видит. Его спросили как-то, почему он не пишет дракона, — ведь это такой традиционный мотив в китайском искусстве, символ счастья. «Я никогда не видел дракона», — ответил он просто. Цветы, улитки, лягушки, креветки, рыбы — вот его главные темы. Это знакомо ему с детства, это он видел в своей родной деревне. Другие художники подражают или перенимают, он же всегда брал сюжеты прямо из жизни, его учила сама жизнь...

И тут нас ставит впро�ак самобытность, особенность всего китайского, отличающегося от привычных нам определений и терминов. Ци Бай-ши рисует свои цветы, своих лягушек и креветок, не выходя из дому. Модели ему не нужны, он рисует по памяти, природа живёт в его воспоминании, в его воображении. Причём он не считается с обязательными в китайском искусстве канонами: лист надо изображать такой, а не иной линией, дерево таким, а не иным способом, для чего существуют постоянные, неизменные образцы. Художница объясняет, что Ци Бай-ши реалист, и с этим надо согласиться, хотя его реализм совсем не похож на наш. Мы узнаём, что в своё время изображение лягушек и креветок было для китайского искусства смелым новаторством и Ци Бай-ши не поколебался первым ввести его.

Как надо писать? Формула Ци Бай-ши очень проста, как прост и он сам, но, несомненно, содержит в себе зерно истинной мудрости и говорит больше, чем можно бы сказать в целой брошюре: «Писать надо так, чтобы изображение было где-то между похожим и непохожим. Чересчур похоже — передразнивание природы, мало похоже — отсутствие уважения к ней». Разве эта формулировка не вмещает в себя тонкое и меткое определение натурализма и формализма?

— В своих картинах Ци Бай-ши не копирует природу, но отбирает из неё самое важное, самое существенное. — Художница разворачивает перед нами три картины своего любимого учителя.

Стрекоза и два красных лепестка на воде. Гора, поросшая соснами. Скала, внизу, на волне, — бакланы.

Мы долго смотрим. Не копирует, а берёт самое существенное. Не могу оторвать глаза от бакланов. Чёрной тушью обведены контуры птиц. Воды нет — она не изображена художником. Но благодаря тому, как нарисованы птицы, мы ясно её ощущаем, более ясно, чем если бы художник использовал здесь целую гамму красок и цветов, написал волны, блики, брызги пены. Мы видим — бакланы покачиваются на легко колеблемой ветром водной поверхности. Чувствуем вокруг них пространство воды, её глубину и слои её от дна до самой поверхности. Скупыми средствами задуманный эффект достигнут полностью. Бакланы врезаются в память, так же как и стрекоза над водой. Вода намечена здесь всего несколькими штрихами чёрной туши. Но мы чувствуем пространство, и воздух, и лёгкость стрекозы, и очарование тихого дня над озером. Да, это подлинный реализм!

На первый взгляд — стрекозы, цветы, рыбы. Какой узенький мирок! Но Ци Бай-ши не эстет, поглощённый чистым искусством, не видящий ничего вокруг себя. Недаром он так живо поправил: не господин, а товарищ. Тяжёлое детство, тяжёлая юность рано открыли ему глаза и научили правильно видеть мир. Много лет назад Ци Бай-ши написал картину: большое хвойное дерево; паразиты объели иголки, на голых ветках висят одни шишки. Как на многих картинах художника, сбоку виднеются иероглифы стихотворения, дополняющего и комментирующего картину. «Паразиты съели иголки, но семена дадут на будущий год зелёные, как зелёный мох, ростки. Как добит~~ся~~ у неба, чтобы дождь, ветер, гроза и молния пришли в одно время?»

В этом дереве, голом, гнущемся от сильного ветра, содержится и воспоминание детства и мечта о будущем. Там, в родной деревне, паразиты накинлись однажды на деревья. Но поднялся ветер, дождь и гроза. Сдули, смыли паразитов с веток. Деревья дали семена, и вырос молодой густой лес. И художник Ци Бай-ши, бывший пастушок, бывший деревенский плотник, мечтает о вихре и грозе, которые смоят паразитов с большого дерева Китая и позволят расти молодому великоленному лесу новой страны.

Никогда не забывал великий художник, откуда он вышел, не забывал тяжкой доли китайского народа. Всегда чувствовал свою близость к нему, высмеивал сановников и вельмож — этих паразитов на теле народа. Он изобразил сановника, как ваньку-встаньку, в маске шута и написал на картине: «Если тебя ударить — встанешь, толкнуть — ложишься. Но если тебя разбить, — что останется от тебя? Кучка глины».

Нет, он не любил чиновников, представителей угнетавшей народ власти. Ни своих, ни чужих. Во время японской оккупации он написал на двери своего дома: «Если хотите купить картины, идите в магазин. Никогда чиновник не заходил в дом простого человека с добрым делом — его приход всегда означает несчастье». В те же времена,

в одну холодную, суровую зиму, Институт искусства прислал ему уголь. Старый художник отослал уголь обратно, объяснив свой отказ тем, что он не профессор и не работник института. А когда Китай стал свободным, он сам отправился читать лекции в этом институте, вырезал печатку и написал картину для Мао Цзэ-дуна. Новая власть была его властью — властью плотника из провинции Хунань, знаменитого художника, остающегося и поныне сыном бедной деревни, простым трудовым человеком.

Ци Бай-ши тридцать пять лет живёт в Пекине. Он свыкся со своим старым, уже обветшалым домиком, и когда теперь ему предлагают новый, специально для него построенный, старик колеблется и медлит. Он работает по сей день, по сей день вырезает печатки, пишет картины, сочиняет стихи, по сей день сомневается, делает ли он это так, как должно. «Если хочешь вырастить лес, посеешь, через десять лет поднимется лес. Но если хочешь написать лес, бывает, что стараешься всю жизнь — и не напишешь. Волосы твои увяли, глаза ослепли, а сомнения, может ли то, что ты сделал, тронуть зрителя, попрежнему сильны», — говорит он.

Молодая художница долго рассказывает нам о Ци Бай-ши. С любовью, с нежностью. И в том, что она говорит, и в том, как говорит, — любовь нового поколения к этому старому человеку, прошедшему длинный жизненный путь служения искусству. И вместе с ней мы любим этого девяностопятилетнего старика, сохранившего столько молодости, столько радости жизни, которого не сломили ни жизненные невзгоды, ни войны, ни нищета и который дождался желанных вихря и бури. В глубокой старости он достиг вершины своих мечтаний — он живёт в свободной сгране трудящихся людей.

Мы посетили Ци Бай-ши перед самым отъездом из Китая. Но китайское искусство ещё раньше заставляло нас думать о нём и спорить с самими собой. Сразу по приезде я останавливаюсь перед картинами в гостинице. Цветы, птицы, буйволы. Красиво? Да, красиво. Но что ж дальше? Нас знакомят с художником, его картина висит в нашем номере в гостинице: два человека сидят на пригорке под деревом, на первом плане — буйвол. Картина нам нравится.

А потом из окна поезда вижу, как запряжённый в плуг буйвол бредёт по залитому водой рисовому полю, как за плугом идёт крестьянин, с трудом передвигая увязшие в глине голые, посиневшие от холода ноги. Вижу, как прокладывают в поле канавы, вижу, как люди переносят тяжести, как поднимаются с ними по крутым холмам; вижу людей, с трудом несущих в гору ведра воды, чтобы полить пшеницу. И я говорю себе: нет, не понимаю китайского искусства. Не понимаю китайской живописи.

Но вот мы в Ханчжоу. Искусственное озеро и искусственные островки, искусственные горы и нагромождённые скалы. Колышется на ветру бамбук, повсюду цветут камелии. Ухоженные цветы, ухоженная трава. Даже из дёрна на изящной дамбе старательно вырезают маленькие, случайно выросшие стебельки бурьяна. Всё миниатюрно, поразительно аккуратно, полно очарования, всё чистое, подвязанное, политое.

Мы проходим по прелестным воздушным мостикам на искусственные островки, стоим рядом с двухметровыми кустами камелии, подражающими диким зарослям, смотрим на купающиеся в струях дождя персиковые деревца. Здесь каждое местечко, каждый уголок имеет своё название. «Отражение луны в трёх глубинах» (причём глубины более чем относительные), «Журавлиное пастбище», «Нефритовый источник»... Нам читают четверостишия, красиво выписанные на колоннах, плитах, камнях нарядными иероглифами. Среди этой вымытой кружевной зелени, в этом искусственно созданном мире я говорю себе: а ведь это совсем как на тех картинах и картинках, что мы смотрели. Теперь я понимаю китайскую живопись.

Но через два дня мы едем в кооперативное хозяйство. И в несколько минут всё, что казалось объяснённым, понятным, снова меняется.

Дорога словно выкрашена охрой; горные склоны красные, как кровь; могучие деревья с такими развесистыми кронами, что кажется, будто здесь растёт целый лес; камни торчат из рыжей земли; бурная мутная река с белой пенистой гривой волн... Величавый, мощный, грозный пейзаж.

Нет, я не понимаю китайского искусства. Не понимаю китайской живописи. Я принимала их, когда глядела на Западное озеро в Ханчжоу. Но Западное озеро — это игрушка, «земной рай», как его называют китайцы. «Жить в Ханчжоу, есть в Кан-

тоне», — говорит поговорка. Нет, я не хотела бы жить в Ханчжоу. Больше, чем выхоленный «земной рай»; мне нравятся эти красные склоны, дикие горы, огромные деревья. В них величие Китая, мощь великой страны. И поэтому я не понимаю, совершенно не понимаю китайского искусства.

Только... какая же ты сложная, какая непонятная, великолепная страна, которую нам выпало счастье увидеть!..

В один апрельский день едем извилистой дорогой из Куньмина в горы посмотреть Бамбуковый храм. Вот он. Несколько лёгких павильонов, таких же, как и большинство китайских храмов. И в них резные изображения пятисот учеников Будды. Нет, на это невозможно просто взглянуть и уйти. Мы попадаем вдруг в странный, непонятный мир, заселённый неживыми, но полными жизни существами.

Засыпаем наших спутников вопросами. Что это? Откуда? Как? Почему? Но узнаём — увы! — очень немного. Можно не сомневаться, говорят нам, что причудливо скрюченное дерево, растущее возле храма, насчитывает больше тысячи лет. А сколько же лет насчитывают эти деревянные скульптуры? Неизвестно. Они древние, очень древние. Старше дерева? Да, наверно, старше. Но насколько? Никто не знает, пытаемся определить сами. Буддизм проник в Китай до начала нашей эры. Но распространился и достиг расцвета только в четвёртом веке. То, что изображения, в сущности, нечто среднее между скульптурой и барельефом, то, что они не целиком отделены от стены, — это свидетельствует об их глубокой древности. Ну, а всё же, может ли дерево, из которого они вырезаны, сопротивляться десятки столетий разрушительной силе времени? Нас уверяют, что может. Яркие краски, покрывающие фигуры, вероятно, реставрировались, но самые скульптуры были созданы в очень отдалённые времена. А впрочем, разве так уж важно знать точно, когда руки творца создали их? Важно, что создали, и важно, что их творение живёт по сей день.

Кто они, эти ученики Будды? Их пятьсот — следовательно, это могут быть те, о которых говорят старые буддийские книги, что они после смерти Будды, в четвёртом веке до нашей эры, собрались именно в количестве пятисот на первый буддийский собор, длившийся семь месяцев.

До сих пор самое сильное впечатление от произведения искусства было вызвано во мне микельанджоловским Монсеом в Риме. Никакая репродукция, никакая копия не может отобразить нечеловеческую мощь и величие, исходящие от этого изваяния. А теперь я навсегда запомню учеников Будды. Их пятьсот, но ни одно лицо, ни одна фигура, ни один жест не повторяются. Сборище ярко выраженных индивидуальностей. Живые люди. Можно узнать, откуда они, — тут и китайцы, и монголы, и индусы. Задумчивые и гневные, грустные и отчаявшиеся, сильные и слабые. Каждый — отдельная история, отдельная судьба. Читаешь по лицу чувства, характер, жизнь каждого. Здесь есть всё — улыбка и плач, злость и хитрость, веселье и покой. Пятьсот изваяний — пятьсот человек, пятьсот книг, рассказывающих о себе с необыкновенной силой выражения. Отдельные фигуры и целые сцены — ссорящихся, дискутирующих, борющихся с тигром, разговаривающих с детьми. Какие лица, руки, движения! Что же это напоминает? Конечно, без сомнения, алтарь Вита Ствоша в Марнацком костёле в Кракове. Только ещё не было не только Вита Ствоша, но и Кракова, а эти скульптуры уже долго, долго существовали. Когда землю, на которой потом выросли некоторые столицы Европы, ещё покрывал шумящий лес, здесь, на горе Юго-Западного Китая, плакали, учились, ссорились, спорили, боролись обращённые в бессмертное дерево ученики Будды.

— Репродукцию, как достать репродукцию?

Наши спутники смущены. Оказывается, никаких репродукций не существует.

— Хотя бы какие-нибудь фотографии...

Но нет и фотографий. Ведь существует столько более важных дел, столько неотложных проблем, что ещё не нашлось времени как следует заняться ни сохранением, ни описанием, ни репродуцированием произведений искусства. Тем более, что их так много. Весь Китай усеян древнейшими храмами, где хранятся сокровища искусства, насчитывающие тысячи лет. А сколько пещер, где некогда возникли великолепные изваяния, сколько глухих уголков, о которых мало кто знает, украшенных произведениями неизвестных творцов! Каждый из этих памятников искусства мог бы стать гордостью любого

народа. Через несколько дней возле Чунцина мы увидели валявшиеся в лесу, на горном склоне, обломки скал с резьбой и надписями, ещё, кажется, никем не изученными. Эти обломки слишком тяжелы, чтобы их везти оттуда в музей, и они размываются дождями, разрушаются ветром и солнцем.

Приехав в Киев, набрасываюсь на книги по китайскому искусству. Кем и что написано о Бамбуковом храме, о потрясших нас учениках Будды? И не нахожу ни слова. Может быть, я искала не там, где надо, а может, действительно никто до сих пор не заинтересовался тем, что мне кажется таким великолепным? Ведь это именно то, о чём говорит Ци Бай-ши, — не чересчур похоже и не слишком мало похоже на натуру. Здесь и гротеск, и карикатура, и метафора — и в то же время сама сущность жизни, сама жизнь, убеждающая своей мощной, неопровержимой выразительностью. Когда смотрю на пятьсот учеников Будды в Бамбуковом храме, я понимаю китайское искусство и нахожу ответ на все свои сомнения.

Мы покидаем Бамбуковый храм, на стенах которого бушуют волны, плывут на драконах, рыбах, черепахах люди. Вода бурлит, дует ветер. Не только люди, но и животные живы, выразительны, динамичны. В этом храме можно бы проводить целые дни и без усталости читать истории человеческих судеб и находить всё новые и новые подробности. Но как мало это похоже на китайский рисунок на фарфоровых чашках, как не похоже на то, что мы часто принимаем за самое типичное, самое китайское... Но именно оно и есть китайское, китайское от начала до конца.

И тут на память приходит наивный вопрос, который приходится слышать иногда за границей: «Какой климат в Советском Союзе?» В Советском Союзе? Но где именно — на Крайнем Севере или на Камчатке? На Камчатке или в Крыму? На Волге или в Карпатах? Видно, так обстоит и с китайским искусством. В огромной стране с тысячелетней культурой оно разнородно, различно, не похоже само на себя, и трудно судить о нём, не зная его глубоко, до конца. Утешаюсь одним, что я не знаток и не специалист и не мне углубляться в историю этого искусства и давать ему объективную оценку. Мне остаётся только осмысливать свои собственные, сугубо личные впечатления. И потому, когда я, возвратившись в Пекин, смотрю на цветущие ветки вишни, написанные нежнейшим прикосновением кисти, когда вижу кружевные линии туши и тонкие пятна акварели, я вздыхаю и — в который уже раз? — спрашиваю себя: понимаю ли я хоть немножко китайское искусство?

Но пока ещё далеко до Пекина, и мы из Бамбукового храма едем дальше по горной дороге. Здесь, в Западных горах, на горе Тайхуа, что значит «Самый высокий Китай», находится ещё один храм, даосский, — «Врата дракона». Вернее, это несколько маленьких храмов, прилепившихся, как ласточкины гнёзда, к скалам на склонах гор и сообщающихся вырубленными в скалах ступеньками. На самом вершине горы — храм, целиком высеченный из каменной глыбы. Три огромные фигуры божеств, звери, цветы, плоды, птицы. Стол посреди и вазы на четырёх изогнутых ножках, стягивающие на столе, как тонкое кружево из камня. И всё это из одной глыбы, или, точнее, из одной горы, принимая во внимание размер храма. С храмом связана легенда. Шестьсот лет назад молодой ваятель полюбил девушку. Но она не отвечала ему взаимностью. Отчаявшись, он ушёл в горы и двадцать лет высекал в скале храм. Фигуру божества, находящуюся в центральной части храма, он хотел изваять с кистью в руке. Но во время работы каменная кисть сломалась. Ваятель не вынес второй неудачи в жизни — бросился со скалы вниз и погиб.

Сейчас в руке божества мы видим каменную кисть. Всеми цветами радуги переливаются ярко раскрашенные фигуры, звери, цветы и плоды. Наше внимание привлекают каменные олени, поддерживающие свод у выхода: головы оленей запрокинуты назад и покоятся на спине животных. Свод поддерживает по-лебединому изогнутая шея.

— Один из наших художников очень долго здесь работал, пытался перерисовать, скопировать эту линию изгиба, понять, как её нашли, и научиться рисовать её точно так же, — рассказывают нам.

Но я не понимаю этого. Слов нет, необычен изгиб оленьей шеи. Казалось бы, совсем неестественный, но в окончательном эффекте естественный и живой. Но если эта линия уже была создана, неужели действительно нужно художнику корпеть сейчас, стараясь раскрыть её тайну, чтобы включить её в число собственных изобразительных средств?

Каким колдовством можно было из гигантского массива скалы сотворить тысячи предметов — гирлянды цветов, гроздь плодов, все эти бесчисленные детали и мелочи, — вот что больше всего поражает нас здесь. Кажется, что ваятель только отделил ненужное, а все божества, животные, растения, утварь, заколдованные, существовали уже раньше в скале и он только извлёк их, показал человеческим глазам, снимая с них осторожными, чуткими пальцами каменный покров.

Краски здесь, как и везде в китайских храмах, очень яркие. Много позолоты, красного, лазури. Но, видно, это не случайно — они перекликаются с красками природы. Если кругом рыжая, красная, шоколадная земля, густо насыщенная зелень деревьев и кустов, ясный, прозрачный воздух, раскалённое, слепящее солнце — именно такие яркие краски оправданы, кажутся чем-то естественным, единственно возможным. Тем более, что все храмы открыты свету и воздуху, в них нет затенённых, таинственных закоулков, полумрака. Любые пастельные оттенки погибли бы, поблёкли, затерялись среди колористического богатства окружающей природы. Поэтому эта буйная оргия красок не только не режет глаз, а, наоборот, чарует.

Понимаю или не понимаю китайское искусство — этот вопрос продолжает мучить меня. В Пекине отправляемся на выставку современной китайской живописи. Видим достижения четырёх последних лет (1951—1955). Выставлено девятьсот работ шестисот живописцев и скульпторов. Акварели, тушь и первые, новые для китайского искусства, картины маслом.

Теперь, наверно, найду то, чего мне не хватало всё это время: пахаря за плугом на залитом водой рисовом поле, грузчика, несущего каменные блоки, китайского труженика.

— Живопись маслом — это не только новая техника, это и новая тематика, — объясняют нам.

Да, понятно, масляная живопись только начало, первые попытки нового направления в китайском искусстве. Но картины маслом плохи. Ничего не поделаешь, они просто плохи, за исключением, может, нескольких портретов. О суляньжень, суляньжень, советский человек<sup>1</sup>, ты, столько хорошего сделавший и делающий для братского Китая, почему именно в искусстве оказываешь ему такую плохую услугу? Картины написаны по нашим образцам, причём по самым худшим, какие только можно было найти. Парадные картины с застывшими фигурами вождей и руководителей на первом плане, попытки патетически представить моменты важных исторических событий и решений, стремление показать механизацию, промышленность с нагромождением машин и трудовых процессов. Всё оставляет зрителя холодным и равнодушным. Тем более, такого, как мы, который имел несчастье сотни раз смотреть именно такие картины на своих выставках.

Мы долго стоим возле скульптур, долго стоим перед чудесными пейзажами, перед картинами, на которых распускаются и благоухают цветы, перед птицами, схваченными на лету, и от них веет на нас прелестью, очарованием и красотой Китая. Да, это уже было, это писали много раз раньше, и писали точно так же или почти так же. Но это прекрасно, это волнует, учит смотреть на мир, на природу. Здесь нет или почти нет человека — это правда. Нужно показать этого человека. Но ведь сотни лет назад китайские творцы умели показать настоящего, живого человека с его страданием, с его борьбой, с его мыслями — пятьсот учеников Будды из Бамбукового храма в далёких горах под Куньмином смотрят живыми глазами, говорят живым жестом, они человечны и правдивы. А люди на картинах маслом пекинской выставки не живут. Они должны бы взволновать, рассказать нам во сто крат больше, чем те, ведь они свободные люди нового Китая, наши братья, наши современники. Их труд — наш труд, их горе — наше горе, их радость — наша радость. Почему же мы остаёмся безучастными и, глядя на них, думаем о пятистах учениках Будды, судьба которых затерялась во мраке тысячелетий и не должна была бы нас трогать?

Пусть это лишь первые попытки, только поиски. И китайские художники найдут свой путь — они не могут его не найти, — но пока что мы глядим на эти развешанные картины с горькими угрызениями совести. Дорогие, хорошие, вы утверждаете, что учи-

<sup>1</sup> На севере Китая эти слова произносятся «суляньжень», а на юге — «суленьинь».



тес у нас, внедряя новый способ укладки кирпича, новые способы выращивания риса, говые методы плавки стали,—и, узнавая об этом, мы гордимся. Но, ради всего святого, не учитесь у нас плохо живописи! Она нам самим и нашим художникам порядком протививела, а вы, имеющие за собой тысячелетние художественные традиции, можете создавать такие шедевры, что все будут учиться именно у вас.

Это так. Но пока существует пропасть между традиционным китайским искусством и первыми шагами нового. Через эту пропасть китайские художники построят красивый воздушный мост, подобный тем, которые взлетают над их речками и потоками, и пойдут по нему тем лёгким, гармоничным шагом, каким ступает китайский грузчик, неся тяжесть. Пойдут по нему навстречу расцвету новой великолепной китайской живописи, которая покажет миру величие и красоту народа Китая.

Но пока что я — не гурман и не знаток искусства, а обыкновенный, рядовой его потребитель — повешу у себя в комнате стоящего под деревом большегого буйвола и стрекоз, парящих над водой, по которой плывёт опавший лепесток розового лотоса.

Процесс ломки старого, рождения и формирования нового искусства в Китае идёт, наверно, быстрее, чем во многих других странах, переживающих более или менее заметный кризис в этой области, потому что в Китае повсеместно бросается в глаза всеобщая потребность в искусстве, настоящая любовь к прекрасному, жажда прекрасного, живая и пульсирующая во всех слоях общества. Она проявляется в больших делах и в мелочах, заметна в деревне и в городе, в зажиточных домах и в глинобитных мазанках.

Фантастическими узорами разрисована джонка на реке: её нос глядит глазами рыбы или изображает голову дракона, вдоль её бортов тянется весёлая разноцветная кайма. На рынке и в маленьких ларьках стоят и висят плетённые из лыка, из бамбука, из тростника корзины, корзиночки, сумки. Предметы повседневного потребления, но каждый можно бы представить на выставке. Деревянная и медная посуда такой прекрасной формы, что преступлением кажется использовать её для прозаических кухонных целей. Детские туфельки на прилавке выглядят, как кусочки радуги,—они расшиты во всевозможные цвета. В самой бедной фанзе висят весёлые, красочные новогодние картинки.

В Новом районе Шанхая, в правлении посёлка, не могу оторвать глаз от двух букетов, стоящих на столе. Кремово-розовые гвоздики. И между ними того же оттенка, что розовый ободок их лепестков, герберы, того же цвета, что их кремовость, — колокольчики фрезии. Букет словно подобран художником, обладающим тонким чувством цвета. Не могу удержаться от вопроса, не имеющего ничего общего с происходившим разговором:

— Кто делал эти букеты?

Член правления улыбается без удивления, как будто мой вопрос не уклоняется от темы.

— У нас в правлении есть две женщины... — говорит он, считая это достаточным объяснением.

Да, но такие букеты можно выставить на витрине лучшего цветочного магазина, где работают художники-декораторы, и они обращали бы на себя внимание даже там. Вот просто букет, но такой букет не забывается, хотя на каждом шагу видим здесь столько незабываемых вещей.

На одном из холмов в окрестностях Кантона — лес цветущих деревьев. Розовых и белых, словно на холм упал целый рой цветных, нежных, трепещущих крыльями бабочек. Фруктовые деревья? Нет, просто декоративные. Их сотни. Нужно любить красоту, глубоко чувствовать её и ощущать необходимость в ней, чтобы посадить сотни таких «беспольных» деревьев только для того, чтобы они радовали человеческий глаз. Всюду попадаются нам прекрасные цветники, причём это не только клумбы в парке и не сами парки или бульвары, а покрытые цветами большие участки земли, целые горы, огромные пространства. Тысячи цветущих деревьев, меняющих пейзаж, претворяющих его в произведение искусства. А всё Западное озеро в Ханчжоу — это ведь тоже произведение искусства.

Китайская крестьянка, закутывающая ребёнка в огненно-красное одеяльце, житель хибарки, приклеивающий разноцветные ленты с иероглифами на шаткие стены своего

жилища, мэры, украшающие города цветущими лесами, — всё это выражение огромной любви к краскам и красоте. И потому так красивы китайские предметы домашнего обихода, и потому у китайского искусства огромные и светлые перспективы.

### *В зрительном зале.*

Завтра мы собираемся впервые увидеть китайскую классическую оперу. А сегодня совершенно неожиданно состоялось наше знакомство с самым замечательным и самым популярным актёром Китая — Мэй Лань-фаном.

Мы смотрели на киностудии китайские фильмы, а потом нам предложили пойти в павильон, где происходят съёмки новой картины. В ней играет Мэй Лань-фан, и вместе с китайскими режиссёрами работают наши. Съёмки ведутся ночью — так привык Мэй Лань-фан, — с девяти вечера до половины четвёртого. В павильоне очень много людей. Нам объясняют, что работники из дневной смены не уходят, чтобы увидеть великого актёра. Идёт репетиция. На троне император в фиолетовом одеянии, с лёгкой, почти прозрачной бородой, длинной и широкой, привязанной как-то странно — под самым носом, так что закрывает рот. На стуле дублёр, заменяющий Мэй Лань-фана на то время, пока определяют точки для съёмочной аппаратуры и прожекторов. Дублёр в женском костюме — это ученик Мэй Лань-фана.

Но вот появляется сам Мэй. Мы знаем, что это «он», а всё же входит «она». Молодая, красивая необычной, странной красотой женщина. Она здороваётся с нами.

— Идёмте, идёмте, сфотографируемся вместе, — говорит живо и просто, словно мы знакомы уже много лет. Берёт нас под руки.

Пока фотограф готовится, я рассматриваю актёра. Гладкое лицо без единой морщинки. Огромные, необыкновенные глаза; очень похожие на них мы увидим потом у его ученицы, Белой Змейки, и у других актёров и актрис. Но глаза Мэя гораздо больше и необычнее. Выпуклые, блестящие, при поворотах головы видны неестественно большие белки. Подобного грима, несмотря на кажущееся сходство, мы не видели потом ни у кого, — видно, это не так просто, и никто ещё не может повторить умения учителя. Женское лицо удивительной красоты — вспоминаются стилизованные лица восточных божеств, даже лица марсиан или жителей Атлантиды из старых, ещё немых картин. Чудесный костюм, великолепная высокая причёска — всё в цветах и драгоценностях. Возникает чувство, будто стою под руку не с человеком, а с каким-то сверхъестественным существом. Именно не мужчина и не женщина, а таинственное существо из мира сказок.

Но в то же время это простой, скромный человек. Непосредственный и милый. Он словно не знает ни о своей мировой славе, ни о том, что рабочие киностудии отказываются от сна, лишь бы ещё разок увидеть его. Нас фотографируют вместе с режиссёрами и операторами, а потом уже только с Мэй Лань-фаном.

Остаёмся, чтобы посмотреть съёмку. Мэй берёт зеркало, поправляет причёску. Он ещё не под объективом аппарата, а уже превратился в женщину. Волшебное перевоплощение достигнуто не только женским костюмом. Движения его пальцев, движения головы абсолютно женственны. Ни один мужчина не умеет так глядеться в зеркало. Он подходит к креслу, и движения его — совершенство женственности. В нём нет ничего от мужчины — ни в походке, ни в голосе. Мы не знаем ещё китайской игры, не видели ещё китайской оперы, но я чувствую, что смотрю на что-то неповторимое, на подлинное искусство, трудное и совершенное.

Наш режиссёр не находит слов, чтобы выразить своё восхищение великим актёром — его терпением, выдержкой, трудоспособностью. Ведь этому человеку уже шестьдесят лет — и он не отнекивается, когда речь идёт о репетициях, не обнаруживает усталости, готов, если нужно, без конца повторять сцену. Он лишь на короткое время уходит за кулисы отдохнуть, и тогда его заменяет дублёр. Тот же грим, почти такой же костюм, он тоже талантливый артист, но мы безошибочно угадываем, кто из них великий.

На следующий день на обеде у знакомого драматурга я, возможно с некоторой бесцеремонностью, разглядываю сидящего рядом за столом Мэй Лань-фана. В нём нет ничего женственного. В его лице нет ничего от сказочной красоты, очаровавшей нас

вчера. Мужественное, типично китайское лицо. Чисто мужские движения. Говорит приятно и весело, но я всё время испытываю робость. Словно этот сидящий напротив нас приветливый собеседник в любой момент может неожиданно превратиться в увешанное драгоценностями божество и взглянуть на меня небывалыми, не существующими в природе глазами заколдованной принцессы.

Нам очень посчастливилось, что мы увидели Мэй Лань-фана на киностудии, потому что играет он теперь очень редко. И хотя за время пребывания в Китае мы видели много опер и многих хороших актёров, всё-таки эта короткая сценка — на экране она будет длиться, пожалуй, не больше минуты — навсегда врезалась в память, и её не смогли стереть никакие последующие впечатления.

Возникает законный вопрос: почему в китайской классической опере женские роли исполняют мужчины? Верно, ни одна женщина не сможет быть на сцене такой женственной, как Мэй Лань-фан, но ведь не в том причина! И, кстати, выясняется, что в шаосинской опере, наоборот, как раз женщины играют мужские роли. А вообще, что мы знаем о китайской опере? Что она древняя, очень древняя? Но шаосинская, например, совсем не древняя, она насчитывает всего шестьдесят лет. Что она застывшая, условная, далёкая от жизни, — ведь это часто повторялось и ещё кое-где повторяется сегодня? Что она такая, что она сякая? Что кому-то очень понравилась, а кто-то твердил, что для европейцев это не искусство? Что она изжила себя? Что она совсем не устарела и что китайский зритель, страстно любя классическую оперу, не понимает современного театра? И так далее и так далее. И вот наконец мы в том счастливом положении, когда вечером собственными глазами увидим, что же это такое.

Что можно сказать о классической китайской опере? О ней писали десятки и сотни раз. Писали специалисты и профаны, друзья и враги. Нам кажется, что по литературе, по рассказам мы великолепно знаем, что такое китайская опера. Но, видно, так уж должно быть, что при соприкосновении с китайской действительностью нас ставит в тупик каждое явление, мы наталкиваемся на тысячи трудностей, разрешаем сотни сомнений и уезжаем с представлениями об этой стране, её жизни и людях совершенно иными, чем те, с которыми мы сюда ехали.

— Пойти пойдём, но мы заранее должны сказать себе, что особенного удовольствия ждать нечего. Зато увидим китайского зрителя, китайскую публику, это будет интереснее самого спектакля. А музыку как-нибудь выдержим, — решаем мы.

Но уже после первых минут мы совершенно забываем, что собирались наблюдать зрителей. Мы сами становимся только зрителями. Нас захватывает, приковывает наше внимание то, что происходит на сцене.

Опера «Белая Змейка». Даже если бы нам не переводили, мы всё равно поняли бы её содержание. Белая и Голубая Змейки, две русалки, захотели жить, как люди, захотели обыкновенного человеческого счастья. Они превратились в девушек и пошли к людям. Над озером они встретили молодого красивого аптекаря, который дал им свой зонтик, чтобы они укрылись от дождя, а потом зашёл к ним, чтобы взять его. Голубая Змейка, сестра и служанка Белой, предлагает ему вступить в брак с Белой Змейкой, который тут же заключается. Но тут вмешивается злой монах-колдун. Он убеждает молодого человека в том, что его жена не женщина, а кровожадная змея. Не помогает ни нежная любовь, ни самоотверженность Белой Змейки, которая, когда молодой человек заболел, рискуя жизнью, добывает волшебные травы и спасает его. Муж уходит с монахом в монастырь. Белая и Голубая Змейки отправляются на поиски его. Они встречаются на высокой скале монаха, умоляют его отпустить молодого человека. Но тот непоколебим. Тогда они начинают с ним бороться. Монах призывает на помощь духов неба (так нам перевели, но мне кажется, что это были скорее духи воздуха). Белая Змейка привлекает на свою сторону духов воды, но оказывается побеждённой. Всё же окончательная победа остаётся за Белой Змейкой — муж, стосковавшись по ней, убегает из монастыря, и они снова живут вместе и счастливо. Муж разгадал коварство монаха и оценил любовь Белой Змейки. У них рождается сын. Когда, по обычаю, через месяц приходят с поздравлениями гости, появляется монах. Он приводит с собой злого духа, чтобы погубить Белую Змейку. Он похищает её и запирает в башне. Голубая Змейка призывает на помощь духов огня, и те побеждают колдуна-монаха, разрушают башню и освобождают Белую Змейку...

В первый момент немного режет ухо непривычное для нас неестественное растягивание слов с напоминающими мяукань интонациями. Но скоро мы свыаемся. Так же легко мы миримся со всеми условностями. Рыбак двигает веслом на месте, по доскам сцены; трое колышутся на несуществующей лодке, создавая полную иллюзию покачивания лодки на волнах; перепрыгивают несуществующую канаву, слегка приподнимая длинные одежды; выскакивают из несуществующей лодки на несуществующий берег, и мы совсем не замечаем ни отсутствия лодки, ни отсутствия берега — пластичные движения актёров так выразительны, что всё совершенно ясно. Несомненно, некоторые условности мы даже не улавливаем, есть жесты и движения, ускользающие от нашего внимания, а для китайского зрителя они обозначают определённые понятия. Но теряем на этом только мы, а не китайский театр. Посмотрев несколько спектаклей, прихожу к убеждению, что, в сущности, условности здесь ненамного больше, чем в нашей опере. Просто она иная.

Декорации очень скупы, вернее—едва намечены. На заднике, например, нарисованы мостик, речка; на сцене нет ничего. Внутренность дома: в глубине занавес, на сцене стоят столик и два стула. Но и это не мешает. Наоборот. Разумеется, это—дело личного вкуса и проблемы театра вообще, но, глядя на едва намеченные декорации китайской оперы, я вспоминаю два наших спектакля, которые меня утомляли, угнетали избытком и пышностью оформления, его ненужной роскошью. Первый — это «Золушка» в Большом театре в Москве. Огромные, помпезные декорации. Для каждого выхода артиста новый фон, постоянно меняющийся, как в калейдоскопе. Зритель не поспевает следить за переменной декораций, глаза разбегаются во все стороны, и в этом великолепии, среди гигантских, массивных сооружений, деревьев, фонтанов, пропадает чудесный танец Улановой. Вместо того чтобы быть центром, чтобы приковывать глаза зрителя, она стала только мелкой частичкой спектакля, придавленная разнообразием и громадой декораций. И второй — это «Гамлет», поставленный Охлопковым в театре имени Маяковского. Снова декорации, отодвигающие на второй план актёров и Шекспира, роскошные, грандиозные. Вместо того чтобы слушать бессмертные слова и следить за игрой, зритель поневоле наблюдает, как раздвигаются и сдвигаются гигантские ворота, рядом с которыми Гамлет выглядит муравьём, как то туда, то сюда путешествует стена с ложами, как бегают с этажа на этаж по проходам и коридорам актёры. Опасения за судьбу датского принца частично сменяются волнениями совсем другого характера — страхом, не заест ли случайно какой-нибудь механизм, не рухнет ли стена, не обвалится ли на сцене ложи. Может, кому-нибудь эта пышность и по вкусу, но мне больше нравятся скромные, сведённые до минимума декорации китайской оперы, не отвлекающие от игры, от людей на сцене, подчёркивающие, что в спектакле главное — пьеса и актёр.

Зато костюмы в китайском театре — тоже не дающие оторвать глаз от актёра — настоящая феерия. Шёлк и парча, ручная вышивка, никакой подделки. Мы рассматриваем их потом за кулисами — они и вблизи столь же красивы и ярки.

Костюмам тоже присуще условное значение. Красный цвет — цвет свадебных одежд; свадебная лампа — тоже красная; переливающиеся, «павлиньи», одежды Голубой Змейки обозначают служанку.

Китайская опера ставит перед актёром совсем иные задачи, чем наша. Белая Змейка поёт, жонглирует, фехтует двумя мечами; бой духов воды с духами неба — это сверхъестественная по своему совершенству акробатика, соединение балета с цирком, образующее вместе с необычайно изобретательными костюмами и с их великолепной цветовой гаммой не поддающееся описанию прекрасное зрелище. \*

Наблюдать за публикой? Да я и забыла, что она существует! Забыла, что нахожусь в театре, перестала чувствовать себя взрослой, я попала в мир сказки. Пленённая и очарованная, переживала эту сказку, понимая, что ничего более прекрасного я не видела никогда в жизни ни на какой сцене. Все наши европейские феерии по сравнению с ней грубы, неуклюжи, лишены обаяния.

Актёры играют превосходно. Не только жесты, но и мимика, глубокий лиризм, искрящееся юмором исполнение — всё это вместе даёт интересное, человеческое и волнующее целое.

Меня интересует, как это в стране, где женщина находилась в таком бесправном положении, именно женщина является главной героиней? **Может, так происходит только**

в данной опере? Но, оказывается, нет, это — частое явление. И снова возникает один из тех бесчисленных вопросов, которые не дают мне в Китае покоя.

Зато молодой герой оперы (интересно, откуда в этом мире богинь, русалок, духов вдруг взялся прозаический аптекарь?) — нерешительный простачок. Нам сказали, что это типичный персонаж китайской оперы. Почему? (Снова злополучное «почему?».) Нам кажется просто смешным, что две прекрасные, умные, мужественные женщины так упорно добиваются этого слабого, беспомощного хлюпика. Для нас комичность этого персонажа усиливается ещё тем, что всё время он поёт и говорит фальцетом, словно подражая женскому голосу.

Шажки женщин на сцене дробные, маленькие, видно, они ходят так, как некогда ходили все китайки, когда им бинтовали ноги. И мужчины и женщины непрерывно «играют» длинными белыми рукавами, которые служат продолжением цветного рукава костюма и доходят почти до самой земли. Изящными, какими-то подбрасывающими движениями они собирают их в гармошку, превращая в не очень широкий манжет. А потом один взмах руки — и манжет, снова став широким белым рукавом, ниспадает до земли. Опять неуловимые движения рук — и рукав сложился в манжет.

Изумительны причёски женщин — их украшают целые сооружения из металла, лент, цветов, бус, цветных стекляшек, причём краски на этих убранствах подбираются на наш вкус несколько странно, в отличие от костюмов, где сочетания цветов всегда очень хороши. Монах, так же как и император на кинестудии и как потом все бородачи, носит бороду, подвязанную так, что она закрывает ему рот, растёт от самого носа. Но, видно, это не мешает говорить и петь.

За кулисами мы видим актёров совсем близко. Снова такой же странный грим, как у Мэй Лань-фана. Глаза, подтянутые наискосок к вискам, становятся огромными и выпуклыми, сильно нарумянены щёки и пространство между глазами и бровями, которое стало очень большим благодаря натянутым бровям, нос и лоб блее. Золотые знаки на лбу — признак небесного происхождения.

Потом, в другом спектакле, мы увидим диковинно разрисованные лица, похожие на маски, красные и чёрные знаки, массу мелочей и деталей, и каждая из них что-то говорит китайскому зрителю, что-то обозначает. На сцену вышел актёр, и мы видим, что наши соседи сразу узнают, какова профессия и даже характер изображаемого им персонажа. Мы стараемся запомнить как можно больше, но, конечно, путаемся. Но это не столь важно: с каждым новым спектаклем мы чувствуем, что понимаем всё лучше, наши переводчики, которые не только переводят текст, но и стараются объяснить нам каждую подробность, имеют с нами в театре всё меньше забот.

Музыка оперы? Вначале наш слух воспринимает её плохо. Впрочем, даже не всегда вначале, потому что в том, что в первую минуту кажется шумом, гулом, сумятицей, вдруг что-то меняется и выплывает мелодия ясная и понятная, как будто давно знакомая. Оказывается, и музыка приносит нам целый ряд «как» и «почему».

В Нанкине смотрим классическую пекинскую оперу. (Пусть вас, читатель, не вводит в заблуждение название «пекинская», потому что только её источник, начало идёт из Пекина, обозначает род и тип оперы, а не место пребывания её труппы.) Нам показывают три короткие оперы. Собственно, это даже не оперы, а музыкальные драмы. В первой мать ожидает сына, ушедшего на войну. Она поднимается на башню. Башня — два столика и две табуретки, задрапированные красной материей, а лестница — ровные доски сцены. С этой башни она смотрит вдаль и жалуется на свою тоску. Её сопровождают две служанки, бессловесные персонажи, несущие перед своей госпожой или за ней фонари. Мы не в восторге. Продолжительные и непонятные причитания утомляют нас.

Зато вторая сценка — истинное наслаждение. Ссора двух женщин-генералов. (Опять недоумения: когда, как и где в этой стране бинтованных ног и рабского повиновения женщина могла быть генералом?) Муж одной из них, тоже генерал, находится в осаде, и император приказывает жене итти с войском ему на помощь. Сестра осаждённого генерала, тоже генерал, прибывает к золовке. Костюмы обеих amazонок ошеломляющие, невероятной длины фазаньи перья, украшающие их головы, ниспадают почти до пола — они являются знаком высокого воинского звания. Великолепное, очаровательное и смешное зрелище. Смешные сцены со слугами и наконец ссора. Эта ссора —

настоящий шедевр. Вначале глухая антипатия и зависть, прикрываемая изысканной, фальшивой вежливостью, но уже, видимо, давно снедающая обеих дам. Потом ссора разгорается всё сильнее и сильнее. Наконец в воздухе пахнет дракой — вот одна бросается к другой и с бабьей злостью шиплет её за щёку. Здесь есть всё — от салонной, шипящей, тихой, но ядовитой ненависти вплоть до типичной ссоры рыночных торговек. Причём тончайшие проявления женской психологии, буквально шедевр, создают как раз мужчины.

После этих двух коротких сцен следует «Примирение генерала с первым министром», то есть та опера, ради которой нас сюда пригласили. И снова передо мной встаёт вопрос.

«Примирение генерала с первым министром» — сложная придворная история. Властитель княжества Чжао получает от властителя княжества Цинь ноту, в которой тот требует отдать ему драгоценную нефритовую печать, которой владеет княжество Чжао, в обмен на пятнадцать городов.

Линь Сян-ту — первый министр княжества Чжао, простой человек, приглашённый на этот высокий пост по совету одного из разумных придворных, к величайшему неудовольствию «высокорождённого» старика генерала Лянь По, — отправляется на переговоры в княжество Цинь. Там он приходит к выводу, что дело идёт к тому, чтобы обманным путём присоединить княжество Чжао к княжеству Цинь. Линь Сян-ту ловко обводит властителя княжества Цинь и возвращается к себе с нефритовой печатью. Тогда князь Цинь приглашает к себе князя Чжао и делает его посмешищем. И снова Линь Сян-ту выручает. За свои заслуги он получает повышение, награды, благодарность князя. Старый генерал не может примириться с тем, что молодой человек получает больше почестей, чем он, и всячески старается вызвать его на ссору. Но первый министр спокойно переносит все обиды и оскорбления: война между ним и генералом могла бы отразиться на судьбе всей страны, мир между ними — это благо страны. Наконец при содействии двух слуг и придворных сановников оба мирятся во имя блага и спокойствия родины.

Вот тут-то и загадка. Как это так, что в придворной опере самые умные и достойные люди вовсе не князья, сановники и вельможи, а простые люди, получившие пост первого министра? И самыми умными, наиболее патриотически и граждански мыслящими людьми оказываются не господа, а слуги — они носители глубокой народной мудрости, они лучше всех понимают, что нужно для блага страны. Откуда этот демократизм, эта народность?

Вот так один за другим следуют вопросы и сомнения. Ведь если даже предположить, что сейчас из классического наследия отбирается именно такое, а не другое, то говорит о чём-то факт, что можно найти оперы, которые никак не соответствуют нашим понятиям о придворном искусстве, предназначенном радовать и улаживать слух и глаза повелителя Китая и его сановников.

В Шанхае мы снова слушали три небольшие оперы. Оперу «Пьяная Ян Гуй-фей» исполняют актёры шанхайской народной труппы пекинской оперы. Императорская фаворитка, напрасно ожидая назначенного свидания с императором (у него, повидимому, есть и другие фаворитки), выпила сверх меры. Любопытно, что нетрезвого человека можно встретить в Китае только на сцене... Игра великолепна: опьянение доходит до крайней стадии, и всё это воспроизведено так тонко, с таким обаянием, что нет ничего неприятного для глаза и уха. Всё сделано так, как говорил об искусстве Ци Бай-ши: не чересчур похоже на натуру и не слишком мало похоже. Ничего от натурализма, и в то же время образ совершенно реальный. Нам говорили, что это одна из коронных ролей Мэй Лань-фана. Мы не видели его в этой роли и поэтому не можем сравнивать, но и то, что мы видим, кажется нам вершиной, совершенством. Именно сохранение этой тончайшей, едва уловимой грани между похожим и непохожим определяет, смотрим ли мы настоящее искусство, настоящее мастерство или нет. Слов произносится очень мало, почти исключительно пантомима, причём из скупого текста мы теряем, видимо, немало из-за излишней стыдливости нашего переводчика. Пьяная фаворитка явно кокетничает с придворными слугами, которые — увы! — евнухи. И снова нет здесь ничего вульгарного, грубого, зато юмора и обаяния — не передашь словами.

Тем же очарованием и изяществом наделена и «История с нефритовым браслетом» в исполнении тех же актёров. Девушка осталась одна дома. Проходящий мимо молодой человек очарован ею и хочет пробудить к себе интерес. Он подбрасывает на порог дома нефритовый браслет. Девушка колеблется, принять или не принять ценный подарок. В дело вмешивается сваха, и девушка в конце концов надевает браслет. Фабула как будто незначительна, но как её умеют использовать актёры! Игра молодой девушки — это тонкий психологический этюд. Мы видим и испуг, и нерешительность, и силу чар драгоценного украшения, и невинные уловки, и юмор, и мечту о счастье. Всё это выражено почти без слов, сыграно жестом, мимикой, тонко, без переигрывания и в то же время так выразительно, что мы понимаем всё даже без перевода.

Когда мы читали или нам рассказывали о китайской опере, почему-то всегда пропадало главное — то, что китайский актёр играет, и играет мастерски. Крохотная роль свахи, исполняемая мужчиной, — тоже шедевр. Профессиональные прѐмы сводни, хитрость, остроумие, знание психологии молодой девушки — всё разработано до мельчайших штрихов, отшлифовано, доведено до совершенства. Великолепная отработка тончайших деталей образа, целесообразность каждого жеста, каждого движения — пожалуй, одна из самых удивительных особенностей китайского театра и китайского актёра. Мы ощущали её везде, в театрах разных городов, на разных сценах.

Третья опера — «Секрет мужа» — шаосинская. Её исполняет Восточнокитайская экспериментальная труппа шаосинской оперы. Шаосинская опера гораздо моложе пекинской, это не придворная опера, а народная. Наше знакомство с ней несколько неудачно. «Секрет мужа», где снова выступает не очень умный муж и умная очаровательная жена, — это почти сплошь длинный, непонятный разговор, утомивший нас и оставивший безразличными.

Зато в Кантоне нас ждёт приятный сюрприз. Мы смотрим оперу «Два ревизора расплавляют в огне печати». Это история двух юношей, потерявших работу за то, что благоволили к простому люду. Узнав, что в городе ждут ревизора, они решают пока что сыграть его роль. Они переодеваются и прибывают в город как хозяин и слуга. Самозванец-ревизор легко входит в роль, отменяет приговор невинно осуждѐнным, а бандита, получившего благодаря взятке мягкое наказание, приговаривает к смерти. У тирана-богача, который вертел всеми, как ему заблагорассудится, и которому потворствовали чиновники, он отнимает хитростью деньги и возвращает пострадавшим — одним словом, выступает в роли праведного судьи.

Но вот приезжает настоящий ревизор. Единственное доказательство того, что он действительно тот, за кого себя выдаёт, — золотая печать. У самозванца печать поддельная — она из воска. Решено провести пробу печатей. Во время пробы мнимый слуга вбегает с криком, что вспыхнул пожар. Пользуясь суматохой, самозванец меняет печати, золотая не расплавляется в огне, восковая тут же тает. Лжеревизора признают за настоящего, он же, спасшись таким образом и сделав уже доброе дело, бежит, пока настоящий ревизор не привёл других доказательств.

Игра великолепная, как всегда. Пения почти нет, текст произносится. Смешные ситуации, временами переходящие в фарс, гротеск или даже просто ярмарочный балаган, с очень сильной народной ноткой. Обилие грубоватого народного юмора. Простые люди — добрые, благородные; господа — злые, продажные, жестокие. Интересные находки: лжеревизор задумывается, как найти выход из опасного положения, создавшегося в связи с предстоящей пробой печатей. Во время сна товарища он меняет свою пустую чашку из-под вина на его полную, и это наводит его на мысль заменить печати. Когда мнимый слуга, просыпаясь, опрокидывает свечу на столике, его хозяину приходит в голову идея ложной тревоги.

Это, конечно, не фабула гоголевского «Ревизора». Но сколько общего с русской пьесой! Когда появляется лжеревизор, местные власти ведут себя почти так же, как городничий и его компания. Только поведение китайского Хлестакова облагорожено гуманными побуждениями. Оказывается, что сюжет «Ревизора» жил, существовал здесь, в Китае, и подмеченные нами аналогии делают для нас оперу ещё более интересной. Ещё одно подтверждение того, что некоторые явления и человеческие характеры повторяются у разных народов независимо от времени и географического положения. Императорские чиновники и сановники, несмотря на внешнее различие, разные обычаи

и одежду, в сущности, как братья-близнецы, похожи на царских чиновников старой России. Точно так же, как слуги в китайской опере живо напоминают проворных горничных и оболтусов-лакеев Мольера.

В Кантоне мы смотрим ещё одно представление. Программа сборная. Опера «Служанка» — сценка, где обворожительная молодая повариха в пёстрой шёлковой пижаме обыкновенной палкой усмиряет самонадеянного грубияна-генерала и, как самая отважная и умная, идёт во главе войска спасать попавшего в осаду сына своей старой госпожи.

Вторая опера — «В горах Утайшань». Встречаются два брата, сыновья погибшего на чужбине полководца Яна. Один из братьев — монах, другой — генерал. Он везёт домой прах погибшего отца. Встреча происходит неожиданно. Генерал скрывается от нападения врагов в буддийском храме, где живёт монах. Монах рассказывает историю своей семьи, и только тогда выясняется, что они братья, не видевшиеся с детства и не знавшие ничего друг о друге и остальных братьях.

Идёт длинный рассказ о судьбе семи братьев. Актёр, играющий монаха, почти час подряд поёт, декламирует, прыгает, проделывая совершенно цирковые номера, словно в нём сосредоточились не только таланты, но и невероятная физическая сила целой труппы актёров. Его пение — горловое, хриплое, но когда вслушаешься, уже не замечаешь ни хрипоты, ни неприятных горловых звуков — в нём заключена захватывающая, дикая, страстная сила. И вдруг в музыке появляется как будто знакомая мелодия. Сладостная, лирическая музыка. Кажется, в ней звучит далёкий отзвук русской народной песни, и украинского танца, и музыки горцев в Татрах. Откуда это? Может, когда-то, века назад, пришли к нам эти мотивы, и теперь мы думаем, что они родились у нас? Или они вытекли из единого далёкого источника, бившего в древние времена? Случайное ли это совпадение? Откуда такое сходство, откуда такая близость?

Снова гудят гонги, снова звон меди. Я жду, когда это пройдёт и польётся нежная трель, жалоба души, соловьиная песнь. Судя по переводу (сбоку сцены на экране появляется текст, поскольку большинство публики, состоящей сегодня почти исключительно из делегатов на конференцию народов Азии и Африки в Дели, не понимает местного кантонского диалекта), эти лирические партии совсем не соответствуют содержанию песни. Прошу переводчика не объяснять мне надписи и не переводить мне песни монаха. Я уже понимаю многое из условных жестов. К тому же тогда можно думать о своём и расширять своим собственным чувством канву этой захватывающей, колдовской мелодии, которая заставляет сжиматься сердце, мелодии грозной, исполненной почти гипнотизирующей силы.

Не знаю, возможно это вследствие настроения, но из всего виденного мною в китайском театре опера «В горах Утайшань» потрясла меня больше всего. И «Белая Змейка» и многие другие оперы были как озеро в Ханчжоу — нежные, очаровательные, забавные, обладающие изяществом цветка и бабочки. Эта же была, как горы около Куньмина, как ущелье реки возле Чунцина, как дороги из охры через красные горы — грозные, величественные, потрясающие душу звуки. Возможно, что я забуду очаровательную повариху, что забуду умного первого министра, императорскую фаворитку, ссорившихся дам-генералов. Но никогда не забуду монаха, его угрюмый рассказ, когда казалось, что слышишь из глубины человеческой души крик отчаяния, и открывались какие-то огромные перспективы, и всеми силами хотелось совершить в жизни что-нибудь значительное, достойное волнения и слёз других, дать людям самое лучшее, что только можно дать. Это было настоящее искусство, Искусство с большой буквы, перед которым склоняешь голову, но которое в то же время поднимает, двигает, заставляет выйти из театра другим, чем вошёл в него.

Кроме этих двух опер, нам показали музыкальный ансамбль. Инструменты исключительно струнные. Дирижёр сидит среди оркестрантов, перед ним на столике нечто вроде двух больших чаш — одна как бы опрокинута вверх дном, другая — как бы накрыта крышкой. В ногах у дирижёра маленькая тарелочка. Он дирижирует, ударяя палочками по чашкам: правая рука — правая чашка, когда звуки оркестра усиливаются; левая рука — левая чашка, когда переходят в пиано, и тогда он уже не ударяет, а только слегка касается палочкой чашки. В первую минуту мне показалось, что он тоже играет, и что чашки — это его инструмент. Немного спустя я заметила, что ор-



кестр подчиняется движению палочек, тому способу, как ими ударяют, что этот drobный стук ведёт мелодию и отдельные инструменты так, словно они все с ним связаны, ведёт уверенно и безошибочно. Когда дирижёр ударяет в тарелочку, это знак для начала и конца музыки. Оркестр поразительно сложен. Музыканты играют на китайских скрипках, мало напоминающих наши (оказалось, что здесь они как раз называются не «китайскими», а «иностранными» и пришли в Китай, кажется, из Маньчжурии), на инструменте, напоминающем цитру или цимбалы. Исполнялись два отрывка из классической оперы. Мелодия похожа на ту, которая звучит в песне монаха. Лирическая, понятная, близкая.

Китайской опере свойственна ещё одна характерная особенность. Мы привыкли к тому, что у каждой оперы своя собственная музыка. А здесь совсем иначе. Здесь, пожалуй, имеют свою музыку, повторяющуюся во многих операх, определённые ситуации. Поэтому нам говорят:

— Сейчас будет борьба.

— Откуда вы знаете?

— Как? Ведь уже слышна мелодия борьбы.

Оркестр в опере обычно небольшой. В некоторых театрах музыканты сидят сбоку на сцене, на виду у публики. Но концертный ансамбль мы впервые видим в Кантоне.

Какой великолепный оркестр! Оказывается, это самодеятельный деревенский ансамбль, один из многих, принимающих участие в происходящей в это время олимпиаде народного творчества. А ведь я была уверена, что это профессиональный оркестр, известный и знаменитый!

Вспоминаем вдруг, что народная песенка, которую мы слышали на приёме, на другой день после приезда в Пекин, напоминала славянские народные песни, а песня бурлаков на Жёлтой реке показалась нам родной сестрой «Дубинушки». Странные и запутанные пути народного творчества. Чем вызвано это сходство — действительной ли общностью искусства или одинаковой человеческой долей, одинаковой любовью и одинаковыми страданиями?

В Куньмине на концерте, где выступают коллективы национальных меньшинств, я слышу в песне горцев, живущих на границе с Бирмой, отзвуки народной песни польских горцев и отзвуки гуцульского «аркана». Да что говорить, даже в костюмах заметны детали, близкие гуцульским! А песни народностей мяо, и, аси, тай? Как много знакомых, близких мотивов мы услышали в них, так же как увидели немало знакомых фигур в их танцах. Видно, люди более близки друг другу, чем им кажется, и народы более породнены, чем предполагается.

В университете имени Сунь Ят-сена в Кантоне я устремляюсь к профессору литературы, специалисту в области драматургии Суньской эпохи. Наконец выясню всё тёмное для меня и непонятное в китайской классической опере!

Во-первых, откуда в опере, придворной опере, столько народного? Ответ, оказывается, совсем простой. Всего двести лет назад (для многотысячной истории Китая двести лет — это немного) император Цян Лун из Циньской династии собрал в Пекине странствующие оперные народные труппы и создал из них оперу, которую сегодня называют пекинской оперой. В истории классической оперы придворный период составляет всего лишь небольшой отрезок — её начало, сущность же и большая часть её пути народны.

А критические нотки по отношению к вельможам, богачам, бюрократии откуда? Ответ тоже простой. Во-первых, народное происхождение оперы, во-вторых, часто оппозиционные настроения актёров, на которых смотрели пренебрежительно и которые, в сущности, были париями, несмотря на популярность их искусства. Это отражалось не только в их творчестве — во время восстания тайпинов одним из выдающихся участников восстания был известный актёр, образовавший впоследствии собственное маленькое государство.

Мой третий вопрос, касающийся роли женщины в классической опере, немного озадачивает профессора. Он спрашивает, какие из опер мы видели. И объясняет, что теперь не ставятся оперы, в которых проводятся реакционные идеи и допускается презрительное или неправильное отношение к полноправной сегодня женщине.

Ну хорошо, допустим, был проведен отбор... Некоторые оперы теперь не исполняются. Но откуда взялись, как стали вообще возможны Белая и Голубая Змейки, и очаровательная повариха, и ссорившиеся дамы-генералы, и множество других мужественных, умных, предприимчивых женщин, которых мы видели в стольких операх?

Профессор пытается объяснить, что всегда в опере большинство ролей исполнялось только женщинами. Во времена династии Мин в каждой труппе был только один выдающийся актёр и одновременно руководитель,— если им была женщина, она как бы брала реванш за угнетение, в каком находились её сёстры, и создавала вот такой образ.

Я остаюсь неубеждённой. Разве зритель согласился бы смотреть на сцене то, что не находило подтверждения ни в жизни, ни в традиции, что было явным отрицанием и традиции и жизненной практики? Нет, в этом кроется нечто другое, чего я не понимаю и чего мне не разъяснили.

Но я, во всяком случае, знаю теперь то, в чём раньше не была уверена. Неправда, что китайская классическая опера непонятна и утомительна для европейца, — триумф китайской оперы на сценах почти всех европейских столиц является лучшим доказательством. Неправда, что она закостенела, что изжила себя, — она может пробудить глубочайшие волнения и переживания. Неправда, что она оторвана от жизни, — в ней удивительно много вечно злободневного. Не знаю, правда, как могли бы в ней отразиться современная жизнь, современные проблемы, но ведь и Европа тоже ещё не в полной мере разрешила у себя эту задачу. Пока что и там, за небольшим исключением, наиболее удачны, известны и любимы оперы на исторические или сказочные сюжеты, то есть близкие в этом отношении к китайской опере. Но в историческом и сказочном сюжете китайской оперы можно найти, пожалуй, больше живого, человеческого, вечно повторяющегося, чем во многих наших операх. Так что китайцам, во всяком случае, будет не труднее решить эту задачу, чем нам. Решить своим собственным путём.

Нельзя рассказывать о китайской опере, не сказав ничего о китайском зрителе. Наблюдать за ним мне удавалось не всегда, потому что я слишком увлекалась происходящим на сцене. Но всё-таки я более или менее узнала, каков он. Китайский зритель — неотъемлемая часть спектакля, интересная и характерная. Зритель здесь не похож ни на какого другого, и к тому же в каждом городе особенный. Только одно повторяется всегда и везде — театр полон, набит до отказа. И ещё то, что в театр ходят, как в кино. Да и само помещение больше напоминает кинозал, чем театральный; никто здесь не снимает верхнего платья — нет гардероба. Сидят не только в пальто, но и в головных уборах. В театрах Нанкина и Кантона во время спектакля курят.

В Нанкине, когда показывают первые две оперы, зрители даже не глядят на сцену. Они ходят по залу, ищут места, разговаривают, — они пришли смотреть «Примирение генерала с первым министром», и, видно, их мало трогает и жалоба тоскующей по сыну матери и ссора женщин-генералов. Но зато как потом они внимают! В зрительном зале мы видим не только взрослых, но и детей. Больше всего их было в Кантоне. И реакция публики здесь самая оживлённая. Ну да, ведь это юг...

В Кантоне улочка, ведущая к театру, представляет собой настоящую ярмарку. Стоят печурки, котлы, котелки, жаровни. Повара жарят, варят, пекут. Люди едят стоя или сидя за маленькими столиками. Движение, смешанный гул голосов. Бродячего скрипача окружает толпа. Многолюдно, как в самые оживлённые дневные часы. И когда входим в здание театра, нам всё ещё кажется, что мы на улице, — и здесь шум, разговоры. Единственные свободные стулья — это наши места. Маленькие дети — их очень много — сидят на коленях у родителей. Возле нас какой-то мужчина с двумя малышами. Представляю, какое нас ждёт удовольствие от этого соседства!

Но я забываю, что это китайские дети. Спектакль длится часа три. Дети не плачут, не скучают, а внимательно следят за всем, что происходит на сцене, смеются, когда есть над чем смеяться, и личики их становятся серьёзными, когда этого требует действие.

Кантонская публика ведёт себя в театре совершенно свободно. Зрители так искренне смеются, так живо реагируют на каждую комическую сценку, на каждую остроту, что мы смеемся вместе с ними даже там, где не очень-то разбираемся, в чём дело. Они обмениваются замечаниями, но так, чтобы не мешать соседям, причём оказывается, что

даже маленькие дети прекрасно знают содержание спектакля. Но, несмотря на это, они волнуются, смеются, переживают, как будто видят его впервые. Аплодисментов во время действия нет, зато энергично хлопают в конце спектакля.

Наш сосед-малыш испугался было выбежавшего вдруг на сцену генерала в страшном гриме, с длинной чёрной бородой, и заплакал, но тут же успокоился и уже внимательно следил широко раскрытыми глазами за развёртывающимся действием, которое, по-моему, должно бы быть совершенно недоступным для его понимания. Но это не так — по личику заметно, что он переживает виденное, понимает, в чём дело. Непонятно, как это происходит. Придётся без мудрствований принять к сведению наглядный факт, что пятилетний зритель ведёт себя в театре так же, как взрослый. В свою очередь взрослый зритель непосредственен, как дети. Наверное, каждый актёр, сыграв свою роль, чувствует, что его труд был оценён достойно, что ему оплатили от всего сердца.

Кто эти зрители? С первого взгляда не разобраться, потому что все одеты почти одинаково, ведут себя тоже почти одинаково. Единственно, кого на спектаклях можно благодаря форме выделить сразу, — это военных: их очень много. Что касается остальных, то нам разъясняют: это прежде всего служащие, рабочие, интеллигенция. Очень много молодёжи. Есть и крестьяне — театр для всех, и все пользуются театром, конечно, в меру вместительности зала. А залы бывают разные. В Кантоне, например, мы были в двух — один вмещает 1750 зрителей, другой поменьше.

Когда пишут и говорят о китайском театре, все пишут и говорят о классической китайской опере. Это понятно: она наиболее полное выражение типично китайского на сцене. Видно, поэтому часто забывают о том, что в Китае существует также другой театр — современный. Он молодой, ему всего лишь двадцать лет. Желаем ли посмотреть его? Станный вопрос. Конечно, желаем! Тем более, что идёт как раз пьеса автора, с которым мы лично знакомы.

Идём с уверенностью — о европейская самонадеянность! — что нас ждут не особо яркие впечатления, опасаемся, что увидим нечто похожее на картины маслом, тоже новые для Китая и которым пока что очень далеко до великолепного традиционного китайского искусства. Но наша самонадеянность наказана.

Зрительный зал переполнен точно так же, как на спектаклях классической оперы, хотя пьеса идёт уже очень давно. Впрочем, глядя из окна гостиницы в Шанхае на протянувшийся на несколько улиц «хвост» за билетами на пьесу «Великий поход», мы имели возможность убедиться, что разговоры о том, будто китаец не признаёт и не понимает современного театра, — просто вымысел того же сорта, как то, что китайцы едят тухлые яйца и что сохранение до сих пор иероглифов — проявление косности и консерватизма.

Итак, современный театр и современная пьеса. Называется она «Гроза». Написана двадцать лет назад. Автор — Цао Юй — идёт вместе с нами в театр.

Действие пьесы довольно сложно, несмотря на то, что оно развёртывается в течение одних суток. Место действия — дом директора шахты и квартиры его слуги.

Содержание: тридцать лет назад директор выгнал из дома свою любовницу — служанку, чтобы жениться на богатой наследнице. Старшего сына он оставил у себя, младшего позволил ей забрать с собой. Женщина ушла. На берегу реки она оставила свою одежду, и все уверены в её смерти. Она уехала на север, вышла замуж и стала работать служительницей в школе. Сын её вырастает и попадает на ту же шахту, где служит его отец. Он становится вожаком рабочих и руководит забастовкой, вспыхнувшей на шахте. Молодой шахтёр не знает, что директор, с которым он ведёт борьбу, — его отец. Муж матери, которого он считает родным отцом, вместе с дочерью — его сестрой — нанимается на службу в дом к директору.

Богатая наследница, ради которой директор выгнал когда-то мать своих детей, вскоре умерла. Директор вторично женится на молодой женщине, от которой имеет сына. Желю директора соединяет с пасынком преступная любовь. Девушка-служанка любит старшего сына директора, не зная, что он её брат.

В центре этого запутанного узла чувств и родственных связей оказывается вдруг мать, приехавшая за дочерью. Она не знает, у кого работают её муж и дочь, но не хочет, чтобы её дочь жила в доме богача: слишком памятна ей старая обида. Она

приходит в дом, где служат её муж и дочь, и узнаёт, что это тот самый дом, откуда её выгнали тридцать лет назад. В старом человеке, хозяине дома, она узнаёт своего бывшего возлюбленного, отца своих двух сыновей, узнаёт о любви своей дочери и решает спасти её, пока не поздно. Но оказывается, уже поздно: дочь беременна. Мать (хотя всё в ней содрогается при мысли о бессознательном кровосмесительстве) в нерешительности: погубить жизнь своих детей или молчать? Позволить им уехать и жить вместе? Она решает на второе. Но тайна раскрывается без её участия. Молодая девушка в отчаянии кончает самоубийством, хватая сорванный во время грозы электрический провод, младший сын директора (сын последней жены) тоже гибнет, пытаясь её спасти.

Казалось бы, типичная мелодрама. Но мы видим в пьесе подлинно живых людей. Умная, благородная мать, полная тепла и в то же время обладающая решительным, твёрдым характером. Её муж, слуга, лакейская душонка, разложившийся в богатом доме своего господина, пьяница, корыстолюбец, готовый торговать собственной дочерью, лишь бы получить деньги. Он знает о романе дочери с директорским сыном и пользуется этим, знает о связи между пасынком и мачехой и шантажирует её. Мачеха — страстная, скрытная, ревнивая женщина. Старший сын — испорченный достатком, пресыщенный юноша, бесхарактерный и безвольный. Он хочет порвать с мачехой — и боится её. Соблазняет девушку-служанку, и хотя готов жениться на ней, ему недостаёт смелости открыться в этом отцу. Самый младший сын, наивный энтузиаст, вырывается из отравленной атмосферы отцовского дома, хотя и не понимает до конца, что в этом доме происходит. Сын-шахтёр — сильный, решительный, немного грубоватый и неотёсанный. В этот положительный персонаж драматург сумел вдохнуть настоящую жизнь — в нём нет ничего от шаблона, от схемы. Директор — уже старый человек, чёрствый и несправедливый по отношению к рабочим, но по-своему глубоко несчастливый. Он одинок — жена не любит его, сын неудачливый. От единственной настоящей любви от отказался ради богатства. Этот образ человекен, правдив.

Пьеса сильная, сжатая. Зритель сразу попадает в гущу событий, которые следуют одно за другим, несутся, как лавина. Атмосфера напряжения и ужаса усиливается с каждой сценой. Затаив дыхание, следим за действием.

А игра! Невероятной длины паузы, на которые вряд ли кто из наших актёров мог бы решиться. Сдержанность, скупость средств выражения, сконцентрированная игра. Говорят тихо, нет ни крика «на зрителя», ни пафоса, ни искусственных жестов, ни переигрывания. Предельная простота. Актёры живут на сцене, и часто, глядя на них, забываешь, что ты в театре.

Поздней ночью, в грозу и ливень, мачеха возвращается из дома слуги, где выслеживала любовника-пасынка и окончательно убедилась, что он ей изменяет. Вся вымокшая, она входит в дом и вдруг видит, что муж сидит за столом при маленькой, едва рассеивающей темноту лампочке. Она ничем не выдаёт своего испуга или изумления. Даже не вздрагивает. Застывает у двери, протягивает руку и поворачивает выключатель. Зажигается большая люстра под потолком, свет заливает комнату. Женщина тихим, мёртвым голосом спрашивает:

— Ты ещё не спишь?

Эта сцена сыграна потрясающе. Мы понимаем: после того, что с ней произошло, после измены любимого человека, после совершенного ею поступка — она закрыла и подперла снаружи окно в комнату, чтобы неверный не смог уйти и чтобы так его застал брат девушки, который, конечно, отомстит ему за обиду, — неважно всё, что произойдёт сейчас. Она не будет изворачиваться, оправдываться. Не будет крадучись пробираться в полумраке, рассчитывая, что муж мог бы её не заметить. Она зажигает полный свет — пусть он видит её мокрую одежду, пусть знает, что её не было дома, что неизвестно, откуда возвращается она в такой поздний час. Всё, всё безразлично перед лицом рухнувшей любви. У неё нет сил, она не может лгать. Не потому, что ей надоел обман или мучат угрызения совести, нет. Но вся энергия сгорела там, под окном соперницы, в поступке, который должен привести к гибели неверного любовника.

Один жест — поворот выключателя — и один вопрос: «Ты ещё не спишь?» — обнажают тайники изломанной человеческой души с ясностью более ослепительной, чем свет люстры, который вспыхнул вдруг, выхватив из полумрака тёмную стройную

фигуру в мокром плаще, с выразительностью более убедительной и глубокой, чем самая пространная тирада. Так сыграть может только большая актриса, и, без сомнения, игравшая эту роль прекрасная Люй Энь — большая актриса. Так же как Чжу Линь, исполняющая роль матери.

Вот сцена, в которой мать вдруг узнаёт тайну своей любимой дочери. Сколько здесь возможностей для переигрывания, для стонов, криков, мелодраматичной декламации! Ничего подобного. Тихий, моментами срывающийся до шёпота голос, скудные жесты, но в то же время столько внутренней экспрессии, что мы слушаем и смотрим, затаив дыхание, забывая, что это ведь театр, игра, а не настоящие страдания человека.

Великолепен также в каждом слове, в каждом движении актёр Шен Мэй, исполняющий роль слуги директора. Наглость, хитрость, фальшивая предупредительность, интриганство сыграны без шаржа, без преувеличения, правдивы до конца. Можно бы переписать всю афишу — играют не только отдельные актёры, играет вся труппа, и даже там, где исполнение несколько слабее, всё равно видны способности актёров.

Какой же это театр? Китайский? Без сомнения, китайский. Так двигаются, так улыбаются, так говорят только китайцы. Европейский? Без сомнения, европейский. Этот спектакль напоминает лучшие работы МХАТ в его лучшие времена, напоминает лучшие работы Малого театра.

После спектакля идём за кулисы. Я так взволнована, что у меня дрожат руки — долго не могу зажечь папиросу. Актёры — простые, милые, обаятельные. То, что мы говорим, принимают за комплименты. А ведь мы говорим даже меньше, чем чувствуем. После их безыскусственной игры страшно употреблять громкие слова, чтобы не прозвучали они фальшивым пафосом.

Откуда взялось, каким путём идёт это искусство, если вспомнить, что реалистический театр нашего толка не имеет здесь никакой традиции, что существует он всего только двадцать лет! А Пекинский народный художественный театр таким, каким мы его узнали сегодня, существует всего три года. Правда, он образовался из слияния двух драматических кружков, зародившихся ещё в 1948—1949 годах в освобождённых районах страны. Стало быть, он родился с первым всходом свободы.

В труппу входят уже немолодые работники искусства, начавшие свою деятельность в период революционной войны, участники драматических бригад, которые вели борьбу за прогрессивную драматургию, за прогрессивный театр на территории, находившейся ещё под властью гоминдановцев, и, конечно, молодёжь. В труппе всего 228 человек, предвидится расширение её до 330 человек. Театр в течение двух лет дал двести восемь спектаклей в деревнях, на заводах, в воинских частях и в Корею, на которых побывало более миллиона зрителей. Интересен состав их: 31,21 процента рабочих, 11,3 процента крестьян, 9,93 процента военных, 19,24 процента партийных и государственных работников, 6,7 процента учащихся. Следовательно, основная масса зрителей — рабочие. Коллектив поддерживает постоянную связь со зрителями, собирает их высказывания и мнения о спектаклях, пьесах, игре актёров, работе режиссёра.

В репертуаре театра — пьесы китайских драматургов, одноактные пьесы, написанные самим коллективом театра, советские пьесы.

— В своей творческой работе мы придерживаемся пути литературы и искусства, указанного нам товарищем Мао Цзэ-дуном, и метода социалистического реализма. В игре стараемся следовать методам Станиславского, — сказал нам руководитель театра.

Долго сидим за кулисами и разговариваем. Эти большие актёры считают совершенно нормальным, что у них у всех одна общая артистическая уборная. Длинный узкий стол у стены, ряд зеркал, ряд лампочек. Они не «великие». Они скромные и простые.

К сожалению, не увидим их ни в «Дяде Ване», которого они играют, и, наверно, играют великолепно, — нам с восторгом говорили об этом спектакле приезжие из Москвы, постоянные посетители МХАТ, — ни в других китайских и европейских пьесах. Мы встретимся с ними ещё только один раз, перед отъездом на Родину, для делового разговора о «Макаре Дубраве» Корнейчука, над которым они как раз работают.

Сидим на обсаженном деревьями дворике, напротив нас вся труппа. Яркое солнце падает сверху, освещая листья и лица.

Сначала о пьесе говорит автор, потом я рассказываю свои впечатления зрителя от спектаклей театра имени Франко в Киеве, потом начинаются вопросы. Вопросам нет конца. Каждый из актёров показывает, как он работает над пьесой, в которой будет играть незнакомых людей из незнакомой среды, из другой страны. Рассказывают, как представляются им персонажи, ситуации, и спрашивают о чертах характеров, о Донбассе, о жизни, одежде, жилищах шахтёров.

Работать над пьесой они начали совсем недавно, но по вопросам видно, что в неё вложено уже много усилий и души. Актёры обдумали свои роли, и персонажи пьесы уже ожили для них. Спрашивают о важных, принципиальных вещах и о мелочах, вплоть до того, как повязывают на Украине голову платком. Сквозь зелёные листья деревьев солнце бросает на двор яркие дрожащие пятна, деревянные колонны и перила домов, окружающих четырёхугольный дворик, настолько китайские, что в первый момент странно звучат здесь имена Трофима и Гали, Макара и Гаврилы. Но это только в первый момент. Скоро всё это становится вполне естественным, и Пекин перестаёт быть городом, отдалённым от Киева и Донбасса на тысячи километров. Мы уже видим, каким Дубравой будет этот высокий актёр, и какой тёткой Марией станет эта расспрашивающая обо всех деталях быта актриса, и знаем, что это будут очень хороший Макар и очень хорошая тётка Мария, так же как хороши будут все остальные во всех ролях. Нет, здесь не будет никакой «развесистой клюквы» — Донбасс будет настоящим Донбассом и шахтёры будут настоящими советскими шахтёрами. Зритель увидит на сцене кусок нашей Родины и будет огорчаться и радоваться вместе с советскими людьми благодаря этим китайским актёрам, которым большой талант и кропотливая работа помогают побороть расстояние, чужой язык и чужой обычай, позволяют почувствовать и понять автора другой страны и другого народа так, словно он свой. Да, да, и фотографии пришлём, и песни пришлём, но и без того можем быть совершенно спокойны — пьеса будет сыграна так, будто автор работал вместе с театром на всех репетициях.

В Шанхае мы смотрим ещё один спектакль. Играет театральный коллектив Главного политического управления Реввоенсовета Народно-освободительной армии. Пьеса Чэнь Ци-туна (он же постановщик) «Великий поход», или «Десятки тысяч рек и тысячи гор», — история великой революционной эпопеи, переход революционной армии через двенадцать провинций в постоянной борьбе с врагом и стихиями. Трудно было охватить в пьесе всё величие событий. Здесь нет классического единства места и времени, как в пьесе Цао Юй, даже единство действия не очень соблюдено. Это, пожалуй, отдельные картины, в которых автор старается показать события недавней истории — освободительной борьбы Китая.

Переправа через реку. Бои в горах. Переход через степь и болота. Встречи с национальными меньшинствами. Отдельные этапы героической эпопеи. Главный герой — армия, из которой автор выбрал несколько человек, показывая их судьбы на фоне походов и боёв. Крепления пьесы трещат под напором событий, конструкция гнётся и ломается, среди слов, которые говорят актёры, много «бумажных» слов, но, несмотря на это, пьеса «забирает» нас. Китайский зритель стоит в очереди за билетами, да и мы чувствуем себя растроганными. За недостатками пьесы и игры ощущаем дыхание величественных событий Великого похода. Бездушный критик мог бы, несомненно, разнести пьесу. Но мы принимаем её с благодарностью. Она нужна, она не только учит, но и волнует. Мы переживаем вместе с её героями опасности переправ и боёв в горах, тяжёлые переходы по безлюдным пустыням. Мы радуемся, что удалось убедить представителей народности и что Красная Армия — их друг. Радуемся, что горцы лечат больного комиссара, горюем, когда гибнут солдаты. И хотя хорошо знаем, чем кончился Великий поход, невольно вместе со зрителями вскакиваем с мест, чтобы бурными аплодисментами встретить момент, когда сверху открывается широкий простор зелёных полей, тихий ветерок развеивает красные знамёна и окровавленные, измученные бойцы радостным криком приветствуют великую победу.

Пьесу в Китае критиковали, автору было предъявлено немало претензий. Да, без сомнения, пьеса далеко не совершенна. Но это одна из немногих пьес на современную тему, и замысел автора был таким смелым, что трудно применять к ней обычную мерку

и оставаться беспристрастным, холодным критиком,— тем более, если её смотреть в переполненном театре вместе с китайским зрителем. Зритель смеётся и плачет, ещё раз переживая то, что пережил весь народ,— трудности борьбы, радость победы. Двадцать лет назад молодое поколение, вступающее теперь в жизнь, только рождалось или только становилось на ноги. Хорошо, что ему показали, как сражались его отцы и братья, ему нельзя забывать о Великом походе — самом большом походе в истории, этом марше к свободе, плоды которой они пожинают теперь вместе. Поэтому мы смотрим происходящее на сцене не как критики и не как писатели. Мы только зрители. И покидаем театр взволнованные, хладнокровно же разбирать недостатки пьесы и постановки можно потом. Но действительно ли это необходимо? Пьеса заставила нас волноваться, а это уже много.

### *Ела ли ты...*

— «Из летающих я не ем только аэроплана, из четвероногих — стула», — смеясь, приводит нам наш переводчик китайскую шутку.

Можно бы ещё добавить: «Из плавающих — подводной лодки, из ползающих — гусеничного трактора». Потому что здесь едят всё, что дают земля, вода и воздух.

Кажется, что ни о каком другом типично китайском явлении не существует столько разноречивых мнений, как о китайской кухне. Одни утверждают, что это лучшая кухня в мире. Другие — что она ужасна. Правда, нужно добавить, что сторонники второго утверждения принадлежат в своём большинстве к тем, кто в ресторанах китайских городов идёт сразу в зал, где подаются исключительно европейские блюда, и никогда не пробует китайских, сохраняя непроверенным услышанный от кого-то миф, что китайцы едят тухлые яйца и тому подобное.

Китайская кухня не только вкусна. Это разумная кухня — разумная во всех отношениях. Потому что, во-первых, использует всё, что может дать природа, а во-вторых, считается с потребностями и организмом человека больше, чем всякая другая.

Китайские блюда мы попробовали ещё в поезде, когда сменился наш вагон-ресторан на станции Маньчжурия. Позже мы ели их в частных домах, в ресторанах, на приёмах, и с каждым днём крепло наше убеждение, что это великолепная и разумная кухня.

Китайские рестораны — разные. От огромных до крошечных. Самый большой, какой мы видели, это ресторан в Кантоне, куда пригласили нас писатели на «чай с закусками». Мы немного удивились: какой же может быть чай в час дня — обычно обеденное время у китайцев? Ну что ж, чай так чай.

Ресторан занимает огромное пятиэтажное здание. Внизу у лифта — мужчины, женщины, дети, многочисленные семьи в полном составе. Да, ведь сегодня воскресенье, день отдыха...

Сначала осматриваем ресторан. Большие залы, множество боковых комнат — побольше и поменьше. Стоят круглые столики, и везде полно людей. Мимо нас проносятся официанты с подносами, тарелочками, стопками судков. Дети сидят за столиками с родителями, и их здесь очень много. В воздухе облаком стоят всевозможные запахи, острые и крепкие. Заходим все в отдельный кабинет. Два, три круглых стола. Кажется, действительно чай — стоят чашки и чайники. Официант вносит гору деревянных маленьких ситечек, поставленных одно на другое. В ситечках нечто вроде пельменей из тонкого, как папиросная бумага, теста, самой разнообразной формы и с самой разнообразной начинкой. Просто удивительно и непонятно, как это ни одной капли не упало на скатерть из всей этой уймы ситечек.

Китайские кушанья не только вкусны — они красиво приготовлены и красиво поданы. Похожие на ювелирные изделия пельмени самой разнообразной формы — тут и маленькие пороссячи ушки, тут и шарики, завернутые в тонкую оболочку, концы которой собраны в пучочек, как обёртка у наших «трюфелей», тут и сложенные платочки — круглые, треугольные, четырёхугольные. Они заполнены внутри креветками, крабами, рыбой, мясом, овощами, всевозможными комбинациями всевозможных начинок. Вот пельмешек — как листок клевера с зелёной начинкой. Вот распускающийся бутон цветка с розово-кремовой начинкой. Вот лодочка, наполненная разноцветным грузом. Перед нами высится пирамида ситечек — в каждом несколько пельменей разных сортов.

Пельмени варят на пару, как и множество других китайских блюд. В котле кипит вода, на котёл ставят сита — большие и маленькие, одно на другое. Как только пельмени сварены, их сразу подают к столу. Они свежие, горячие, тесто тает во рту, как мороженое. К пельменям приправы — неизменная соя, перец с соей, коричневый острый соус и другой соус, вроде кетчупа. Одна за другой появляются новые пирамиды ситечек, в каждом не больше чем четыре, пять махоньких пельменей. Каждый пельмешек — на один зуб.

Затем появляются тарелочки, на них маленькие оладьи. Десятки разных форм. Свёрнутые валиком, трубочкой, сложенные платочком, салфеточкой, треугольные, квадратные, начинённые комбинациями мяса, рыбы, овощей, креветок. Тарелочки тоже маленькие — на них от двух до четырёх оладий, не успевающих остынуть, потому что официант всё подносит свежие. Оладья — тоже на один зуб. Вначале это нашествие ситечек с пельменями и тарелочек с оладьями не кажется грозным. Нам объясняют, что Кантон гордится именно этими закусками, которых существует больше шестидесяти сортов. Кантон вообще славится едой, недаром существует поговорка: «Жить в Ханчжоу, есть в Кантоне, умирать в Сучжоу». Если первые две части поговорки вполне обоснованны, то третью не можем себе объяснить. Может, потому, что не были в Сучжоу, а может, и потому, что нам вовсе не хочется умирать. Особенно после того, как увидели Китай.

Когда мы окончательно сражены невиданным количеством пельменей и оладий (незнакомые с обычаями, мы были менее воздержанны, чем наши хозяева), вдруг начинают подавать нормальный обед. Но это уже сверх наших сил. Хорош чай!

После «чая» спускаемся вниз. Ресторан попрежнему полон. Слышится смешанный говор, официанты бегут на кухню с горой посуды, быстро приносят новые блюда, ловко ставят их. Здесь никого не заставляют ждать. Ресторан обслуживают сотни людей одновременно, и официанты такие же улыбающиеся и вежливые, как публика за столиками. Дети ведут себя так же, как взрослые.

В Шанхае мы заходим в маленький, типично китайский ресторанчик. Небольшое помещение, деревянная лестница ведёт на второй этаж. Там несколько столиков, деревянные столы без скатертей, везде тёмное дерево. Официант сверху, перегибаясь через перила, певуче скандирует, заказывая блюда повару, находящемуся в первом этаже. Подают горячие влажные полотенца для обтирания лица и рук — великолепное изобретение, если принять во внимание здешний климат. У метрдотеля круглое, добродушное лицо, и он серьёзно задумывается над тем, что бы нам предложить. Шанхайская еда несколько иная, чем в Пекине, и чем в Нанкине, и чем в Ханчжоу. Каждая провинция, каждый город имеет здесь свою традиционную кухню, свои особые кушанья. Чем дальше на юг, тем еда острее, тем больше приправ.

Хозяин хочет угостить нас лучшими шанхайскими лакомствами. Круглолицый метрдотель, предварительно с ним посоветовавшись, приносит первое блюдо — мидии. Маленькие, совсем крохотные. Их называют «морские семечки», и действительно, они, пожалуй, не больше зёрен подсолнуха. Их варят в ракушках. Вы берёте в рот и выедаете их солоноватое, слегка напоминающее вкус устриц, пахнущее морем содержимое.

Это не еда, а скорее забава. Сама ракушечка не больше крупного зерна подсолнуха, а её содержимое едва заметно. Затем нам подали креветки — креветок едят везде и всюду. Потом какие-то морские существа — маленькие, продолговатые, белые, напоминающие кусочки бамбуковых побегов. Потом черепаху под бамбуковым соусом. Потом вкуснейшая зелень, оказывающаяся дикорастущей травой, обладающей к тому же лечебными свойствами. И снова какое-то дикорастущее растение. Затем рыба печёнка. Хвост и плавники акулы. Потом суп из рыбы, напоминающей форель, с мидиями — покрупнее тех, что мы ели вначале, — ветчиной и овощами. После этого соевый творог с грибами. И опять маленькие креветки, другого сорта и иначе приготовленные, чем поданные раньше.

В Китае без ограничений делают то, что не принято у нас, — в блюдах соединяется мясо и рыба. Уха с ветчиной, тушёное мясо с рыбой, мясной суп с рыбными клёцками — и что же, такая комбинация вполне оправдана. Мясо не портит вкуса рыбы, рыба не портит вкуса мяса, а, наоборот, улучшают, оттеняя друг друга.



Оказывается, что можно использовать также не только плавники и хвосты, но, например, молодые стебли овощных растений, у нас обычно выбрасываемые. Когда весной мы продёрживаем слишком густые всходы на грядке, всё, что мы вырвали, пропадает зря. В Китае мы убеждаемся, что ростки и молодые побеги гороха — превосходный гарнир. Очень вкусна молодая капуста и другие, едва отросшие от земли овощи.

Совершенно особняком стоит «монашеский», или буддийский, ресторан в Ханчжоу. И раньше мы уже пробовали некоторые «монашеские» блюда, но здесь, в светлом, весёлом домике, где прямо перед окнами пенится и плещет поток, подают исключительно «монашеские», или вегетарианские, блюда.

Нам подают меню. Переводчик старательно переводит наименования.

— Запечённый гусь, плавники акулы с грибами, жареный удав, ножки тигра и феникса (тигр — это кошка, феникс — курица), воробьи с капустой, курица с лапшой и грибами.

И это монашеские блюда? Вот так вегетарианцы!

— Здесь всё вегетарианское, — заверяет наш спутник.

Молодой человек в белом переднике приносит нам обед.

Пожалуй, никто более искусно не обманывал своего господ бога, чем буддийские монахи. И никто правовернее не следовал божьим заветам, ничего на этом не теряя. Потому что вот лежит перед нами кусок запечённого гуся. Золотистая поджаренная корочка. Мелкие пупырышки на коже, как у настоящего гуся. Вы пробуете. Гусь, без всякого сомнения, гусь.

Но вас обманывают глаза и обманывает собственное нёбо. В этом «гусе» нет ни грамма мяса. Это колдовство китайских поваров, которые из сои, бобов и фасоли могут сделать всё, что угодно. «Удав» имеет вкус настоящего удава, «курица» предстаёт настоящей курицей, в ней есть даже косточки, только лишь грызя их, догадываешься, что это бамбуковые побеги и что их можно есть целиком. Если бы нас не предупредили, если бы мы не знали, что это «монашеские» блюда, нам и в голову не пришло бы, что мы и не попробовали мясного в этом ресторанчике возле бурной речушки. Да, при таком умении готовить можно поститься сколько угодно. Причём ведь буддийское «неедение мяса» распространяется и на рыбу, то есть их пост гораздо строже, чем православный и католический пост.

Фасоль, горох, соя — вот из чего китайский повар делает сотни блюд, делает всё, что захочет. Презренная «тётя соя», не принявшаяся у нас, несмотря ни на какую агитацию, оказывается, стоит гораздо выше, чем нам внушали реклама и агитация.

Соевый творог и из него великолепные, нежные клёцки. Имитация мяса, птицы и рыбы из сои. Соус из сои. Острые приправы из сои. Нет, пожалуй, блюда, которого нельзя было бы приготовить из сои, и нет блюда, которое с приправами из сои не стало бы вкусным. Здесь ещё раз подтверждается то, что говорят в Китае: «Несъедобного нет, есть плохие повара». В Китае, видно, таких поваров не бывает.

На приёме в Ханчжоу мы второй раз после приёма в Пекине видим «китайский самовар». На середине стола ставят на медной подставке что-то вроде миски, или плоской кастрюли с крышкой. Под ней стоит спиртовка. Вокруг — венки из нескольких тарелочек с сырыми продуктами: тоненько, прозрачными ломтиками нарезано мясо, овощи разных сортов, лапша не толще волоска, просвечивающие розовые ломтики копчёной ветчины. В сосуде горячий бульон, который приносят уже готовым. Зажигают спиртовку, голубое пламя лижет медную кастрюлю, почти сразу бульон закипает. Тогда в него бросают содержимое тарелочек, и в несколько минут суп готов, и вы наливаете его в чашки, похожие на наши среднеазиатские пиалы. Он очень вкусен, этот суп, не кипевший бесконечно долго на кухонной плите, не потерявший аромата и цвета. И всё происходит на ваших глазах, при свете голубовато-синего пламени спирта. Красиво само зрелище, а бульканье бульона напоминает пение самовара.

Мы буквально «заболели» этим самоваром ещё в Пекине. И именно здесь, в Ханчжоу, забыв о китайской предупредительности, имели неосторожность сказать, хваля это китайское изобретение, что обязательно хотим купить и повезти домой такой «самовар». На другой день нам принесли «самовар». Он немного отличался от тех, что мы видели до сих пор. Вместо блюдечка со спиртом его подогривала маленькая жаровня с древесным углем. Мы очень вежливо поблагодарили за подарок, но, видно, лица у нас

невольно вытянулись, потому что перед нашим отъездом «самовар» исчез, а вместо него появился медный со спиртовкой. Он был тщательно начищен, блестел, как новый, но всё же мы без труда узнали в нём тот, из ресторана. До чего же нам было не по себе! Потом, в Пекине, выяснилось, что теперь не делают таких сосудов и не так-то легко их достать. Товарищи из Ханчжоу преподнесли нам в подарок ресторанный «самовар», зная, что подобного нам не удастся нигде купить. Мы были очень смущены. Впрочем, эта наука не спасла нас от другого промаха.

Чтобы есть из китайской чашки, надо иметь китайскую ложку — широкую, круглую, с короткой ручкой. Перед самым отъездом домой я попросила нашего переводчика купить нам дюжину ложек. Обыкновенных дешёвых ложек. И опять нам принесли их в последний момент. Сколько стоят? Ничего, это подарок. Боже мой, опять подарок! Я развернула — те самые, которыми мы ели в ресторане, в гостиничном ресторане в Пекине, и которые так меня удивили, что я сразу спросила, сколько им лет. Старый, дорогой фарфор. С того дня прошло почти два месяца, но мой интерес к этим ложкам не был забыт. А ведь я хотела купить самые обыкновенные ложки, только бы китайской формы. Здесь я даже не была смущена. Пришлось сознаться самой себе, что я не тактична и ничто меня не излечит, если даже не помогла история с ханчжоуским «самоваром».

Китайское гостеприимство ничего общего не имеет с назойливым гостеприимством, которое может встать костью в горле.

Как-то в номере, в Пекине, поставили тарелку с конфетами, и я, как курильщица и не любительница сладкого, польстилась только на отличные китайские ириски. Этого было достаточно, чтобы ириски следовали за нами повсюду. Они были в поезде, которым мы ехали в Тяньцзин, Нанкин и дальше, и были в Ханчжоу, и были в Кантоне, хотя каждый город и каждая провинция имеют здесь свои собственные, не встречающиеся в других местах сорта конфет. Жена одного из наших товарищей, работающих в советском посольстве в Пекине, рассказала нам, что сразу после приезда, утром рано, она попросила стакан кипятку. Потом, в длинном путешествии по Китаю, стакан кипятку сопровождал её повсюду, каждое утро ей приносили стакан кипятку. Как будто тайная эстафета передавала из города в город, что такая-то и такая-то должна каждый день, проснувшись, увидеть перед собой стакан кипятку...

Нет, здесь не спрашивают, что вам нравится, что вам хочется, что вам нужно. Но, как по мановению волшебного жезла, перед вами в соответствующий момент появляется именно то, что вам нравится, что вам хочется, что вам нужно. Нас спросили только один раз, тут же по приезде: «Кухня китайская или европейская или и то и другое?»

Дружным дуэтом мы ответили:

— Китайская. Только китайская. Начиная с палочек и кончая всяческими блюдами, какие только существуют. Без исключений. Европейские блюда едим в Европе. Как не ездят в Тулу со своим самоваром, так и не ходят в китайский ресторан, чтобы есть котлеты, жаркое и борщ.

Мы не раскаялись в нашем решении и остались ему верны до самого конца, до последнего завтрака перед отлётом домой.

Только пусть не думают посетители ресторана «Пекин» в Москве, будто они знают, что такое настоящая китайская кухня. Это всего лишь бледная тень её. Правда, и там готовят китайские повара, правда, и там много привезённых из Китая продуктов. Но эти продукты должны проехать тысячи километров, должны быть солёными, копчёными, сушёными, морожеными. А в Китае они попадают в вашу тарелку прямо из реки, моря, грядки. Одно из главных достоинств китайской кухни именно то, что всё очень свежее. Свежее до такой степени, о какой мы не имеем представления.

Мы спускаемся обедать в ресторан нашей гостиницы. Заказываем обед. Китайский обед — это непременно ряд, множество блюд, шесть... десять... двенадцать. Через несколько, буквально несколько минут вносят первую тарелку. После короткого перерыва — следующие. Иногда по две, по три сразу. Все блюда остаются на столе, приносят третье или четвёртое, но первого не уносят — вы можете выбирать, можете возвращаться к тому, что вам пришлось больше по вкусу. Вначале я не понимала порядка подачи блюд, за исключением традиционной очередности супа, подаваемого в конце обеда, а не

в начале, как у нас. Потом объяснение оказалось совсем простым. Вы пришли и заказали—на кухне нет готовых, заранее приготовленных блюд, которые греются, преют, перевариваются, ожидая заказа. Еда делается для вас, и только для вас, для того количества людей, что сидят за столиком. И по мере того, как поспевают кушанья,— что происходит с молниеносной быстротой,— приносят следующее.

Шесть... двенадцать блюд... Обжорство?

Ничего подобного. Каждого кушанья очень немного. По существу китайцы едят мало. Если собрать вместе эти шесть или восемь блюд, оказалось бы, что это всего-навсего закуска. У нас после неё люди засели бы за тарелку борща и через второе, в поте лица и с раздутым животом, добрались бы к завершающему компоту. Не говоря уже об уничтоженной горе хлеба, которую абсолютно не замечает чашка риса, сопровождающая китайский обед, как приложение ко всевозможным блюдам. Суп в конце. Странно, не правда ли? Но это разумно, как разумна вся китайская кухня. Начинаешь есть, не разбавляя желудочного сока. И когда в конце берёшься за суп, тебе не хочется расширять желудок большой тарелкой. Съедаешь несколько ложек, и довольно. И поэтому даже после самого обильного китайского обеда никто не чувствует тяжести, сонливости, не встаёт из-за стола с неприятным ощущением, что переел.

Конечно, говоря о количестве и разнообразии кушаний, я не хочу сказать, что так едят все. Так же, как нельзя делать выводы о том, как едят у нас, на основании меню ресторанов «Москва», «Метрополь» или приёма в ВОКС. Основная еда широких масс — это рис, которому в меру заработка и состоятельности сопутствует то или другое количество овощей, мяса, рыбы, приправ. На юге едят много лапши. Лапша с соей, с соусом, с приправами. Возле домов мы видели сохнувшее на палках тонко раскатанное тесто для лапши, разложенное, как большие желтоватые платки, и готовую уже лапшу.

Когда я рассказываю о китайской кухне, меня подозрительно спрашивают:

— Но ведь ты, конечно, не ела...

Причём каждый называет что-нибудь, что знает понаслышке и что кажется ему самым несъедобным.

Как раз ела. Всё. Абсолютно всё, что подавали на стол. Кушанья всех городов и всех провинций, где мы были.

Много раз, отвечая так, я вижу в глазах собеседника сомнение. А ведь всё тут — дело привычки. Итальянцы и французы считают деликатесом лягушек; Европа и Америка едят и хвалят устриц; у нас есть люди, которые ни за какие деньги не попробуют рака, после которого другие облизывают пальчики; в Киргизии лошадиное мясо — лакомое блюдо, до которого не дотронется украинец, хотя он с наслаждением объедается свининой, которой в свою очередь гнушается мусульманин. В Англии кролик принадлежит к самым популярным блюдам, а в Польше когда-то пришлось проводить целую кампанию, чтобы люди ели кроликов, причём кампания не дала почти никаких результатов. И так далее и так далее. Как говорится: у бабы обычай, а у девки свой. А китайцы действительно доказывают фактами правильность своей поговорки о том, что нет несъедобных продуктов, а есть только хорошие или плохие повара.

То, что у каждой страны своя особая кухня,— не случайность. В Индии человек, знающий толк в этих делах, сказал мне:

— Почти все европейцы болеют у нас желудком. И прежде всего потому, что не хотят отказаться от европейской кухни. А европейские блюда не подходят ни к нашему климату, ни к нашим условиям.

Мне кажется, он был прав. Такое, а не иное меню китайской кухни складывалось в течение сотен лет опыта, практики и, наверно, лучше всего приспособлено к китайскому климату и китайским условиям. Когда я спрашивала советских товарищей, работающих в Китае, как они устраиваются с едой, все, что упорствует и не отступает от европейской кухни, жаловались: сложно, дорого и плохо. Зато те, кто перешёл на китайскую, говорили: дёшево, замечательно и полезно.

Несомненно, большую роль здесь играют и не могут не играть предрассудки, предубеждения и просто глупые выдумки.

— Ты ела гнилые яйца?

Нет, я не ела ни гнилых, ни тухлых яиц, точно так же, как их не ест никто в Китае. А утиные яйца, обмазанные рисовой кашцей и подвергающиеся без доступа воздуха особому химическому процессу, ничего общего не имеющему ни с загниванием, ни с порчей, представляют собой отличный деликатес. По вкусу они напоминают острый сыр, грибы или ещё какую-нибудь изысканную закуску, но никак не тухлые яйца.

Непривычка, разумеется, сказывается. Когда первый раз в Ханчжоу нам подали лапшу с жареным удавом, я должна была превозмочь себя, чтобы взять кушанье в рот. Ползающий удав отвратителен, но отличается ли валяющаяся в луже свинья особой привлекательностью? Жареный удав по вкусу напоминает именно свинину, и я не догадалась бы, что ем удава, если бы не знала об этом.

— Кошку ты ела?

Нет, кошку я не ела. Просто потому, что нас ею не угощали. И потому, что для блюда «Борьба дракона с тигром» не ловят первую попавшуюся кошку, с мяуканьем бегающую по крышам. Кошку специально откармливают специальной пищей, и только после этого в определённое время она годится для еды. Время нашего пребывания в Китае не было сезоном для этого дорогого и изысканного кушанья. А кроме этого, мы ели всё, начиная с верблюжьей лапы и всевозможных частей тела акулы и кончая удавом. Говоря «мы ели», я выражаюсь не совсем точно — при виде удава Корнейчук струсил, так что удава, притом несколько раз, ела только я. Единственное кушанье, которого я не могла есть в Китае, была ветчина, обыкновенная ветчина, только глазированной, засахаренная. Её подают на торжественных приёмах, но моё нёбо признало несъедобным единственно это блюдо, хотя, наверняка готовил его замечательный повар. Я не могла найти в такой странной комбинации ни смысла, ни вкуса. Хотя другая, не менее странная комбинация — рыба с сахаром и уксусом — оказалась более чем съедобной.

Что представляет собой меню званого обеда?

Приём у драматурга в Пекине. Креветки. Осьминог. Молодые побеги бамбука. Плавники акулы. Суп из голубиных яиц. Рыба с сахаром и уксусом. Утка по-пекински (куски утки заворачивают в тоненький блинчик, поливают соусом). Курица в бульоне. Пельмени с мясом. Сладкие пельмени. Глазированная ветчина. Семена лотоса в сладком соусе.

Обед в Нанкине. Закуски, уложенные на блюде в форме распутившегося цветка лотоса, — копчёная утка, колбаса, мозги, печёнка, побеги бамбука, разные овощи. Голубиные яйца с листочками молодого гороха. Креветки с рыжиком или каким-нибудь другим масляным растением. Рыба, целиком приготовленная, так что одна её половина печёная, а другая варёная. Рыба в овощах. Губы акулы. Утка. Курица с душистыми травами, запечённая в тесте. Пельмени — трилистники с красным перцем, ветчиной, яйцами. Батат с овощами. Грибы с соевым творогом. Бульон с фрикадельками из мяса и булки.

Китайская столица славится своей уткой по-пекински. Но есть также утка по-нанкински и по-кантонски, и везде в магазинах мы видим нанизанных на верёвку, словно чётки, уток всех цветов — почти чёрные, огненные, красные, как спелый помидор, коричневые, цвета варёного рака. Маринованные, засоленные, копчёные, в зависимости от способа приготовления они приобретают тот или иной цвет. Есть даже прессованные и сушёные. Но все они отличаются бесподобным вкусом и ничем не напоминают наших истекающих жиром, распаренных уток.

А ещё есть суп из ласточкиных гнёзд, и грепанги («морские огурцы»), и медузы (я даже заподозрила, что это, пожалуй, актинии, потому что как медуза может превратиться в те прозрачные, но крепкие хрящи, которые так хрустят на зубах?), и десятки сортов грибов, и суп из морской капусты, и десятки сортов овощей, и превосходные овощные маринады в провинции Сычуань, и десятки, десятки других кушаний. Разнообразие, кажется, не имеет пределов. Блюда на нашем столе почти никогда не повторяются, и даже в конце нашего двухмесячного пребывания постоянно натыкаемся на что-нибудь новое. Существуют сотни способов приготовления курицы, утки, рыбы, одних и тех же овощей.

Я провела любительский опрос: испортил ли себе кто-нибудь из европейцев, живущих в Китае, пищеварение на китайской кухне? Никто. Чувствовал ли кто когда-

нибудь изжогу после китайского обеда? Никогда. Оброс ли кто-нибудь ненужным жиром, надеясь досыта китайских кушаний? Никто. И поскольку всё это подтверждал наш собственный опыт, я уже после первых дней знакомства решила: введу дома всё то из китайской кухни, что только можно ввести. Решила задолго до встречи с китайским поваром. Но когда я попала в кухню гостиничного ресторана, выяснилось, что всё самое ценное и важное из свойств китайской кухни у нас дома осуществить будет невозможно. И вот почему.

При мне повар готовит порцию креветок. Гляжу на часы. Приготовление занимает полторы минуты. Стручковая фасоль — три минуты. Курица — пятнадцать минут. Поэтому-то стручковая фасоль зелёная, словно её только что сорвали с грядки и она, прежде чем попасть на вашу тарелку, и не заглядывала на кухню. Поэтому-то курица имеет такой вкус, которого вы вообще не знаете, если не ели её в Китае.

— Быстрота и сильный огонь, — объясняет мне повар, — это первое и необходимое условие.

Меланхолически качаю головой. Попробуй-ка наша хозяйка подать мужу курицу, сваренную за пятнадцать минут... Он трахнет тарелкой об пол, даже будь он самый неразборчивый... Попробуйте-ка сварить стручковую фасоль за три минуты... Теперь я понимаю, почему креветки появлялись на нашем столе через две минуты после заказа. полторы уходило на варку, половина — чтобы сдать и получить заказ на кухне и принести в помещение, где мы кушаем. Стручковая фасоль была подана вторым блюдом: её надо варить на полторы минуты больше.

Я меланхолически качаю головой и вдруг чувствую, что пот заливает мне глаза. Выбегаю в коридор, заглатываю побольше воздуха и возвращаюсь, чтобы поглядеть, как процеживают бульон, единственное блюдо, которое варится долго и «про запас». Супы из него готовят, как и всё остальное, в последнюю минуту, после того как последует заказ.

Да, сильный огонь. Та часть кухни, где стоят плиты, — сущий ад. Тут чувствуешь себя почти так же, как у раскалённой мартеновской печи. Огромная плита. Вырезы конфорок окружают толстые металлические ободы. В них до половины погружаются кастрюли, в которых готовят пищу. Печь топят углем. Металлический обод раскалён докрасна или почти добела, и, будто этого ещё мало, повар показывает нам, что в топке, на углях, лежат тоже раскалённые добела куски чугуна. Приготовление креветок похоже на манпуляции фокусника — с трудом улавливаю движения рук. На сковороду кладётся жир в момент соприкосновения сковороды, которую повар не выпускает из руки, с нагретой плитой. Жир закипает сразу, тут же, весь. Другой рукой повар бросает креветок, белое облачко пара вспыхивает над сковородой, как дым от выстрела, и креветки молниеносно вылетают со сковороды на дуршлаг и с дуршлага на тарелочку, которую повар подаёт мне. Вся эта процедура длилась не больше полутора минут, а креветки готовы. При такой скоростной варке, наверно, сохраняются ценные элементы продуктов — не успевают разлагаться минеральные соли, распадаться витамины. Отсюда и неповторимый запах и вкус китайских кушаний, с которыми не могут сравниться никакие другие. Но попробуйте устроить дома такой мартен. Многие китайские блюда можно было бы приготовить из наших продуктов, но у нас безвозвратно нарушится первый и главный принцип, о котором говорил повар, — быстрота и сила огня.

Повар уверяет, что на газе можно достичь того же — нагреть до нужной температуры. Не знаю, может, китайский повар смог бы это сделать, я не берусь.

Итак, на остальное поварское колдовство смотрю уже бескорыстно, без личной заинтересованности. А смотреть есть на что. В огромном зале ресторана состоится сегодня банкет в честь женских делегаций, прибывших на первомайский праздник, пожалуй, со всего света. В кухне кипит работа. В отдельной комнате, где нет никаких плит, лежат горы продуктов — рыба, мясо, овсян. Несколько человек в белых передниках готовят закуски. Единственный инструмент, каким они пользуются, — большие ножи, тесаки, какими у нас мясник разделяет свиные туши. Таким тесаком здесь рассекают огурец на веер тончайших, как бумага, долек, режут яйца на ломтики, из которых не выкрашивается ни крупины желтка, большой окорок превращают в гору почти прозрачных пластинок ветчины. И опять же это похоже на фокусы иллюзионни-

ста. Можно часами глядеть на ловкие руки, манипулирующие тяжёлым тесаком, так, будто это самый тонкий хирургический скальпель. Одни повара готовят закуски, другие укладывают их на блюда. Теперь я вижу, как делается то, что постоянно приводило нас в восторг и что в меню называлось «цветком лотоса», «цветком хризантемы» или другим, не менее поэтичным названием. На круглом блюде распускается чудесный цветок. Его серединка и лепестки делаются из мяса, рыбы, овощей всех цветов и сортов. Вот цветок, переливающийся всеми оттенками розового на зелёном фоне листьев. Другой, пёстрый, играющий всеми цветами радуги. Цветок с большими торчащими лепестками. Цветок с маленькими лепесточками, описывающими круги волнистой линией. Всё это настолько красиво, что всегда с трудом решаешься разрушить гармоничную мозаику блюд. Как неумело раскладывают закуски у нас! Как бедно, шаблонно! Эти цветы лотоса, хризантем, ромашек, георгин или, наконец, совсем уже фантастические вариации на ботанические темы — настоящие ювелирные изделия! Нет случайных обрезков, несимметрично отрезанных кусков. И всё это делается без примерок, поправок, молниеносно, словно у каждого на блюде расчерчен узор и его только остаётся заполнить готовыми деталями.

В следующем отделении кухни готовят на пару. В большую плиту вмурован котёл, на нём одно над другим, пирамидой, сита. Не маленькие, какие мы видели в Кантоне, хотя и для них здесь имеется приспособление. Сита огромные — ведь идёт подготовка к банкету, на котором будет тысяча или, может, даже и несколько тысяч человек. В котле бурлит кипящая вода. Огонь и здесь по-китайски горяч, пар валит клубами, проходя через высокую пирамиду стоящих друг на друге сит, так что все пельмени варятся одновременно. И опять благодаря пару пельмени будут поданы к столу, не утратив ничего из свойств и вкуса десятков сортов начинки, которой они наполнены, сохранив свой изящный и аппетитный вид.

Повар показывает, каким должен быть бульон: прозрачным, как стекло, совершенно чистым. Он наливает в чашку — действительно, ни одного волокна, ни одного глазка жира...

— Аромат и вкус — принцип и основа бульона. Если плавает жир, значит бульон приготовлен плохо.

В китайских блюдах вообще не чувствуется жира, хотя он применяется в изобилии. Всякие растительные жиры. Масло здесь выжимают из всего, из чего только можно его выжать. Масло подсолнечное и рыжиковое, кунжутное и соевое, арахисовое масло, масло из листьев дерева, называемого «деревом чайного масла», масло из красного перца и ещё десятки других. Причём их, видно, умеют очищать так, что ни один растительный жир не имеет неприятного вкуса или запаха. К своему удивлению, я увидела, что применяется также очень много свиного жира, но и он не даёт себя почувствовать ни вкусом, ни желудочно-печёночными явлениями. Не знаю, в чём секрет. Может быть, опять-таки в быстроте и сильном огне? Жир доводят до кипения буквально за миг, и так же мгновенно поворотом руки им обрабатывается кушанье, а затем его изгоняют, старательно отцеживая. Может, именно то, что он не кипел без конца, что не пропитывал каждую клеточку мяса и овощей, что не успел разложиться, что не застывает на вашей тарелке, — может, именно это нейтрализует его неприятные для многих свойства? В данном случае я, как китайский врач, не знаю причины, но вижу симптомы. А симптомы по меньшей мере интересны и положительны.

Зато сливочное масло почти не употребляется. Я подозреваю, что его готовят в Китае только для европейских гостей. Судя по всему, коровы используются здесь почти исключительно, как тягловая сила, и, видно, у китайской кухни нет никаких традиций в этой области. Правда, однажды на банкете мы ели орешки лотоса в молоке, но молоко было соевое.

Я хочу посмотреть, где покупаются продукты, и прошу показать нам базар. Начинается с недоразумения.

— Базар? Да недалеко. Совсем недалеко от гостиницы.

Идём на базар. Нас ведут в большой пассаж, где продаются различные промышленные товары и галантерея. Видим много интересного. Но вообще-то мы думали о другом базаре. На следующий день пытаюсь объяснить о каком — о таком базаре, куда крестьяне...

— А-а-а! Хорошо, вчера вы видели государственный базар. Теперь можем пойти на народный базар.

Народный базар. Сплошь ларьки, где продаётся всё, начиная от старинных драгоценностей и кончая носками и электрическими фонарями. Но крестьян здесь можно увидеть только в роли покупателей, и единственное съестное, которое мы видим здесь, — конфеты, засахаренные фрукты и семечки.

Наконец недоразумение выясняется.

— Рынок! Вы хотите посмотреть пекинский рынок!

Вот именно. Хочу посмотреть рынок. И не только пекинский. Хочу заходить на рынок в каждом городе, где мы останавливаемся. Так же, как в Киеве я тяну каждого, в том числе и гостя, на наши рынки — живописные, полные овощей, фруктов, молочных продуктов, птицы, — место, где видно, что продают и покупают люди, где точно можно проверить, что есть и чего нет, какой урожай и какие настроения. Рынок — это, кроме живописного зрелища, ещё чуткий термометр: по нему можно многое узнать.

Рынок в Кантоне. Большущий. Под высокой крышей во много рядов выстроились палатки и ларьки. Невиданное, несметное изобилие овощей. Лежат кучами, поднимаются, как огромные горы, заполняют плетёные корзины, висят венками, громоздятся цветными пирамидами на столах и прилавках. Зелёная и жёлтая стручковая фасоль. Сладкий горошек в стручках и лущёный. Лук, чеснок. Буйный, мясистый шпинат. Огурцы разных форм и оттенков. Цветная капуста, большая, как наши тыквы, и белая как снег. Порей. Пучки зелёных листьев и стеблей масляных растений, цветущих белым и лиловым. Кочанная капуста и целая коллекция всяческих, неизвестных у нас капуст: кустики блестящих толстых листьев или продолговатая, как цилиндр, длинная — на полметра, свёрнутая, расстилающаяся розеткой. Кольраби. Овощи, напоминающие наши кабачки, только более тёмного цвета и шкурка чуть шершавая. Репа, редиска. Зелёная репка, которую едят в сыром виде, нежная и сочная. Петрушка. Кинза. Выбеленный шниттлук — в поле я видела, как это делается. Просто и изобретательно: кустик накрывают перевернутым горшочком, и растение развивается без солнца. Его узкие, как трубочки, листочки становятся толстыми, белыми и сочными.

В рядах мясных палаток висят туши, лежат куски говядины и свинины, сало. Дальше рыба. Копчёная, сушёная, живая. Всех сортов, речная и морская. Деревянное корыто с водой полно живых змей. Они небольшие, пятьдесят—семьдесят сантиметров длины, тонкие, скорее коричневые, чем чёрные, и напоминают мне наших веретениц. В больших корзинах шуршат крабы, похожие на чёрных пауков с большим туловищем. Масса креветок всяких сортов, от маленьких, какие продают на одесских базарах, и почти таких же больших, как наш рак.

Другой кантонский рынок, который нам пришлось видеть, поменьше — он разместился в немного расширенном проходе на улочке между домами. И снова овощи в их неисчерпаемом разнообразии, и снова креветки, и только одна для нас новинка — живые черепахи. Довольно большие, панцырь сравнительно мягкий, а его край, который должен быть самым вкусным, гофрированный, как оборка, почти прозрачный и совсем мягкий. Мы хотим взять черепаху руками, но продавец останавливает нас предостерегающим жестом.

— Они кусаются, — говорит переводчик.

Мы отказываемся от ближайшего рассмотрения существ, смешно вертящих головами на тонких, едва выступающих из панцыря шейках.

В Шанхае нам показывают рынок, самый большой из всех виденных нами. Восемьсот с лишним разных продовольственных палаток под одной крышей. Каменный пол. И снова — овощи, мясо, птица, осьминоги, громадные сушёные плавники акулы, какие-то невообразимые рыбы, трепанги. Но мы приехали поздно — рынок открывается в пять часов утра, и именно в эти ранние часы здесь самое большое оживление. Теперь уже десять, и часть ларьков закрыта или закрывается при нас: главный наплыв покупателей прошёл.

И снова невольно отмечаешь — очень чисто. Чисты прилавки ларьков, чист каменный пол, не скажешь, что здесь побывали тысячи людей. Всякий мусор сразу убирается.

Здесь я впервые увидела, что мясник сперва моет, а потом уж развешивает на крюках сердце, лёгкие, печень — нигде мне не приходилось наблюдать этого.

Нанкинский рынок не похож на шанхайский. Узкой улочкой за домами главной улицы пробираемся вглубь и выходим на огромную площадь, или, вернее, комбинацию площадей, застроенных маленькими зданиями и загроможденных народом. Говор, смех. И здесь ряды ларьков торговцев овощами, рыбой и мясом; часть из них, сидя на земле, раскладывает свой товар. И тут же маленькие ресторанчики и чайные. На воздухе, защищённые только лёгкой крышей, стоят котлы, плиты, на огромных сковородах шипят лепёшки и пирожки. Китайцы-мусульмане жарят лепёшки большие и тонкие. Кипит жир, из чайников пышет пар, люди едят и пьют чаще всего стоя. Варится рис и лапша. Весело зазывают торговцы, жестами и голосом рекламируют свои кушанья уличного повара. А повсюду — и между овощными рядами, и возле ресторанчиков, и в проходах — продают сахарный тростник. Толстые обрубочки, зелёные и коричневые сверху, белые внутри, ничуть не похожи на тростник. Во всяком случае, я представляла себе сахарный тростник, как растение вроде нашего тростника или осоки, растущих по берегам рек и озёр. Его сосут или едят, отрезая кусочки ножом, а то и просто откусывая. Мне не удалось уговорить наших китайских товарищей купить тростник. Точно так же, очень вежливо, но хитро, они не допустили, чтобы мы съели обед у уличного повара. Единственная «эксцентричность», которой они не только не помешали, но в которой и сами приняли участие, была покупка великолепных засахаренных фруктов на палочке. Мы их тут же, на рынке, и съели. Внешне они немного напоминают наши леденцы на палочках и очень красивы, то наизнанные, как бусы, на деревянную палочку большие красные ягоды, то прозрачные, цвета светлого янтаря, продолговатые фрукты, то зелёные шарики. Всё это не окрашено, а натурального цвета, не утерянного при приготовлении.

Маленькие рынки, где прямо в закоулке или на небольшой площади лежат разложенные на цыновках продукты, мы встречали часто. Несколько связок овощей, корытце с живыми рыбками, соль, куринные и утиные яйца — вот и весь рынок. Фрукты продаются отдельно, и их очень много, хотя сейчас не сезон — весна. Мандарины крупные, сладкие, душистые. Яблоки разных сортов. Тяжёлые грозди бананов. Я покупаю особенно мне приглянувшиеся. Оказывается, это не бананы, а, как мне объясняют, плоды какой-то пальмы. Действительно, когда их разглядишь, видно, что они более изогнуты, чем бананы, короче их и толще. Говорят, они дешевле и будто бы хуже бананов, но это уже дело вкуса. Мне они нравятся. Мякоть их не такая мучнистая, как у бананов, они лишены аромата, но зато сочные и с кислоткой. Есть ещё пипа — кисти маленьких яблочек, апельсины и груши. Но насколько хороши яблоки, настолько нам ни разу не пришлось съесть вкусную грушу. Все были словно деревянные.

Ананасы пока ещё зелёные, кислые. Но те, что мы ели в консервированном виде, были гораздо вкуснее мексиканских, которые продаются у нас. Они меньше, более золотистого цвета, слаще. Самых вкусных и наиболее для нас экзотичных фруктов — линджи — ещё нет. Мы едим её в консервированном виде. Плод, извлекаемый из красной кожуры, белоснежный и разделён на дольки, как зубки чеснока. Душистый, он имеет странный, немного пряный вкус и не напоминает по вкусу ни одного известного нам фрукта. Манго и менгусты, самых вкусных, пожалуй, из всех знакомых нам фруктов, тоже ещё нет. Мы их увидим дальше к югу, в Гонконге и в Индии.

А ещё здесь есть «Глаз дракона»; в это время года его можно есть только в консервированном виде. И плод дынного дерева, который в кооперативе Модэша сорвали для нас в саду, — висит он под листьями, прикреплённый прямо к стволу зелёным толстым хвостиком, вкус его чуть напоминает нашу дыню и отчасти тыкву. И ещё много, много фруктов, неизвестных нам ни по названию, ни по виду, которых не придётся попробовать, потому что появятся они только летом и осенью, так же как нет пока винограда, выращиваемого здесь в большом количестве.

Зато китайские мандарины мы ели, ещё не переехав китайской границы. В Москве мандаринов не было. И мы удивились, когда, выйдя на «разминку» в трескучий мороз на какой-то сибирской станции, увидели в киоске и в станционном буфете прекрасные мандарины. И дальше на каждой станции. Китайские мандарины — сладкие, сочные, душистые. Они сопутствовали нам по всему Китаю — от Пекина до Кантона. Фрукты



в Китае вкусные и дешёвые, их много, они доступны всем. А такие менее эффектные, как пипа и плоды пальмы, похожие на бананы, настолько дешёвы, что у нас постоянно были затруднения с мелочью — чтобы купить даже довольно большое количество этих фруктов, нужны буквально гроши, и продавцы беспомощно разводили руками, увидев монету покрупнее.

Ну да. Еда, фрукты, конфеты... А что пьют? Есть водка очень крепкая, обжигающая, как огонь. Есть водка, которую пьют подогретой. Но в Китае почти не пьют. За два месяца мы не только не видели человека пьяного, но даже «под мухой». Не то что запить, даже один раз перебрать меру считается позорным. Водку подают в крохотных рюмочках, и хотя слышите при тостах возглас: «Ган бэй!» — «До дна!», все очень воздержанны. Надо добавить, что китайские приёмы и банкеты недолги — часа полтора, самое большее два, нет бесконечного высидивания за столом, сопровождающегося непрерывным заполнением рюмок. За стол собираются поговорить и поесть, а не пьянствовать.

Ещё одна деталь: если хотите сполна вкусить прелесть китайской кухни, нужно есть палочками. Казалось бы, не всё равно, чем есть. Но это не совсем так. Точно так же, как один и тот же чай в стакане имеет один вкус, в чашке — другой и в металлической кружке — третий, так и китайское кушанье приобретает разный вкус в зависимости от того, ешь ли его палочками или вилкой. Легко ли научиться есть палочками? Нет, не легко. Надо порядком потрудиться, чтобы овладеть искусством подносить ко рту еду двумя палочками с помощью четырёх пальцев правой руки, причём одна из палочек должна быть неподвижна, а другая — свободно двигаться. Вначале у меня всё выскальзывает из палочек, и я неуклюже ловлю на блюде скользкого трепанга или кусок огурца, убегающий, подобно живому существу. Слишком крепко сжатые пальцы немеют. Но потом я переживаю настоящий триумф, когда в каждом новом городе новые знакомые с удивлением смотрят, как уверенно я орудую палочками. А кроме того, мне кажется, что действительно красиво можно есть только палочками — это зрелище гораздо более эстетично, чем запихивание в рот вилки. Палочками нельзя взять чересчур большой кусок, нельзя зараз слишком много положить в рот. Волей-неволей приходится есть прилично.

Но не представляйте себе, что с европейским бифштексом или с большинством наших блюд можно справиться палочками. Ими можно есть только китайские блюда — когда всё мелко порезано и не требуется применения ножа.

— Значит, ты ела палочками?

— Да. И только палочками. С первого дня, когда это было для меня настоящей пыткой, и до последнего, когда орудовать ими доставляло мне истинное удовольствие. И от первого до последнего дня пребывания в Китае, за исключением посещений нашего посольства в Пекине, я не имела во рту ни одного европейского блюда.

Наша певичка, которая тоже побывала в Китае, разделяет все мои восторги по поводу Китая и китайцев. В одном она никак не хочет со мной согласиться.

— Китайская кухня ужасна, — утверждает она.

Пытаюсь убедить её, что она не права, пока наконец мне не приходит в голову «гениальный» вопрос:

— А что вы ели из китайских кушаний?

— Ничего.

— Ни разу? Даже не пробовали?

— Ни разу.

Всё ясно. Я имею над ней бесспорное преимущество, я пробовала всё. Сначала из любопытства, потом из убеждения. И поэтому я могу теперь терпеливо и исчерпывающе отвечать на почти стереотипный вопрос:

— Ела ли ты?..

### **Злой город.**

В семь часов утра выезжаем поездом из Кантона. Нет, это не поезд, это ракета времени. Нам предстоит необыкновенное путешествие. Мы увидим то, чего уже нет, — увидим кусочек старого Китая, того Китая, каким он был раньше, каким ушёл во мрак истории, какого уже никогда не будет.

Авторы фантастических романов заставляли своих героев отправляться на ракетах времени в будущее. Мы отправляемся в прошлое. Колдовство? Метафора? Ничего подобного. Просто едем в Гонконг. Оттуда на самолёте отправимся в Дели, где будет происходить конференция народов Азии и Африки.

Во всём нашем сказочном путешествии по Китаю, которое нам преподнесла жизнь как самый лучший подарок к пятидесятилетию, нас ожидал ещё и тот сюрприз, что, повидав новый Китай, мы сможем сравнить его со старым не по книгам, не по рассказам, а воочию.

Станция. Последний флаг с пятью звёздами, последний китайский пост.

По горбам зелёных гор — заграждения колючей проволоки. Два английских солдата в клеёнчатых плащах, высокие и худощавые, шагают взад и вперёд под дождём. И снова поля. На них крестьяне в зелёных шляпах, каких мы раньше не видели. Льёт дождь, мокнут под его струями поля риса и овощей. Такие же поля и такие же китайские крестьяне. Но публика на маленьких станциях иная, хотя тоже китайская.

С полчаса едем вдоль залива. Он синий, даже лазоревый, он того цвета, какой имеет на картинках вода в гротах под Неаполем. По ту сторону залива — горы. Один из прекраснейших видов, какие себе можно представить. По заливу скользят джонки. А вдаль уже показывается город и видны трубы пароходов в порту.

Китайская делегация будет жить в самом Гонконге, в помещении агентства Синьхуа. А корейцы, монголы и мы двое — на противоположной стороне залива, в Коулуне, в гостинице.

Гонконг — по-китайски значит «благоуханный залив». Небольшой островок, на котором расположен город, скалистый — гранит и базальт. Гора, которую мы видим издали, выступает из-за горного хребта, у подножия которого, вползая на склоны, распростёрся Гонконг. Это гора Виктории, видимо, самая высокая точка островка. Она поднимается на 556 метров над уровнем моря на этом крохотном, насчитывающем всего 82 квадратных километра, кусочке суши, брошенном в море.

Островок с 1841 года, то есть со времени опиумной войны, принадлежит англичанам. Полуостров Коулун, на котором находится наша гостиница, был взят у китайцев в «аренду» в 1860 году. Начиная с 1911 года, как только поднималась волна революционной борьбы в Китае, Гонконг всегда оказывал помощь реакции, помогал душить народ. Отсюда плыли пароходы и деньги, отсюда прибывали агенты и указания.

В то же время китайский пролетариат Гонконга, сосредоточенный здесь в большой массе на верфях, в порту, на заводах, играл немаловажную роль в революционном движении Китая. Вошли в историю забастовки рабочих ткацких фабрик, забастовки моряков в 1922 году, крупная всеобщая забастовка в 1925 году, объявленная в знак протеста против расстрела демонстрации в Шанхае. Из Гонконга ушло тогда больше пятидесяти тысяч рабочих, они поселились в Кантоне и по всей провинции Гуандун, где стали крепкой опорой революционного движения. После окончания забастовки и бойкота Гонконга несколько десятков тысяч их осталось в Гуандуне, принимая активное участие в кантонском восстании 1927 года.

Из города к вершине горы тянется нить фуникулёра, в вышине горит свет астрономической обсерватории. Над городом, на склонах гор в зелени садов, — виллы и дома Залив, отделяющий Гонконг от Колуна, имеет в самом узком месте восемьсот метров.

С середины прошлого века это один из самых крупных портов мира, центр торговли с Востоком. Энциклопедия Брокгауза сообщает: «У всех европейских банков, имеющих дела с Дальним Востоком, есть в Гонконге главные конторы и запасы серебра».

Теперь роль Гонконга в некоторой степени изменилась.

— Будьте осторожны, — говорят нам китайские товарищи. — Лучше всего вообще не выходить из гостиницы. Гонконг — это центр чанкайшистской разведки, сборище шпионов со всего мира. Здесь нашли себе приют китайская буржуазия и помещики, гангстеры и милитаристы, бежавшие от нас. В любую минуту можно натолкнуться на провокацию, если не хуже.

Обещаем. Перспектива невесёлая — сидеть в гостинице три-четыре дня в ожидании самолёта в Индию и ничего не увидеть, в то время как нам неожиданно посчастливилось оказаться в Гонконге. Мы получили визы, хотя это казалось нам невозможным, и английские власти не только дали их нам, но проявили такую степень любезности,

что никто даже не пожелал проверить наши паспорта, и первым англичанином, заинтересовавшимся нами, был огромных размеров «бобби» на гонконгском вокзале, причём весь интерес его заключался в том, что он вежливо показал нам дорогу к поджидающей нас машине.

Едва успев сесть в машину, мы увидели идиллическую картинку. На большой при вокзальной площади пошатывались два вдребезги пьяных джентльмена. В одиннадцать утра. Мы рассмеялись, потому что только сейчас до нас дошло, что последние полтора месяца мы не видели ни одного не то что пьяного, а и хотя бы слегка подвыпившего человека. И здесь это были тоже не китайцы, а представители европейской цивилизации.

Гостиница в Коулуне. Коулун — это значит «девять драконов». Наш номер находится на одном из верхних этажей. В трёх стенах окна мы точно в эркере. Из всех трёх открывается великолепный вид на залив, подковой огибающий Коулун. Против — остров и город. Они лежат перед нами как на ладони. Остров тоже изогнут и из окна кажется частью большой подковы.

Город начинается у самого берега — небоскрёбы, как в Шанхае, и вообще, когда глядишь отсюда, гонконгская набережная очень напоминает Шанхай. А дальше город взбирается на горы. Вечером перед нами открывается настоящая феерия: склоны гор напротив горят огнями всех цветов. Огни переливаются, вспыхивают и гаснут, снова загораются, отражаясь в море, по которому плывут ярко освещённые пароходы и катера. Море, горы и город сочетаются здесь на редкость красиво. Никогда в жизни я не видела так прекрасно расположенного города. Потом мне сказали, что моряки считают самыми прекрасными портами мира Рио де Жанейро и Гонконг. Я не была в Рио де Жанейро. Но Гонконг действительно прекрасен.

Итак, в поле нашего зрения залив и весь Гонконг. Непосредственно под нами, из окна справа, вид на плоские крыши домов. Из окна посередине видим бегущую к порту улицу, из третьего — противоположную сторону улицы, на которую выходит фасад гостиницы, и поперечные улицы. И сразу выясняется — вовсе не беда, что нам нельзя выходить из гостиницы. Наша комната — самый лучший наблюдательный пункт, какой только можно себе представить.

На плоских крышах кипит жизнь. На улице напротив дома, похожие на кантонские, — фасадные комнаты, собственно, не комнаты, а веранды: они без передней стены. Её заменяют раздвигающиеся плетёные циновки, или — реже — раздвижная стеклянная стена, или матерчатые драпировки, или вообще ничего. И в этих открытых комнатах люди работают, едят, развлекаются, спят. Всё происходит на наших глазах, словно лесеажеский хромой бес повторил свой фокус и позволил увидеть тайком, что делается внутри домов. Только здесь не приходится даже поднимать крыши.

Мы живём на главной или на одной из главных улиц. Однако по сравнению с Кантоном или Шанхаем движение здесь небольшое. Магазины закрываются рано, открываются поздно.

Несмотря на предупреждения, мы всё же два раза выходим в город. Но наш наблюдательный пункт позволяет нам увидеть гораздо больше, чем эти короткие прогулки. Поэтому, поставив стулья у всех трёх окон, как в театральной ложе, мы жадно смотрим вокруг, подмечаем и сравниваем.

Даже днём улицы не очень оживлены, ночью же они совсем мертвы и пусты. В Кантоне мы всё пытались выяснить: когда же, собственно, спят в этом городе? Здесь же не слышно ни шагов, ни возгласов, ни песен, город рано замирает и долго спит. Зато по сравнению с теми городами здесь уйма машин. Едут, катят, проносятся лимузины всех марок и цветов, скользят по асфальту одна за другой, мчатся по главным улицам, сворачивают в переулки. Машина за машиной, как на улицах западноевропейских городов.

Прохожие выглядят необыкновенно элегантно. Никаких синих костюмов, мужчины преимущественно в спортивных брюках и спортивных рубашках, большинство женщин в юбках и платьях. Мы видели такие и в Китае, но здесь платья короткие, чуть ли не до колен, и высоко разрезаны по бокам. Мало сказать высоко — они разрезаны до последних границ возможного и даже ещё выше. Перманент, высокие, старательно уложенные причёски, наруганные щёки, накрашенные губы.

Магазины европейского типа. Наблюдаем, как их запирают на ночь: деревянными ставнями с засовами закрывают большие стёкла витрин, затем спускают железные шторы. Улыбаемся, вспомнив лавочки на улицах Кантона, где весь товар остаётся на улице и владелец только протягивает верёвку, обыкновенную верёвку, в знак того, что магазин закрыт.

Каждый день мы видим, как несут тяжёлые деревянные ставни, как по многу раз проверяют замок жалюзи. Уже знаем, где их прячут на день, — сразу за углом. И скоро становится понятным, почему магазины закрываются рано и открываются поздно. Они завалены самыми лучшими товарами со всего мира, но пустуют. Редко когда в них зайдёт покупатель.

Домá как в Кантоне. Аркады вдоль улицы защищают прохожих от дождя и солнца. Аркады повторяются и на верхних этажах, благодаря чему и образуются комнаты-веранды. Только в Кантоне под аркадами размещаются десятки и сотни ларьков, лавочек, рестораников; здесь всего этого нет.

На углу напротив стоянка рикш. Товарщи Шу Бин из Кантона! Теперь мы знаем, какова была жизнь рикши до освобождения. Мы видели её собственными глазами.

Мы не видели здесь колясок-велосипедов. Коляску везёт пеший человек. Коляски хотя и нарядные, зато человек босой и почти голый — короткие трусы или просто лоскут, опоясывающий бёдра. И через плечо переброшена грязная тряпка — на бегу он вытирает ею с лица пот.

Босиком, быстрой рысью бежит по асфальту под палящим солнцем между двумя дышлами почти голый человек. Пассажиры сошли. Он остановился на стоянке. Ждёт долго. К нему присоединились ещё двое. Наблюдаем и теперь уже сами с нетерпением высматриваем пассажиров. По улице мчатся машины одна за другой. Рикша присел на край тротуара возле своей коляски. Пассажиров нет. Кто-то повернул с поперечной улицы, которая нам хорошо видна. Но это не пассажир. Прошёл мимо. И рикша снова ждёт. Полчаса, час. Его соседи уже отчаялись — берут свои коляски и уходят. Но мы продолжаем ждать вместе с «нашим» рикшей.

И вот появляются пассажиры: одна молодая женщина в китайском платье с разрезами почти до пояса, другая, одетая по-европейски, и молодой человек, явно «работающий» под американца. Усаживаются втроём в маленькую коляску; как они умещаются — неизвестно, но факт, что умещаются. Рикша встаёт между дышлами, сжимает их руками, наклоняется вперёд и бежит быстрой, мелкой рысью, какой здесь бегают все рикши. Бегом, только бегом. Наклонённые, они время от времени на бегу вытирают с лица пот грязной тряпичкой.

Рикша с пустой коляской возвращается на стоянку. Идёт медленно, тяжёлым шагом смертельно уставшего человека. Худой, как скелет, рёбра выпирают, как прутья плетёной корзины. Видно, что каждый шаг даётся ему с трудом, что двигается вперёд с усилием, хотя теперь тянет только пустую, обитую пёстрой материей коляску. Но появляется пассажир — и рикша, о котором мы подумали, что если он присядет на край тротуара, то ему больше не подняться, снова становится между дышлами и трогается рысью и бежит, бежит, пока не исчезает в дали ведущей к заливу улицы.

Вечером видим, как под аркадами домов передвигается зигзагами какой-то пожилой господин, пристаивая к проституткам, топчась под фонарями, тыкаясь носом в не закрытые ещё витрины магазинов. А по мостовой, у самого края тротуара, неотступной тенью следует за ним рикша. Он выжидает момента, когда пьяный окончательно перестанет доверяться собственным ногам и позовёт его.

Пьяный добирается до перекрёстка и возвращается. Видно, не решился пересечь мостовую, хотя здесь нет никакого движения. Рикша поворачивает за ним. Показывает на свою коляску: пьяный — европеец. Но это не помогает. И всякий раз, как пьяный, дойдя до угла, поворачивает обратно, рикша тоже поворачивает за ним, упрямо не теряя надежды, что тот станет наконец его пассажиром.

На другом углу, напротив стоянки, стоит уличный торговец фруктами. Он приходит сюда ранним утром и исчезает, когда на улице стихает всякое движение. В его корзине крупные золотистые плоды манго. Так же, как вместе с рикшей мы ожидаем пассажиров, вместе с этим человеком мы продаём манго. Редко, очень редко кто остаётся рядом с полной корзиной. А манго нежные, манго быстро портятся. Что будет

с непроданным товаром? Ведь мы видим, что вечером в корзине почти ничего не убавилось. Кто купит золотистый плод манго? Может, та девушка в платье с разрезом, может, тот мальчик в американской рубашке в пёструю клетку? Нет, они проходят мимо, так, словно корзина пуста или её вовсе нет. Ожидание покупателей перестает быть для нас безучастным наблюдением жизни улицы и становится настоящим страданием.

— Иди посмотри на залив.

Нет, не хочу смотреть на залив. Хочу дожидаться, когда придёт покупатель, какой-нибудь сказочный Гарун аль Рашид, и купит всю корзину манго и сидящий на корточках у стены дома человек не будет томиться до самой ночи в раскалённом зное.

Но нет Гарун аль Рашида, он и не думает появляться. Нет сказок, хотя за несколько шагов отсюда есть магазины поистине как из тысячи и одной ночи, где поблещивают драгоценности, достойные Шехерезады. Горы драгоценностей из бирюзы в прожилках, целые горы драгоценностей из нефрита, зелёного, как изумруд, прозрачного, как кленовый лист на солнце, покрытого сложными узорами — работой терпеливых пальцев целых поколений. Драгоценные камни, горящие, как маленькие солнца на фоне чёрного бархата. Колье и броши, браслеты и кольца, и все божества Азии, искусно вырезанные из слоновой кости и яшмы. Изумительно расшитые китайские платья, где на цветной шёлк со всего мира слетелись жар-птицы, павлины и фазаны и посыпались дождём все цветы жарких тропиков.

Но фрукты манго не будут проданы. И рикша не дожждётся своего пассажира. Улица пустеет. На другой стороне залива, как огромный бриллиант, играет, горит, мерцает огнями Гонконг.

Воскресное утро. Открыты все магазины. Рабочий несёт большое стекло — повидному, для витрины магазина. Двое других тащат доски. Видно, в воскресенье здесь работают. Рабочие, как и рикши, почти голые. А воскресные прохожие одеты ещё красивее, ещё изысканнее, чем вчера и позавчера. Среди женщин в красивых платьях, среди мужчин в безукоризненного покроя костюмах и безупречной чистоты рубашках странно выглядит проходящий время от времени рабочий. Босой, в коротких трусах, с висящей через плечо, закрывающей половину груди тряпкой. Он словно явление из другого мира. Рабочий одет, как нищие, которых видим здесь довольно часто.

По заливу непрерывно снуют катера — видно, перезозят пассажиров из Коулун в Гонконг и обратно. На пристани стоят больше пароходы.

Отправляемся в город. На нас никто не обращает внимания: здесь много иностранцев. Во всяком случае, такое впечатление складывается в городе. В действительности же на всём этом кусочке земли — от колючей проволоки на склонах гор до самого моря, включая сюда остров с Гонконгом, где находится два с половиной миллиона населения, — имеется всего тридцать тысяч иностранцев. Остальные — китайцы.

Присматриваемся к прохожим — ведь издали легко ошибиться. Женщины чаще всего в европейской одежде — от туфель и до макушки прекрасно завитой головы. Мужчины тоже почти все в европейских костюмах, за исключением, пожалуй, пожилых. Идя за ними следом, можно легко ошибиться и принять их за европейцев, потому что разговаривают они между собой чаще всего по-английски.

Рассматриваем витрины книжных магазинов, киоски. И здесь тоже почти сплошь видим названия на английском языке. Множество американских книжечек в пёстрых обложках — комиксы. В книжных магазинах целые ряды книг толстых, солидных, с заголовками не менее сенсационными, чем у пёстрых книжечек. Это про нас и о Китае. «Правда о Советском Союзе», «Тайны Красного Китая», «Советский шпионаж» и т. д. и т. п. Биографии Ли Сын Мана, биографии Чан Кай-ши, биографии его жены. Корейский товарищ, член делегации на конференции в Дели, заходит в магазин. Ему интересно, как выглядит биография Ли Сын Мана в освещении его друзей. Но он выходит с пустыми руками.

— Книга стоит сорок гонконгских долларов. А за четырнадцать долларов здесь можно купить туфли.

Он и не собирался покупать туфли, но его просто возмутило такое соотношение цен.

Гонконгские автобусы — большие, двухэтажные (тоже конкуренция для рикш). Но на улицах нет той жизни, которая придаёт китайским городам, в особенности южным,

особый, самобытный характер. Здесь нет уличных ресторанчиков, зато сидят дети — чистильщики обуви, много детей-чистильщиков, иногда таких маленьких, что в первую минуту мы удивляемся, почему они не в детском саду. Мы забыли о «ракете времени»...

Повсюду кинореклама. Видно, идёт немало китайских фильмов. С разноцветных щитов на нас глядят продолговатыми глазами необычайно красивые китайские актрисы, но, судя по рекламам, содержание картин близко к американским образцам.

Снова в гостинице. На соседней крыше происходит большая стирка — наверно, гостиничное бельё. Лохань с водой, печурка, на которой греется вода; с утра до вечера три женщины стирают на стиральных досках горы простынь, тут же развешивают их на протянутых верёвках. Вообще создаётся впечатление, что в этом районе города беспрерывно идёт большая стирка. Почти на всех крышах висит выстиранное бельё, сохнет бельё и в доброй половине комнат-веранд.

На противоположной стороне улицы, на третьем или четвёртом этаже, одна семья целыми вечерами играет в какую-то игру. На крыше напротив — маленький садик, там едят за столом под открытым небом. Должно быть, люди так привыкли к своим открытым комнатам, которые целиком, вплоть до задней стены, видны из домов напротив, что никто не стесняется, и мы можем спокойно наблюдать, как протекает их жизнь от завтрака до ужина — со стиркой, мойкой посуды, осмотром гардероба, визитами, укладыванием детей, развлечениями, всеми мелкими заботами повседневной жизни.

Нет, не зря прошло для нас время в гостиничном номере. Тем более, что произошла ещё неожиданная и очень смешная встреча, если так можно только назвать это.

Кроме большой комнаты в три окна, наш номер имеет ещё ванную комнату. В ней под потолком, над ванной, есть большая прямоугольная отдушина, прикрытая металлическим жалюзи, пластинки которого постоянно приподняты. Видимо, наша ванная соединяется таким образом с соседней.

Ещё в первый день Корнейчук с намыленным для бритья лицом вдруг появляется на пороге ванной и, приложив палец к губам, торопливыми жестами зовёт меня к себе. Что случилось?

Вхожу на цыпочках. И уже с порога слышу голоса, доносящиеся сверху, из отдушины.

— Он пишет, что больше не хочет так. Да просто не может больше, у него нет никакой личной жизни. И снова требует денег.

— А куда он дел те двести долларов? Ведь недавно он получил двести долларов?

— Ну, куда дел, я не знаю. Он думает, в Шанхай легко посылать доллары! Ему кажется, что доллары — это чепуха! Подумаешь, у него нет личной жизни! А у кого она есть?

Голоса два — мужской и женский. Говорят по-русски, хотя и не чисто. Видно, считают, что этот язык здесь никто не может знать. Сдерживаем дыхание. Фи, очень некрасиво подслушивать, это мне внушали с детства. Тем не менее мы подслушиваем, и даже с какой-то страстью. Перед нами встаёт новое обличье Гонконга, то, о котором нам говорили и которое приходилось принимать на веру. О том, чтобы увидеть его собственными глазами, или, вернее, услышать собственными ушами, не приходилось и мечтать. А теперь. И как будто специально разговор происходит на русском языке! Причём наши соседи удивительно неосторожны. Мы уже знаем, как зовут господина, живущего в Шанхае, получающего доллары из Гонконга и сетующего на отсутствие личной жизни.

— Так что мне делать с этим письмом?

— Вырежь всё, что касается денег, а остальное надо сжечь.

Кто-то стучит и заходит в соседний номер, теперь разговор идёт по-английски и не в ванной, а в комнате. Но дверь в ванную открыта, и голоса хорошо слышны.

И мы тоже оставляем дверь открытой, разговариваем шёпотом и ходим на цыпочках. Одно окно, второе, третье — три наблюдательных пункта, откуда можно видеть все красоты города и моря и жизнь порта, улицы, домов — от квартир на первом этаже по самые крыши. А теперь и четвёртая стена, от которой мы ничего не ждали, даёт нам возможность познакомиться с краешком изнанки гонконгской жизни...

Снова слышится русский. Разговаривают в комнате, но достаточно громко. Продолжаются жалобы на господина из Шанхая.

— А что он сделал для меня, когда я был в Шанхае? Кто должен был занять это место? Я! Это он подложил мне свинью. Ещё при японцах. Тогда я ему говорю...

Постепенно разговор переходит на другую тему.

— Говорят — берите сиамские. А на чёрта мне сдались сиамские! И в том вовсе не было шести каратов...

— Как не было?

— Да вот так. А ко всему ещё и с изъяном

— Этот ведь такой же.

— Совсем не такой же.

Шелестит бумага. Идёт длинный спор о драгоценных камнях. Ах, почему нельзя заглянуть в ту комнату! Сидят эти люди, наверно, за столом, разворачивают, заворачивают, сортируют дорогие камни и совершенно уверены, что никто не понимает их разговора, совсем не стесняются. Кто в гостинице Гонконга может знать русский?

Три дня играем в доморощенных детективов. Назубок знаем привычки своих соседей. Когда кто-нибудь появляется в их комнате, изъясняются на английском и ещё каком-то незнакомом нам языке. О шанхайских и сиамских делах говорят между собой по-русски. Когда хотят быть уверенными, что их никто не слышит, переходят — о ирония судьбы! — в ванную, не подозревая, что в нескольких сантиметрах от них, отделённые всего лишь тонкой стенкой с открытой отдушиной, две пары любопытных ушей улавливают каждое их слово. Когда хотят полностью застраховаться, откручивают кран. Вода спокойно грохочет внизу, падая в ванну, а через жалюзи наверху явственно доходит до нас каждое слово, тем более, что шум воды заставляет их повышать голос.

Интересная компания! Переплетаются драгоценные камни, какие-то салфетки, скатерти, чей-то отъезд в Париж, куда надо что-то отвезти, какие-то письма и воспоминания со слезой о не очень давних временах, как выясняется — «при японцах».

А что, если пойти в ванную и крикнуть им? Крикнуть нашлось бы что. Представляю, какое впечатление это произвело бы. Соблазн большой, но надо устоять.

На второй день нашего дежурства к нам приходит китайский товарищ — связной между руководством делегации и нами.

— Вас просят быть поосторожнее. В ресторан пришли двое, разговаривают между собой по-русски. Наверно, белогвардейцы.

— Мужчина и женщина?

— Да.

— Молодые?

— Нет, довольно пожилые.

Смеёмся. Конечно, наши соседи.

— Мы уже насквозь знаем этих типов. Никакие они не белогвардейцы, никакие не эмигранты, просто международные аферисты, которые служат каждому, кто заплатит. А о нас можете не беспокоиться. Тем более, что мы не ходим в ресторан.

Соседей нет, ушли куда-то. Проверяю, как идут дела у продавца манго. Всё так же. Корзина полная. Так же ждёт рикша на углу. Так же бежит по мостовой другой. По улице идёт красиво одетая китайка средних лет, рядом с ней молоденькая нянька несёт на руках ребёнка. Ребёнок одет, как сказочная принцесса. Нянька босая, в потёртом платьице. Ребёнок, видно, тяжёлый, няньке не больше двенадцати лет.

Задумываемся: действительно ли заграждения колючей проволоки такая непроходимая стена? Знают ли этот босой рикша, или этот полуголый рабочий, или эта нянька-ребёнок что-нибудь о том, что происходит в нескольких десятках километров от них, на такой же китайской земле, как та, по которой они ходят?

Гостиничный служитель, повидимому, охотно поговорил бы с нами, если бы знал язык, на котором мы могли бы общаться. Выясняется, что такой язык всё же есть — международный язык жестов и мимики. По тем же жестам и нескольким английским словам, которые понимаю, догадываюсь, что он спрашивает, нравится ли нам Гонконг. Также жестами отвечаю, что чрезвычайно. Показываю на открывающийся из всех трёх окон вид и выражаю, как могу, самый большой восторг. Самый искренний.

Он кивает головой.

— Да, да, здесь прекрасно. Но это злой город.

— Злой город? — удивляюсь.

— Да, да, злой.

Видно, он мучится, что не может мне объяснить, почему злой. И наконец находит выход.

— Китай — хороший. Китай, — он показывает рукой направление, — Китай — во! Большой палец поднят вверх — жест величайшего одобрения.

— Гонконг злой. Очень злой.

Ведём себя сдержанно. Притворяюсь непонимающей. Ещё раз показываю на волшебный вид залива, на сказочный город на противоположной стороне и снова выражаю восторг. В то же время жалею, что не могу открыто высказаться, что я тоже считаю, что Гонконг злой, а Китай — во!

Служитель качает головой. И, уже уходя, делает рукой широкий жест, как бы охватывая город и залив. Одновременно стучит ногой об пол.

— Китай, тоже Китай, это китайское.

Ясно, что он хочет сказать: это тоже китайская земля. Впрочем, так оно и есть.

Уходит. Он такой же, как его товарищи в гостинице в Кантоне, недалеко отсюда. Такой же ловкий, вежливый, опрятный, у него такая же приятная улыбка. Но чем-то он всё же отличается. Чем? Только после его ухода осознаю, что, несмотря на приятную улыбку, это лицо грустно и грустны красивые, выразительные глаза. Может, напрасно мы были так осторожны? Но как знать, ведь это Гонконг. И недалеко отсюда Тайвань...

Опять глядим на улицу. Кто эти люди, китайцы, разговаривающие по-английски, китайцы, одетые по-европейски, как будто целый день ничего не делающие, не имеющие никаких занятий? Помещики, капиталисты, бывшие военные, вся грязная пена жизни народа, которая уплыла сюда, не отважившись, повидимому, уплыть на Тайвань, где, пожалуй, не так безопасно и не так удобно, как здесь. Агенты разведок, спекулянты, торговцы драгоценностями, золотая молодёжь. И полуголый рабочий, и проститутки, фланирующие туда и обратно перед витринами магазинов, и похожие на скелеты рикши, и дети-чистильщики, и крестьяне, работающие в поле, — на чьей они земле?

Среди прохожих время от времени попадают военные. Шотландцы в клетчатых юбочках. Высокий негр в мундире. Проезжает красная полицейская машина, похожая на маленького жучка. В переулок напротив, едва только стемнеет, съезжаются одна за другой машины — большие и маленькие, легковые машины всех марок. Въезжают в переулок, поворачивают куда-то вбок, как будто в какой-то двор или сад. Их очень много. Что там такое? Публичный дом? Ночное кабаре? Ресторан? Или же просто... гараж? Трудно определить точно с высоты нашего этажа.

Магазинные вывески в той части города, где мы живём, преимущественно английские. Многие носят названия китайских городов. Есть магазины «Пекин» и «Шанхай», ресторан «Кантон» и многие другие, напоминающие о местах, по которым мы совсем недавно путешествовали. Много новых магазинов, открытых теми, кто убежал из Китая. Наверно, многие названия, выведенные на вывесках, выражают тоску их владельцев не по самому Пекину или Шанхаю, но по тому Пекину и Шанхаю, в которых они жили весело и беспечно, чужим трудом и чужой обидой. По такому Пекину и Шанхаю, каких уже нет и никогда не будет, потому что на их месте возникли новые города, с новым хозяином — народом.

По дороге на аэродром проезжаем мимо других районов города — не столь европеизированных или американизированных, как тот, где расположена гостиница. Узкие улочки, ларьки, масса китайских, покрытых иероглифами вывесок. И везде сохнувшее бельё, и плохая мостовая, и дома, нуждающиеся в срочном ремонте.

На аэродроме с интересом рассматриваем индийский самолёт, к которому нас ведёт эфирная стюардесса-индуска. Поднимаемся в воздух. Некоторое время видим внизу прозрачно-зеленоватую воду, маленькие островки, рассыпанные густо, как бусинки, пятнышки джонок, а потом уже только карта показывает, что летим над морем. Под нами простирается сплошное, необозримое море облаков, густых и пушистых, освещённых солнцем. Далеко под этими облаками остался Гонконг.

Та же старая энциклопедия Брокгауза, приведя огромный перечень товаров, проходящих через гонконгский порт, огромные цифры судов, причаливающих здесь, даёт в конце короткую справку: «На тысячу жителей родится 8, умирает 23 на тысячу. Население пополняется приливом китайцев с материка». Это справка, датированная



1890 годом. Не знаем, сколько теперь рождается на тысячу. Умирает, думаю, пожалуй, не меньше, чем умирало тогда.

Горят огнями верфи на том и другом берегу, как блестящие жуки снуют по заливу парходнки, высоко поднимается глухая стена, отделяющая часть перта от улицы. «Благоуханный залив» отливает голубиной в ярком солнце. Маленький чистильщик держит в руке щётку, поднимая на прохожих глаза с выражением тревожного ожидания. Стоит, прислонясь к стене дома, продавец над корзиной непроданных золотистых плодов манго. Разгуливают молодые китайцы в американских нарядах, разговаривая по-английски. Единственное, что в них ещё есть китайского, — это китайские лица.

День над Гонконгом золотой от солнца. Ночь над Гонконгом светлая от разноцветных огней реклам из пылающих неонами улиц. День и ночь над Гонконгом, над «Благоуханным заливом» стоит пряный запах цветов юга.

«Это злой город», — тихо говорит китайский служитель. Да, он, пожалуй, знает лучше нас, трёхдневных наблюдателей из гостиничных окон, каков это город. Изумительно прекрасный, злой город Гонконг.

### *Последний день.*

О праздновании Первого мая в Пекине писали неоднократно. Писали на многих языках и во многих странах, потому что к этому дню гости прибывают стовсюду, иногда очень издалека.

В Чунцине заместитель председателя Всекитайского совета профсоюзов Лю Нин-и говорит нам:

— Приглашаем вас на праздник Первого мая в Пекин.

Это и будет завершением нашего путешествия. Билеты на самолёт в Москву заказаны на третье число. Наездив по Китаю несколько тысяч километров, увидим напоследок во всём его блеске шагающий по улицам Пекина новый Китай.

Да, о праздновании Первого мая писалось много. Писали разные люди. Но теперь своими глазами видим могучую реку, безостановочно плывущую перед трибунами, заполняющую из края в край огромный, широкий Проспект мира.

Шумная, бурная река. Над ней движутся леса знамён, и трепещут тучи голубей, и зацветают поля цветов, и облаками взвиваются цветные шары. Самая яркая демонстрация, какую можно себе представить. И самая радостная.

Плывёт, плывёт, не иссякая, звонкая, гулкая река. Плещутся в воздухе сотни тысяч ладоней. Улыбаются лица, гремят приветствия. Не может быть, чтобы это были только жители Пекина. Кажется, что вдоль трибун, во всю ширь гигантской площади, плывёт радостной рекой весь Китай. Интеллигенция, рабочие, крестьяне. Дети и молодёжь. Плывёт великой волной победный новый Китай.

Мы видели этих людей за работой. Видели их на полях и на заводах, в школах и дома. Они для нас уже не безлика толпа. Знаем их будни, знаем их заботы и трудности, знаем их борьбу и победы. Мы встречались с ними в прекрасных залах рабочих клубов и Домов культуры и в маленьких домиках и фанзах. А теперь как будто все вышли на улицу. Будто слились воедино толпы Пекина и Шанхая, Нанкина и Кантона, и всех многолюдных китайских городов, и всех многолюдных китайских деревень. Но нет, людская река в это время плывёт во всех городах, на всём огромном пространстве Китая. А здесь ликует Пекин. Стоят на трибунах гости, приглашённые из многих стран мира. Смотрят дружескими глазами. Восхищёнными глазами. Счастливыми глазами. На силу, мощь, радостный праздник китайского народа.

Смотрят с трибун представители дипломатического корпуса и представители прессы. Разные. Не все смотрят приветливо. Не у всех ясные лица.

Что думают здесь те, кому не по душе, кому мешает, кого беспокоит мощь возрождённой страны? А ведь есть и такие, которые делают вид, будто не знают о существовании этой страны, «не признающие» этой страны, её правительства, её новой истории. Какое «непризнание» может зачеркнуть это море людей, и величие этой страны, и права этого народа на свою страну? Мрачный ипохондрик может решить, что нет солнца. Но оно существует, и светит, и греет, даже если бы была принята тысяча резолюций, что его нет, и хотя бы сто раз кричали, что солнце — это смрадная копилка. Солнце будет попрежнему давать тепло, свет и жизнь.

Нет, это не только первомайская демонстрация. Это в огромном походе идёт вперёд новый Китай, идёт многомиллионный народ уверенным, радостным шагом.

Поют разные песни. Но сквозь их мелодию мой слух улавливает прежде всего ту, в ритме которой живёт вся страна: «Гей, сдвинем! Гей, потянем!» Серебрится в десятках тысяч рук голубь — эмблема мира. Сверкают белизной крылья тысяч белых живых голубей, выпущенных из детских рук. Майское солнце, майское небо, сад, букетами распутившийся в руках людей. Зацветает перед нами вся китайская земля.

— Мао Цзэ-дун! — скандируют люди, приветствуя стоящего на трибуне руководителя Китайской коммунистической партии.

— Товарищ Мао!

Да, он их товарищ. Всех их, идущих перед трибунами. Товарищ по борьбе и труду. Он шёл вместе с ними в Великом походе. Шёл вместе с ними в зной и в морозы, через леса и степи, через болота и скалы, с окровавленными ногами, в рваной обуви. Уходил вместе с ними на север и вместе с ними защищал города и деревни от войска Чан Кай-ши и японских оккупантов. Разрабатывал, решал между боями проблемы жизни Китая и разъяснял методы и цели борьбы, начиная с далёких дней Первого съезда партии Китая по сегодняшний день. Это товарищ по труду и сегодня — вместе со всеми он строит новый Китай, и в глубокой любви, с какой говорит о нём каждый китаец, нет ничего от подобострастного восхищения. Это подлинная любовь и подлинное уважение, какое чувствуют перед авторитетом старшего, опытного и испытанного товарища, верного товарища, который никогда не подвёл и всегда был и будет вместе с народом, среди народа, не отгороженный от него ничем.

И поэтому гром приветствий, несущийся к трибунам, где стоят Мао Цзэ-дун, Чжу Дэ и другие руководители партии и правительства, — это приветствия товарищей, выражение единства, которое связывает людей, стоящих на трибуне, с проходящими перед ней бесконечными рядами.

А река всё течёт. Радостная, красочная река радостных людей.

Вечером Пекин превращается в феерию, в город нереальный и неправдоподобный. Недаром Китай — родина фейерверков. То, что происходит, не может сравниться ни с какими фейерверками, ни с какой иллюминацией, виденными когда-либо мною. Небо над Пекином превращается в пламенную, сияющую оргию огней. Вспыхивают высокие, до небес, фонтаны всех цветов. Пролетают кометы с огненными хвостами, более радужными, чем хвост павлина. Вращаются тысячи солнц. Дождём падают звёзды. Замстают небо алмазные гигантские мётлы. Лопаются в воздухе сотни горящих планет.

Разбрызгивающиеся шары, цветные стрелы, огненные венки, ливни драгоценных камней, извержения красных вулканов, метель света и огня, которая не утихает ни на минуту, встречаемая снизу криком стотысячной толпы!

Большая площадь так же людна, как днём, во время демонстрации. И всё же находится место и для танцев и для весёлых хороводов.

В ярком блеске стоят великолепные ворота Тяньаньмяня, и мощные стены, сооружённые здесь сотни лет назад, и новые стены гостиницы «Пекин», и силуэты деревьев и домов. Неизвестно, какая стоит ночь над Пекином, — чисто ли небо или затянута облаками, — потому что его наполняют тысячи солнц и звёзд, более ярких, чем красное сияние Марса и голубое сияние Венеры на рассвете. Клубком золотых змей, путаницей горящих зигзагов полыхает небо. Пекин поёт, играет, танцует до самого утра.

А утром кажется, что всё было сном. На улицах не осталось никаких следов. Тысячные толпы не оставили после себя ни корок, ни бумажек. Улицы чисты.

Это наш последний день в Пекине. Наш последний день в Китае. Первомайский праздник, как горящая сказочная застёжка, закрывает наше путешествие. Ещё раз перед самым отъездом мы как бы увидели весь Китай — его силу, его молодость, его размах, и радость, и смех, и песнь его людей.

*Перевод с польского Е. Василевской.*



# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных журналов*

## ТОЛКАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ?

Восьмого ноября 1954 года в небольшом французском городке Вандоме было совершено тяжкое преступление. Двадцативосьмилетняя Дениз Лаббе утопила свою двухлетнюю дочь Кати. Как выяснилось впоследствии, это было четвёртое по счёту покушение матери на жизнь ребёнка. В тюрьме Дениз Лаббе созналась в том, что убила дочь по настоянию своего любовника Жака Альгаррона, молодого офицера, требовавшего этой жертвы в качестве доказательства беспредельной покорности и любви.

Тридцатого мая 1956 года Лаббе и Альгаррон предстали перед судом. В течение четырёх дней разбирательства дела их имена не сходили со страниц парижских газет. Внимание журналистов было приковано к Жаку Альгаррону. Каковы мотивы, побудившие этого человека толкнуть любящую его женщину на столь ужасное преступление? Вот вопрос, который можно было встретить в каждой корреспонденции, поступающей из зала суда. И постепенно эти мотивы становились всё более и более ясными: крайний эгоизм, высокомерное презрение ко всем нормам человеческого морали, страсть к «необычному», стремление поставить себя вне общества и над обществом.

Убийство Кати, совершённое её матерью, — «опыт», который должен был показать степень «свободы и могущества» Альгаррона.

Едва лишь узнав об исполнении своего замысла и ещё полагая, что преступление не будет раскрыто, вдохновитель убийства заявил одному из своих друзей: «Перед чудовищным актом можно испытывать восхищение. Люди, способные стать святыми, способны стать и чудовищами». На суде Альгаррон не отрёкся от этой фразы, он лишь уточнил, что позаимствовал её у французского писателя Бернаноса.

Имя Бернаноса было не единственным именем писателя и философа, произнесённым на этом процессе. Таких имён было несколько. Они упоминались и в письмах обвиняемого и в выступлениях защитников. Это обстоятельство побудило парижский еженедельник «Фигаро литерер» обратиться к ряду крупных современных французских писателей с вопросом: «Можно ли сказать, что современные литературные произведения оказали решающее влияние на судьбу трагических любовников?» Номер еженедельника, в котором напечатаны ответы на этот вопрос, лежит перед нами. Содержание ответов в большинстве случаев таково, что оно не позволяет вести речь о конкретных писателях, о конкретных произведениях, упоминавшихся в той или иной связи во время процесса. Участники анкеты по существу отвечают на вопрос, поставленный в более общем плане: «Оказывает ли литература какое-либо влияние на жизнь общества и его отдельных членов? Какова степень ответственности писателя за влияние его произведений на читателей?»

При такой постановке вопроса ответы, не утрачивая определённого отношения к процессу Лаббе — Альгаррона, приобретают ещё и характер весьма интересных документов, раскрывающих взгляды определённой части французских писателей на общественное значение их литературной деятельности.

Позволим себе привести сначала выдержки из тех ответов, которые за неимением другого слова мы назвали бы «нигилистическими».

### *Франция*

«Фигаро литерер» («Литературный Фигаро»), общественно-литературный еженедельник. № 529 от 9 июня 1956 года. Год издания 11-й. Париж. Главный редактор Пьер Бриссон.

★

Франсуа Мориак: «Было бы необходимо сначала договориться о том, что называют влиянием писателя: ни один читатель не читает ту книгу, которую мы написали».

Жюль Ромен: «Мне кажется не подлежащим сомнению, что произведения, названные в ходе процесса, оказали влияние на одно из действующих лиц драмы и через него — на другое лицо. Но это возбуждает широкий процесс: о свободе литературы и искусства. Мы находимся перед неразрешимой проблемой. С одной стороны, нельзя отрицать влияния литературы на характер чувств, а при случае и поступков современников тех или иных произведений, но в равной мере невозможно установить протекционный барьер или заставить эти произведения конкретным образом расплачиваться за свою ответственность».

Колет Одри: «Я не верю в то, что называют влиянием литературных произведений. Каждый читатель берёт из книги то, что он хочет из неё взять... Если во что бы то ни стало хотели выдвинуть обвинение против влияния, оказываемого книгами, следовало бы говорить об определённой традиции эгоистической литературы, которая ставит себя выше всякой морали, но не о том или ином конкретном писателе».

Три точки зрения. Они, очевидно по необходимости, по самим условиям газетной анкеты выражены очень кратко. И было бы поэтому несправедливо развернуть против них пространную полемику. И всё же, хотя бы в такой же краткой форме, мы не можем не возразить против прямого или косвенного отрицания ответственности писателя за свои произведения, за то влияние, которое они оказывают на читателя.

Может быть, если бы мы познакомились с приведёнными высказываниями в какой-нибудь антологии, в журнальной подборке, составленной просто так, в «литературоведческих» целях, они не произвели бы на нас такого впечатления. Но мы читали их непосредственно вслед за обширными материалами процесса и не могли отделаться от мысли, что присяжные заседатели и судьи, встань они на точку зрения Франсуа Мориака, Жюль Ромена, Колет Одри, должны были бы оправдать Альгаррона.

Да, он развивал перед Дениз Лаббе теории, согласно которым женщина, любящая мужчину, должна быть готова пойти на всё, вплоть до убийства. Но подобно тому, «как ни один читатель не читает книгу, написанную писателем», ни один слушатель не слышит того, что говорит его собеседник. Да, его письма, которые он в заботах о стиле иногда переписывал до трёх-четырёх раз, оказали дурное воздействие на молодую женщину, но «это возбуждает широкий процесс: о свободе литературы и искусства; мы находимся перед неразрешимой проблемой». Да, возможно, что в течение нескольких месяцев знакомства он добился того, что уничтожил у Дениз Лаббе всякие материнские чувства, но в то же время это почти невероятно, ибо он воздействовал только словами, а он не верит в так называемое влияние литературных произведений: «Каждый читатель берёт из книги то, что хочет из неё взять».

Может показаться, что, применив к Альгаррону высказывания писателей, относящиеся, собственно, к литературе, мы прибегли к запрещённому приёму. Нет, это не так! Несомненно, Альгаррон не писатель, не «литература» для десятков тысяч читателей во Франции. Но для Дениз Лаббе он был «писателем», «философом», «наставником», прибегавшим в своих наставлениях только к словам и с возмущением воскликнувшим на процессе: «Большое расстояние отделяет слово от дела!» А «дело» — убийство двухлетней девочки — совершено не им!

Но неужели, спросит нас читатель, ни один из авторов, принявших участие в анкете «Фигаро литерер», не высказался со всей определённостью о высоком моральном долге литератора, о том, что этот долг и есть тот «протекционный барьер», ограждающий добро от зла, о котором с такой безнадежностью пишет Жюль Ромен.

Такие или почти такие высказывания были. И, что весьма характерно, писатели, придерживающиеся иной точки зрения, нежели уже цитированные нами авторы, возлагают большую ответственность за совершённое преступление на Альгаррона, чем на Дениз Лаббе.

«Я, — пишет Жанна Анселе-Юсташ, — приговорила бы Альгаррона на длительный срок к каторжным работам, даже если он удовольствовался лишь тем, что «играл» любовью этой женщины. Ей я дала бы меньше..»

Следовало бы обвинить всю атмосферу аморальности, антиморальности, в которой мы живём. Андре Жид — это одно из проявлений среди многих других. Нет необходи-

мости приводить имена: они у всех на памяти. Встречают улыбкой, считают конформистами тех, кто ещё говорит о долге, о сопротивлении страстям. Кажется, что публика пробуждается перед лицом таких ужасных случаев, но она не хочет видеть причинно-следственной связи между современным климатом и преступлениями, которые он порождает».

«Формула: нет дурных писателей, есть только дурные читатели — блестяща, но она ничего не выражает... Писатель должен иметь благородство и смелость не печатать ничего такого, что бы он не был готов защищать ценой жизни», — утверждает Станислас Фюме, называя в своём ответе Альгаррона «садистствующим Дон-Жуаном».

Активно поддерживая эту нравственную точку зрения, мы не боимся выставить себя ни в жестокой роли «противника» свободы литературы и искусства, ни в смешной роли невежды, разрешившего единым словом «нравственность» проблему, называемую Жюлем Роменом «неразрешимой».

«Никто не станет подозревать мать. Толкать и удерживать — это один и тот же жест», — наставлял Альгаррон Дениз Лаббе, посвящая её в технику задуманного преступления. Один и тот же жест! Но в зависимости от намерения его последствия могут быть спасительными и губительными. Не то же ли и в искусстве? И можно ли назвать «ограничением, покушением на свободу» писателя требование, чтобы его намерения были добрыми? Это требование, на наш взгляд, ограничивает свободу писателя не больше, чем земля под ногами человека ограничивает свободу передвижения.

Твёрдо стоя на этой точке зрения, полагаем ли мы, что все авторы ответов, названных нами «нигилистическими», являются писателями, если можно так выразиться, безнравственного направления? Отнюдь нет, мы имеем дело с писателями весьма различными, и различными представляются нам мотивы, побудившие их высказаться против ответственности автора за моральное воздействие его произведений на читателя. Более того, в некоторых случаях эти мотивы, на наш взгляд, прямо противоположны.

Ответ Франсуа Мориака, облечённый в форму парадокса, связан не с этическими и даже не с эстетическими, а скорее с гносеологическими воззрениями этого автора. В своей не так давно напечатанной в «Фигаро литерер» статье «Романы, которые преодолевают время» Франсуа Мориак пишет: «Истинные романисты не рисуют более характеров, потому что характеры не существуют нигде, кроме как в идее, которую мы о них составляем». В равной мере и книга, согласно Франсуа Мориаку, не существует нигде, кроме как в идее, которую о ней составляет читатель. Таким образом, из средства познания книга превращается в непознаваемую истину, коль скоро мы предположим, что читатель стремится составить себе представление о замысле художника, о том мире чувств и мыслей, которые волновали его и которые он выразил в своём произведении. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения, мы находим, что она отрицает самую сущность искусства. «Настоящее произведение искусства, — писал Лев Толстой, — делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства».

Как видит читатель, для того, чтобы, пользуясь словами Франсуа Мориака, «договориться о том, что называют влиянием писателя», мы должны были бы предварительно договориться о том, что называют искусством вообще, что такое познание, какое место занимает искусство в познании человеком окружающего мира. Именно это, а не моральная сторона вопроса, как нам кажется, диктовало Франсуа Мориаку ответ на анкету «Фигаро литерер».

Совсем иначе, на наш взгляд, обстоит дело с ответом Жюля Ромена. Мы осмеливаемся утверждать, что его ответ есть не что иное, как защита своего «права» быть аморальным писателем.

Чтобы не остаться голословными и, вместе с тем, чтобы не показалось, что наше мнение продиктовано лишь субъективной неприязнью к творчеству Жюля Ромена, мы позволим себе предоставить слово Андре Руссо, одному из постоянных литературных обозревателей «Фигаро литерер», выразив при этом сожаление, что не имеем возможности за недостатком места полностью привести его статью «Третья молодость господина Жюля Ромена». Речь в этой статье идёт о последнем романе Жюля Ромена «Сын Жерфаннона», посвящённом современной молодёжи. «Господин Жюль Ромен, — пишет

Андре Руссо, касаясь некоторых «особенностей» книги, — развивает на пятидесяти страницах гигиеническую и моральную диссертацию на тему о кровосмешении, рассматриваемом как полезное звено материнских обязанностей и счастливое вспомогательное средство к традиционному воспитанию. И здесь я начинаю себя спрашивать, не имеет ли г-н Жюль Ромен весьма личной точки зрения на драму молодых поколений... Действительно ли его теории инцеста составляют характерную черту молодёжи нашего века? Полноте! Это просто-напросто страницы, которых следовало ожидать от автора «Психен» и «Магического ковра». Мозговой эротизм Жюля Ромена сфабриковал за годы его творчества, с большим потворством дурному вкусу, разнообразный альбом, в котором не хватало только материнского инцеста. Вот и он. Современная молодёжь здесь ни при чём».

Мы могли бы привести и другие отрывки из статьи Андре Руссо, позволяющие судить о «моральной» направленности последнего романа Жюля Ромена, о том, как «затруднительно» этому писателю ставить барьер между добром и злом, но пощадим читателей, довольно и сказанного.

Если ответы Франсуа Мориака и Жюля Ромена, каждый по-своему, на наш взгляд, довольно характерны для творчества этих авторов, то ответ писательницы Колет Одри вызвал у нас недоумение. Во-первых, он внутренне противоречив: если нет литературного влияния вообще, если каждый читатель берёт из книги только то, что он хочет, то нет оснований выдвигать обвинение и против «традиции» эгоистической литературы. Не видим мы также возможностей отделить эту традицию от конкретных писателей. И, главное, не можем связать точку зрения Колет Одри с тем представлением о ней, которое сложилось у нас после знакомства с её последней пьесой «Соледад». Эта пьеса, имеющая большой успех в Париже и опубликованная недавно в «Тан модерн», раскрывает перед нами внутреннюю драму участницы испанского сопротивления фашизму, до конца верной своему долгу. Нам кажется, что писательница не только желала предоставить своим зрителям и читателям возможность взять из своей пьесы «то, что они хотят», но и сама хотела, чтобы в её произведении можно было почерпнуть урск мужества, благородства и преданности человека человеку.

Проблемы, заинтересовавшие нас в связи с анкетой «Фигаро литерер», отклонили нашу статью от непосредственного рассмотрения других материалов, опубликованных в рецензируемом нами номере. Об этом приходится сказать с сожалением, в особенности потому, что в нём опубликованы воспоминания Ромен Роллана, освещающие начало его литературной деятельности. Эти воспоминания были написаны автором «Жана Кристофа» в 1939 году и нигде ранее не публиковались.

Мы не дали также и общей оценки направления «Фигаро литерер». Сделать это практически невозможно, ибо на страницах еженедельника выступают авторы, нередко придерживающиеся по различным вопросам весьма различных точек зрения. Самым постоянным «сотрудником», выступающим в каждом номере еженедельника с момента его основания, является великий Бомарше — журнал позаимствовал в качестве девиза слова Фигаро: «Где нет свободы критики, там нет и лестной похвалы». С этим, несомненно, согласны все авторы еженедельника, что не исключает возможности разногласий между ними (и между нами и многими из них) по вопросу о значении почти каждого из слов, составляющих это прекрасное изречение.

**Н. РАЗГОВОРОВ.**



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ПЕРЦОВ



## О ВСЕВОЛОДЕ ВИШНЕВСКОМ

**Д**вижение нашей художественной литературы в тридцатых годах изучено мало. Между тем это был блестящий период. При первом взгляде на десятилетие перед Отечественной войной в литературе сверкают и новые и многие уже известные имена. Великолепно развернулись Михаил Шолохов и Алексей Толстой, закончившие как раз в эти годы свои романы о близком и далёком прошлом, ставшие всемирно знаменитыми; широкую популярность и влияние приобрёл ряд самобытных талантов и среди них Александр Твардовский и Павел Бажов; в эти же годы возникли такие органически цельные по идейному и поэтическому звучанию произведения, как «Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева, «Капитальный ремонт» Леонида Соболева. Богатство этого периода создавали и такие редкостные художники слова, как Юрий Тынянов, Михаил Пришвин, Ильф и Петров.

В самом начале тридцатых годов показался на литературном горизонте и с «ракетной» скоростью поднялся и Всеволод Вишневский.

Нужно завязать глаза и заткнуть уши, чтобы не увидеть, не почувствовать художественного изобилия этого десятилетия, достойно продолжившего мятежное начало советской литературы в двадцатых годах.

В эстетическом многообразии нашей литературы сказалась полнота жизни нового общества, окрепшего на социалистической основе и устремившегося к коммунистическим далям.

В эти годы на Первом съезде писателей была сделана попытка понять то новое и общее, что объединяет в искусстве и сливает в единый поток все эти реки талантов с такими разными истоками, профилем русла и характером течения. Это общее было названо социалистическим реализмом. Пусть

те, которым кажется, что великое литературное движение нового общества, осознавшего своё идейное и эстетическое единство в тридцатых годах, таит в себе опасность отказа от острой творческой самобытности, угрозу равнения на некую общедоступную и серую популярщину пусть эти перепуганные «широкие» нагуры, которые, повидимому, считают, что стиль социалистического реализма придуман специально против них, чтобы их сузить, — пусть эти люди представят себе всё многообразие творчества названных выше мастеров этого стиля, выразивших его и выразивших себя в нём!

К несчастью, немало произведений посредственных, серых, безличных силой стечения различных обстоятельств было у нас возвеличено и даже выдавалось за образцы социалистического реализма. Что из этого получилось, мы видим по тем последствиям, которые ныне изживаем. Протест против того догматического и нормативного понимания социалистического реализма, которое ради актуальности темы привело к утрате границы между искусством и неискусством, — такой протест нельзя не признать здоровым. Это естественная реакция живого организма искусства, стремящегося освободиться от того, что ему мешает жить и развиваться. Однако в последнее время в острых спорах о путях и перепутьях искусства — и у нас и за рубежом — некоторые участники этих споров стали требовать «освобождения» от самого понятия социалистического реализма, поскольку, дескать, именно оно мешает искусству жить и развиваться. Самой лучшей идее можно нанести вред неправильным применением, но от этой идея не перестанет быть верной. Нужно уметь отделить идею от её вульгаризации. Этого, к сожалению, не сумел сделать польский писатель Антони Слонимский, заявивший на весенней сессии Совета культуры и искусства в Варшаве, что тези-

сы о социалистическом реализме, выработанные на Первом съезде советских писателей,—это «орудие для уничтожения искусства». Так возникает требование «освободиться» от социалистического реализма. На деле это не означает ничего иного, как освободить себя от задачи обобщить художественный опыт нового, социалистического общества, то есть растворить его идейно-эстетический пафос в некоем искусстве вообще, лишённом исторического лица.

Но бывает ли такое искусство, возможно ли такое «освобождение»?

Конечно, нет, и утверждения, подобные приведённым выше, говорят только о разочаровании в новаторстве революционного искусства или о недостаточном знакомстве с его многообразием и прежде всего с его художественным, эстетическим богатством.

Горький, который непосредственно направляя литературное движение тридцатых годов, и Маяковский, получивший в эти годы народное признание, — не полюсы, не антиподы, это люди, идущие в одном строю; революционный размах своеобразия каждого из них может служить лишь наиболее разительным измерением простора социалистического искусства. Как ни разны они, в Горьком, как и в Маяковском, чувствуется общее гордое стремление переделки людей с помощью образа и слова — «полководца человечей силы».

Что дало людям твоё произведение, став отрадой «х жизни, кого и как воспитало оно — эти вопросы для художника социалистического общества встают более неотступно, чем когда бы то ни было в истории литературы.

Известно, что во все времена в литературе самобытных оригинальных талантов меньше, чем тех обыкновенных даровитых людей, которые, идя в русле литературы своего века, делают нужное и полезное дело. Развитие искусства социалистического реализма ничем не отличается в этом отношении от искусства других эпох. И однако же социалистическое искусство отличается от всех своих гораздо более зрелых предшественников прежде всего идейным содержанием цели, которой оно служит.

Нам могут сказать: да, идейное содержание цели у вас общее, но ведь вы сами говорите, что художественные пути к ней многообразны. Последнее не трудится доказывать. Объясните же нам, в чём заключается общее в этих путях, а не только в их направлении?

Никуда не уйти от вопроса об эстетических позициях искусства социалистического реализма. Этот вопрос почти не разработан. Подойти к его решению можно только индуктивно, шаг за шагом нащупывая, открывая единство в многообразии. В стихотворении-письме к Горькому Маяковский так определил свою художественную позицию:

И мы реалисты,  
но не на подножном  
корму.  
не с мордой, упёршейся вниз, —  
мы в новом,  
грядущем быту,  
помноженном  
на электричество  
и коммунизм.

И Горький поддержал эту мысль, определив в дальнейшем искусство социалистического общества как искусство «третьей действительности», действительности грядущего. Художник социалистического реализма всегда впереди изображаемого им. Этим дан угол зрения — ретроспекция по отношению к настоящему. В широком эстетическом ракурсе находит себя любая индивидуальность, по-своему преломляя патетику и сатиру, эпос и лирику, перерабатывая всё многообразие приёмов реалистической и романтической типизации, вынашивая свою близкую сердцу художника поэтику. Изучение творчества того или иного советского писателя может быть особенно плодотворным при одном условии: «лица необщее выражение» можно уловить, если понимать смысл выражения общего. Подготовку материала для решения этой задачи мне хотелось бы начать с этюда о творчестве Всеволода Вишневского — художника, который в социалистическом реализме видел путь к искусству большой открытости идеи и формы.

## 1

С тех пор, как умолк живой голос Всеволода Витальевича Вишневского, прошло уже больше пяти лет. Те, кому довелось слышать его, никогда не забудут той революционной страсти художника-трибуна, которая звенела в каждом его слове, обращённом к аудитории. Всеволод Вишневский-оратор естественно сливается для всех знавших его с Вишневым-художником. Читая свои пьесы, как атакующие речи, он не тревожился в своих героях — не как актёр, нет, — он потрясал самого искушённого в театральных делах слушателя непосредственностью переживаний, на глазах



автор-чтеца нередко можно было видеть слёзы. Сергей Третьяков — один из поэтов, близких к Маяковскому, — писал в «Правде» о «Первой Конной» Вс. Вишневского: «Автор читал её неподражаемо хорошо. Он выстукивал по столу телеграммы, задыхался вместе с умирающими персонажами, плакал и рвал на себе морскую тужурку».

Весь облик Всеволода Вишневского как писателя и человека сродни тому образу «ведущего», который занял столь важное место в его пьесах. «Ведущий» нарушал «вежливую тишину» зрительного зала, добиваясь прямого общения с аудиторией, вовлекая зрителя вместе с эмоциями сопереживания в круг действия и содействия тому, что творилось на сцене. «Ведущий» — это «наша совесть, наша память, наше сознание наше сердце», — так объяснял автор «Первой Конной» значение этого персонажа, который столь необычно вторгался в заповедный мир театральной иллюзии, где вся задача, казалось, состояла в том, чтобы заставить зрителя забыть и поверить в то, что развёртывающееся перед ним действие не игра, а сама жизнь. В начале первого акта «Оптимистической трагедии» один из «ведущих», глядя в глаза пришедших на спектакль, говорит другому: ведь это «...наши потомки. Наше будущее, о котором, помнишь, мы тосковали когда-то на кораблях». И обращаясь к зрительному залу:

«...Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам — потомству».

Сценический стиль Всеволода Вишневского разрывался и вырастал из такого прямого, доверительного обращения автора к зрителю-другу. «Ведущий» хорошо знал и всем сердцем чувствовал свою цель — коммунизм — и смело поднимал к этой цели зрителя, увлекая его примером героев пьесы. Автор всегда был с ними рядом и хотел, чтобы локоть к локтю был с ними и зритель.

Стремясь завладеть эмоцией зрителя и повести его за собой, Вс. Вишневский стал сближать театральную форму с музыкально-драматической. Оратория — вот жанр, в котором Всеволод Вишневский начал свои сценические поиски, и как ни далеко ушёл он в своём зрелом творчестве от первого своего опыта в этом роде, посвящённого Красному Флоту, но и в его вершинном произведении, «Оптимистической трагедии», нас пленяет дух музыки. В старинных ора-

ториях существовала специальная речитативная партия рассказчика, разъясняющего ход действия, повествовательное начало сочеталось с драматическим развёртыванием темы. Таким рассказчиком в пьесах Вс. Вишневского выступает «вздущий», говорящий от лица автора и горячо обсуждающий вместе с ним судьбы героев.

Всеволод Вишневский всей своей жизнью был самым тесным образом связан со своими героями — простыми людьми России, которых история сделала участниками и творцами беспримерного превращения в России империалистической войны 1914—1917 годов в гражданскую войну. Грозный смерч исторических событий втянул, захватил и будущего автора «Первой Конной». Война и революция — вот университет, в которых происходило становление художника. Удивительная жизнь, отданная целиком войне, — с побега четырнадцатилетнего мальчика из родительского дома на фронт первой мировой войны и вплоть до Великой Отечественной войны Советского Союза — пятой по счёту войны в биографии писателя. В ней огненное перо художника-публициста, равно как и живое искромётное слово агитатора-художника, с неотразимой силой служило делу революции, делу партии.

В годы гражданской войны Всеволод Вишневский служил на флагманском корабле Волжской флотилии «Ваня-Коммунист», был бойцом на бронепоезде «Грозный», пулемётчиком в Первой Конной. Всё своё дарование художника он отдал одной теме — теме гражданской войны, войны за освобождение человечества. Однако в рамках этой темы писатель сумел поставить вопросы, наиболее общие для формирования передового человека нашей эпохи — борца за социализм. И в «Первой Конной», и в «Оптимистической трагедии», и в цикле рассказов о матросах, и в литературном сценарии «Мы из Кронштадта» Всеволод Вишневский стремится показать ту связь, которая существовала в нашей истории между рождением нового, социалистического государства, новой, Советской Армии и рождением, расцветом личности миллионов людей, впервые призванных к сознательной исторической жизни.

Массы, победившие в Октябрьском восстании, только что вырвавшиеся из империалистической войны, не хотели новой войны внутри страны. Они жаждали мира и труда. Великий Ленин, основатель нашего

государства, провидел за победой Октябрьской революции великолепную перспективу социалистического созидания. Партия большевиков России убедила, говорил Ленин, партия большевиков Россию отвоевала у помещиков и капиталистов для народа; теперь партия большевиков должна научиться управлять, хозяйствовать, возглавить трудовой порыв масс. «Передышка» — вот ленинское слово, с которым народ приступил к мирному социалистическому строительству. Не наша вина, если нам пришлось вновь взяться за оружие. Гражданскую войну навязала нам буржуазия. Класс-агрессор напал на мирных людей труда. В литературном сценарии Всеволода Вишневского «Мы из Кронштадта» есть замечательная сцена, в которой один из бойцов, восхищённо глядя на захваченный у противника, впервые увиденный танк, восклицает с тоской и обидой: «Какая машина, пахать бы на ней!» Внимание к таким деталям в психологии народа, которые дают ему возможность увидеть себя в будущем, характерно для художника социалистического реализма. Когда война стала неизбежной, молодое социалистическое государство показало свою мощь в сокрушительном отпоре интервентам. Родилась сильная рабоче-крестьянская армия.

В своих произведениях Всеволод Вишневский отразил этот исторический период, воплотил революционный подвиг народа, воспел рождение новой армии, как процесс большевистского воспитания масс.

В прологе «Первой Конной» российская императорская армия показана сначала с внешней, казовой, стороны — во всём ослепительном великолепии царского парада, а потом — с изнанки, во всей злобной бессмыслице палочной дисциплины. Эту ненавистную дисциплину палки ломает окопный народ, двинувшийся после Октября по домам. В «Первой Конной» проходят перед нами картины — этапы борьбы за новую, социалистическую дисциплину, за новую армию, за новую государственность. Классовое чутьё помогает людям понять, где правда. «Будет с войной, пошабашили! Земля зовёт!» — восклицает «ведущий», высказывая затаённые думы героев пьесы.

Но вот мимо теплушки, в которой набились едущие домой солдаты, — среди них член солдатского комитета 1917 года, «Комитетчик», — мимо теплушки мерной поступью с песней проходят три отряда.

«Комитетчик. Какая часть, товарищи?»

Голос. Первый луганский социалистический партизанский отряд.

Комитетчик. Кто во главе?

Голос. Ворошилов.

Комитетчик. Кто он такой?

Голос. Луганский рабочий.

Ведущий. Идёт ещё отряд.

Мерная поступь. Новая песня.

Комитетчик. Какой отряд, товарищи?

Голос. Партизанский добровольческий, Красной Армии — шахтёры.

Комитетчик. Кто во главе?

Голос. Щаденко.

Комитетчик. Кто он такой?

Голос. Донской области портной.

Ведущий. Идёт ещё отряд, шинели старые — виды выдывали, бойцы на заказ — здоровые, суровые.

Топот. Песнь.

Комитетчик. Какой отряд, товарищи?

Голос. Конный партизанский.

Комитетчик. Кто во главе?

Голос. Будённый.

Комитетчик. Кто он такой?

Голос. Старый солдат, драгун. Батрак.

Комитетчик. Я с вами.

Голос. Вали!

Комитетчик прыгает вниз. В теплушке храп. Кто-то просыпается, хрипит: «Опять, черти, холоду напустили!»

В этом ночном эпизоде, где не видно лиц, а слышны только голоса, выразительность которых нарастает в троекратном повторе, немалую роль играет песня. В поисках нужной ему формы' Вс. Вишневский не мог пройти мимо приёмов народного поэтического творчества с его напряжённым лиризмом и патетикой, сочетая эти приёмы с мало освоенной в литературе, но глубоко традиционной эстетикой военного устава, рапорта, командирского обращения к строю. Он поэт новой, сознательной дисциплины, в свете которой раскрывается подлинная духовная красота человеческой личности. От митингового демократизма первых месяцев после Октября вела крутая дорога к воспитанию чувства долга, в первую очередь — воинского долга в новой армии, о которой Ленин сказал: «армия социалистическая, знающая, за что она борется, и идущая на жертвы и лишения большие, чем было при царизме, потому, что она знает, что отстаивает свое дело...»

«Нам бойцы нужны, а не горлопаны ми тинговые»,— с презрением бросает комиссар-рабочий в «Первой Конной» по адресу «бойца в галифе» — демагога, играющего на священных чувствах равенства и свободы.

«...Мы боссы и голлы! Оны в коже ходют. Мы страдаим. Оны на бархате сплят. За чьто, товарищи? А с нас насмешки строят, ни в чьто ставят...»

И рядом другой герой — «братан-будёновец», такого не обмануть «бойцу в галифе»! С огромной любовью и замечательным мастерством речевой характеристики вылеплен образ бойца-будёновца, повествующего в вагоне о подвигах Первой Конной. Среди пассажиров он заметил молодку-украинку и, собственно, ради неё ищет внимания своих соседей-слушателей. Сначала он рисуется, желая пустить пыль в глаза дивчине, но постепенно попадает в русло воспоминаний и бросает «форс». Если вначале его задорный сказ сильно смахивает на сказку с новыми героями — «Будённым-Ворошиловым», то затем, глубже проникая в образ, автор заставляет звучать в рассказе бойца другие ноты. Они воспринимаются трагически рядом с бытовыми деталями юмористического плана. Чувство гордости за свою Первую Конную и её командиров — плоть от плоти, кость от кости народа — составляет пафос образа, в котором в форме наивной и безыскусственной выражена безграничная вера народа в свои силы.

«...А кто же они точно, Будённый-Ворошилов?»

Боец. ...Го-о, я с Будённым сосед — с окна в окно полтыщи вёрст... Он с Платовской станицы, а я — подале. А Ворошилов — луганский, фабричный.

П а с с а ж и р (удивлённо). Как же они командовать могут?

Б о е ц (убеждённо и чуть сердито). Могут — раз надо. И только.

В этом сердитом «Могут — раз надо» не просто эмоция, а показатель роста разума, государственного самосознания, утверждения личности миллионов, творящих новую жизнь.

В «Оптимистической трагедии» резкость конфликта, типического для всего творчества Вс. Вишневского, резкость столкновения двух сил — пролетарской дисциплины в лице комиссара и мелкобуржуазного своеобразия индивидуалистов-матросов — обостряется благодаря тому, что комиссар — женщина. Это сделано не в угоду драма-

тической ситуации. То, что комиссар — женщина, углубляет моральный смысл конфликта. Женский образ впервые возникает в пьесе Вс. Вишневского, возникает органически, на почве идейных исканий, из моральной проблематики его творчества. Экипаж корабля сначала не признаёт власти комиссара. Верховодит вожак анархистов — характер крутой, деспотический, подавляющий всех. Комиссару нужно оторвать людей от вожака, поднять против вожака его сподвижников, завоевать авторитет среди здоровой части полка, отсеять негодную.

Матрос Алексей при одном слове «порядок» прихвядит в бешенство:

А л е к с е й (вскочив). Порядок? Научилась? Выговариваешь без задержки «порядок»! Да людям хочется после старого «порядка» свободу чувствовать, хоть видимость свободы...»

Непреложная логика событий, развёртывающихся в трагедии, приводит Алексея и подавляющее большинство голка к пониманию того, что такое «видимая свобода» и свобода действительная, выраженная в форме социалистической дисциплины.

Бессмысленный самосуд над матросом, заподозренным в краже, и второй самосуд — над старухой, ошибочно обвинившей его, расправа с пленными — это кровавое самодурство вожака разоблачает его в глазах массы, которая шла за ним.

В финале пьесы вследствие предательства Сиплого, глашатая «неограниченной революции», в плен к белым попадает батальон с комиссаром во главе. Теперь все равны перед лицом неотвратимой смерти: нет начальников, нет подчинённых среди обречённых пленников. Надежда на спасение ничтожна. Но огромна нравственная сила комиссара, и под его влиянием бойцы социалистической армии, не считаясь с обстановкой, держат дисциплину.

«К о м и с с а р. Давайте побудку.

И боцман: вспомнил всю свою службу, на пальцах вместо дудки дал свист побудки — тихий, аккуратный, точный.

Б о ц м а н. А ну, вставай, не валяйся. Какава готова. Какава.

Шевеление избитых тел. Некоторые повторяют привычный свист побудки. Встают здоровенные парни. Боцман и тут как-то поправляет их, потом подходит к комиссару и докладывает: «Так что команда встала.

К о м и с с а р. И здесь здравствуйте, товарищи.

Негромко, ровно остатки полка ответили комиссару».

Трагедия подходит к своей кульминации — идейной и драматической. Спаянные величайшей сознательной дисциплиной, какую когда-либо знало человечество, люди становятся свободными. Обречённые на смерть белыми тюремщиками, они ведут борьбу до конца. Приняв величайшие мучения, чтобы выиграть время и дать возможность выполнить операцию, комиссар умирает, не выдав полка, со словами: «Держите марку военного флота...»

Герои Всеволода Вишневского внутренне свободны, потому что никто и ничто не может помешать им выполнить свой долг перед народом, перед революцией.

«Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза... Умереть по собачьему, с визгом, трепетом и мольбами — вредно. Умирай хорошо...» — писал Дмитрий Фурманов в «Мятеже».

«Помни, что и смерть бывает партийной работой!» — восклицает автор «Оптимистической трагедии».

Славную традицию продолжал в советской литературе Вс. Вишневский. Он подвергает своих героев предельным испытаниям, причём не отказывает противнику в силе духа, в упорстве, активности. Сильный враг — вот образ, интересующий Вс. Вишневского. В произведениях о гражданской войне привычно было видеть на стороне врага надлом воли. И едва ли не впервые в советской литературе мы встретились у Вс. Вишневского с образом серьёзного противника, твёрдого, выдержанного, владеющего собой. Тем выше поднят революционный подвиг народа-победителя, народа — творца истории.

Говоря об особенностях стиля Вс. Вишневского, следует сказать, что художника интересует каждый его герой, человек массы, как деятель истории, как лицо историческое. Стремясь раскрыть процесс пробуждения масс к исторической жизни, показать рост новой личности, Вс. Вишневский воссоздаёт коллективный образ народа. Народ — главный герой его творчества. Это подчёркнуто и самими названиями некоторых его произведений — «Мы из Кронштадта», «Мы — русский народ». Идейно-художественная задача определяла и его стиль и его своеобразие художника. Когда от характерной для него романтической манеры он перешёл в своей последней пьесе —

«Незабываемый 1919-й» — к приёмам реалистической типизации, то и здесь он сохранил свой стиль. Ряд превосходных эпизодов говорит о том, что он удачно обогащал свою палитру, ища индивидуального синтеза разных приёмов. Остро индивидуализированы фигуры кронштадтских заговорщиков и английских резидентов, а в блестяще написанной сцене обыска у мадам Буткевич на фоне гротескно трактованной галереи застигнутых врасплох белогвардейцев, предстаёт живой, сверкающий юмором и народной смёткой образ Шиббаева, не «братишки», а умного, интеллигентного военного моряка, уполномоченного Особого отдела Балтфлота. Какая обида, что эта пьеса, написанная в нездоровой обстановке дошедшего до апогея культа личности, испорчена фальшиво написанным образом Сталина. «Незабываемый 1919-й» с его отходом от принципов социалистического реализма может служить примером того, как искусство отомстило талантливому художнику.

## 2

Мы знаем теперь шире литературное наследие Вс. Вишневского и можем судить о том, что повествовательное начало, заложенное в образе «ведущего» в его драматургии, не было чем-то второстепенным в палитре художника. Эпопея «Война», произведение, над которым автор, повидимому, предполагал ещё работать, позволяет составить себе представление о возможностях Вс. Вишневского-прозаика. Впервые опубликованная в собрании сочинений писателя, «Война» вызвала горячий отклик у читателя и в критике. Соглашаясь с высокой оценкой, которую дал прозе Вс. Вишневского в своей взволнованной статье в журнале «Знамя» Ал. Дымшиц, я хотел бы продолжить его мысль о том, что «Война» может послужить и «послужит материалом для широкого и полезного исследования». Для того чтобы дать серьёзную критическую оценку этому произведению, нужно сначала решить вопрос, в какой мере можно считать «Войну» завершённым произведением. Книга, с которой мы теперь получили возможность ознакомиться, была готова ещё в 1939 году. В течение двенадцати лет (Вс. Вишневский умер в 1951 году) автор не мог или не хотел её опубликовать. Более верно последнее. Если считаться с авторской волей, как она выражена в дневниковых записях о работе над

«Войной», то можно сделать следующие выводы: автор не был удовлетворён концом и напряжённо искал финала книги. В одной из записей 1939 года, сделанных после завершения рукописи, читаем: «Финал «Войны» найден! Ура! Идёт вал: штурм Зимнего. (Сплы неизмеримые). Убитый (матрос) улыбается. Это улыбка в века — Архимеду. Точка опоры найдена!»

В примечаниях к «Войне» правильно обращено внимание на то, что такой финал связывал «Войну» с «Оптимистической трагедией», со всей творческой линией писателя. Однако этот замысел остался нереализованным. Последний эпизод — «Возвращение каторжан» — производит впечатление несколько декламационной концовки.

Ещё более важно то, что автор задумал продолжить свою эпопею во второй книге: «Хлынул поток мыслей о будущих литературных работах. О книге «Ленинград». Может быть, это и будет завершением долгих поисков «Войны»? ...Мне представляется год работы, а может быть, и больше... Всё написанное, все черновики, архивы — и моя большая первая, настоящая книга прозы «Война». Надо дожить, дойти...»

Это запись в осаждённом Ленинграде в декабре 1942 года.

Не дожил, не дошёл... Тем с большей бережностью и уважением нужно стремиться постичь авторский замысел и меру его выплнения.

«Война» построена как хроника пятилетия 1912—1917, каждому году посвящена глава. Если сравнить, как разработаны главы хроники, то не может не броситься в глаза, что наиболее подробно и глубоко освещён «Год 1912-й», а «Год 1917-й» — сравнительно бегло и скупо (глава «Год 1912-й» занимает 96 стр., «Год 1917-й» — 38). В характере разработки глав обращают внимание отдельные моменты. Например, в главах «Год 1912-й» и «Год 1913-й» есть сильные эпизоды, где в тонах мрачной сатеры изображена бессмысленность казённого «учения-просвещения» в царской армии и ужасающая дисциплина палки. Таких картин много, и каждая вводит какой-то новый материал в трактовку темы. Всё же в необычайно сгущённом прологе к «Первой Конной» эта тема выражена с предельной, едва ли не с исчерпывающей выразительностью. Нет ли оснований предположить, что автор оставлял свою рукопись до поры до времени в письменном столе, не желая вызвать — в случае её публикации —

невыгодное впечатление самоповторения и рассчитывая, что эти эпизоды станут на своё место в других пропорциях соотношения частей, которое возникнет, когда «Война» будет продолжена в новой книге и будет на самом деле завершена.

Всё сказанное, на мой взгляд, говорит в пользу того, что «Война» не окончательное решение замысла, что это лишь блестящий подготовительный вариант незавершённого произведения.

В одной из своих записей в дневнике в мае 1933 года Вс. Вишневский отчитывается перед собой:

«Всё время ищу решений, прёмов для «Войны»... Несомненно то, что я постепенно отказываюсь от крайностей. Дело в том, что лучшие места «Войны» строги, просты. Хуже «затеи»... Надо всё проверить, сделать ясным...»

Особый интерес и представляют самые поиски решения и найденные приёмы, продиктованные крупным и оригинальным идейным замыслом. Вся эпопея-хроника представляет собой как бы контрастный киномонтаж. В самом начале её есть такой иронический «кадр»:

«В каком-то салоне какой-то господин перелистывал календарь и красиво-рассеянно мыслил вслух: «Что будет через десять лет, через двадцать — в 1922-м, в 1932-м, в 1942-м? Есть только одна категория несомненных прсникновений в будущее: подсчёт будущих юбилеев. Вот один из них: в 1925 году исполнится двадцать лет наследнику Алексею. Он будет рано или поздно Алексеем Вторым...» Дамы слушали интересного господина, сочувственно повторяя неожиданные для них слова».

Этот способ «несомненного» проникновения в будущее с помощью подсчёта будущих юбилеев не может не вызвать улыбку у читателя-современника по контрасту с реальной историей. Контраст подчёркивает метод художника-исследователя, восстанавливающего ход времени. Вспоминаются слова поэта:

Однажды Гегель пенароком  
И, вероятно, наугад  
Назвал историка пророком,  
Предсказывающим назад.

Такое «предсказание назад» обогащено в «Войне» Вс. Вишневого художественными открытиями. Силы империализма неумолимо толкают Россию в войну. Судьбы страны и народа представлены в отдельных сценах и эпизодах своеобразной исторической хро-

ники. И хотя сквозных героев нет, а может быть, именно в силу того, что нет сквозных героев, на первом плане «общее» — судьбы родины и народа. В пределах каждого «куска» или двух-трёх сравнительно небольших «кусков» заканчивается та или иная личная судьба, но не обрывается, не исчерпывается, находя своё продолжение в другом персонаже и таким образом вливаясь в судьбу народа, страны, революции. Повествование идёт как бы толчками, ударами; воздействие каждого, связываясь с другим, образует определённое тематическое единство. Если вспомнить терминологию Сергея Эйзенштейна, называвшего театральное воздействие «аттракционом», то перед нами своего рода «монтаж аттракционов». В лучших местах «Войны», строгих, простых, по характеристике самого автора, опыт Вс. Вишневого доказывает, что повествование о судьбах «общего», в котором нет сквозных героев, достигает высокой выразительности эпоса.

Один из великолепных приёмов «Войны» — использование образной силы документа. Портрет строится иногда по принципу паспортной справки:

«Владелец завода господин Языгов вставал по гудку — согласно фамильной традиции. Роста он был среднего, волосы имел русые, лицо чистое, года рождения был 1880-го, особых примет за ним не значилось, если не считать...»

И далее в этом ироническом ключе приводится подробнейшая опись имущества, принадлежавшего Языгову, — от завода, жилого дома и конюшни до «оранжереи частью каменной, частью остеклённой, крытой железом...», а также помойной ямы, тоже «каменной, крытой железом», вплоть до разных ценных бумаг в общей итоговой оценке Р. 32 941 200.

Достаточно небольшой «окантовки» документа, выражающей отношение к нему автора, чтобы взятый непосредственно из деловой жизни факт преобразался, утрачивая натуралистический характер и приобретая поэтическую выразительность. Стремясь раскрыть внутренний мир крупного дельца, автор вводит в описание его размышлений и тревог по поводу столкновений с рабочими статистическую таблицу динамики забастовок. И этот столбик цифр «играет».

В описании расчётной конторы, где рабочим выдаётся получка, с необычайной остротой выдвинуты черты, раздсляющие людей разных социальных категорий — кон-

торщиков и рабочих. Неотъемлемой частью изображения становятся «правила внутреннего распорядка», выставленные на стене расчётной конторы; воспроизведённый полностью, этот бесстыдный регламент узаконенной эксплуатации человека человеком органически входит в состав образа.

Точная справка оказывается фактором эстетического воздействия, поскольку та или иная цифра, факт даются в эмоциональной психологической окраске. Вот внутреннее состояние отставного солдата, крестьянина, изболевшегося о земле:

«Давняя, отчаянная мечта о земле всегда была с ним. Она, эта мечта, была вместе с тем потрясающе реальна. Семьдесят миллионов десятин, принадлежавших тридцати тысячам российских дворян, могли увеличить надел каждого крестьянина в полтора и в два раза. Это была земля, перепаханная для господ, но, несмотря на то, знакомая, родная, оборонённая в войнах и недоступная, как небо».

Обычная метафора противопоставления «небо и земля», можно сказать, заземлена здесь статистической справкой, придающей образу огромную конкретность.

В главе «Год 1915-й» язык и стиль секретного, за особым шифром донесения в Ставку об отсутствии оружия приобретают страшную силу изобразительных средств сатиры, иронии:

«...Касательно катастрофически малого количества орудий и главным образом снарядов уже неоднократно сообщалось; будут представлены дополнительные сведения».

Надлежит с похвалой отметить, что изготовление упряжи и сёдел для армии выполняется успешно».

В документе скрыто образное ядро. В лучших местах «Войны» Вс. Вишневыский «расщепляет» его, освобождая художественную энергию. Силой воображения художник по одной документальной детали, так сказать, по ребру мамонта воссоздаёт мамонта. Одним из блестящих примеров этого приёма художественного восстановления целого по его сохранившемуся реально-историческому осколку является сцена в Ставке в Могилёве. Основной сцены, служащей подлинная запись в дневнике, которая приводится сначала без указания её автора, с намеренным затруднением для читателя догадки о её авторе — «пехотном офицере средних лет»:

«...15-е июля... Гулял немного. Днём наступала гвардия... За обедом слушал забав-

ные истории... После ужина читал Твена. Много смешного».

Художник восстанавливает до мельчайших подробностей «мысль офицера, всегда аккуратную и бедную», отразившуюся в этой записи, и все «микродвижения» своего персонажа. Глубокую камерность всей сцены усугубляет приглушённый и тем более острый эротический мотив: через воспоминание о женщине, которая смеялась над титулом любовника, скоморошески длинным, заканчивавшимся знаменитым «и прочая, и прочая, и прочая», мы узнаём исторического персонажа:

«Николай II — ныне исполняющий роль Верховного главнокомандующего армией и флотом Российской империи — повернулся на другой бок и, наконец, сладко уснул...»

Полный смысл этого эпизода, построенного вокруг дневниковой записи читателя Марка Твена, мы оцениваем из двух коротких следующих «кусков»: в них сообщается, что начатое в полдень 15 июля 1916 года наступление гвардии на Стоходе захлебнулось к вечеру 15 июля, что из строя вышли многие тысячи солдат и русская императорская гвардия устояла ценой огромных потерь.

Монтаж таких «воздействий» даёт у Вс. Вишневского ощущение хода истории. Эпопея была задумана как своеобразное художественное исследование, в котором свободно сочетаются приёмы пластического

изображения, необходимые для создания сцен, портретов людей, с художественно преображёнными документами, приёмами публицистики, ораторской речи и научного анализа.

Вс. Вишневский продолжал героические традиции русской литературы. Это значит — он искал новые пути, которые открыла перед ним беспримерная действительность нашей советской эпохи. Ознакомившись с «Первой Конной», Маяковский обрадовался созвучию этой пьесы со своей драматургией. Высоко оценил ту же пьесу и А. М. Горький, в письме к её автору сказав, что она «написана в повышенном «героическом» тоне...» «Но по поводу «Оптимистической трагедии» Горький резко спорил с Вс. Вишневским и этой пьесы не принял.

У лучших представителей литературы социалистического реализма, у её основоположников Всеволод Вишневский учился прежде всего искусству разведки, разведки нового в жизни и в искусстве. Эстетика социалистического реализма наиболее полно воплощает прекрасную мечту о поэте-пророке. Подлинные продолжатели традиций — это не школяры, не робкие ученики, почтительно идущие за гением в его свите, а разведчики нового.

Всеволод Вишневский был одним из таких смелых разведчиков будущего, чей беззаветный и самоотверженный труд будет жить и расти в памяти потомства.



С. ШТУТ



## У КАРТЫ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Н**едавно мне довелось прочитать дипломную работу выпускницы филологического факультета МГУ. Работу свою дипломантка начинала энергичной, нескрывая полевичности защитой избранной ею темы. Для полемичности этой были действительно веские основания. О многолетнем творчестве изучаемого ею писателя до сих пор не появилось не только ни одной книги, но даже ни одной обстоятельной исследовательской статьи.

Кто же этот неведомый нашей литературной науке писатель, которого так новаторски взяла под свою защиту молодая студентка?

Это Михаил Светлов, советский поэт, который работает уже без малого 40 лет. Это автор широко известной «Гренады», горячо любимой всеми нами «Песни о Каховке», «Итальянца» — одного из лучших стихотворений о Великой Отечественной войне, пьес «Сказка». «20 лет спустя» и многих других превосходных произведений. Короче, это настоящий поэт, способный украсить своим творчеством литературу любой страны.

Конечно, М. Светлов обойдётся и без нас, критиков. Да вот мы, читатели, не обойдёмся без М. Светлова, без его грустной нежности, его тонкой иронии, его стыдливо-затаённой мечтательности, его всегда неожиданной метафоры, его доверчивой и задушевной интонации. Не обойдёмся без Светлова, как и без других писателей, незаслуженно забытых литературной наукой. Имён и книг забытых немало. Слишком много на карте нашей литературы белых пятен. И это вырастает в серьёзную историко-литературную проблему — быть может, в одну из самых серьёзных, потому что, пока мы не восстановим этой исторической справедливости, не будет и пол-

ной исторической правды о нашей литературе.

Да разве только для истории, только для прошлого так важно уничтожить эти белые пятна? Ещё важнее это для настоящего. Лишь хронологически вопрос этот можно назвать историко-литературным. По существу своему он остро современен, даже злободневен. Все мы согласны с тем, что у нас немало плохих книг, лживо идиллических по содержанию, убого-неможных по форме, что литература наша отстаёт от жизни. Но почему так много плохих книг, почему отстаёт — в этом вся суть дела, и в этом вся суть наших весьма накалённых сейчас споров. Литература отстаёт от жизни, говорят некоторые наиболее ретивые ниспровергатели (особенно за рубежом), потому, что социалистический реализм и не предоставляет ей никаких иных возможностей. Литература отстаёт от жизни, говорим мы, прежде всего потому, что она отстаёт от своих собственных возможностей, открываемых ей социалистическим реализмом.

Спор, таким образом, сводится к возможностям советской литературы. Но вправе ли мы судить о них, если наш горизонт замкнут весьма ограниченным кругом литературных явлений? Долгое время мы слишком щедро расточали похвалы нескольким писателям, отнюдь не уполномоченным представлять всю советскую литературу. Теперь мы готовы пороки опять же этой немногочисленной «обоймы» хохом распространить и на других, ни в чём подобном не повинных.

Но наши сегодняшние укоры в адрес всей советской литературы так же далеки от правды, как и наши вчерашние ей похвалы. И мы не приблизимся к этой правде — правде общей, а не частной, — пока не развернём страшно узкий сейчас фронт взятых



нами на вооружение книг, пока не извлечём из научного небытия незаслуженно забытых нами писателей. Возможность сделать это у нас сейчас есть, и, значит, она перестаёт быть только возможностью, а становится нашей святой и неотложной обязанностью.

Многими и разными причинами вызвано появление в нашей литературной науке белых пятен. Немалое число их — результат опустошений, причинённых литературе культом личности и его последствиями. И это не только книги М. Кольцова, И. Бабеля, Б. Ясенского — писателей, физически вырванных из рядов литературы; и не только книги благополучно здравствующих и поныне писателей, на долгое время оказавшихся — без достаточных к тому оснований — в закрытом фонде; это и те книги («Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, романы И. Ильфа и Е. Петрова), которые, не испытав прямых административных гонений, подверглись весьма ощутительной идейной опале.

Самый перечень этих произведений, хорошо известных читателю и горячо любимых им, говорит за себя. О судьбе таких «белых пятен» тревожиться не надо: они будут очень скоро освоены, заселены и обжиты.

Несравненно сложнее обстоит дело с теми книгами, которые не изучены литературной наукой по её собственной вине, а не в силу внешних к тому препятствий. Оплатить этот долг будет значительно труднее хотя бы потому, что он достаточно велик. И чтобы ощутимее стали его размеры, я хочу привести один поучительный пример.

Почти одновременно в Академии наук СССР вышли две истории литературы. Одна (10-й том «Истории русской литературы») обнимает собой период с 90-х годов XIX века по 1917 год, то есть 27 лет, и содержит 68 авторских листов. Другая — «Очерк истории русской советской литературы» (два тома) — охватывает период с 1917 по 1954 год, то есть 37 лет, и содержит 41 авторских листа. Таким образом, пропорционально охваченному времени история советской литературы по своему объёму в два с лишним раза меньше, чем история дооктябрьской литературы. Это нельзя отнести за счёт особенностей эпохи: начало нашего столетия огню не было тем золотым веком (творчество Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, чьи жизни

завершились в XX веке, изучается в курсе литературы XIX века), который не допускает иного, кроме как монументального, разговора о себе. Это нельзя отнести и за счёт особенностей изложения: авторы обеих «Историй» равно лаконичны в повествовании.

Столь существенная разница в объёме этих книг определяется другим обстоятельством: резко различными масштабами, принятыми для отбора писательских имён. В историю дооктябрьской литературы включены такие, например, литераторы, как Н. Астырев, В. Бруснянин, Н. Дмитриев, А. Погорелов, Н. Николаевич, А. Смирнов, К. Гвоздев, В. Анучин, Н. Пружанский, Е. Леткова-Султанова, И. Белокопский, А. Кирпищикова, И. Сохин, Ф. Тищенко, Е. Миллицина, С. Хатунский, С. Фонвизин, С. Кондурушкин, Ф. Крюков, А. Золотарёв, С. Каршевский, И. Воронов, И. Родионов, А. Черемнов, Б. Тимофеев, Ив. Ганюшин, А. Новосёлов, Л. Шумиловский, А. Белозёров, М. Савин, Ф. Гаврилов и другие.

В историю советской литературы не включены такие писатели, как, например, Р. Акульшин, М. Алексеев, А. Аросев, Ф. Березовский, Н. Богданов, А. Бондин, Л. Борисов, А. Демидов, Е. Габрилович, В. Герасимова, Г. Гор, И. Евдокимов, Н. Емельянова, В. Зазубрин, М. Козаков, Л. Копылова, Я. Коробов, Б. Левин, К. Левин, В. Лидин, П. Логинов-Лесняк, П. Низовой, Г. Никифоров, Н. Огнев, А. Платонов, А. Перегудов, Л. Рубинштейн, Л. Славин, Н. Смирнова, С. Семёнов, Дм. Стонов, А. Тверяк, Р. Фраерман, О. Чёрный, М. Эгарт, О. Эрберг и многие другие.

Ещё нагляднее это различие масштабов двух литературных «карт» обнаруживается на примере тех писателей, которые прошли через обе «Истории».

А. Свирский работал в литературе 50 лет — 25 лет до революции и 25 лет после революции. В 10-м томе ему отведено примерно около страницы машинописи; в «Очерке истории русской советской литературы» персонально ему не посвящено ни строки, и лишь однажды он упомянут в общем перечне писателей, работающих «над книгой для подрастающего поколения». Но если у А. Свирского дореволюционная деятельность действительно была более активной (хотя его лучшее, наиболее зрелое произведение «История моей жизни» создано в советское время), то этого никак

нельзя сказать о таких, к примеру, писателях, как В. Бахметьев или И. Соколов-Микитов. Оба они вступили в литературу всего за несколько лет до революции и заметно повлиять на неё в те годы, естественно, не успели. Тем не менее авторы 10-го тома не преминули отметить самый факт появления И. Соколова-Микитова, а В. Бахметьева они не только охарактеризовали как «замечательного советского писателя», но и сопроводили эту оценку весьма доброжелательной рекомендацией М. Горького: «Свежи и сочны алтайские этюды Бахметьева, хороши. ...он тоже далеко пойдёт — далеко!»

Зато в «Очерке» и «замечательный советский писатель» В. Бахметьев и «хороший писатель», по отзыву М. Горького, И. Соколов-Микитов, хотя они прошли с советской литературой весь её путь, упомянуты без всякой характеристики, лишь в общих перечнях: И. Соколов-Микитов — один раз, а В. Бахметьев — три раза.

Проще всего за это невыгодное для нас расхождение двух историй литературы упрекнуть авторов «Очерка». Но это было бы вдвойне несправедливо. И потому, что авторский коллектив «Очерка» проделал большую работу, которая в целом, как первый опыт создания истории советской литературы, заслуживает одобрения, а не осуждения. И потому, что недостатки этой работы свойственны не только одной книге — тогда бы и проблемы никакой не возникало, — а всему фронту исследований о советской литературе. Ведь о писателях, перечисленных выше, не сказано ничего не только в «Очерке», но и в «Учёных записках» и «Трудах», издаваемых вузами, в монографиях, диссертациях, в обзорных статьях — нигде.

И если это — общее явление, значит для него должны быть и общие причины. Вот о них-то, как мне кажется, и следует толковать.

Многие сейчас склонны объяснять неудачи в изучении истории советской литературы широко распространённым у нас принципом тематической её классификации. Дескать, тематический подход к литературе неизбежно обедняет её. Он не вбирает многих произведений, не укладывающихся в прокрустово ложе темы; он произвольно сближает внутри единой темы разнородные художественные явления; он огрубляет самый анализ, опуская в поисках

тематического стержня многие важные стилистические детали, и т. п.

Нетрудно было бы высказать некоторые доводы и в защиту тематического подхода. Можно было бы указать на то, что тематический подход не измыслен нами, а подсказан реальными фактами: активное участие писателя в событиях страны, тесная сращённость его с жизнью и отсюда оперативность отклика создали в советской литературе резко очерченные тематические циклы: о гражданской войне, о Великой Отечественной войне, о коллективизации и т. п. Легко было бы возразить и против опасений о неизбежной нивелировке. Почему же обязательно неизбежной? А разве, наоборот, нельзя использовать сходство темы для того, чтобы нагляднее показать различие посвящённых ей произведений? И почему угроза такой нивелировки особенно реальна для тематической, а не какой-нибудь иной систематизации материала? А ведь без той или другой группировки фактов не обойтись: история литературы — это, как известно, совсем не то же самое, что литературная энциклопедия. Наконец, следовало бы сослаться и на авторитет Горького, не только не осуждавшего тематическое изучение литературы, но, наоборот, неоднократно его рекомендовавшего другим и широко использовавшего его в своих многочисленных историко-литературных начинаниях.

Повторяю, спор о принципах систематизации историко-литературного материала мог бы оказаться и весьма обстоятельным и весьма интересным. Но сейчас, как мне кажется, он преждевременен, так как уходит от главной трудности, подменяя её трудностями второстепенными. В самом деле, ведь не помешал же тематический подход создать несравненно более полную, а значит, в каких-то своих частях и более правдивую картину русской литературы XX века (дооктябрьской поры). И с другой стороны, кто поручится, что, отказавшись от тематического принципа, мы тем самым обязательно освободимся от всех сковывающих нас сейчас стеснений. Нет, не стоит придавать решающего значения тому, что, в сущности, ничего не решает. Ни монографический, ни проблемный, ни тематический способы изучения сами по себе ничем не угрожают и ни от чего не защищают. Важно, что мы при помощи того или иного способа ищем в литературном процессе; важно, какими критериями руковод-

ствуемся, определяя «личный состав» «допущенных» в историю писателей; важно, насколько глубоко понимаем и насколько верно оцениваем книгу. И если эти наши идейно-эстетические принципы правильны, то отобранные и осмысленные на основе их литературные факты сами подскажут наиболее целесообразный способ их группировки, композиции, расположения. В их общетеоретической правильности у нас нет ни причин, ни поводов сомневаться. Но наше умение применять их на практике следует проверить. Отправляясь в дальнее плавание, надо быть уверенным, что навигационные приборы поведут нас по точно заданному курсу.

В самом деле, неужели историки советской литературы не знают о существовании А. Свицкого, И. Соколова-Микитова, о «талантливых, — по горьковскому определению, — очеркистах» (и добавим: не только очеркистах) Е. Габриловиче, Б. Лапине, Л. Славине, Дм. Стонове, о «всеобразной», по слову Горького, писательнице Н. Смирновой, об «интересном» (М. Горький) писателе А. Платонове, о «талантливом» (М. Горький) романе «Ход конём» Л. Борисова и о многих-многих других людях и книгах нашей литературы. Смешной вопрос! Ну, конечно, знают. Почему же так узок круг «приглашённых»? Да потому, ответят мне, что история советской литературы — наука молодая, освоить всё сразу она, естественно, не в состоянии и должна начинать пока с самого главного. Если этот ответ верен, то действительно проблемы никакой нет. Вначале мы изучали самое главное, потом — менее главное, а потом подойдём и к не главному. Но в том-то и дело, что этот успокоительный ответ страдает некоторыми неточностями. И не в частности — было бы верхом бестактности обсуждать сейчас, кто «главнее»: не упомянутые в «Очерке» В. Герасимова, В. Лидин, Л. Славин или упомянутые в «Очерке» Б. Изюмский, С. Фёдоров, П. Шибунин. Важнее другое — самый принцип определения «главного». Мне кажется, что наши заботы о чистоте литературной «магистральной» были зачастую педантично обуженными. Слишком охотно засылали мы на «проездные дороги» то, что не соответствовало нашим порой упрощённым и ограниченным представлениям о правде искусства.

Поверхностно решали мы иногда вопрос

о конфликте в художественном произведении. Значительность книги правильно ставилась в прямую зависимость от того, говорится ли в ней о важных, существенных для нашей жизни конфликтах или о конфликтах частных, мелких. Но вот самая связь между конфликтом в жизни и в литературе понималась часто слишком буквально. А между тем, как правильно пишет Л. И. Тимофеев, «следует отличать друг от друга жизненные конфликты и художественные конфликты как форму отражения этих жизненных конфликтов. В ряде случаев эти понятия не вполне совпадают в литературном произведении. Задача художника состоит в том, чтобы найти такую конкретную ситуацию в жизни героя, которая в конечном счёте должна бросить свет на те или иные существенные стороны жизненного процесса, хотя она может строиться лишь на индивидуальных, частных событиях человеческой жизни, а не воспроизводить непосредственно тот основной жизненный конфликт, который за ней стоит». И далее на примере чеховского рассказа «Спать хочется» Л. И. Тимофеев показывает, что перед читателем рассказа предстают непосредственно муки, испытываемые Варькой, которой не дают спать. И лишь затем «вырисовывается тот жизненный конфликт, который, в конечном счёте, определяет трагическую судьбу девочки, отданной «в люди»: величайшая эксплуатация народных масс господствующими классами». Непонимание этого сложного причинно-следственного, как называет его Л. И. Тимофеев, взаимодействия между художественным и жизненным конфликтом приводило на практике к серьёзным ошибкам. Одной из самых последних в ряду их является отношение критики к повести В. Пановой «Серёжа». В оценке этой повести, как известно, скрестились резко противоположные мнения. Но при всём различии их они исходили из одной и той же предпосылки, будто главное в этой повести — переживания Серёжи. Дошло до того, что один из критиков, стремясь оградить «Серёжу» от несправедливых нападков, обратился к авторитету Чернышевского, чтобы доказать, что в повести В. Пановой надо искать «именно детство, а не что-либо другое»...

Нет спору, «детство» в повести В. Пановой изображено превосходно, и можно только изумляться эстетической слепоте тех критиков, которые не заметили этого. Но

заметить только это — значит даже не попытаться выйти за пределы литературного конфликта, как следствия, к жизненному конфликту, как его причине. А весь сокровенный смысл «Серёжи» именно в этом жизненном конфликте, который точно так же не исчерпывается правдой детской психологии, как жизненный конфликт чеховского рассказа не исчерпывается психологической правдой переживаний Варьки. «Спор» между Марьяной и Коростелёвым — это спор двух взрослых людей, обладающих всей полнотой власти над ребёнком. И этот спор между деспотичностью, силой авторитарности, неумением и нежеланием объяснить и убедить, эгоизмом, душевной грубостью, с одной стороны, и уважением, бережной любовью, безбоязненной правдивостью, чувством ответственности, жалостью — с другой, исполнен не только психологического — через восприятие Серёжи, — но и глубоко социального смысла. Только осознав этот смысл, мы сможем правильно определить место повести В. Пановой. Она на магистрали советской литературы, а не на её боковых тропах, как это кажется и тем, кто свысока третирует «Серёжу» как «повесть о маленьком мальчике», недостойную «стать поводом для серьёзных, глубоких дискуссий», и тем, кто уважительно хвалит её как «ценный психологический этюд».

Порой историко-литературная значимость книги заслонялась от нас прямолинейным соотношением уже не художественного и жизненного конфликта, а художественной и жизненной темы. Мы были правы, когда выдвигали на первый план книги, рассказывающие о самом важном — о социалистическом строительстве в нашей стране. Мы были не правы, когда искали эти темы на поверхности повествования, в эпизодах, не посредственно изображающих процесс социалистической стройки. С этих наивных позиций критиковал, например, не так уж давно один маститый критик раздел о «Педагогической поэме» в первом варианте «Очерка истории русской литературы». Как можно, возмущался критик, те принципы воспитания, которые применял Макаренко в колоннии, называть типичными для всей коммунистической педагогики и тем самым уравнивать прекрасного советского человека с преступником. С «Педагогической поэмой», к счастью, всё обошлось. Вряд ли кто-нибудь будет спорить сейчас с тем, что те особенности «Пе-

дагогической поэмы», которые, казалось бы, резко выводят её за пределы темы социалистического строительства (место действия, время действия, герои, поэтический колорит), на самом деле являются своего рода «заострением» пафоса этой темы и что книга Макаренко в своеобразной форме педагогического закона выражает несравненно более широкий по своему типическому смыслу общий закон формирования человека в социалистическом обществе. Но в судьбе многих других книг это несовпадение художественной и «жизненной» темы и до сих пор играет роковую роль.

Очень помешала нам уверенность в том, что правда книги обязательно должна включить в себя правду окончательного ответа на поставленный в ней вопрос. Между тем ответ этот не всегда в возможностях автора. Иногда он не дан ещё и в самой жизни. Иногда жизнь уже нашла этот ответ, а писатель по особенностям своей биографии, жизненного опыта, творческого пути ещё не расслышал её негромкой подсказки.

Но он искренне хочет услышать, он жадно вслушивается в голоса жизни — вот что важно. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию», — призывал А. Блок. И вместе с ним, так же самозабвенно и одержимо, «слушали» тогда Революцию очень многие советские писатели. А услышали по-разному: некоторые раньше, отчётливее, полнее; некоторые позже, глуше, смятеннее. Иначе и не могло быть. Каждый приходит к коммунизму по-своему: один — «с высот поэзии», другой — «низом шахт, серпов и вил». Но если это путь к коммунизму, то его нельзя перечёркивать только за то, что он длинный, извилистый и тернистый. Нельзя педантично требовать от писателя итоговой законченности на каждом промежуточном этапе его поисков и, не обнаружив её, весьма ощутительно снижать ему балл. Мы же часто акцентируем самый факт противоречивости того или иного произведения, вместо того чтобы «пристрастно» извлекать ведущую силу этого противоречия, и в результате этого оставляем на глухих лесных тропинках совсем не заслуживающие того книги. Так, в «Очерке истории русской советской литературы» при очень благожелательной в общем оценке романа В. Вересаева «В тупике» не обошлось всё же без «двойственности позиции» автора. Но В. Вересаев, наоборот, с полной категоричностью

осуждает тех своих героев, которые страдают такой двойственностью позиции и поэтому оказались в тупике. И осуждает их неприкрыто, я бы сказала, с лобовой обнажённостью — и заголовком книги, и эпиграфом к ней, и сюжетом, и судьбой главной героини. Отказавшись от участия в новой жизни, Катя утратила вкус, смысл, цель жизни вообще. «Мне больше не хочется жить! Зачем...» — с отчаянием спрашивает она. И то унылое изнеможение, которое, как грозная расплата, овладевает Катей к концу романа, и та решимость, с которой она, сбросив с себя это оцепенение, уходит вдаль, не оставляют сомнения в её дальнейшей судьбе. Да, Катя уезжает «неизвестно куда». Но ведь известно откуда: из посёлка, занятого белыми, от врагов революции и от равнодушных к ней. Значит, в стан революционеров, много не дано.

Не очень убедительна и общепринятая трактовка произведений И. Эренбурга двадцатых годов. В «Очерке» об этой поре его творчества просто умалчивают. В сборнике статей «Русская советская литература», изданном Учпедгизом в 1955 году, она характеризуется очень бегло на том основании, что отличается опять же чертами «крайней противоречивости». Противоречивость эта, как далее выясняется, состоит в том, что «писатель резко и безоговорочно осуждает капиталистический мир и всё более глубоко проникает в сущность раздирающих этот мир классовых противоречий» и, вместе с тем, «оказывается неспособным создать положительные образы, изобразить движение вперёд, увидеть прогрессивные силы»... Ну и что же? Он ведь не клеймит прогрессивные силы, он только не смог увидеть их тогда, в двадцатые годы, а увидел их, как это указывает автор статьи, немного позднее — в тридцатые годы. Значит, и здесь мы произвольно отсекаем то, что было, в сущности, неизбежным для определённой группы писателей этапом их роста. Пусть роста медленного и трудного. Но тем крепче, тем чище выстраданная в процессе его правда. И не надо писателей, долго и мучительно ищущих свой ответ, считать переростками-второгодниками. Даже школьник, упорно добивающийся самостоятельного решения сложной задачи, хотя бы он и не успел его найти, всё же несравненно выше своего соседа, спокойно списавшего решение со шпаргалки. Унылое повторение штампа, к тому же не тобой изготовленного, бездумно принятая на веру догма —

это для художника тропинка, ведущая в тупик. Но честные, искренние, напряжённые поиски — это выход на магистраль, и они заслуживают нашего пристального внимания и дружеской поддержки: в них, возможно, завтра нашей литературы.

Итак, правда, которую мы непременно требуем от книг, выдвигаемых на авансцену литературы, может быть не только правдой окончательного ответа, но и правдой поисков его. А ищет каждый по-своему и, найдя, выражает своими словами. Мы же, не удовлетворяясь единой для всех нас сущностью правды — правды социалистического преобразования мира, — педантично требовали подчас и единой формы её выражения.

Так, мы придавали порой решающее значение эмоциональной окраске ответа, тому, какая интонация в нём господствует: одобрения или возмущения, восторга или негодования, и в зависимости от интонации определяли степень правдивости изображения. Но поэтическая интонация, являясь неотъемлемой частью творческой индивидуальности писателя, характеризует его художническое видение мира, а не его политическое мировоззрение. Революционными демократами равно были и Чернышевский и Салтыков-Щедрин. Но Рахметов — образ возвышенно-героический, а Иудушка Головлёв — обличительно-сатирический. Писатель, наделённый талантом сатирика, не может быть одописцем, даже если он захотел бы этого. И если, живя до революции, он издевательски зло обличал капиталистический строй, то после революции станут иными, конечно, объект и цель сатиры — разрушение не строя, а всего, что угрожает его крепости, — но останется сатирическая характерность таланта. И хорошо, что останется. В иной и, следовательно, обогащающей литературу форме советская сатира осуществляла ту же укрепляющую основы социализма функцию, как и, скажем, патетика. Но мы долгое время видели сущность социалистического реализма в его так называемом утверждающем начале, а начало критическое, и в частности сатиру, очень неохотно выводили на магистраль литературы. Пора устранить и эту несправедливость. Разве не полезно вспомнить о своеобразных рассказах В. Герасимовой, например. Созданная ею галерея «притворщиков» не только не стала анахронизмом, но, напротив, могла бы пополниться некоторыми новыми экспоз-

натами. И сейчас нетрудно встретить весьма положительных по видимости людей, одержимых втайне одной лишь неотступной страстью: «выйти в люди». И сейчас во имя этой страсти они готовы на всякие уступки «духу времени», так же как герой В. Герасимовой, «талантливый» кинорежиссёр, готов на создание фильмов, «созвучных эпохе». Изменились лишь способы защитной окраски. У персонажей В. Герасимовой панцирь и забрало заменяли спортивная майка и клетчатая, сдвинутая на затылок кепка. Сейчас этот наряд не моден. Но разглядеть «притворщика» в его современном обличье очень необходимо и сейчас. Творчество В. Герасимовой может научить, как это сделать.

Такой же своеобразной формой видения, органически присущей определённой писательской индивидуальности, является трагедийное восприятие мира (речь идёт здесь не об определённом жанре драматического искусства, а о типе конфликта — особенно остром столкновении антагонистических сил, допускающем поэтому лишь предельно драматическую его развязку). Из всех видов трагедии у нас была признана лишь трагедия так называемая оптимистическая. В гибели положительного героя должна была прозреваться (тут же в произведении) обязательная, а главное, очень скорая победа того дела, за которое он погиб. И если мажорные звуки победных труб звучали в трагедии не столь оглушительно, она утрачивала в наших глазах свой оптимизм и свидетельствовала этим о серьёзном идеологическом расхождении автора с эпохой. Как будто все, даже самые трудные, исторические противоречия получают своё разрешение на глазах у их современников! И как будто оптимизм трагедии всегда в её замаскированном (пусть хотя бы и несколько отодвинутом во времени) счастливым конце! Нет, часто читателя трагедии «утешает» не мысль о близком торжестве добродетели, о скором воздаянии виновнику трагической гибели, а ни с чем несравнимое по силе и красоте своего воздействия зрелище гордого, сильного человека, обречённо и всё же бесстрашно вступившего в поединки с целым миром. Увы, такой герой не пользовался симпатией в нашей критике. Мы равнодушно прошли мимо исторических трагедий И. Сельвинского, поэта, творчество которого так прочно не изучено, что только диву даёшься. Мы равнодушно «обошли» Б. Пастернака, хотя, зная вслед

за М. Горьким, «как много хорошего» в его поэзии, мы обязаны были глубоко задуматься над трагедией его лирического героя: «...Всякий великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории,— писал В. Г. Беллинский.— Только маленькие поэты и счастливы, и несчастливы от себя и через себя, но за то только они сами и слушают свои птичьи песни, которых не хочет знать ни общество, ни человечество...» Можно по-разному относиться к Б. Пастернаку, но маленьким поэтом его не назовёт даже самый злой недруг. И если поэт, в мужественной искренности которого нельзя усомниться, сказал о себе: «И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней»,— то это обязывает нас исследовать «корни его страдания и блаженства».

Наконец, значительная группа литературных явлений отсеклась нами потому, что не вмещалась в слишком узкое стиливое определение правды. Правду в искусстве мы произвольно отождествляем с реализмом. Но разве не правдива та высокая поэзия романтизма, которая придаёт нетускнеющую красоту горьковским образам Данко и Сокола? А если это так, то почему же начисто забыты некоторые книги, созданные в романтическом русле, например, своеобразная книга С. Мстиславского «Крыша мира»? Всё в ней подчёркнуто романтично: и сказочные чудовища — враги героя, и горная тропа, по которой бредёт он окровавленными ногами всё выше и выше — на крышу мира, Памир, и образ прекрасной пери, вдохновляющей его на победу, и ослепляющий своей белизной горный пейзаж... Но вся эта романтика помогает создать обаятельный образ отважного и непреклонного юноши, действительного героического искусства.

Сохраняя полную непримиримость ко всему идеологически враждебному, мелкому, пошлому, требуя правды, честной и беспощадной, мы не должны забывать, что если правда — одна, то стиливых форм выражения её — неисчислимое множество, столько же, сколько творческих индивидуальностей. И, мешая свободному проявлению писательского своеобразия, мы тем самым преграждаем выход и найденной художником правде.

Неограниченная свобода творческой индивидуальности — не означает ли это воз-



литературу, включая даже Максима Горького. (Такой поистине истерический нигилизм имел место в некоторых статьях литературной дискуссии в Польше.) Но литература наша и в самые трудные для неё годы жила, боролась и создавала подлинные художественные ценности. Надо только, освободившись от всяких идейных и эстетических шор, бережно и любовно собрать всё, чем мы богаты. Богатства книг М. Шолохова, А. Фадеева, А. Твардовского, М. Исаковского, Л. Леонова, К. Федина и других «сосчитаны» нами, хотя бы грубо и приблизительно. Но, кроме этого, мы располагаем большими и ещё не освоенными ценностями. У нас есть великолепный героический пафос А. Блока и В. Брюсова, страстность напряжённых раздумий В. Вересаева, эпопейная ширь Сельвинского, испепеляющий сарказм И. Эренбурга двадцатых годов, мудрый скептицизм И. Бабеля, острый психологический скальпель В. Герасимовой, изощрённое мастерство Б. Пастернака, колдовской дар одухотворения природы М. Пришвина, скромный, но чистый голос И. Соколова-Микитова, добротная бытопись А. Свирского, виртуозное мастерство сюжета Б. Ясенского, волшеббно-красочная образность Ю. Олеши, нежный аромат «Повести о первой любви» Р. Фраермана и многое, многое другое, что надо не перечислять, а всё шире и шире вовлекать в наш научный обиход. И только обжив эти «белые пятна», мы вправе будем судить о советской литературе и не словами, а фактами — именами, заголовками, литературными героями — доказывать неисчерпаемые возможности социалистического реализма.

Большие и трудные задачи стоят перед специалистами по советской литературе. Они не будут выполнены, если резко не улучшатся условия и обстановка работы критиков и литературоведов. В их деятельности действительно было немало недостатков. Но нельзя же примиряться с тем, что поносить критиков стало в последние годы признаком сверххорошего тона. И уж совсем невыносимо терпеть те вольности в изложении взглядов критикуемого, которыми так залихватски шеголяют некоторые чемпионы критического бокса. Вот, например, молодой критик В. Турбин вознамерился искоренить юбилейщину в истории литературы. Казалось бы, задавшись такой похвальной целью, он мог прочитать некото-

рые широко известные работы некоторых весьма маститых авторов и без труда обнаружить в них очень показательные образцы изобличаемой им юбилейщины. В. Турбин почему-то предпочёл не заметить эти работы. Но как же тогда ему удалось заметить в статье Л. И. Тимофеева то, чего в ней отродясь не было? И дело даже не в том, что очень интересная и во многом новаторская работа Л. Тимофеева («К вопросу о традиции классики в советской литературе» — «Литература в школе» № 5, 1954) в изложении автора статьи оказалась невероятно оглуплённой: каждый понимает, как может. Но, даже не поняв ничего в прочитанной статье, критик обязан добросовестно её изложить. А вот как излагает В. Турбин: «Стремясь любой ценой приблизить его (Л. Толстого. — С. Ш.) к Шолохову, Л. Тимофеев сравнивает стиль двух писателей. И оказывается: их общность в том, что у одного художника выступает пленный «с крохотной бородавкой, прилепившейся на уголке бритой верхней губы...», а у другого — пленный «с дырочкой на подбородке». Толстой и Шолохов, кроме того, точно датируют события и вкрапливают в речь героев областные или иностранные слова. Но неужто это и есть традиция художественного мастерства Толстого!» — взволнованно вопрошает В. Турбин Успокою критика: не это есть традиция художественного мастерства Л. Толстого. Но если В. Турбина действительно так волнует вопрос о толстовских традициях, то почему бы ему не почитать внимательно раскритикованную им статью Л. Тимофеева? Тогда, при внимательном чтении, он, вероятно, всё-таки уловил бы, что, упоминая об этом сходстве двух пленных у Толстого и Шолохова (как и о некоторых других параллелях), Л. Тимофеев перед этим сопоставлением прямо называет его «поверхностной формой проявления традиции», а после этого сопоставления столь же недвусмысленно говорит: «но дело, конечно, не в такого рода частных совпадениях...»

Итак, автор статьи пишет: «Дело, конечно, не в такого рода частных совпадениях», а критик статьи уверяет читателя, что по мнению Л. Тимофеева, дело, конечно, в такого рода частных совпадениях.

Я задержалась так долго на этом скорбном эпизоде даже не в силу его собственной значимости, а потому, что уж очень он типичен для отношения к критике:



критик всегда виноват, даже тогда, когда он ни в чём не виноват.

А бывает, что и не виноват. В частности, такое большое скопление в литературной науке «белых пятен» вызвано и объективными причинами. Ведь губительные последствия культа личности испытали не только философы, историки, экономисты, юристы, о которых сказано было на XX съезде, но и литературоведы. И, пожалуй, даже в большей степени. Сама специфика критической работы,—её «объект» не абстрактная логическая конструкция, как в философии и праве, не обезличенные социальные законы, как в экономике, и не анонимный часто исторический факт, а вполне конкретное, точно обозначенное лицо,—привела к тому, что тезис обострения классовой борьбы и расцветающий на его основе пафос «искоренения» нашли в ней особенно благоприятную почву. Слишком часто овладевали нами не страстное нетерпение «открыть», а насторожённая готовность «закрыть». И в угоду этой убийственной для науки жажде разоблачения от живого тела литературы с готовностью отсекалось всё, что не соответствовало нашему умозрительному идеалу искусства социалистического реализма. Так постепенно несоответствующими, «нетипичными» объявлялись трагедия, сатира, сомнения, раздумья. Так появлялись, росли и скапливались «белые пятна» на карте нашей литературы. Мы хотим избавиться от них? Для этого надо прежде избавить исследователя от всего, что мешает ему исследовать. Помех много. Среди них есть и очень важные организационные моменты: мало критических и научных кадров (количество работников, занимающихся советской литературой, например, в Институте мировой литературы Академии наук СССР, мне кажется, не соответствует тому размаху работы, который нужен в этой области); ещё меньше журналов и издательств, в которых могли бы быть обнародованы даже те немногочисленные историко-литературные исследования, которые у нас есть; в этих редакциях царит порой не очень располагающая к научным открытиям атмосфера и т. д. и т. п. Но мне хочется сказать сейчас не об организационных, а о творческих затруднениях, и прежде всего о самом главном среди них: об отсутствии подлинно творческой атмосферы.

Культ личности иссушал не только писателя, но и учёного. Система литературных премий, предопределяющих анализ и оцен-

ку произведения, непререкаемость идущих «сверху» эстетических норм, догматизм, парадность, словесный подход к делу — всё это постепенно вытравляло у исследователя его личное, субъективное отношение к литературе. А без него нет ни любви к искусству — любить можно только по-своему и никак не иначе, — ни творческой мысли о нём — открыть можно только «своё», чужую мысль «открыть» нельзя.

Вот это недоверие к творческой энергии исследователя, сковывающее его силы, пожалуй больше всего мешало развитию литературной науки. Оно не до конца изжито нами и сейчас. Рецензент одной из работ, принадлежащей автору этих строк, пишет в своём отзыве: «В главе много субъективных оценок и суждений, уместных в статье, но не в учебном пособии, где всё должно быть строго продумано и чётко сформулировано». Но почему «субъективные» (именно «субъективные», а не «субъективистские») оценки — это всегда недостаток работы? Если они неверны, то тогда они плохи не потому, что субъективны, а потому, что ошибочны (ошибок, кстати, рецензент не называет); а если они правильны, то что же тогда предосудительного в их субъективности? Напротив, может быть именно «субъективность» автора и помогла ему найти верную оценку (как будто вообще возможна «объективная» оценка, которая не была бы когда-то, в момент её появления, «субъективной», то есть созданной именно этим и никаким иным субъектом). И почему субъективная оценка не может быть «строго продумана и чётко сформулирована»? И почему она, субъективная оценка, если уж ей с такой роковой обречённостью предопределено быть не строго продуманной и нечётко сформулированной, «уместна» в статье?

На все эти вопросы рецензент, как мне кажется, не сможет дать удовлетворительного ответа, потому, что его упрек в «субъективности» вызван, по-моему, скорее традицией, чем конкретными обстоятельствами данного дела. И власть этой традиции и помешала ему увидеть главный порок рецензируемой им работы: в ней постыдно мало «субъективных оценок» — оценок, основанных на самостоятельном исследовании творчески отобранных и заново осмысленных фактов.

«В публике довольно распространено мнение, что литература наша в упадке.

Мнение это справедливо только отчасти. Сравнительно с прежним, только нынешняя беллетристика действительно кажется крайне бедной. Из современных художников нет никого, кого можно было бы поставить наряду с Пушкиным или Гоголем. Литературного солнца, вокруг которого бы группировались мелкие литературные светила, не существует теперь вовсе. Таланты, видимо, измельчали. Всё это, конечно, грустно...»

Эти горестные размышления были опубликованы в 1866 году, и, следовательно, слова об упадке литературы, о крайней бедности беллетристики, об отсутствии литературного солнца, об измельчавших талантах относились к Л. Толстому, Ф. Достоевскому, И. Тургеневу, И. Гончарову, А. Островскому, Н. Некрасову и многим другим крупнейшим писателям, находив-

шимся в полном расцвете своих творческих сил.

Нам, потомкам, эта потрясающая эстетическая слепота и глухота анонимного критика кажется почти анекдотической. Увы, история мирового искусства знает немало трагических судеб больших художников, отвергнутых, осмеянных, не замеченных своей эпохой. В социалистической стране, где искусство принадлежит народу, писатель вправе ожидать такого признания, на которое не было способно ни одно классовое общество. Так воспользуемся же этой привилегией советского времени оценивать по заслугам каждую книгу, хоть в чём-то сделавшую жизнь счастливее и значительнее. И тогда станут невозможными в нашей практике подобные приведённому выше анекдоты, над которыми будут потешаться наши потомки.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Сергей Львов. После того, как роман прочитан.— Ю. Капусто. «Ухабы».— З. Паперный. Два из двадцати восьми.— Н. Степанов. Путь поэта.— Л. Левин. Именно рассказы.— М. Прилежаева. Книга о труде поэта.— Е. Сашенков. Фриц Иензен — поэт и переводчик.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Еал. Зорин. Мифы и факты.— М. Арлазоров. Путешествие на строительную площадку.— И. Горелик. Разгаданный секрет.— В. Болховитинов. Жизнь моделей.— Кандидат химических наук В. Степанов. Столичный автор в областном издательстве.

### Литература и искусство

#### После того, как роман прочитан

*Слово — это не игрушечный шар, летящий по ветру. Это орудие работы, он должен подымать за собой известную тяжесть. И только по тому, сколько он захватывает и подымает за собой чужого настроения, — мы оцениваем его значение и силу.*

В. Г. Короленко.

**Р**оман Эм. Казакевича «Дом на площади» появился полгода назад в сборнике московских писателей «Литературная Москва». О нём напечатаны обстоятельные рецензии, высоко оценившие эту работу. Немало добрых слов сказано о романе и на обсуждении альманаха в Союзе писателей. В отзывах — печатных и устных — справедливо отмечена важность жизненного материала, положенного в основу книги, рисующей самые первые и самые трудные шаги Советской Военной Администрации в Германии, по достоинству оценено настоящее знание этого материала, которое придаёт книге вес большой достоверности; с симпатией охарактеризовано решение внутренней темы книги — темы доверия к человеку. Говорившие о романе не прошли и мимо страстности авторской позиции: она и в том, какой резкой светотенью отмечены симпатии и антипатии писателя, она и в гражданском пафосе лирических отступлений, и в почти сатирической заострённости некоторых образов. Было ска-

зано много верного о построении книги, о достоинствах и просчётах её, о силе глав, посвящённых собранию, и о слабости эпилога. Конечно, о недостатках романа можно было бы поговорить подробнее. В нём есть главы, бегло и общо намеченные, совсем не прослежена логика развития некоторых образов (Касаткин, Ягорский); пунктирны и необязательны сюжетные связи с «Весной на Одере», наконец, стиль романа не так экономен и безупречен, каким был он в повести «Звезда». И всё-таки к роману, прочитанному полгода назад, мысленно возвращаешься снова и снова.

Когда я увидел, что мне интересно перечитать «Дом на площади» и во второй и в третий раз, мне подумалось: это потому, что его материал знаком и близок. В самом деле, сколько раз, вспоминая со своими товарищами — военными переводчиками — дни последних боёв в Германии и первые послевоенные недели и месяцы, проведённые на немецкой земле, мы жалели, что об этом времени, каждая чёрточка которого была пронизана историческим драматизмом, мало написано. А то, о чём не написано, может пропасть, забыться, изгладиться из памяти.

Мы вспоминали то апрельское утро, ко-

Эм. Казакевич. Дом на площади. Роман. «Литературная Москва». Литературно-художественный сборник московских писателей. Гослитиздат. 1956.

гда в центре Берлина ещё шли бои, а на стенах домов в восточных кварталах города уже появились первые приказы советского военного коменданта: они говорили о переходе города к нормальной жизни, и немцы — вначале одиночками, потом группами — выбирались из бомбоубежищ и, болезненно щурясь от дневного света, вчитывались в листки с этими приказами, ища в них ответа, как будет с водой, с хлебом, как будет с ними.

И другой день — 30 апреля... В центре всё ещё шли бои, а на Франкфуртераллее уже запылали на домах первомайские флаги...

И последнее ограждение у входа в имперскую канцелярию: ящики, набитые железными крестами обеих степеней. Снаряд разнёс ящики в щепу, и кресты поблёскивали в грязи под нашими сапогами...

И рассказ моего друга политработника о том, как открылись ворота берлинской тюрьмы и оттуда вышли, шатаясь от слабости и поддерживая друг друга, одиннадцать уцелевших политзаключённых, одиннадцать теней. Они шли в своих полусатых куртках, сжимая прозрачные руки в ротфронтском приветствии, и шёпотом, потому что у них не было голосов, пели «Красный Веддинг идёт»...

И встречу с доктором философии, хранителем музея в городке Ангальт-Цербст. Его вызвали в подвал замка, где был замурован архив Ангальт-Цербстского княжества, и как же он был ошеломлён, когда увидел, что советский офицер не только знает средневековую историю Германии, но и разбирается в рукописных текстах XVI века! Ещё больше было его недоумение, когда ему было сказано о том, как тщательно нужно сохранить архив для городского музея, который, конечно же, будет восстановлен...

И первый номер газеты, которая впервые после двенадцати лет говорила немцам правду, горькую, но правду; и первые собрания демократических партий; и безмолвный обход с немецкими коммунистами — членами магистрата бессмысленно разрушенных американской авиацией кварталов Дрездена, и заседания немецких учителей с представителями Советской Военной Администрации — кажется, это было в июле — с повесткой о начале учебного года в новых условиях...

О каждом из этих эпизодов, о каждом из этих дней можно и нужно написать, нуж-

но рассказать о нелёгкой работе человека, который, придя в Германию победителем, принял на свои плечи трудную и благородную задачу — помочь немецкому народу строить новую жизнь.

В романе Казакевича находишь неповторимые черты и краски того времени, находишь картину этой работы и проникаешься благодарностью к писателю: он закрепил словом то, что не должно быть забыто. И в самом деле, и эпизод первой встречи Лубенцова с немецкими шахтёрами — он разыскал их, чтобы дать городу погасший свет (в этой сцене есть и непосредственный и символический смысл), и встреча Лубенцова с руководящей пятёркой местной организации КПГ, и его беседа с учителями, которым предстоит по-новому учить немецких детей, — всё это драгоценно, как живые страницы недавней истории, как увлекательный рассказ об одной из самых сложных миссий, какие только выпадали на долю советского человека.

Но познавательная историческая ценность книги Казакевича — это ещё не всё, и не только из-за неё перечитываешь «Дом на площади». При всём несходстве авторской манеры роман вызывает, на мой взгляд, больше всего ассоциаций с прозой Овечкина. Роману Казакевича, так же как очеркам Овечкина, присущ гражданский пафос, стремление показать те лучшие черты советского человека — коммуниста, руководителя, которые раскрываются на большой политической работе. Сближает обоих писателей и внутренняя полемика с мышлением косным, догматическим, робким.

Во всём том, что делает Лубенцов, есть сдержанное ощущение большой силы и огромного внутреннего достоинства. Это не только черта характера — это прямое выражение его патриотизма. С детства привыкший не отделять свою личную судьбу от судьбы Родины, он в чужой, побеждённой стране ощущает себя не просто офицером военной администрации, а полпредом страны социализма. Избегающий громких слов, он внутренне ощущает свою работу не как службу, а как служение Родине. Из постоянных раздумий над обязанностями, которые налагает на него эта миссия, рождается его кодекс поведения. Неофициальность, я бы сказал — задумчивость этой записи в дневнике, настроение, разлитое в ней, — настроение разговора с самим собой, разговора одновременно серьёзного и шуточного, — делает особенно привлекательным

этот лубенцовский кодекс. Прочитируем из него один пункт:

«11. Комендант представляет СССР. Пусть он это всегда помнит. Он должен, вставая, думать о родине и, ложась спать, думать о ней. День без мысли о родине — пропавший день для коменданта. Он должен ежедневно читать советские газеты, книги, журналы... Из старых писателей пусть он чаще других читает Толстого, Пушкина и Некрасова. Книги Салтыкова-Щедрина полезны для него, потому что они написаны вице-губернатором, который знал недостатки управления».

Право же, в этом кодексе, в том, как душевно, лично и своеобразно выражены в нём справедливые мысли, сильные чувства и горячая любовь, много поучительного можно найти и за пределами профессии и обязанностей Лубенцова!

Когда размышляешь над его образом, точнее, над поступками Лубенцова-человека (читая хорошую книгу, о герое всегда думаешь больше как о живом человеке, чем как о литературном персонаже), видишь определяющую черту этого характера.

Лубенцов показан в сотне больших и малых практических дел. Тут и пуск городских предприятий, и земельная реформа, и городское самоуправление, и открытие курсов, и поездки, и встречи, и споры, и воспитание подчинённых, и собственная непрерывная учёба, или, как говорят в армии, «самоподготовка». Но каждое из этих практических дел озарено у Лубенцова светом большой и сильной мысли. И это значительно больше, чем простой житейский разум, чем обиходный здравый смысл. Это — философское осмысление своей практической деятельности! Для Лубенцова учение марксизма-ленинизма не теоретическая абстракция, его поступки — продолжение и выражение его мировоззрения. Оно не даёт ему готовых ответов на все сложные вопросы, которые ставит перед ним жизнь, но вкладывает в его руки ключ к их разрешению.

Напряжённая работа пытливого мысли человека, воспитанного в представлении о незыблемом единстве слова и дела, составляет идейную атмосферу книги. Читать её всё равно, что говорить с умным человеком, каждый день проверяющим и оттачивающим свои убеждения на практическом деле, а такой разговор с таким собеседником всегда интересен, всегда поучителен.

Быть может, ни в чём не проявляется цельность этого характера так, как в по-

следовательном интернационализме Лубенцова. Одно дело — заучить принципы интернационализма, как некую теоретическую абстракцию, и другое — сделать их кровной и живой частью своего мировоззрения. Лубенцов помнит, он на самом себе и на близких испытал все тяготы и беды, которые принесла нашей земле и нашему народу фашистская армия. Но, зная и помня всё это, он ни на минуту не отказывается от принципов интернационализма в подходе к немецкому народу, несмотря на его историческую вину.

Вспомним один из споров в романе.

«Я в политике ничего не понимаю, — сказал Соколов. — Моё дело — служба. Я на вашей должности окошел бы. Противная работёнка! Каждый день жди какой-нибудь каверзы. В чужую душу не влезешь. Тем более в душу целого народа, да ещё какого народа! Не люблю я их, скажу честно».

Лубенцов ответил:

— Это мне непонятно. Я тоже не политик, хотя ни капельки этим не горжусь и стараюсь быть им, насколько могу. А немцы? Немцы — люди, живущие в Германии и говорящие по-немецки. Я не могу поверить и признать, что подлость является отличительной чертой какого-нибудь национального характера. От такой точки зрения до расизма — один шаг. Мы же их за расизм и били. Нет, товарищ полковник! Мы с Яворским теперь занимаемся школьным вопросом. В связи с этим я на днях читал немецкую школьную хрестоматию гитлеровских времён. Там есть глава, которая называется «Русский», и в ней про нас сказано так: «Русский белокур, ленив, хитёр, любит пить и петь». Вот и всё. Как о каком-то маленьком безвестном племени, сказано о великом народе с большой и сложной историей... Это звучит столь же убедительно, как то, что мы иногда говорим о немцах: «Немец аккуратен, скуп, педантичен, жесток...»

Наверное, полковник Соколов посещал те же самые семинары, что и подполковник Лубенцов, читал и конспектировал те же самые труды основоположников марксизма-ленинизма, но для него одно дело — теория, а другое дело — жизнь. Он может на семинаре вполне правильно говорить об интернационализме, а в частной беседе, выражая свой житейский взгляд, о целом народе сказать: «Все они такие».

Лубенцов никогда не скажет, да и никогда не подумает так. В романе есть харак-

терная юмористическая сцена. (К слову сказать, в этой книге немало серьёзного дано через смешное.) Помните, как удивляется и возмущается Лубенцов, когда его спутник по дальней поездке, сосед по машине, немец Веллер, аккуратно жуёт свои бутерброды, не думая о голодных товарищах?

Когда Лубенцов выразил своё удивление вслух, «Веллер ужасно смутился, покраснел и сказал, что нельзя сказать, что это принято или что это является неким обычаем, — так было бы неправильно сказать; но так как-то водится... Аккуратность, — неискренне хихикнул он, — национальная немецкая черта.

— Немецкая? — переспросил Лубенцов. — Верно ли это? Не черта ли это всех мелких собственников...»

Да, в немецком быту широко распространены специфические мелкобуржуазные черты, более того, они специально культивировались и затронули даже некоторые слои немецкого рабочего класса.

Это явление имеет свои глубокие исторические корни, и Лубенцов не только из своего личного опыта, но и из истории знает об этом. И всё-таки, сталкиваясь с проявлениями бюргерской, а попросту говоря, эгоистической обывательской психологии, он никогда не рассматривает её как свойство народа в целом.

Высокая и убеждённая принципиальность, строгость к себе и окружающим не делают Лубенцова человеком сухим. Напротив, принципиальность Лубенцова — основа его человеческого обаяния, которая сродни обаянию Клычкова в «Чапаеве» Фурманова. Оно, это обаяние, связано с умением человека самозабвенно, увлечённо, я бы сказал, заразительно трудиться. Писатель показал это во множестве сцен, во множестве чёрточек его поведения, а в одном месте книги подчеркнул прямой авторской характеристикой. Поскольку эта характеристика не повисает в романе, как нереализованное благое намерение, её можно привести. Она как бы публицистически суммирует всё, что раскрывается перед нами в каждом поступке Лубенцова: «служебный долг и человеческое чувство были слиты и жили в нём безраздельно». И это тоже проявление органической связи между теорией, в которую Лубенцов верит, и практикой, участником которой является.

Другое следствие прочности мировоззрения Лубенцова — его вера в то, что, не-

смотря на все испытания, творческие силы немецкого, рабочего класса, в первую очередь немецких коммунистов, не могли не сохраниться.

Я вспоминаю статью писателя-антифашиста, эмигрировавшего в годы гитлеризма в Советский Союз. Статья называлась «Страна, которая вопрошает». В ней говорилось о советских людях, которые каждому немецкому коммунисту-эмигранту задают трудный вопрос о внутренних силах сопротивления фашизму, сохранившихся в немецком народе и его рабочем классе. Писатель говорил о том, как страстно хочется дать утвердительный ответ на этот вопрос и как трудно сделать это. Статья была написана с такой болью, что её, прочитанную ещё до войны, я помню до сих пор.

Я помню, с какой надеждой, с каким трепетом искали наши товарищи — немецкие коммунисты-эмигранты — в письмах немецких солдат, в рассказах военнопленных подтверждение того, что в Германии есть люди, продолжающие борьбу. И как же хотелось нам разделить с ними эту надежду!

Теперь, когда многие страницы борьбы немецкого антифашистского подполья написаны, мы знаем: такие люди были, после массового уничтожения борцов против фашизма их было не много, страшно трудно была их работа, но они были, и мы встречаем их на страницах романа Казакевича с тем же чувством любви и уважения, с которым встретил их Лубенцов.

Ещё одна черта этой книги, её автора, её героя. Роман советского писателя о Германии первых послевоенных месяцев проникнут живейшим интересом и настоящим уважением к историческим традициям большой немецкой культуры.

Дело не только в том, что эпиграфом к роману взяты знаменитые строки Гёте и что первая часть его названа «Путешествие на Гарц», и не в том, что, споря с профессором Себастьяном, Лубенцов черпает аргументы из «Фауста»... Подобные литературные, исторические, философские ассоциации, связанные с историей немецкой культуры, проходят через всю книгу. Но важнее, чем эти детали, тот угол зрения, под которым они появляются. Прежде всего для Лубенцова не существует противопоставления жажды дела и жажды знания, он понимает: для того, чтобы делать, нужно знать. Ему в высшей степени присущ не только пафос действия, но и пафос учения. Слова: «пролетариат является наследником

всех культурных ценностей, созданных человечеством», — для него не отвлечённый тезис, а само существо его отношения к культуре вообще и культуре другого народа в частности. Наследство Гёте и Гейне он воспринимает как своё, лично ему принадлежащее достояние!

Вспомним, как пытается истолковать этот интерес Лубенцова в своей речи на собрании Пигарев: «...Довольно лёгкое дело пускать пыль в глаза немцам, цитируя на память какого-нибудь Гёте или Шиллера. ...Культура вещь хорошая, но поклоняться буржуазной культуре тоже не надо». Мы привели всего две фразы из этой речи, которая написана в романе во всём её демагогическом убожестве с великолепным сатирическим ядом. И как характерно, что именно Пигарев, говорящий о цитировании Шиллера и Гёте, как о преклонении перед буржуазной культурой, так жаден до житейского комфорта, который даёт ему комендантский особняк с садиком, куда можно выйти в тапках на босу ногу, ощутив себя на мгновение таким независимым домовладельцем! Знакомое сочетание!

В романе в различных — положительных и отрицательных — аспектах ставится и решается большая тема гражданского мужества. В зале, где шло собрание, на котором несправедливо обвиняли Лубенцова, сидели храбрые фронтовые офицеры. Но не все они выступили в его поддержку. Возможно, что среди промолчавших был и такой человек, который в боевой обстановке счёл бы для себя уклончивое выжидание позором, а на собрании предпочёл посмотреть, как повернутся события. Выходит, что хотя гражданское мужество предполагает храбрость, — это его неотъемлемая часть, — но одной только личной храбростью гражданское мужество не исчерпывается. Оно возникает там, где есть

последовательность и ясность мировоззрения, такая твёрдость философских и политических убеждений, такая партийная закалка, которая поможет найти правильное решение в самой сложной обстановке и, когда решение найдено, храбро отстаивать его, даже если правота не восторжествует так скоро, как восторжествовала она в книге, о которой мы пишем.

Немалая заслуга Казакевича состоит в том, что он показал не только, как жалок откровенно струсивший на собрании капитан Яворский, но и как подчас нелегко людям, которые были храбрыми в бою, — людям, субъективно честным, правильно определить свою позицию в сложной обстановке, если у них нет той последовательности и ясности во взглядах, которой проникнута вся деятельность Лубенцова.

Вспоминая из собственного опыта и опыта своих друзей, как трудно бывало иной раз в сложной ситуации найти единственно правильное решение, я с благодарностью думаю о писателе, написавшем роман, главный герой которого показан как коммунист и гражданин в живом единстве идей, слов и дел, — роман о гражданском мужестве!

Вероятно, то, что я написал, совсем не рецензия. Это рассказ о мыслях, которые вызывает у меня прочитанный и перечитанный роман Казакевича. Мне кажется, что он выдерживает проверку тем нелёгким критерием, о котором сказал Короленко в словах, поставленных эпиграфом к этой статье. Роман Казакевича поднимает в душе множество мыслей, он захватывает своим гражданским пафосом, своей убеждённой и страстной партийностью, он заставляет думать не столько о литературе, сколько о жизни.

Сергей ЛЬВОВ.

★

### «Ухабы»

**В** рассказе Тендрякова умирает человек. Но волнует прежде всего даже не это. Волнует то, что в рассказе, на глазах у читателя, на глазах у многих советских людей, происходит убийство.

И даже это не самое главное. Главное заключается в том, что здесь нет врага в привычном понимании этого слова.

**В. Тендряков. Ухабы. Альманах «Наш современник» № 2 за 1956 год.**

К каждому из действующих лиц этого рассказа убитый мог бы обратиться со словом «товарищ», и всё-таки он убит, виноваты в его гибели люди.

Ещё более существенно то, что виновный в гибели человека не видит за собой вины, не думает, что его могут привлечь к ответу.

Злодеев в рассказе нет. Вот директор МТС Княжев. Когда произошла катастрофа и оказалось, что один из пассажиров серьёз-

но ранен, это он первым предложил свою помощь растерявшемуся шофёру Василию Дергачёву, первым вызвался нести раненого за девять километров на фельдшерский пункт, первым — немолодой человек с затруднённым дыханием — подставил своё плечо под тяжёлые самодельные носилки, на которые положили пелёгкую ношу. Недаром, когда раненый был доставлен на фельдшерский пункт и директор, вспомнив о своих обязанностях, поспешил в МТС, шофёр почувствовал, что теряет опору.

На фельдшерском пункте выясняется, что раненому срочно нужна помощь хирурга — его необходимо сейчас же везти за тридцать километров отсюда, в больницу. Водитель и один из пассажиров — молодой лейтенант — решают обратиться к тому же директору МТС: он уже показал себя, он не откажет, он даст трактор и сани, чтобы спасти жизнь человека.

Автор снова сталкивает читателя и героев с Княжевым — уже в его директорском кабинете.

Княжев, только что показавший себя отзывчивым человеком, отказывается дать трактор: он озабочен выполнением полевых работ, он и так отстаёт от графика, на столе у него предписание сверху — запрещение использовать тракторы для перевозки грузов.

Княжев понимает, что, если он не даст трактора, человек умрёт, — но решения своего не меняет.

Что с ним случилось? Почему за каких-нибудь полчаса он стал другим?

Нет, он всё тот же. Но Княжев сочувствовал раненому, готов был ему помочь в качестве обыкновенного человека, простого смертного, а теперь он сидит за своим служебным столом, и он уже отгорожен от простых человеческих чувств, уже недоступен им. Сочувствие чужой беде, желание помочь человеку — всё это отошло от него в область, находящуюся за пределами отчётной сводки, за пределами требуемого от него вышестоящей инстанцией, а всё, что сверх этого, — то от лукавого.

Откуда у Княжева такое бюрократическое представление о службе?

Бюрократизм получил развитие в условиях осуждённого нашей партией культа личности, в условиях отсутствия подлинной критики и самокритики, отсутствия партийного, общественного контроля.

Бюрократ чувствует себя только винтиком общей машины, выполняющим точные,

совершенно определённые функции — «отсюда досюда», но не человеком, отвечающим за всю жизнь целиком, — так появляются ведомственная узость, деличество, утрата перспективы. Он видит в себе существо подвластное, подотчётное, но оглядывается только наверх, не веря в свою подотчётность, подвластность народу. Он начинает служить не партии, не народу, а своему непосредственному начальству: такая служба означает служение себе самому.

Так ли уж верно, что Княжев губит человека потому, что жалеет трактор?

Трактор он, конечно, жалеет. Но представьте себе, что Княжев получил иную инструкцию из райисполкома — инструкцию использовать тракторы для перевозки грузов, скажем, для перевозки торфа или навоза.

Пожалел ли бы он в этом случае свой тракторный парк?

Конечно же, нет, независимо от того, разумной или неразумной — в данной конкретной обстановке — была бы такая инструкция.

Значит, всё дело в том, что Княжев побоялся своего непосредственного начальства, то есть вовсе не трактор пожалел, а себя.

Отказываясь дать трактор, Княжев исходил из бюрократического неверия в то, что человеческая жизнь является высшей ценностью в нашем обществе. Он считал, что перед начальством он в ответе только за то, что ему поручено.

Собственного суда, угрызений совести он не боялся — слишком подсудным он себя ощущал перед Зундышевым, председателем райисполкома, чтобы судить себя самому.

Не думал он и о том, что его поведение — как коммуниста и человека — может стать предметом обсуждения его первичной партийной организации. В условиях культа личности нарушались нормы партийной жизни. Кто был в те годы в селе, знает, что руководители райкома партии, приезжавшие в МТС или в колхоз в горячую пору сева или уборки, искали прежде всего директора МТС или председателя колхоза и нередко уезжали, даже не повидавшись с парторгом.

Когда Княжев считает себя частным лицом, он поступает не просто как отзывчивый человек, но как человек советский — чувство коллективизма, товарищества, взаимной выручки органически присуще совет-



Скому человеку, воспитано в нём всем нашим строем.

Но ведь, помогая раненому в момент катастрофы, ничем существенным для себя Княжев не рискует, это не требует от него героизма, так как главное для Княжева — его служба, его служебная ответственность, служебное положение.

Теперь, когда он считает себя лицом служебным, его поступки меньше всего вяжутся с нормами советской морали, ибо весь он — самовоплощение бюрократизма.

Княжев так целою держится за службу потому, что вне её нет ему жизни, потому что с юных лет он привык, что, работая, он служит партии, народу, нет ему ничего страшнее, как оказаться вне партии. В своём служебном рвении он и не заметил, что служит уже не партии, не народу, а только себе.

Княжев имеет своего предшественника в творчестве Тендрякова. Это Глухарёв, герой рассказа «Ненастье». И Глухарёв исходил в своих действиях не из здравого смысла, не из интересов народа, а только из того, что требуется инструкцией, сводкой, из того, за что ему отвечать, а за что не отвечать. И у него была та же беспомощность перед тем, что не предвидено циркуляром.

Глухарёв загубил зерно, здесь гибнет человек. В этом рассказе конфликт между бюрократизмом и жизнью, между бюрократизмом и интересами народа доведён до предела: здесь речь идёт о том «быть или не быть» человеку. Но это ничего не меняет в поведении Глухарёвых и Княжевых. Человек — высшая цель, которой призван служить весь аппарат Советского государства, но высшие цели — вне поля зрения Глухарёвых и Княжевых.

«Бюрократ, выросший до убийцы», — говорит о Княжеве один из героев рассказа. Но рассказ Тендрякова даже не о бюрократах. Рассказ обличает бюрократизм как силу, враждебную самым основам советского строя, как силу, враждебную человеку.

Читая «Ухабы», открываешь для себя простую истину, которую и открывать как будто не надо, а как-то не приходилось прежде отдавать себе в этом отчёт: в условиях социалистического строя бюрократизм не только недопустим больше чем где-нибудь, но — нужно сказать это прямо — опасен больше чем где-нибудь, ибо если такой вот Княжев и способен иногда в качестве частного человека делать добро, то

возможности его в этом отношении ограничены. Частной собственности у нас нет. Все материальные ценности, созданные народом, принадлежат у нас самому народу, пользуется ими народ с помощью своего государственного аппарата. Бюрократ, занявший государственный пост, становится между народом и его собственной материальной силой.

Понимаешь глубокий смысл борьбы, которую наша партия ведёт с бюрократизмом.

Но ведь партия уже решительно осудила явления, с которыми связано появление Глухарёвых и Княжевых!

Почему же Княжев остался прежним?

В том то и дело, что Княжев только формально воспринимает сегодняшнюю политику нашей партии.

Рассказ Тендрякова предостерегает от самоуспокоения, показывает, как много ещё нужно сделать, как живуч ещё бюрократизм, как порой он способен обюрократить даже самую борьбу с бюрократизмом.

Вот, например, до Княжева уже дошли партийные установки о коллективности руководства. «Я в МТС не удельный князь...» — говорит он о себе, и спорить с этим нельзя. Но каким смертельным оружием становится у Княжева эта верная мысль — именно ею и убивает он человека!

Коллегиальность — высший партийный принцип, но страшно, когда за него прячутся трусливые люди. В результате коллективного напора, нажима парторга, методом коллегиальности, так сказать, трактор направлен наконец на фельдшерский пункт, но время упущено, судьба человека уже решена. Самые правильные установки могут превращаться в свою противоположность, когда они доверяются людям, воспитанным так, как воспитан Княжев.

И Княжев, к сожалению, не одинок, предупреждает автор. В рассказе есть человек, который в иной обстановке тоже может оказаться смертельно опасным.

Молодой лейтенант — один из пассажиров грузовика — искренне возмущён бездушием Княжева. Но недавно, каким-нибудь часом раньше, он, как справедливо ему замечает Княжев, «тем же голосом другую песню пел».

В момент, когда произошла катастрофа, не спасение раненого, а наказание водителя было первой заботой лейтенанта. За его демагогическим громкословием скрывалось то же бездушие. Лишь угроза потерять молодую жену, потрясённую этой бесчеловеч-

ностью, привела его в чувство, освободила от излишнего административного рвения, из «блуждателя порядка» сделала человеком. Неизвестно, как бы повёл себя лейтенант, теперь благородно негодующий в чужом кабинете, не будь здесь его молодой жены или оказался он сам на директорском стуле.

Пожилый директор и начинающий жить лейтенант поменялись ролями лишь оттого, что в данном случае положения их различны, вообще-то они стоят один другого. А где-то за ними ещё скрываются люди, от которых зависело лучшее состояние дорог в Густоборовском районе, которые не сделали всего, что могли, для безопасности населения и не лишились при этом сна.

Бюрократизм и в самом бюрократе убивает советского человека.

«Ухабы» — это рассказ и о силе советского, гуманистического начала в советских людях. Преступление Княжева происходит в атмосфере, чуждой этому преступлению.

Только что незнакомые друг другу, случайные пассажиры грузовика умеют в нужную минуту перед лицом беды предстать как дружный коллектив.

Шофёр Василий Дергачёв, которому ещё предстоит ответить и за свою и за чужую вину, при виде чужой беды забыл о себе. Он целиком поглощён одним — спасением раненого. Так же ведут себя и жена лейтенанта, и девушка-фельдшер, и старый хирург, и заготовитель, и даже старуха, везущая две сотни яичек.

И гневная взволнованность автора — тоже сила, противостоящая Княжевым. Тендряков не прячет этой взволнованности, в которой звучит утверждающий пафос рассказа («Жизнь людская дорожает», — как пишет поэт), не принимает позы бесстрастного повествователя. В данном случае это было бы именно позой.

Этот рассказ — новая ступенька для его автора. Здесь всё зримо, здесь каждая строчка — кадр. Должно быть, работа над сценарием не прошла бесследно для Тендрякова.

Экранизация прозы часто вызывает справедливый протест: досадно, когда автор топчется на месте, долго задерживается в кругу одних и тех же явлений и образов. Но «Ухабы» хотелось бы видеть на экране: этот фильм зритель не смог бы смотреть равнодушно.

Писатель вышел за пределы доступного ему прежде, он ищет новую объёмность и в этих поисках кое-где теряет прежнюю уверенность.

Если в описаниях внешнего мира, того, что можно увидеть, Тендряков опирается только на собственные наблюдения и потому всегда точен, то там, где речь идёт о внутреннем мире, о внутренней и невнутренней речи героя, о том, что нужно услышать или почувствовать, проскальзывают кое-где неточные интонации, навеянные хорошей, но литературой.

«Митя, полно!» (разрядка моя. — Ю. К.). Ведь он же не нарочно. Зачем кричать? Митя! — обращается к лейтенанту его жена Наташа. Это «полно» уводит к толстовским героям: слово не характерно для живого современного языка, скорее Наташа сказала бы просто «хеатит».

Таких неточностей не много, но они совсем не нужны в этом рассказе, который, на мой взгляд, является лучшим из того, что пока написано Тендряковым и по лаконичной пластичности письма, и по предельной выразительности конфликта, и по общественно-политическому звучанию.

Ю. КАПУСТО.



## Два из двадцати восьми

В книжке В. Ардова «Ваши знакомые» — двадцать восемь юмористических рассказов. Я хочу сказать о двух.

Первый называется «Как втирают очки».

В доме, где помещалось одно учреждение, рухнул потолок. Нерадивый завхоз, не принимавший ни до, ни после этого никаких мер, отчитывался на собрании:

В. Ардов. Ваши знакомые. Редактор А. Васильев. 172 стр. «Советский писатель». М., 1956.

«— Товарищи! Я целиком и полностью виноват в том, что вверенное мне здание пришло целиком и полностью в плохое состояние...»

Затем, видя, что к нему все относятся либерально, он приободрился и стал уже говорить так:

«— Товарищи! Мне, конечно, очень не повезло в том смысле, что зданище мне попало так себе... Я сколько мог охранял его. Ну, а потом оно должно же было рух-

нуть?! Оно и рухнуло... Ну, правда, я тут же сразу пошёл навстречу этому зданию. Я подал команду доломать вокруг всё, что можно. Правда, теперь мы частично остались под открытым небом. Вот так...»

Прошло ещё немного времени, и он уже заговорил совсем иначе:

«— Товарищи! Основным нашим достижением за отчётный период, конечно, надо считать то, что нам удалось целиком и полностью вывить всё неблагоприятное в перекрытиях и стенах нашего здания. Мы не станем замазывать отдельные дыры и трещины...»

Могут сказать: «Подумаешь, смелость! Критикует какого-то завхоза!» Но доблесть сатирика не измеряется чином критикуемого. За образом завхоза чувствуется целая порода людей; может быть, уместнее всего определить её так: порода з а я д л ы х.

Вы замечали, как иногда входят в зал заседания опоздавшие? Один прокрадывается на цыпочках, смущённый, красный, как будто укоризненные взгляды присутствующих оставляют на его лице следы ожогов. Другой же, опоздав на добрый час, входит с таким невозмутимо-солидным, деловитым, «заядлым» выражением, что это уже даже не выражение лица, а живое олицетворение глубоко уважительной причины его опоздания.

Простой человек, провинившись, кается, «заядлый» переходит в наступление. Ошибка, авария смутит простого, но «заядлый» тут же начнёт говорить, что авария—его личная заслуга в том смысле, что произошла только авария, а не катастрофа. Простой человек говорит: «неплохо», заядлый — «нашим достижением является...»

Сила «заядлого» так велика, что он способен порой загипнотизировать целый коллектив: манерой держаться, видом, выражением, а главное — водопроводно-неиссякаемой болтовнёй, бодрой, солидной, пересыпанной деловитыми оборотами и словами-паразитами, вроде: «целиком и полностью», «так, и только так», «критикуя тебя, борюсь за тебя», «пойми меня по-хорошему, но ты не наш человек» и т. д. и т. п.

В. Ардов зло и весело обнажает нехитрый внутренний механизм подобных людей, умело и выразительно передаёт паразитическую сущность этих — пользуясь выражением из пушкинской эпиграммы — «бездельников деловых».

Соратниками, вернее — собездельниками,

соболтунами, упомянутого завхоза являются инженер из рассказа «Там или тут?», директор Петрищев («Харакири»), «тренер» Ерохин («Зарядка»), умеющий «да» и «нет» не говорить герой рассказа «Барыня прислала сто рублей...»

Второй рассказ, на котором мне хотелось остановиться, называется «Тяга к науке». Здесь тоже действует завхоз. И за ним тоже чувствуется целая порода людей. Этому завхозу болтовни мало. Его неудержимо влечёт к себе наука: «Книжки там, микроскопы, банки разные, эти — как их? — реторты, ампулы, спирт сплошь и рядом...» А главное — он твёрдо знает, что учёных неплохо обеспечивают, и это ещё более разжигает его пылливость.

И вот беспросветно-невежественный завхоз решает «без волокиты оторвать эту степень... кандидата то есть... А чего вы смеётесь?». Он представляет диссертацию (пухлую перепечатку чужих работ) с твёрдым намерением всех «перекандидатить». И что же? Его рукопись забраковали. Ничего не получилось.

Мне кажется, что не получился и рассказ. А он мог бы быть. Разве мало людей, имеющих самое «двоюродное» отношение к науке, успешно защищают диссертации? Разве не сводится подчас защита к своего рода обряду с обязательными справками, характеристиками, благодарностями в адрес оппонентов, а затем — букетами и банкетам?

И что в конце концов смешного, что невежда из рассказа не защитил диссертации, когда в жизни подобные сюжеты часто кончаются куда более благополучно?

О рассказе «Тяга к науке» следует сказать потому, что он симптоматичен. Его концовка напоминает специально затупленное остриё учебной шпаги. Такая манера может быть пособием, но не оружием.

Не это ли ослабляет силу рассказов «Он выздоровел», «Скорая помощь», «Неизбежное» и ряда других? Но разве не это же можно сказать о многих и многих юмористических рассказах других писателей?

В. Ардов — бесспорно одарённый, опытный юморист. Он один из тех, к сожалению редких, юмористов, которых мы читаем с улыбкой, со смехом. Его работа на эстраде безотказно вызывает самое весёлое оживление в зале.

Хочется пожелать писателю большей смелости, большей остроты сюжетных концовок — не притупленных, а разящих.

**3. ПАПЕРНЫЙ.**

## Путь поэта

За последнее время в поэзии наступило явное оживление. Появились стихи и книги поэтов, нередко долгое время молчавших, появились новые поэтические имена.

Ещё недавно злободневная тема и более или менее аккуратное соблюдение правил версификации давали право на печатание ремесленных стихов, в которых поэзия и не ночевала. Всё это не могло не привести к печальным результатам.

Нашей поэзии во многом ещё надлежит приобрести ту «яркость выражения и силу в мыслях», которые Пушкин считал необходимыми условиями поэтического творчества. Решающее значение имеет здесь индивидуальность поэта с её своеобразным видением мира и поисками новых средств поэтического воздействия. Именно мелкость мысли, поверхностность переживаний и превращают поэзию в формалистическое версификаторство, тогда как подлинное новаторство формы — естественное следствие силы и смелости мысли.

Все эти достаточно известные истины невольно вспоминаются при чтении сборника стихов одного из крупнейших наших поэтов старшего поколения — Н. Асеева.

На всём протяжении своего творческого пути Н. Асеев противостоял потоку ремесленничества, приспособленчества, безразличному отношению к поэтическому слову. Вместе с Маяковским он неустанно боролся за идейную наполненность стиха, за художественную весомость слова, за зримость образа. И пусть самому поэту на этом пути приходилось испытывать не только победы, но и разочарования и неудачи, он всегда высоко держал знамя поэзии, не прекращая поисков новых путей.

Обращаясь к стихам Н. Асеева, невольно вспоминаешь его с молодости полюбившиеся стихи, такие, как «Чёрный принц», «Стальной соловей», «Синие гусары» и многие другие. В них особенно явственно, с подкупающей искренностью звучал голос поэта, то перебивающийся лирическим волнением, то приобретающий маршевую мужественность.

«Раздумья» — книга отнюдь не итоговая, а переходная. В ней собраны стихи

Н. Асеева преимущественно за 1952—1954 годы, стихи разных жанров, разного поэтического достоинства. Сборник состоит из четырёх разделов — «На страже мира», «На отдыхе», «Стихи о Гоголе» и «Стихи детям». Хотя во всех разделах чувствуется рука опытного мастера, однако стихотворения, вошедшие в этот сборник, неравноценны.

В лучших стихах сборника мы слышим собственный голос поэта, ощущаем его неповторимую «асеевскую» интонацию. Таково, например, великолепное его стихотворение «Друзьям»:

Хочу я жизнь понять всерьёз:  
наклон колосьев и берёз,—  
хочу почувствовать их вес  
и что их тянет в синь небес,  
чтобы строка была верна,  
как возрождение зерна.

Только подлинный поэт может увидеть «наклон колосьев», мечтать о «верности» строки, подобной «возрождению зерна». Всё это стихотворение проникнуто мыслью о бессмертии человеческих дел. В программном стихотворении «Наша профессия» Н. Асеев утверждает мастерство «повелителей светлых словес», которое выдержит испытание временем:

Если бы люди собрали и взвесили,  
словно громадные капли росы,  
чистую пользу от нашей профессии,  
в чашу одну поместив на весы,  
а на другую бы — все меднорожие  
статуи графов, князей, королей,—  
чудом бы чаша взвилась, как порожня,  
нашу бы — вниз потянуло, к земле!

«Громадные капли росы», которым уподобляет Н. Асеев поэзию, — это зримый образ, поэтическое открытие.

Подобных открытий больше всего в разделе, названном «На отдыхе». Здесь поэт как бы остаётся наедине с природой. Такие стихотворения, как «Глядя в небеса», «Взморье», «День не отцвёл», «Чернобривцы», «Снегири», может быть, лучшие в книге. В них передано чистое, прозрачное ощущение родного края, в них звучит радостное утверждение жизни. Когда читаешь эти стихи, то словно воочию видишь и пылающие цветы-чернобривцы на осенних грядках и то, как тихо сидят на снегу снегири меж стеблей прошлогодней крапивы, слышишь утреннюю песню дрозда над взморьем. Это стихи внешне скромные, но проникнутые точной наблюдательностью, любовью к яр-

Николай Асеев. Раздумья. Стихотворения. Редактор Л. Левин. 112 стр. «Советский писатель». М. 1955.

ким краскам и живым голосам природы. Как просто и вместе с тем классически скупое стихотворение «Взморье»!

Утренняя песня дрозда,  
вылетевшего из гнезда,  
в небе — сверкающая, переливающаяся  
утренняя звезда...

О, если бы всюду, везде  
думать об этой звезде,  
помнить  
об этом дрозде!

В этих нескольких строках передана и утренняя свежесть, и мудрая простота мироздания, и сила души поэта, открытой большим и чистым чувствам и мыслям... А сколько целомудренной влюблённости в природу, великолепия красок в стихотворении «Снегири»:

Тихо, тихо сидят на снегу снегири —  
на головках бобровые шапочки,  
у самца на груди отражение зари,  
скромно-серые перья на самочке.

Поскакали вприпрыжку один за другой  
по своей подкрапивенской улице;  
небо взмыло над ними высокой дугой,  
снег последний позёмкою курится,

и такая вокруг снегирей тишина,  
так они никого не пугаются,  
и так явен их поиск скупого зерна,  
что понятно: весна надвигается!

Как по-настоящему найдены и хороши и эти «бобровые шапочки», и чуть насмешливое, милое «пс своей подкрапивенской улице»! В этих стихах сказалась та завидная чистота, чуть детская наивность восприятия природы, которые так органичны для лирики Н. Асеева. При этом он не боится смелого, порой даже грандиозного образа:

Слон небес трубит свирепо —  
блещут бивни...

Это про ливень с громом и молнией. И как хорошо это сказано!

Большое место в книге Н. Асеева занимает его новая поэма — «Стихи о Гоголе». Скорее это не поэма, а цикл отдельных стихотворений — эпизодов, посвящённых основным этапам в жизни и в творческом становлении писателя. В «Стихах о Гоголе» Асеев изображает прежде всего исторический фон, сам же писатель показан силуэтно. На первое место выступает характеристика эпохи, «цвет времени», которые в ряде случаев в сжатых и точных строфах Асеева приобретают монументально-эпический характер. Уже первый раздел «Стихов о Гоголе» — «Родина» — наглядно передаёт

и безбрежную украинскую степь, и неторопливое движение чумацких возов, и лукавый юмор рассказов на ночных привалах — впечатления, воспринятые юным Гоголем на родной ему Украине:

Едут чумаки по степи,  
двигаются медленно:  
на колёсах словно цепи,  
холодно, ветрено;

В Нежин соль везут из Крым<sup>ско</sup>  
Степь расстилается,  
их котлы черны от дыма,  
ночь надвигается.

Здесь всё точно, выверсно, наглядно. Угадан и самый ритм — медленный, скрипучий, словно движение чумацких возов. Ярко и наглядно и описание чиновно-бюрократической столицы, куда попадает юный Гоголь («Петербург»).

В поэгическом изображении Асеева Гоголь предстаёт не только гонимым и преследуемым, но и не сдающимся страшному Вию — царскому самодержавию. Запоминающимся, гоголевским, образом Асеев великомерно передал страшную мощь самодержавия, против которой неустрашимо, с «дерзостной силой» выступал писатель:

Лицо венценосного Вия...  
Поднимутся тяжкие веки,  
протянутся пальцы кривые  
за горы, за реки...

Поэт имеет право на поэтическую догадку. И Асеев, показывая Гоголя, бросающего дерзкий вызов самодержавию, не хочет закончить свою поэму картиной примирения писателя с действительностью. Гоголь у Асеева вдохновенно продолжает второй том «Мёртвых душ». Поэт подвергает сомнению известные факты о том, что писатель в отчаянии сжёг свою поэму:

А может, рассказ этот ложен,—  
рождённая смертью химера,—  
а был его труд уничтожен  
холодной рукой изувера?..

Конечно, это предположение научно недостоверно, но для поэмы Асеева оно органично. Этот штрих завершает сложившийся в представлении поэта цельный образ Гоголя, до конца боровшегося с самодержавным Внем во имя светлого будущего. Асеев, тем не менее, весьма увеличивает степень сознательности и последовательности протестующей позиции Гоголя, который ведь верил в незыблемость дворянского государства, в возможность нравственного перерождения собакевичей и

ноздрёых. Эта противоречивость, слабость в мировоззрении писателя и составила трагедию Гоголя как писателя и человека. Снимая эти противоречия, Н. Асеев, на наш взгляд, упрощает образ Гоголя.

Наибольшая удача ждёт поэта там, где в его стихах выражена «сила мыслн», своё понимание явлений действительности. Слабость — там, где он «без раздумья» повторяет общеизвестные формулы.

Недостаток первого, «программного» раздела стихов Асеева («На страже мира») в том, что за ними далеко не всегда стоит автор, его собственное взволнованное отношение к событиям политической жизни. Поэтому-то он и сбивается на такие мало что говорящие, словесно инертные, риторические строки:

И станция  
                    глубоксго заложения,  
воздвигнутая  
                    под Москвой,  
стала  
                    примером вечного движения,  
пульсирующего  
                    день-деньской!

(«Метро Маяковская»)

Голос Асеева звучал ещё при Маяковском, не заглушаясь громким голосом «агитатора, горлана, главаря». Поэтому непонятно, зачем Асеев в стихотворениях первого раздела обратился к общим лозунгам.

Напрасно и почти цитатное следование Маяковскому в некоторых вещах, включённых в книгу.

Ведь если особенностью поэзии Маяковского является слияние глубочайшего лиризма с политическим пафосом, то в творчестве Асеева отчётливее звучит лирическое начало, которое едва ли поэту стоит насильственно подавлять в себе самом.

Николай Асеев — не только ветеран советской поэзии, но и поэт, на протяжении всего её развития сохранявший верность трудному и тяжёлому мастерству, не разменивавший его на бойкое ремесло. Поэтому к его голосу с особенным вниманием прислушивается молодое поколение. Хочется, чтобы поэт, умудрённый опытом лет, посвятил свои «раздумья» наиболее важным вопросам современности, нашей жизни. Тогда заглавие его книги получит новый вес и значение.

Нужно сказать ещё об одном — внешнем виде книги. У нас во многом утрачена культура художественного оформления книги стихов. Издание Н. Асеева в «Советском писателе» типично в этом отношении. На шмуцтитულных листах начертаны какой-то идилический ручеек, деревца и т. п., что, по мысли художника, видимо, должно «раскрыть» содержание стихов. На деле же эти наивно-натуралистические рисунчки только уродуют книгу.

Нашим издательствам давно следует преодолеть эту дурную инерцию при оформлении книг поэтов. Ведь сумел же недавно Гослитиздат выпустить избранные стихи того же Н. Асеева (сборник «Памяти лет») в продуманном, интересном оформлении.

Н. СТЕПАНОВ.



## Именно рассказы

Судя по всему, Леонид Волинский принадлежит к числу писателей, которые серьёзно осмысливают свой труд и пишут так, а не иначе, руководствуясь не минутными и случайными побуждениями, а глубоко продуманными принципиальными намерениями.

Во всяком случае, об этом свидетельствует рассказ «На этуях».

Некий художник отправляется на безлюдный берег реки, чтобы «хоть немного пожить в одиночестве». Ему осточертели

заседания, телефонные звонки, ядовитые речи критиков и назойливые советы друзей. Он с умилением составляет список самого необходимого, что нужно захватить с собой: топор, складной нож, котелок, фонарик, зажигалку. «Список растёт, каждая его строчка пахнет мыльным детством: джунглями, дёбрами Уссурийского края, берегом чёрного дерева и прочими великолепными вещами...»

И вот мечта осуществлена: художник оказывается совершенно один на пустынном речном берегу. Он купается, готовит сам себе на костре еду, пишет этюды. Особенно его привлекают сейчас «мотивы широты, простора, спокойствия...»

---

Л. Волинский. Рассказы. Редактор Г. Мунблит. 319 стр. «Советский писатель», М. 1956.

Однако через некоторое время художнику вдруг начинает казаться, что этюды, которые он здесь написал, не более чем беспомощная мазня.

А тут ещё старик бакенщик, посмотрев на один из них, задумчиво говорит, что как раз на этом месте была переправа во время войны: «Ох, и народу же легло, боже ж ты мой...» Ночью художник подходит к своим этюдам: «Красиво написано, чего ещё надо! Простор, и тишина, и солнце...» Но то, что ещё недавно казалось художнику целью его работы, её замыслом, её пафосом, теперь кажется ему её недостатком, её бедой, её пороком.

В конце концов он с энтузиазмом покидает свою «одинокую обитель» и перебирается на другой берег, к людям. «Через полчаса,— заканчивает автор свой рассказ,— всё, что так чудесно пахло милым детством, джунглями, дебрями Уссурийского края и прочими великолепными и несбыточными вещами, лежит в лодке, аккуратно прикрытое брезентом».

Рассказ «На этюдах» носит, как мне кажется, полемический характер.

Дело, конечно, не в том, что автор здесь хочет разоблачить некоего гордого одиночку, удаляющегося от людей и противопоставляющего себя им. Это запоздалое разоблачение нищезанятия, вероятно, выглядело бы в контексте рассказа более чем наивно.

Дело, повидимому, в том, что Л. Волынский в свойственной ему неназойливой манере, без обнажённо и прямо формулируемых выводов стремится выразить свои взгляды на искусство.

Нельзя, как бы говорит автор, писать мирный, пронизанный солнцем речной пейзаж, когда именно здесь, на этой реке, ещё так недавно гремела переправа, рвались снаряды и гибли люди. Автор, вероятно, не откажется признать, что в искусстве могут существовать и существуют прекрасные пейзажи, но сам он их писать не хочет. Его лично привлекает, условно говоря, не тихая прелесть пронизанной солнцем пустынной реки, а громовая сутолока кипящей людьми военной переправы.

Если с этой точки зрения подойти к содержанию рассказов Леонида Волынского, нетрудно убедиться, что на протяжении всей книги он остаётся верен себе. В центре почти каждого его рассказа — человеческая судьба, почти всегда трудная, как это и бы-

вает в жизни, где лёгкие судьбы встречаются гораздо реже, чем в литературе.

Весьма характерен в этом смысле рассказ «Любушка».

Познакомившись на первомайском карнавале в парке культуры с молодым инженером-конструктором, Любушка называет себя тоже конструктором, хотя работает на пишущей машинке. Когда отношения с молодым инженером оказываются серьёзнее, чем можно было ожидать, этот маленький и, в сущности, невинный обмен превращается для девушки в настоящую драму. С другой же стороны, он определяет всю её дальнейшую жизнь: стремясь быть достойной своей любви, Любушка сначала решает учиться, а затем отправляется на фронт.

Всё, что связано с Любушкой, вызывает у нас полное доверие — и её невольная боль, и невозможность в ней сознаться, и муки раскаяния, и стремление учиться, и намерение отправиться в Арктику, и наконец, решение идти на фронт. При этом важнее всего то, что перед нами совершенно обыкновенная, пожалуй, даже заурядная девушка. Тем с большей силой звучит в рассказе тема чистой, верной, поднимающей человека любви.

Столь же обыкновенен и, пожалуй, зауряден герой рассказа «Боцман» Яшка Ошлепин. Боцманом его зовут по той простой причине, что он ходит во флотском бушлате. На самом же деле он с малых лет служит при театре в качестве рабочего сцены и славится своим сварливым и несговорчивым нравом. Всё на свете он называет «паскудством». Когда его награждают почётной грамотой, как самого старого работника театра, он сердито говорит: «Очень мне надо это паскудство!» — но на следующий день сооружает рамку и помещает туда драгоценную бумагу.

Когда начинается война, этот, казалось бы, маленький человек становится настоящим героем. Со своим любимым словечком «паскудство» на устах он совершает безрассудно смелые поступки и в конце концов попадает в фашистскую тюрьму. «Моряк? — спрашивают у него в тюрьме. — Коммунист?» — и Яшка утвердительно отвечает на эти вопросы, хотя никогда не был ни моряком, ни коммунистом. Перед расстрелом один из товарищей по тюрьме говорит ему: «Держись, браток!». Яшка отвечает: «За моряков не беспокойся». Ав-

тор убедил нас, что Яшка имеет право так ответить.

Рассказы Волинского совершенно чужды утешительно-счастливые, псевдооптимистические концы.

Книга открывается рассказом «Клавдия Петровна». Героиня рассказа едет к мужу — инженеру, пожелавшему работать в деревне. История Клавдии Петровны, в сущности, уже не раз была описана: когда эта женщина кончила институт, но ещё студенткой вышла замуж, родила дочку, да так и осталась домашней хозяйкой, а её муж далеко ушёл вперёд. В отличие от многих сюжетов подобного рода, ушедший вперёд муж продолжает любить свою отсталую жену, но беда в том, что сама Клавдия Петровна чувствует себя глубоко несчастной.

В конце рассказа Клавдии Петровне по всем канонам полагалось бы поступить на работу и скоренько найти смысл жизни. Но этого не происходит. Мы расстаёмся с Клавдией Петровной, когда она во время первомайского пикника, уйдя от всех, сидит в лесу на траве и слышит, как муж зовёт её: «Клашенька!» В лесу отзывается: «...а-ашенька!» И Клавдия Петровна думает: «Эхо... Вот она, моя жизнь!» Тщательно вытерев платочком глаза, она идёт на зов мужа.

Если задача рассказа состояла в том, чтобы предостеречь женщин, которым грозит судьба Клавдии Петровны, то этот щемяще-грустный конец, конечно же, оказывается гораздо более действенным, чем казённо-оптимистический и благополучный.

Изображая плохих людей и отрицательные тенденции, имеющиеся в нашей действительности, Волинский не преуменьшает их силы и трудностей их преодоления.

В рассказе «Буря» молодой бригадир тракторной бригады Анатолий Воротынцев велит учётиче передать директору МТС ложную суточную сводку. Избалованный успехами, бригадир не хочет терять первенство из-за каких-то там непопаханных пятидесяти гектаров.

Учётичица не выполняет указания, действий Воротынцева никто в бригаде не одобряет, но всё это вовсе не означает, что к концу рассказа Воротынцев успевает раскаяться. Наоборот, он таит в душе обиду, и рассказ создаёт ощущение, что с этим трудным парнем ещё придётся повозиться.

В рассказе «Шпортюк» районный фотограф, алчный собственник, к тому же со-

вершенно не владеющий своим ремеслом, стремится воспитать себе подобного из тринадцатилетнего сына Кузи. А Кузя стыдится отца, которого все презирают, и в конце концов кричит ему: «Не могу я больше с вами жить...» Но до Шпортюка всё это решительно не доходит: «Он так и сидит с раскрытым ртом, не понимая, что же произошло».

Именно потому, что Волинский не склонен преуменьшать силы старого и трудности его преодоления, его рассказы приобретают действенный смысл, хотя в них и нет никаких прямых призывов, никаких заклинаний и, казалось бы, никаких выводов.

Беспорным достоинством рассказов Волинского является то немаловажное обстоятельство, что в подавляющем большинстве случаев они могут быть признаны именно рассказами.

За последние годы в атмосфере совершенно бесплодного теоретизирования о трансформации жанров в литературе социалистического реализма у нас стали называться рассказами самые обыкновенные очерки, лишённые каких бы то ни было признаков новеллистического жанра. Мало того, бесформенность и аморфность этих очерков выдавались за качественно новую особенность, будто бы свойственную жанру рассказа в литературе социалистического реализма.

Леонид Волинский принадлежит к числу тех писателей, которые отлично знают, что, каков бы ни был по своему характеру рассказ, материал его должен быть организован по конструктивным принципам именно рассказа.

Сюжеты, разрабатываемые Волинским, большей частью носят психологический характер. Автор не стремится поразить читателя ни исключительностью темы, ни остротой действия. В его рассказах почти всегда всё очень буднично, просто.

Шестнадцатилетний парнишка, работавший на строительстве Московского университета, проездом на целину навещает семью своего дяди, покупает себе охотничье ружьё и едет дальше. Научные сотрудники селекционной станции приезжают в МТС, чтобы провести семинар с молодёжью. Молодожёны, стремящиеся узаконить свои супружеские отношения, едут за семьдесят пять километров в сельсовет, но возвращаются ни с чем, так как работников сельсовета вызвали на совещание.

Эти простейшие жизненные случаи, описанные в рассказах «Гость», «Виталина» и



«Такой день», на первый взгляд как будто не обещают никаких новеллистических возможностей. Но под пером Воынского описание каждого из этих случаев превращается в настоящий рассказ, проникнутый ясной мыслью, психологически ёмкий, строго организованный.

В коротком рассказе «Гость» есть примечательная деталь: когда парнишка входит в квартиру дяди, от его резиновых сапог на блестящем паркете образуется «выпуклая тёмная лужица». Затем мы знакомимся с дядей и тётёй, которые, судя по всему, являются самыми заурядными мещанами. В конце рассказа, когда парнишка ушёл, тётя старательно затирает мастикой «подсохшее круглое пятнышко на блестящем полу». Но как бы тётя ни старалась, племяннику суждено оставить в её жизни заметный след. Её дочь Ляля, познакомившись с двоюродным братом и всем сердцем ощутив его грубоватую юношескую решимость жить в большом мире борьбы и труда, окончательно приходит к выводу, «что она скоро уедет из дому и поступит всё-таки на геологический, что бы там ни говорили».

Так простейший жизненный случай на наших глазах усложняется, приобретает конфликтную остроту и даёт автору возможность развернуть подлинно новеллистический сюжет. Этому способствует, разумеется, и то, что все четыре персонажа, действующие в рассказе — парнишка, дядя, тётя и двоюродная сестра — изображены психологически очень тонко и притом почти исключительно средствами диалога.

Примером, убедительно показывающим, что Воынский владеет законами того жанра, в котором работает, может служить и «День рождения».

Лейтенант Перфильев, юноша лет двадцати, выбирает огневую позицию для своей батареи во дворе маленькой подслеповатой хаты — единственного строения, которое сохранилось в деревне, на протяжении недели дважды переходившей из рук в руки. Зайдя в хату, лейтенант обнаруживает, что в ней уютятся какая-то женщина, лежащая на печи и с трудом сдерживающая стоны, и старик, не отходящий от неё ни на шаг. Выясняется, что женщина, невестка старика, с минуты на минуту должна родить. Узнав об этом, лейтенант вместе со своими солдатами тотчас уходит из избы, улыбаясь так, «будто для него удоволь-

ствие было выйти из дремотно-тёплой хаты в февральскую промозглую ночь».

На рассвете женщина будит старика и «изменившимся, странно спокойным голосом» просит его нагреть воды. Возле хаты рвутся снаряды, всё вокруг грохочет, а когда наступает тишина, старик слышит плач ребёнка. «Хлопчик», — слабым голосом говорит женщина.

Когда в хату стучится солдат, старик радостно сообщает ему: «Хлопчик у нас нашёлся». Поздравив хозяев с новорождённым, солдат говорит, что лейтенанта Перфильева убило, что его уже похоронили, но над могилой нет никакого знака, и он просит потом его поставить. Он протягивает старику сложенную вчетверо бумажку и ведёт его к продолговатому холмику, темнеющему на снегу. «Всё беспокоился, как бы в избу не угодило», — говорит солдат «неожиданно севшим голосом», машет рукой и бежит догонять пушки, которые уже выезжают из деревни. А старик возвращается в избу, где женщина кормит своего «нашедшегося» хлопчика.

В этом маленьком рассказе, столь контрастно соединяющем немногословные и сдержанные картины рождения и смерти, всё очень точно выверено. На контрастах подобного рода нередко строил свои новеллы Мопассан, а из советских новеллистов — Бабель. Подобного рода контрасты, кроме новеллы, эффективны также в пьесе; в романе же и повести они, вероятно, произвели бы впечатление искусственности и фальши.

В коротком рассказе — опять-таки подобно пьесе и в отличие от романа и повести — особенно энергично должен «работать» диалог. В рассказах Воынского можно найти немало выразительных примеров этой особенно активной роли диалога.

Я уже цитировал слова старика из рассказа «День рождения»: «Хлопчик у нас и а ш ё л с я».

Напомню, кстати, что в поэме Александра Твардовского «Дом у дороги» русская женщина, попавшая беременной в фашистский лагерь и родившая там мальчика, горестно восклицает: «Зачем случился ты, сынок...»

Неожиданное «нашёлся», во-первых, отлично характеризует органически народную лексику старика и в какой-то степени уже определяет его облик, а во-вторых, удивительно точно схватывает общую атмосферу, в которой произошло рождение человека. Да, хлопчик не родился, как это обыкновен-

но бывает, а именно «случился», «нашёлся» среди орудийного грома и человеческих смертей. Не будь столь счастливо найденного слова «нашёлся» — и рассказ, несомненно, потерял бы нечто очень важное для всей его эмоциональной атмосферы.

В рассказе «У моря» тяжело, неизлечимо больной адмирал не может оторвать глаз от военных кораблей, бросивших якорь на рейде. «Если всмотреться как следует, можно различить тонкие струны лееров, зачехлённые стволы орудий, снующие по палубам человеческие фигурки... Приборочка, что ли?»

Можно было написать «приборка». Но насколько точнее и, я бы сказал, плодотворнее «приборочка». За этим ласковым флотским словечком не только ощущается неистребимая любовь, которую питает адмирал к флоту со всеми его атрибутами, но и угадывается прошлое адмирала. Вероятно, он был когда-то простым матросом, потом боцманом и, как говорится, на своей шкуре испытал всю поэзию обычной флотской приборочки...

Новеллистической манере Волинского присущи, однако, и некоторые недостатки. Самым существенным из них представляется мне некоторая литературность, порой возникающая как в выборе ситуаций, так и в образном мышлении и языке.

Безусловно, умея писать по-своему, находить свои собственные слова, Волинский иногда начинает писать так, как диктует некий «хороший» литературный тон: «Подъезжая к станции, Клавдия Петровна испытывала то шемящее, тревожное чувство, какое всегда одолевало её при возвращении домой» («Клавдия Петровна»), «...Виталина Андреевна глядела вокруг с тем чувством грустной отрешённости, какое всегда пробуждала в ней степь» («Виталина»), «И от всего этого вдруг сладко заныло сердце, как при воспоминании о чём-то утраченном навсегда и до боли милым» («Первый комбат»).

Всё это вполне грамотно, нельзя сказать, чтобы и безвкусно, но чрезвычайно гладко, литературно, а потому и недействительно.

От страха у рассказчика «мгновенно взмокли ладони», на пожелтевшем лице убитого «было написано скорбное удивление», от бомбардировщика «отделилась чёр-

ная капля», у старого крестьянина руки были «с взевшейся в трещинки землёй», на фоне зарева резко выделялись «чёрные, будто тушью вырисованные деревья», командир роты был «в неизвестно на чём державшейся, сбитой на ухо пилотке» — решительно всё это мы уже много раз читали, автора назвать не можем, но твёрдо знаем: Волинскому это не принадлежит.

А вот как сказано в рассказе «Шпортюк» о районном фотографe: «...Он подходит к Гапийке, берёт её голову длинными жёлтыми пальцами так, как берут электрическую лампочку, когда хотят её вывинтить, и поворачивает чуть-чуть вправо». Вот это принадлежит Волинскому.

Я не думаю, что напрасно включён в книгу рассказ «Новый год»; многое в нём искренне трогает читателя, но главная его ситуация всё же оставляет впечатление надуманности. Во время войны советский генерал оказывается в ночь под Новый год на том самом хуторе, где в двадцатом году воевал с Пилсудским и где осталась женщина, которую он тогда любил. Выясняется, что эта женщина живёт здесь и поныне. Автор тотчас организует встречу. Оказывается, что у генерала был сын и что он погиб на фронте.

Повторяю, рассказ не оставляет читателя равнодушным, запоздалое раскаяние генерала и трудное спокойствие женщины описаны со свойственной Волинскому сдержанной силой, но при всём том невозможно отделаться от мысли, что сама встреча генерала с женщиной (да ещё — для пущего драматизма — под Новый год) подстроена автором. Ну хоть встретились бы в обычный день — и то веры было бы больше!

И вот ведь какая странная вещь: главная ситуация рассказа «День рождения» тоже могла бы показаться подстроенной, но почему-то не кажется. Почему же? Может быть, потому, что, сблизив смерть лейтенанта и рождение ребёнка, автор сумел придать рассказу черты той подлинной высокой патетики, которая так покоряет нас в искусстве.

Посоветуем же Леониду Волинскому в его дальнейшей работе новеллиста ориентироваться не на «Новый год», а на «День рождения».

**Л. ЛЕВИН.**

## Книга о труде поэта

Нет нужды доказывать, какое огромное — и для писателя и для читателя — значение имеет талантливая, умная критика.

Настоящие стихи нельзя читать однажды, к ним возвращаешься; кажется, хорошо понимаешь, и вдруг оценка критика-профессионала несравненно усложнит твоё читательское отношение к работе поэта, обогатит и расширит его.

Так обогатила моё понимание творчества С. Маршака критическая работа о нём Б. Галанова. Она написана просто и ясно, завидно богата фактами, в критических оценках доказательна, а потому убедительна.

Поэзия Маршака — крупнейшее, сложное, необычайно разностороннее явление нашей литературы. Проследить его начало, развитие и расцвет, определить истоки, раскрыть своеобразие и связи с другими явлениями поэзии — дело нелёгкое. Критик любит или не любит то, о чём пишет. Галанов любит Маршака. А любить — значит, кажется мне, в первую очередь любить и чувствовать поэзию для детей. Критик тщательно исследует ту поистине колоссальную работу, какую проделал поэт, приближая стих к восприятию и пониманию маленького ребёнка. Сколько мудрых педагогических мыслей, исканий и находок, оптимизма, веселости и, конечно и прежде всего, таланта на этом пути Маршака — детского поэта!

И не только поэта.

Творчески восприняв мысли Горького об искусстве для детей, Маршак в начальный период советской детской литературы — страстный собиратель молодых её сил, редактор, издатель: разнообразная, бурная, напряжённая общественная и творческая деятельность! Б. Галанов пристально её рассмотрел, и так как поэтическая и организаторская работа Маршака неразрывна с рождением и ростом всей советской детской литературы, то очерк жизни и творчества поэта перерастает свои рамки.

Первые главы его рисуют картину возникновения советской детской литературы, родившейся в борьбе с дурными традициями «Задуманного слова». У нас почти нет очерков по истории советской детской лите-

ратуры. Те, что есть, скучны, бесстрастны, живое движение литературы и жизни обескровлено в них применительно к схеме.

Я не хочу сказать, что Б. Галанов в первых главах своего очерка решает все вопросы истории советской детской литературы. Конечно, нет! Но мне кажется, об основном он рассказывает живо, свободно, увлечённо. Страницы, где критик говорит о работе Маршака над стихом, особенно интересны. Видишь наглядно (автор приводит тебя к этому выводу): стих Маршака становится тем крепче, лаконичнее и по-маршаковски выразительнее, чем глубже поэт входит в жизнь, в ней находя насыщенные, принципиально новые для детской литературы того времени темы.

Слово, образы, рифмы, строение стиха, его композиция, народные истоки поэзии Маршака, природа юмора в ней и многое другое, что составляет особенность маршаковского почерка, исследованы Б. Галановым, я сказала бы, и метко, и точно, и с тонким пониманием поэзии. Очень любопытны наблюдения критика над тем, как поэзия делается, какого труда она стоит, какой обширной культуры и неутомимости таланта требует.

Очерк Б. Галанова и не апологетичен. Критик рассказывает о молодом Маршаке, стихам которого были не чужды резонёрство, условность, архаичность образов, отмечает неудачи и зрелого Маршака, как, например, декларативность и абстрактность книжечки для маленьких «Доска соревнования» или невыразительность некоторых эпиграмм периода войны.

Исследуя необычайно разностороннюю работу поэта (стихи для детей, сказки, пьесы, эпиграммы, сатира, лирика, наконец, переводы), Б. Галанов доказательно утверждает мысль: в поэзию для взрослых, к эпиграмме, к переводам Шекспира и Бёрнса Маршак приходит от детского стиха. Именно работа над детским стихом научила его выразительности и ёмкости образа, энергии рифмы, вооружив множеством других качеств, какие позднее поставят его в ряды первоклассных «взрослых» поэтов.

Школа стиха для ребёнка, подготовившая высокое эпиграмматическое и переводческое мастерство Маршака, — факт поучительный. Какого же мастерства и таланта требует большое искусство для детей!

Б. Галанов. С. Я. Маршак. Очерк жизни и творчества. Редактор А. Елкин. 138 стр. «Советский писатель». М. 1956.

Хороши в очерке главы о маршаковских переводах сонетов Шекспира и поэзии Бёрнса. Критик показывает, что такое ремесленнический перевод и в чём заключается тайна перевода творческого, который, не копируя подлинника, делает поэтическое создание другого народа произведением искусства на родном языке. Это и сделал, переведя Бёрнса и сонеты Шекспира, Маршак, а Галанов с превосходным пониманием дела растолковал его работу широкому кругу читателей.

Я пишу на критическую статью, а всего лишь делюсь своими читательскими впечатлениями от исследовательской работы, которая, кажется мне, представляет интерес не только для специалистов. Очерк будет читаться, и, наверное, автор не прекращает и сейчас работы над ним. Кое-что, думаю я, автору надо в своей работе доделать, усилить.

Так, с меньшим интересом, чем другие, читаются главы «Грозный и дальний поход» и «Оружием сатиры». Они длинноваты, описательны, иллюстрации из сатир самого Маршака не всегда удачно подобраны. Иногда в этих главах Б. Галанов начинает разъяснять то, что не нуждается в разъяснениях. Например, едва ли требует толкований памфлет «В защиту детей», написанный по поводу выпуска за рубежом игрушечной «атомной» бомбы. Смысл памфлета достаточно ясен, а художническая работа поэта над ним проанализирована недостаточно. Вообще, доказывая силу эпиграмм, памфлетов и сатир Маршака в период войны, Галанов, вопреки собственному методу, больше декларирует, чем убеждает анализом.

Нужно сказать, что при всей серьёзности и вдумчивости, с какими написана книга Галанова, в некоторых случаях автор пользуется готовыми определениями литературного факта или общественной эпохи. Например, вот что сказано о начале поэтического пути Маршака: «Он начинал свой творческий путь в пору самого позорного и бесстыдного, по определению Горького, десятилетия в истории русской интеллигенции».

Горьковская оценка литературного десятилетия накануне революции известна. Горький, конечно, адресовал её враждебному ему лагерю декаданса.

Но творчество самого Горького, в это именно десятилетие опубликованного «Мать», «Детство», «Страсти-мордасти», вещи Куприна — «Суламифь», «Изумруд», «Гранатовый браслет», «Господин из Сан-Франциско» Бунина, стихи Демьяна Бедного, рассказы и повести Серафимовича, первые поэмы Маяковского — всё это разве не говорит нам о том, что в русской предреволюционной культуре отчётливо различались два пути.

Не только «образцы классической поэзии» и «произведения устного народного творчества» оказали, как кажется мне, влияние на Маршака-поэта, но и живое творчество его современников, писателей передового направления, к которым прежде всего относился сам Горький, сыгравший такую большую и важную роль в поэтической биографии Маршака.

В книге Б. Галанова радует хороший, непринуждённый язык. Но иногда внимание обидно остановит небрежность («Такова же и вторая главка, в которой огонь вырывается из плена») или казённый оборот («Стремясь приблизить идею соревнования к детскому конкретному мышлению»). Или, говоря о лирической интонации, неожиданной и потому особенно сильной, в агитационном плакате, Б. Галанов вдруг так обыденно и прозаично скажет: «А вот другой плакат — «Зимний», приуроченный к кампании сбора тёплого белья».

Очерк написан о поэтическом труде; прозаизмы, шаблон, канцелярская фраза даже в самой незначительной мере здесь режут ухо.

Хочется, чтобы критик, по примеру поэта, ещё, ещё и ещё раз вернулся к каждой фразе и слову в своей книге, которая будет жить и работать, потому что написана человеком, влюблённым в поэзию, умеющим найти ключ к её пониманию.

**М. ПРИЛЕЖАЕВА.**

## Фриц Иензен — поэт и переводчик

Австрийский журналист Фриц Иензен знаком советскому читателю как автор переведённой на многие языки книги «Китай побеждает» и книги «Вьетнам — страна героев» (Москва, 1956).

В своей третьей книге Иензен предстаёт как талантливый поэт и эрудированный переводчик, для которого «чужая лира» не была чужой. И в этом особый интерес книги: здесь в «чужом» великолепно преломляется своеобразная личность Иензена-интернационалиста, идеалом которого были те, кто не останавливается перед жертвами, чтобы наконец стать победителем. Книга так и называется: «Жертвы и победители».

За два месяца до трагической гибели, при катастрофе с самолётом «Принцесса Кашмира» в результате чанкайшистской диверсии, Иензен писал, что его сборник стихов и переводов — это отклик писателя и журналиста на события дня.

На первое место в сборнике автор ставит переводы. Далее скромно следуют собственные стихи, очерки и комментарии. Иензен перевёл много: стихи Назыма Хикмета и песню о Джо Хилле, исполняемую Полем Робсоном, мужественные стихи американских революционеров и «Китайскую оду» Мао Цзэ-дуна, сатиры древнего китайского поэта Бо Цзюй-и, жившего более тысячи лет назад, и народные песни освободительной войны современного Китая. В сборнике помещены также переводы Иензена из вьетнамских поэтов.

В Иензене-журналисте чувствовалась уверенность знатока Азии. Иензена-переводчика отличает последовательность выбора: он переводил только то, что ценил как высокие образцы гражданской лирики. Его переводам предшествуют заметки, в которых отмечаются те свойства переводимого поэта, которые привлекли переводчика. Так, о древнекитайском поэте Бо Цзюй-и он пишет: «Прошла тысяча лет, в течение которой мир мог научиться понимать и любить политическую лирику Бо Цзюй-и. Наступило время торжества этого великого реалиста не только в Китае — а его поэзия утвердилась здесь со дней освобождения,—

но также и во всей мировой литературе». И надо сказать, что переведённые стихи блестяще подтверждают эту мысль.

Стихи перекликаются в сборнике с публицистикой. И здесь, в публицистических статьях, у Иензена чувствуется большой дар художественного обобщения. В одной из них автор, очевидец войны в Корее, побывавший в гуще событий, приходит к мысли, что «Пхеньян — это один из тех городов, которые историей предназначены для того, чтобы в известную эпоху нести мировой крест — так, как Париж Коммуны 1871 года, Мадрид гражданской войны в Испании в 1937 году, Сталинград в 1942 году».

Статьи Иензена об Испании, Китае и Вьетнаме написаны на основе личного участия в событиях, которые происходили в этих странах. Жизнь австрийского писателя-интернационалиста неотделима от судеб народов, с которыми он разделил мечту о свободе, горечь жертв и радость побед.

Для читавших боевые репортажи Иензена посмертная публикация его стихов явилась неожиданностью, хотя стихи он писал всегда. Стихи, заключающие сборник, написаны за двадцатилетие с 1934 по 1953 год.

В лучших своих стихах поэт неустанно выступает против войны, чаще всего обращаясь к молодёжи («Смерть на поле битвы»).

Стихотворение «Февральская легенда», написанное ещё свыше 20 лет назад, особенно ярко раскрывает Иензена как поэта. Его творческая индивидуальность, пожалуй, нигде не выступает более сильно. После тяжёлых боев с реакцией в феврале 1934 года венские рабочие вынуждены отступить. Но, чтобы они смогли уйти, остаётся прикрыть — два человека, два стойких борца, жертвующих жизнью. Враг находит их мёртвыми у разбитого пулемёта: пожилой рабочий ещё держится за ручки пулемёта, а рядом лежит мальчишка с сумкой — подносчик патронов. При нём нашли его любимые игрушки — три цветных стеклянных шара. Ведь когда он пал за свободу, ему было лишь десять лет...

Стихотворение заканчивается так:

И когда в будущем откроют музей  
И свободы реликвии там соберут —  
Среди винтовок, патронов, мечей  
Эти три шара место найдут.

**Fritz Iensen. Opfer und Sieger. Nachdichtungen, Gedichte und Berichte. S. 170. Dietz Verlag. Berlin. 1955 (Фриц Иензен. Жертвы и победители. Переводы, стихи и очерки. 170 стр. Издательство Дитц. Берлин. 1955).**

Творчеству Иензена была свойственна юношеская влюблённость в жизнь. Он хотел, чтобы павшие борцы за свободу жили вечно, как боевой клич, как знамя. Для этого он составил свой последний сборник, для этого перевёл песню о Джо Хилле, в которой легендарный Джо заявляет, что никогда не умрёт.

Сборник Фрица Иензена глубоко символичен: тот, кто на пути к победе нового мира пал, подобно Иензену, жертвой ста-

рого, тот никогда не умрёт в памяти людей.

Прошёл год с тех пор, как перестал писать этот необязательно разносторонний писатель — автор стихов, репортажей, очерков, переводов. Недавно в Вене был создан литературный фонд для премирования лучшего австрийского репортажа на социальную тему. Из года в год память о Иензене будет отмечаться присуждением литературной премии имени Фрица Иензена.

**Е. САШЕНКОВ.**



## Политика и наука

### Мифы и факты

Если ваш сосед съел на обед курицу, а вам приходится ложиться спать на тошак, то можете утешать себя тем, что, согласно статистике, в среднем вы с соседом съели по половине курицы.

Эта меткая характеристика методов буржуазной статистики, данная итальянским поэтом Триллусом, приходит на память каждый раз, когда имеешь дело с легендой, упорно создаваемой заокеанской пропагандой, об «американском образе жизни». Именно при помощи так называемых «средних цифр», когда в одну кучу преднамеренно смешиваются и огромнейшие прибыли монополистов и более чем скромные доходы подавляющего большинства населения, а затем из этого выводится «средняя» цифра доходов населения Соединённых Штатов, — и создаётся миф об «американском процветании».

Однако время от времени на страницы буржуазной печати проникают сведения, приоткрывающие завесу, созданную подобными фальсифицированными данными. Такого рода сведения содержатся в книге немелкого буржуазного публициста Л. Маттиса «Вскрытие Соединённых Штатов», вышедшей в Западной Германии и во Франции, а также в недавно опубликованной в США брошюре, содержащей отчёт специальной подкомиссии американского конгресса о положении низкооплачиваемого населения страны.

L. L. Matthias. *Autopsie des Etats-Unis*. Paris. 1955 (Л. Л. Маттис. *Вскрытие Соединённых Штатов*. Париж. 1955).

Low Income Family N. Y. 1955 (Низкооплачиваемые семьи. Нью-Йорк. 1955).

Эти материалы наносят удар по легенде о вечно процветающей Америке, легенде, упорно творимой американской пропагандой. При этом особый интерес представляет то обстоятельство, что в обоих случаях авторы в основном опираются на официальные американские данные.

В начале своей книги Маттис пишет, что он ставил своей задачей ответить на вопрос: что останется от Америки, если разрушить её фасад, «слишком хорошо известный и возносимый до небес». Частью этого фасада служит излюбленное пропагандой в США утверждение, что американский рабочий имеет свой автомобиль, живёт в своём доме и отлично питается. Но что за этим кроется?

Именно этот автомобиль, указывает Маттис, поражал воображение двух последних поколений, так как в Европе лишь сравнительно немногие могут позволить себе такую роскошь. Из этого делали вывод, что американский рабочий принадлежит к категории высокооплачиваемых.

Между тем, продолжает Маттис, дело обстоит совсем не так. Если американский рабочий может купить себе автомобиль, то это вовсе не потому, что его заработки необычайно велики, а в силу специфических условий, существующих в США. Автомобильная промышленность там невероятно разбухла, и поэтому автомобиль приобретает человека, не имеющим большого заработка, так же как, например, в Аргентине каждый человек может приобрести по крайней мере одну лошадь, хотя из этого никто не делает вывода об особом «процветании» Аргентины. Дело здесь в нацио-

нальных особенностях и в национальных традициях. Американец, пишет автор, пользуется автомобилем, как голландец — велосипедом, а северянин — лыжами.

В Америке часто бывает так, что у человека есть автомобиль, но жильё его, как свидетельствует Маттис, «представляет собой дощатую хижину, которую этот американский рабочий построил себе из старых дверей, фанерных ящиков и других подобных материалов... За исключением фундамента, в этом доме нет ничего каменного. Перегородки представляют собой рамы, на которые наколочены дощечки. Внешние стены дощатые, покрытые битуминизированным картоном... Не удивительно поэтому, что время от времени газеты сообщают о том, что ураганом снесён целый посёлок. В результате в Европе составляют себе фантастическое представление о силе американских ураганов; между тем стадо коров могло бы причинить такой же ущерб».

Далее в книге приводятся подробные данные, показывающие весьма неприглядное состояние американского жилого фонда.

Питание американского рабочего и его семьи также весьма далеко от розовой картины, которую рисует американская пропаганда, в частности особенно напиральная на то, что в меню рабочего входит порция мороженого. Когда американские рекламных дел мастера говорят о домах в Соединённых Штатах, они имеют в виду небожскрёбы, когда говорят о собственности — видят только автомобиль, а когда говорят о питании — замечают только десерт. А между тем даже официальные американские данные свидетельствуют о том, что по потреблению мяса на душу населения Америка занимает шестое место в мире, по потреблению продуктов, богатых белковыми веществами, — двенадцатое, молока и молочных продуктов — тринадцатое.

«Все эти факты, — делает вывод Маттис, — показывают, что положение американских рабочих далеко не столь благополучно, как его изображают... Конечно, он может купить подержанный автомобиль, но он делает это в си.у необходимости. Зато в большинстве случаев он живёт в скверных жилищных условиях. Его питание не отвечает тому представлению, которое о нём создавалось. Наконец, что очень важно, состояние его здоровья составляет желать лучшего, и он редко может производить необходимые расходы на лечение».

Американская полуофициальная организация «Институт Гэллопа» вычислила, что для мало-мальски сносного существования средняя семья в США должна зарабатывать в год не менее 3500 долларов. В то же время правительственные данные, приведённые в отчёте подкомиссии конгресса «О положении низкооплачиваемого населения США», говорят о том, что в 1954 году в стране имелось три миллиона семьсот тысяч семей, а также около четырёх с половиной миллионов одиноких, получавших в год менее тысячи долларов, то есть в три с половиной раза меньше официально вычисленного прожиточного минимума.

Положение этих трудящихся тяжёлое. Но ещё более тяжело положение миллионов американцев, не имеющих никакой работы и вынужденных вместе со своими семьями существовать на мизерные пособия по безработице или перебиваться случайными заработками. А между тем безработица в Соединённых Штатах продолжает оставаться одной из наиболее острых национальных проблем. 1955 год был в американской экономике годом «бума», периодом заметного промышленного оживления. И всё же несколько миллионов американцев не могли найти применения своим рукам, своему мастерству.

Это признаётся и в отчёте подкомиссии американского конгресса. По данным отчёта, в конце 1955 года в США насчитывалось сто двадцать районов, где безработица приняла настолько острые формы, что власти оказались вынужденными объявить их «районами бедствия». В качестве примера такого района приводится город Лоуренс (штат Массачусетс), в котором из пятидесяти одной тысячи работоспособных жителей одиннадцать с половиной тысяч не имели работы.

А ведь даже официальный документ американского конгресса свидетельствует о том, что подобное положение существовало и в городах Джонстон (штат Пенсильвания), Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), Терре-От (штат Индиана), Дулут (штат Миннесота) и во многих других. «Таким образом, — признаётся в отчёте, — постоянная и значительная безработица носит хронический характер и сохраняется даже в период экономического оживления; кроме того, нельзя предвидеть конца депрессии в этих районах».

Говоря о жизненных стандартах в США, американская пропаганда всегда самым

тщательным образом обходит вопрос о положении миллионов фермеров. На причины такой «стыдливости» проливает свет следующая вынужденное признание, содержащееся в отчёте подкомиссии конгресса: «Соединённые Штаты имеют огромные районы, в которых нищета сельского населения является скорее правилом, чем исключением. Во многих южных штатах наблюдается невероятная нищета сельского населения. Она существует на сахарных плантациях Луизианы и на хлопковых полях Арканзаса. Она существует от Калифорнии до Флориды, где фрукты и овощи приносят прибыльные урожаи владельцам крупных ферм, но обеспечивают лишь низкую и неустойчивую зарплату тем, кто обрабатывает землю».

Председатель американского национального фермерского союза Джеймс Дж. Паттон, выступая на заседании подкомиссии конгресса, заявил, что только за последние три года сотни тысяч фермерских семей разорились и оказались вынужденными покинуть свои фермы. Вся сельская Америка,

по словам Паттона, является сейчас районом депрессии.

В настоящее время, свидетельствует другой крупный авторитет в области американского сельского хозяйства профессор Фрэнк Дж. Уэлч, в Америке имеется полтора миллиона фермерских семей, получающих менее одной тысячи долларов дохода в год, а два миллиона фермерских семей «пытаются жить на фермах, валовая стоимость продукции которых составляет менее двух тысяч долларов в год».

Картина, прямо надо сказать, весьма далёкая от процветания. И рисуют её видные буржуазные политические деятели, конгрессмены и публицисты.

Само появление в печати этих материалов весьма симптоматично. Оно говорит о том, что буржуазная пропаганда уже не в состоянии скрывать правду о положении трудящихся Соединённых Штатов, что миф об американском процветании трещит по всем швам.

Вал. ЗОРИН.



## Путешествие на строительную площадку

Долгое время дела строителей освещались лишь в литературе, выпускаемой специальными издательствами. Строительная площадка была своего рода «белым пятном» на карте научно-художественной литературы. И вот в эту зону «писательской недоступности» вторглось перо литератора: издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу Л. Жигарева «Начало века».

Книга широка по охвату затронутых вопросов и в то же время лаконична. Второстепенное не подавило главного, несмотря на то, что в условиях современной стройки сплетается множество различных проблем. Автор преодолел немалые трудности, отбирая материал, и в результате ему удалось обрисовать чёткий облик главных «героев» строительства — кирпича и бетона. Первый из них имеет вековую историю, второй — богатейшие перспективы.

Разумеется, и кирпич и бетон лишь с большой условностью можно назвать ге-

роями: за любой техникой стоят люди, не только изменяющие её, но и изменяемые ею. Место дореволюционного тёмного «сезонника» занял культурный строительный рабочий. Тема человеческого творчества помогла автору показать, как достигается рост производительности труда, сокращение сроков строительства, экономия государственных средств. Мысль рабочих и инженеров опрокинула каноны, складывавшиеся веками.

Отображая этот процесс, Л. Жигарев вывел на страницы своей книги известного каменщика-изобретателя Ивана Ширкова. Читатель с интересом следит за развитием образа Ширкова. Рассказ о нём стал для автора одновременно и средством раскрытия научно-технического материала.

Иначе решена вторая часть книги «Бетон набирает силу». Здесь не выведен человек с таким жадным интересом к бетону, как интерес Ширкова к кирпичу. Читатель знакомится со многими людьми, работающими в различных областях науки и техники.

По сравнению с кирпичом бетон — огромный прыжок вперёд. Многочисленные факты из прошлого и настоящего этого велико-

Л. Жигарев. Начало века. Редактор Г. Айдинов. 192 стр. «Молодая гвардия». М. 1955.



ленного строительного материала позволяют читателю представить себе будущее строительного искусства.

«Начало века» — рассказ об одной из областей современной техники, о её возмож-

ностях — поможет вовлечь в орбиту интересов строителей многих молодых читателей, которым издательство адресовало эту книгу.

М. АРЛАЗОРОВ:



## Разгаданный секрет

Годы первых пятилеток, в которые рождалась могучая индустрия Советской страны, мы по праву называем целой эпохой в жизни нашего народа. Это было время необыкновенного взлёта романтических чувств, время, когда множество людей двинулось с запада на восток, с юга на север, чтобы пустыни превратить в цветущие города, вековые леса — в строительные площадки, богатства недр — в чугун, алюминий, рельсы, станки...

Юноша, стоящий в 1956 году в изумлении перед сложнейшими электронными копировально-фрезерными машинами или перед моделью нового автомобиля «Волга» на Всесоюзной промышленной выставке, или рассматривающий самолёт «ТУ-104», который недавно во всех деталях демонстрировался по телевизору, ещё и не жил на свете, когда закладывались основы той советской тяжёлой индустрии, что сделала возможным появление и вычислительных машин, и турбореактивных самолётов, и самих телевизоров.

Юноша этот не знает и той, если так можно выразиться, термической печи эпохи, в которой закалялась сталь человеческих характеров, характеров людей первых пятилеток.

Тот, кто сейчас по призыву партии едет на целину или к берегам Ангары на строительство Братской ГЭС, пройдёт суровую школу жизни, во многом напоминающую школу его отцов, создателей Сталинградского тракторного и Горьковского автомобильного заводов, Днепровской электростанции и Магнитогорского комбината. И всё-таки каждое время имеет свой неповторимый аромат, свои краски, свои песни и свои поговорки. Что другое, кроме книги, способно перенести молодого советского человека в тот суровый и прекрасный мир, который воспитал целое поколение наших людей?

Юрий Вебер. Разгаданный секрет. Ответственный редактор М. А. Зубков. 144 стр. Детгиз. М. 1955.

Вот почему с волнением перелистываешь «День второй» Ильи Эренбурга, или «Время, вперёд!» Валентина Катаева, очерки Ильина, Галина — книги, которые давно уже не переиздавались, а почему-то ждут многоотомного собрания «Избранного», прежде чем попасть к новому читателю.

Скромная книга Юрия Вебера «Разгаданный секрет», вышедшая в Детгизе, но рассчитанная на любой возраст, ни в малейшей мере не претендует на то, чтобы восполнить вопиющий пробел в литературе о людях первых пятилеток и их героических делах. И тем не менее её читаешь с чувством признательности к автору, увлекательно рассказавшему в своём очерке о том, как простые советские люди научились создавать идеально плоские, строго определённой длины небольшие концевые плитки — инструмент высшей точности, без которого не может существовать никакой другой измерительный инструмент и, следовательно, никакое производство, требующее высокого класса точности.

«Единица длины! Долго и мучительно искала её наука. Не такую случайную, зыбкую меру, как старинные локоть, фут (нога), пядь, дюйм (сустав пальца), а меру вполне устойчивую, заложенную в самой природе. Земля, вращаясь вокруг оси, повторяет свои сутки по строгому закону; отсюда единица времени — секунда. Вода замерзает и кипит при определённой температуре; отсюда постоянный её показатель — градус. Всякая окружность путем деления её на триста шестьдесят частей даёт нам математически точную меру углов — угловой градус. Ну, а мера длины? Где её природная основа?»

Этот вопрос, возникший на первых страницах книги, внезапно становится для читателя необыкновенно важным. В поисках ответа он с увлечением совершает путешествие во времени и в пространстве: автор переносит читателя к концу XVII века и снова возвращает в наши дни; ведёт его в глубокие подземелья Международного

бюро мер и весов близ Парижа, и в бронированную комнату Всесоюзного института метрологии имени В. И. Менделеева на одном из проспектов Ленинграда, в цехи московского завода «Калибр», и в маленькие кустарные мастерские.

Алексей Максимович Горький когда-то сказал, что писатель должен изображать науку не как склад готовых открытий, а как напряжённую борьбу со средой и материалом. Когда читаешь книгу Юрия Вебера, как бы участвуешь в этой борьбе человека с сопротивляющимся ему материалом, и ход мысли героев книги, естественно, становится ходом твоей мысли. Именно это делает увлекательным художественный очерк о простых советских рабочих, задумавшихся над тем, как же создавать концевые плитки (их называют также плитками Иогансона), как механизировать сложный и кропотливый труд по «доводке» плиток, то есть восстановлению их точного размера, когда сантиметр есть сантиметр, а не, скажем, сантиметр и ещё одна тысячная миллиметра...

На наших заводах есть немало изумительных мастеров, в руках которых не только умение, но и подлинное искусство обращения с материалом. О таких людях некогда писал Лесков, — кто не помнит его «Левшу»? Этих людей называют уважительно «профессорами», «ювелирами», «королями». Я встретил однажды такого человека на Горьковском автозаводе имени Молотова. Это было в первый год послевоенной пятилетки, и Павел Александрович Камышев в то время возглавлял инструментально-штамповый отдел завода. Но прежде чем стать инженером, он прошёл очень сложный путь. В прошлом Камышев, как и его отец и несколько братьев, был рабочим Сормовского завода — лекальщиком. Ему не раз приходилось иметь дело с плитками Иогансона. Он знал, как они дороги, как хранят за рубежом тайну их изготовления. Они были позарез необходимы нашей ещё только становившейся на ноги промышленности. И он в совершенстве овладел искусством их «доводки», то есть возвращения плиткам их эталонных качеств.

В Государственном оптическом институте академик Гребенщиков разработал особую пасту, названную им «пастой ГОИ», для того, чтобы с большим успехом на полировальнике «доводить» плитки Иогансона. Чтобы проверить качества своей пасты, а также для того, чтобы выяснить, смогут

ли ею пользоваться рабочие в заводских условиях, академик Гребенщиков пригласил в Ленинград группу лекальщиков с различных предприятий Советского Союза. Среди них был и Павел Александрович Камышев.

И здесь произошло событие, рассказывая о котором Камышев от волнения бледнел. Академик поручил Камышеву уменьшить две плитки Иогансона на два микрона каждую, то есть на две тысячные миллиметра. Есть специальный способ проверки точности их поверхности. Для этого на плитку кладут так называемое интерференционное стекло. Если поверхность плитки имеет теоретически точную плоскость, световые лучи, преломляясь в стекле и отражаясь от поверхности плиток, дают прямые зелёные полосы. Но эти зелёные полосы тотчас ломаются, если на поверхности плитки существует хотя бы малейшая, совершенно невидимая глазу неровность.

Камышев проделал работу по «доводке» плиток Иогансона на два микрона за полчаса. Академик не поверил. Он потребовал, чтобы лекальщик повторил свою работу при нём.

Когда Гребенщиков убедился, что работа выполнена с поразительной лёгкостью и точностью, он предложил довести плитки на один микрон.

— Сумеете? — спросил Гребенщиков.

— Попробую, — ответил Камышев.

И эта работа не потребовала более тридцати минут.

— А на полмикрона? — недоверчиво спросил академик.

Ещё через полчаса плитки были поставлены под точный оптический прибор, и оказалось, что они уменьшены ровно на половину микрона.

А когда на них положили интерференционное стекло, перед глазами удивлённого академика снова возникли ровные зелёные полосы. И вся эта работа совершалась вручную, на полировальнике с помощью «пасты ГОИ». Каким же искусством надо было обладать, чтобы уменьшить плитку на одну двухтысячную долю миллиметра!

Камышев, рассказывая это, чувствовал моё недоверие. Он не обиделся. Вынув из старого комода бумажку почти пятнадцатилетней давности, он протянул её мне. Это был отчёт практиканта Павла Александровича Камышева, прехавшего из Горького к директору Государственного оптического института академику Илье Владимировичу

Гребенщикову. Сухо и бесстрастно излагалось в нём то, что проделал сормович за время своей практики в институте. А внизу бумажки другим почерком было написано буквально следующее: «То, что проделано товарищем Камышевым, работникам нашего института — недоступно». И подпись: академик Гребенщиков.

О таких вот людях и написана книга Юрия Вебера: О Николае Кушникове, Леониде Кушникове, Дмитрие Семёнове. Их подвиг не менее увлекателен, чем достижения академика Гребенщикова или лекальщика, а потом инженера-инструментальщика Камышева. Именно Дмитрий Семёнов

создал станок, позволивший механизировать сложнейший процесс доводки плиток Иогансона. А как шёл к этому Дмитрий Семёнов, как преодолевал «сопротивление среды и материала», и рассказывает книга Вебера.

Она наполнена поэзией труда, она вводит читателя в творческую лабораторию, где мысль человеческая властвует над всем, и её увлекательное повествование искупает отдельные шероховатости стиля, злоупотребление восклицательными знаками и кое-что другое, что требовало только внимательного редакторского глаза.

**И. ГОРЕЛИК.**



### Жизнь моделей

**В** стеклянных прозрачных сосудах причудливой формы — красная жидкость. Её уровнем управляют тончайшие автоматически действующие механизмы. Казалось бы, что общего между этой сложной установкой и живым сердцем? А между тем этот аппарат — искусственное сердце, модель неутомимого «насоса», обеспечивающего кровообращение. Создатели замечательной установки добились главного: точного подобия действию обоих механизмов — живого и искусственного. В этом секрет современного научного моделирования.

Брусочек дерева или пластмассы изображает огромную плотину. В модели двигателя внутреннего сгорания вместо горячего газа пользуются подкрашенной водой. Молнию и атомные взрывы можно изучать в лаборатории и быть твёрдо уверенным в правильности всех выводов.

Теория подобия и моделирования имеет огромное значение для развития науки и техники. И атомные реакторы, и гигантские ускорители элементарных частиц, и реактивные самолёты, и новые корабли, и сверхмощные турбины обязательно проходят лабораторную стадию.

О маленьких, но надёжных помощниках изобретателя, исследователя рассказывает книга А. Морозова «Тайны моделей». Автор знакомит нас не с тем, как изготавливается та или другая модель, — он раскрывает перед читателем самую идею моделирования.

А. Морозов пишет: «Изготовление моделей — древнейшее искусство, но научное моделирование совсем молодо». Однако, несмотря на эту молодость, оно охватило уже многие отрасли науки и промышленности, им пользуется множество специалистов во всём мире.

Из книги А. Морозова читатель узнает, в чём сущность подобия, что такое модель, каким образом исследователи добиваются соответствия между моделью и оригиналом, какую роль играет размер модели, чем можно пренебречь, не рискуя вызвать в дальнейшем аварии, катастрофы. Книга словно подводит читателя к тем «окнам в будущее», через которые смотрят исследователи, проводя опыты с моделями ещё не существующих машин, аппаратов, сооружений. В книге много интересных фактов, примеров работы советских и зарубежных учёных, создававших модели, навсегда вошедшие в историю развития науки и техники.

Кто, смотря на плотину, гидроэлектростанцию, шлюз, вспоминает песчинку, обыкновенную маленькую песчинку со дна Волги, изучавшуюся в лучших лабораториях Союза, спрашивает автор. Кто, глядя на великолепные сооружения нашей эпохи, вспоминает их модели? А ведь именно они позволили строить лучше, быстрее, дешевле.

Книга А. Морозова повествует о подлинном научном подвиге людей, долго, упорно и самоотверженно трудившихся в лабораториях и на специальных площадках над созданием моделей. В ней есть рассказы

и о трагической истории модели океанской приливной станции в заливе Фэнди и о «машине будущего» — установках профессора Г. Покровского. Автор знакомит с «думающими» аппаратами и приборами, с искусственным солнцем, под которым исследуются модели зданий, с лабораторной молнией, первыми моделями атомных установок. О технике будущего, в овладении которой немалую роль играет моделирование, рассказывается в главе «Сегодня и завтра».

У А. Морозова, давно уже работающего в области научно-художественной литературы, выработался свой запоминающийся почерк. Автор остаётся верен ему в «Тайнах моделей». Каждая глава — это по существу маленькая новелла, посвящённая определённому этапу развития моделирования, появлению чего-то нового, ещё небывалого. Хорошо показаны люди, работавшие и работающие на этом трудном участке науки и техники, — Ньютон, академики Крылов, Жуковский и многие другие.

Пишет ли автор о далёком прошлом или о сегодняшнем дне, он показывает и обстановку, в которой производились опыты. Читатель как бы присутствует в лаборатории, где выполняются модели, знакомится со спецификой этой очень своеобразной работы.

Вот идёт испытание большой модели Куйбышевской гидротурбины. Глубоко в воде вертится колесо турбины, мощности которой хватило бы для обслуживания целого населённого пункта.

«И кажется, сейчас отчётливо видишь горячего исследователя первой модели реактивной турбины тут, рядом... Высокий, стройный, с большими голубыми глазами мечтателя, в нарядном кафтане с пышными кружевными манжетами, какие тогда носили, он держит в длинных тонких пальцах хрупкое сегнерово колесо и старается проникнуть во все тайны этой крошечной

лабораторной игрушки...» Это знаменитый академик Леонард Эйлер.

Вот другой отрывок, посвящённый описанию установки профессора Г. Покровского для испытания моделей «машины будущего».

«Монотонно жужжит двигатель, вертится коромысло с моделью, часы на стене лаборатории показывают, как текут минуты, но в железном ящике с волжским песком прошли уже месяцы с тех пор, как вал двигателя сделал первый оборот.

Машина останавливается, и все результаты её работы тщательно записываются в лабораторный журнал. Может быть, через многие и многие десятилетия потомки нынешних людей, изучая деятельность нашего народа, будут читать эти лабораторные журналы и с благодарностью вспомнят тех, кто, строя громадные, ответственнейшие сооружения, прилагал все свои силы, чтобы плотины и гидростанции служили не одному поколению».

«Тайны моделей» написаны живо, интересно. Большой заслугой автора является то, что он умело распределил «трудный» материал почти по всем главам книги, иллюстрируя его весьма занимательными примерами, а не сосредоточил в виде компактной тяжеловесной массы в одной-двух главах.

В книге есть пробелы, за которые читатель вправе упрекнуть автора. Почему, например, почти ничего не сказано о моделировании зданий, играющем сейчас такую большую и важную роль? Почему словно забыты модели, которыми пользуются в станкостроении? А биологическое моделирование? Больше надо было сказать и о моделировании за рубежом.

Много интересного и полезного найдёт в книге любой читатель — и тот, кого она знакомит с новым для него миром моделей, и тот, которого она наводит уже на «профессиональные» размышления.

**В. БОЛХОВИТИНОВ.**



## Столичный автор в областном издательстве

Прочитав на титульном листе книги слова «Архангельское книжное издательство», мы порадовались. Выпуск областным

**Б. Розен. Химия зелёного золота. Редактор Т. Н. Трескина. 116 стр. Архангельское книжное издательство, 1955.**

издательством научно-популярных произведений — яркое свидетельство зрелости советской культуры, очаги которой распространялись по всей стране. И естественно, что именно Архангельское издательство решило выпустить книгу о достижениях ле-

сохимии — науки о химической переработке дерева. Архангельская область издавна является крупным центром лесной и лесохимической промышленности, а Архангельский лесотехнический институт располагает кадрами высококвалифицированных специалистов, способных достойно соревноваться с учёными «столичных» вузов и научно-исследовательских учреждений.

Однако тщетны были бы попытки отыскать в книге указание на принадлежность её автора к числу архангельских научных или литературных работников. Постоянное местожительство Б. Розена отдалено от Архангельска доброй тысячей километров, и с точки зрения географической он явно должен был бы тяготеть к издательствам ленинградским и московским. Стало быть, в данном случае мы имеем дело с выступлением столичного популяризатора в областном издательстве. Конечно, никаких принципиальных возражений против этого быть не может. Полноценная книга учёного — желанный гость в любом издательстве.

Но, увы! В случае, о котором идёт речь, дело обстоит иначе. Б. Розен, насколько известно, специалистом по лесохимии не является, и отдача «на сторону» научной темы, которая, конечно же, может быть решена на месте, своими силами, невольно заставляет насторожиться. Издательство и автор, по видимому, чувствовали известную неловкость своих отношений, что нашло отражение в стремлении придать книге «местный колорит». С этой целью почти каждая глава и подглавка заканчивается упоминанием Архангельской области, которая в некоторых случаях для вящей убедительности именуется «нашей» областью. В разные места текста вкраплено перечисление имён архангельских знатных людей: «Широко известны имена мастеров леса...», «На весь Вельский район... известны имена подсолнечников...», «В области хорошо известны имена передовиков-бумажников...», «В гидролизной промышленности хорошо известны имена лучших производственников...» и т. д. К сожалению, приёмы эти не достигают цели. Выдержанные в стандартных выражениях «поминальнички», плохо увязанные с предыдущим и последующим изложением и не раскрывающие сущности новаторства архангельских рабочих, остаются в книге инородными включениями, мало аппетитным, но обязательным дежурным блюдом.

Остаётся заключить, что достоинство книги столичного автора не в местном колорите,

а в глубине раскрытия научно-технических проблем лесохимии и в мастерстве приёмов научной популяризации. Детальный анализ книги, однако, показывает, что и здесь далеко от благополучия. Произведение Б. Розена изобилует грубыми ошибками, негочностями и небрежностями в изложении научных вопросов и отнюдь не блещет свежестью и оригинальностью популяризаторского мастерства.

Вот, например, как излагает автор взгляды различных учёных на природу высокомолекулярных соединений: «Некоторые считали, что большие молекулы сложены из коллоидных частиц — сгустков или комочков, которые состоят из множества слипшихся между собой малых молекул. Они уподобляли их частицам клея, мыла, студня. Другие учёные полагали, что большие молекулы построены из кристаллов». Итак, если верить Б. Розену, были учёные, которые всерьёз могли утверждать, что молекулы могут быть сложены или построены из коллоидных частиц или из кристаллов, — не кристаллы и коллоидные частицы из молекул, а наоборот... Смеем уверить автора, что таких учёных не было и быть не могло. Б. Розен, как видно, не разобрался в существе споров и отождествил понятия «мицелла» и «молекула», что, разумеется, не могло не привести к нелепости.

На другой странице читаем: «Здесь в зелёных листьях или иглах происходят под действием солнечных лучей сложные химические превращения. Минеральные вещества перерабатываются в органические. Тут же из углекислоты воздуха вырабатываются углеводы и другие химические соединения». Буквальный смысл этих фраз сводится к тому, что минеральные вещества, впитанные корнями из почвы (об этом говорилось выше), превращаются в листьях в органические вещества, причём углекислота в этом участвует не принимает (углеводы, по видимому, автор к числу органических веществ не относит). В наше время школьники хорошо знают, что мнение это глубоко ошибочно.

По мнению Б. Розена, полимеризация — это «процесс превращения органических жидкостей в твёрдые полимеры». Почему только органических, только жидкостей и только в твёрдые? Химия знает и другие примеры.

«Целлюлоза — главная составная часть древесины — по своему химическому составу представляет собой углеводы — сахара-

стые вещества, но такие, которые не пригодны в пищу», — утверждает автор. Непонятно, почему целлюлоза названа не углеводом, а углеводами и почему она стала «сахаристыми веществами». Как известно, в химии углеводы делятся на сахароподобные и несакхароподобные, и целлюлоза относится к последним.

Небрежность, с которой автор обращается с научными понятиями, проявляется на каждом шагу.

Вот примеры:

«В молекуле поваренной соли атом натрия соединяется только с одним атомом хлора», — пишет Б. Розен. Это самый неудачный пример молекулы, какой только можно придумать. В растворе «молекулы» поваренной соли не существуют, а в кристалле каждый атом натрия в равной степени связан с шестью атомами хлора, а атом хлора — с шестью атомами натрия.

«В настоящее время уже известно сто химических элементов (восемь получены искусственным путём)». Автор, очевидно, не знает об астатине и технеции.

«Опыты... показали присутствие в молекуле лигнина определённых атомных групп, называемых кето-энольными». Таких групп не существует, химики знают кето-группы и энольные группы, способные к взаимопревращению (явление кето-энольной таутомерии).

«Крахмал накапливается в корнях, клубнях и семенах. Весной он снова превращается в сахар, который образует целлюлозу в растущих почках растения. Поэтому (подчёркнуто нами. — Б. С.) крахмал хорошо осаживается и вне растения». Почему — «поэтому»? Мы знаем множество процессов, с лёгкостью протекающих в живом организме, но без всяких «поэтому» не поддающихся или трудно поддающихся воспроизведению вне организма.

Число примеров подобной небрежности можно было бы значительно умножить.

Не вызывают восторга и популяризаторские приёмы автора. Настойчивое стремление заинтриговать читателя «заманчивыми» заголовками («Удивительные превращения древесины», «Волшебные метаморфозы отбросов», «Чудесная азбука», «Рождённые

огнём» и др.) не достигает цели, так как подлинная занимательность в изложении отсутствует и достижения науки и техники преподносятся не как плоды упорных и увлекательных исканий, а как нечто само собой разумеющееся. Это, безусловно, снижает воспитательное значение научно-популярной книги.

Содержание книги лишено внутреннего единства. Отдельные главы почти не связаны друг с другом сюжетно, и почти все они могут меняться местами. Даже глава вторая, посвящённая теории строения органических соединений вообще и высокомолекулярных соединений в частности, не стала цементирующим началом книги, ибо она написана так, что многие затронутые в ней вопросы повисают в дальнейшем в воздухе (например, вопрос об изомерии), а кроме того, химизм процессов, упоминаемых в последующих главах, затрагивается чрезвычайно бегло и поверхностно, по существу в отрыве от излагаемого материала.

Пытаясь убедить читателя в значительности вклада отечественных учёных в развитие науки и техники, автор вместо рассказа о творчестве наших учёных, о путях, приведших их к открытиям и изобретениям, ограничивается стандартными фразами, весьма напоминающими отписки в адрес новаторов лесной промышленности Архангельской области: «Значительный вклад в развитие советской лесохимии внесли работы академиков... профессоров... и других». «Огромную роль в развитии новой науки — химии высокомолекулярных соединений сыграли труды выдающихся русских и советских учёных... и других». Подобные перечисления можно встретить на ряде страниц.

Столь же однообразны и другие литературные приёмы автора. «Длинный путь проходит порошок, прежде чем снова превратится в уксусную кислоту» (стр. 51). «Длинный путь проходит целлюлоза, прежде чем превратится в нити вискозного шёлка» (стр. 75).

Книга Б. Розена «Химия зелёного золота» никак не может считаться достижением Архангельского издательства.

*Кандидат химических наук*  
**Б. СТЕПАНОВ.**



# ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

## НЕИЗВЕСТНЫЙ ФЕЛЬЕТОН ГЕРЦЕНА

В шестом номере герценовского «Колокола», вышедшем в свет 1 декабря 1857 года, был напечатан небольшой, но чрезвычайно остроумный фельетон, озаглавленный «Regata<sup>1</sup> перед окнами Зимнего дворца». Анонимный автор изобразил в нём возню, затеянную перед императорским тронном двумя соперничающими царедворцами — Яковом Ростовцевым и князем Петром Вяземским.

Первый из них приобрёл позорную известность доносом на своих друзей-декабристов в 1825 году. Донос этот, названный официальным биографом Николая I, бароном Модестом Корфом, патриотическим подвигом «юного энтузиаста», не остался без компенсации: перед доносчиком широко распахнулись парадные двери служебной карьеры. К моменту выхода в свет фельетона он был уже генералом, главным начальником военно-учебных заведений и одним из наиболее влиятельных сановников в Петербурге.

Второй — поэт князь Вяземский, некогда друг Пушкина, Мицкевича, Жуковского и многих декабристов, автор сатирических стихотворений, бичевавших самодержавие, — после разгрома восстания посвятил себя служебно-бюрократической карьере и приобрёл репутацию ревностного защитника принципов, которые некогда сам ненавидел и клеймил. В 1857 году он занимал пост товарища министра народного просвещения и осуществлял руководство цензурой.

Либеральные реформы Александра II, несмотря на их робкий и половинчатый характер, вызвали откровенное сопротивление среди правящей верхушки, особенно в так называемом «чёрном кабинете», негласном реакционном правительстве, к которому принадлежал и Ростовцев. С явным неудовольствием встретил Ростовцев изменение некоторых порядков в области народного просвещения. Скромный московский учитель Батистов осмелился похвалить эти нововведения в «Санктпетербургских ведомо-

стях». «Энтузиаст» Ростовцев спешит пожаловаться на это царю. В конфликт вступает Вяземский, и между ними начинается настоящая потасовка. Подвергая осмеянию эту трагикомическую эпопею, автор фельетона «Regata перед окнами Зимнего дворца» рельефно обрисовывает и самого Александра II — безличное и покорное орудие в руках своих

собственных слуг.

Едкая сатирическая манера, в которой выдержан фельетон, его стилистические особенности и самый характер высказываний о Ростовцеве и Вяземском, полностью совпадающих с аналогичными высказываниями Герцена, свидетельствуют о том, что он является автором статьи «Regata перед окнами Зимнего дворца». Несмотря на этот факт, фельетон не привлекал к себе внимания издателей Герцена, и ни в одно из собраний его сочинений он введён не был.

Между тем существует прямое документальное свидетельство авторства Герцена. Мы обнаружили его в шестидесятом номере женевской газеты «Вольное слово» за 1883 год, где напечатано большое письмо известного славянофила И. С. Аксакова от 16 октября 1857 года, адресованное Герцену. Из письма этого явствует, что Герцен написал свой фельетон по просьбе Аксакова, сообщившего ему все основные факты о конфликте между Ростовцевым и Вяземским. «Вот вам один случай, который расскажите в «Колоколе», — писал Аксаков. — По поводу указа государя, чтобы в гражданские учебные места не помещать воспитателей из военных, как было при Николае, в фельетоне «Петербургских ведомостей» была помещена статья, в которой, между прочим, сказано: с каким восхищением и благодарностью к царю прочли мы указ такой-то и пр. Ростовцев — тотчас к государю с жалобой, говоря, что это оскорбление военному ведомству и оскорбление покойному государю, что отменённая мера ещё недавно имела силу закона, что такое выражение сочувствия всяким новым распоряжениям правительства есть как бы осуждение старых и пр. — Бедный Алекс. Ник., сдуру, в тот же вечер указал на этот фельетон Вяземскому и повторил слова Ростовцева. Вяземский, вместо того, чтобы защищать газету, перепугался и на другой же день издал гнуснейший и глупейший

<sup>1</sup> Гребные гонки (итал.).

циркуляр, в котором повторил и ещё отвратительнее развил смысл слов Ростовцева, но так как Министерство Нар. Просв. пикируется с Ростовцевым, то Вяз. произвёл следствие и открыл, что автор статьи — учитель Московского кадетского корпуса Батистов. Вяземский, обрадованный, тотчас к государю, что вот-де Ростовцев пожаловался, а виноваты его чиновники. Государь Ростовцеву: «Т в о и ж е пишут, а ты жалуешься на Министерство». Узавлѣнный Ростовцев немедленно послал приказание в Москву выгнать Батистова. Директор корпуса, признавая Батистова лучшим и незаменимым учителем корпуса, осмелился удержать Батистова на службе до приезда Ростовцева в Москву, но когда директор заикнулся о нём, то Ростовцев спросил с удивлением: разве он ещё здесь? Одним словом, бедного учителя лишили места!»

Используя общѣнные Аксаковым сведения, Герцен создал блестящий фельетон, один из остроумнейших образцов русской обличительной миниатюры.

Л. ЛАНСКИЙ.

★

**БАСНЯ** 20—22 февраля  
**«ОСЛЫ И ЛЕВ»** 1901 года Л. Н. Толстой был отлучѣн от церкви за свои антицерковные и антиправительственные убеждения. Этим своим актом царское правительство добилося того, что имя Льва Толстого стало ещё более популярным в народе.

В Орловском архиве обнаружена басня, написанная в первые дни после отлучения Л. Н. Толстого, которая нелегально распространялась среди населения. Об этом елецкий уездный исправник Кононов секретно доносил орловскому губернатору Трубникову 21 марта 1901 года:

«В г. Ельце у некоторых, а может быть и у многих, интеллигентных лиц имеется басня в рукописях под заглавием «Ослы и Лев». Кто автор этой басни — мне неизвестно, хотя есть слух, что она, будто бы, принадлежит перу русского писателя Л. Н. Толстого... В конце означенной басни сказано: «просят переписывать и распространять».

К своему рапорту елецкий исправник приложил полный переписанный текст басни.

### ОСЛЫ И ЛЕВ

В одной стране, где правили ослы,  
 Лев завѣлся и стал налево и направо  
 О том, о сѣм судить... И вот во все углы  
 Про речи львиные зашла далѣко слава.  
 Известно всем, какой лъвам громкий голос дан,

Какая скрыта в них и сила и отвага,  
 А этот первым был среди и львиных стран  
 И громко говорить для всех считал за благо.

И так как лъвы ничуть не схожи на ослов  
 И всё в привычках их и их речах иное,  
 То всё правление ослиных тех голов  
 От львиной дерзости лишилося покоя.  
 «Как! Рядом долгих лет, природные ослы,  
 Обычай наш и нрав привили мы народу,  
 А дерзкий Лев рычит на нас свои хулы  
 И под носом плодит нам львиную породу.  
 К несчастью пущему, народ наш не глухой  
 И дан язык ему, как ни прискорбно этой  
 Один послушает, послушает другой. —  
 Глядишь, и разнесут ту ересь на полсвета.  
 Судить немедля Льва!» И семеро ослов  
 Собрались заседать — как быть с врагом косматым.

И сановнейших ослиных семь голов  
 Так разрешилося посланием чреватым:  
 Лев назван гибельным служителем страны,  
 Порвавшим дерзостно с премудростью ослиной,

За что и ждут его рогатки сатаны,  
 Лизанье сковород и свист и шип змеинный.  
 Готовы б съестъ ослы, да все боятся Льва,  
 И только издали они его лягали,  
 И даже ясно так звучали их слова:  
 «Вам, Лев неистовый, покаяться нельзя ли?»

Забудьте львиные замашки и хулы,  
 Хоть очень смелы вы, но мы ведь тоже в силе!  
 Покайтесь, будет вам, подите-ка в ослы...  
 Кто знает!.. Может быть, чины бы получили...»

Когда же Льву прочли зловещую рацею,  
 То он сказал, метнув презрительно хвостом:  
 «Здесь всё написано ослиным языком,  
 А я лишь понимать по-львиному умею».

В. В.

Орловский губернатор Трубников немедленно после получения рапорта елецкого исправника отправил басню в Петербург в департамент полиции.

Дальнейшая судьба басни «Ослы и Лев» неизвестна. Может быть, в Ленинградских архивах кому-либо удастся узнать, как поступили с ней чиновники из департамента полиции, и установить имя автора басни.

В. ЩЕПЕЛЕВ.

г. Орёл.





# РЕПЛИКИ

## ОЧЕВИДНАЯ ИСТИНА

Книжное дело и библиография имеют огромное значение в развитии культуры. Доказывать эту очевидную истину вряд ли нужно. Достаточно ознакомиться с трудом покойного Н. В. Здобнова «История русской библиографии до начала XX века», вышедшим третьим изданием в 1955 году, чтобы убедиться, как много сделали в этой области наши многочисленные, частью совсем безвестные доревольционные библиографы. Крупнейшими именами тут являются Н. И. Новиков с его «Опытом исторического словаря о российских писателях» (1772), В. С. Сопиков с «Опытом российской библиографии» в пяти частях (1813—1821), В. И. Межов с трёхтомной «Сибирской библиографией» (1903). Вот образцы трёх важнейших видов научной, по мере возможности исчерпывающей библиографии с 80-х годов XVIII века.

В наше время особенно интенсивно развивается рекомендательная библиография. Рекомендательные библиографии, преследующие учебные цели, имеют безусловное право на существование. Но ограничиваться только рекомендательной библиографией ни в каком случае невозможно. Хотя, скажем здесь, что и в области рекомендательной библиографии не всё

у нас благополучно. Совсем не печатает своих работ такой известный библиограф, как Владиславлев. Вообще библиографии

уделяется меньшее внимание, чем раньше. Кстати, об этом же говорит в своей реплике и И. Эвентов («Новый мир» № 8 за 1955 год).

Недавняя Всесоюзная книжная выставка в Москве показала большой размах книгоиздательского дела в СССР, но среди богатых стендов, представлявших работу наших издательств, увы, отсутствовал стенд книг по библиографии. Представлена была только продукция Государственной библиотеки имени Ленина.

Как же будет двигаться вперёд наука, если исследователь не может справиться, что выходило в свет по интересующему его вопросу, не может уточнить своих знаний? Библиографические книги должны включать не только избранных авторов и избранные произведения, но по возможности всё, что когда-либо выходило из печати. Дело историков литературы производить оценки. Библиографы должны быть летописцами, должны устанавливать и уточнять самые факты. Книжки, не попавшие в библиографию, исчезают для потомства.

У нас до революции вышел ряд ценных книг по областной библиографии, например, «Деятели Ярославского края» К. Д. Головщинова (Ярославль. 1898—1899) или особенно хорошо изданный краткий библиографический словарь учёных и писателей Полтавской

губернии, составленный И. Ф. Павловским (Полтава. 1912). А что вышло из областной библиографии за последние годы? Где у нас сейчас достойные заместители Новикова и Сопикова? Пора уже этим вопросом заняться всерьёз. Надо растить новые кадры библиографов, надо облегчить возможность печататься старым библиографам, таким, как Берков, Боднарский, Владиславлев и другие. Для этого следовало бы, на мой взгляд, организовать библиографическое издательство хотя бы на базе Всесоюзной книжной палаты, которое выпускало бы исчерпывающие библиографии по всем отраслям знаний.

Проф. И. РОЗАНОВ.

★

## ПЯТЬ ОКОН НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО...

Известно, с каким жаром относился Владимир Маяковский к своей работе над плакатом. «Грозным смехом» назвал он свою статью об Окнах РОСТА. В том, что смех плаката не перестал быть грозным и притягательным, нетрудно убедиться, пройдясь по московской улице Горького.

С недавних пор около одного из домов тут стала собираться толпа. В этом доме помещается Оргкомитет Союза советских художников. Но собираются на тротуаре перед ним не только одни художники.

Люди смотрят в окна витрин. Там выставлены плакаты, и хотя язык, которым они сегодня говорят, действительно «шершавый», чтобы не сказать косноязычный, притягательная сила сатири-

ческого плаката настолько велика, что никто не проходит мимо.

Графика художников Брискина и Иванова лучше сопровождающих её текстов, хотя и против неё у нас есть возражения. В наших карикатурах за последнее время выявился некий иероглиф стилиаги. Это парень в узких брюках и в ботинках на каучуковых подошвах. Нет нужды доказывать, что эти два атрибута вовсе не определяют собой сущность стилиагичества и что в плохую погоду ботинки на толстой подошве очень удобны. Что же касается текстов, то здесь дело обстоит хуже.

Автором трёх первых номеров Агитплаката был один-единственный человек. Имя его Мих. Пустынин, делает он работу поистине героическую, на его плечи легло продолжение плакатной традиции Маяковского, что явно не каждому по плечу. Отсюда и такие непритязательные стишки:

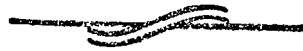
Спи, родной. У папы-мамы  
Ты сынок любимый самый,  
Будь спокоен мальчик-пай,  
Не уедешь в дальний край!

Но и они имеют успех и, вызывая улыбку, заставляют о многом задуматься. А если бы сюда приложили руку такие мастера, как, скажем, Николай Асеев, у которого в прошлом было

немало удач в этой области? Сейчас к стихотворным текстам прикоснулся А. Безыменский, а сатирические плакаты стали появляться и в витринах выставочного зала на Кузнецком мосту. Это говорит о плодотворности начинания, но почему из тысячи тысяч московских витрин лишь несколько отдано таким плакатам? Почему мы не видим плакатов со стихами в парках культуры?

Традиции Маяковского — боевые и жизнеутверждающие — требуют своего продолжения не кустарными методами...

**И. РАХТАНОВ.**



# МЕЖДУ ПРОЧИМ...

## ПЕЧАЛЬНОЕ ЕДИНОМЫСЛИЕ

Недавно Крымское издательство выпустило в свет тиражом в 50 тысяч экземпляров роман Фенимора Купера «Пенитель моря», Курское издательство тиражом в 100 тысяч экземпляров напечатало «Дуэль» Джозефа Конрада, Смоленское — «Кровь и песок» Бласко Ибаньеса.

Трудно возразить против того, чтобы периферийные издательства выпускали в свет переводные книги (конечно, если это не идёт в ущерб основным задачам этих издательств). Но мы сейчас хотим говорить не об этом. Выпуская трёх различных авторов, три различных издательства проявили удивительное и огорчительное единомыслие в одном вопросе. Каждое из них обнародовало фамилии редакторов, художников, технических редакторов и корректоров издания, но ни одно не удостоило такой чести переводчиков. Более того, Крымиздат вообще не указал, с какого языка переведён роман, а Курское издательство снабдило книгу краткой справкой о Конраде, такой туманной, что из неё никак невозможно понять, на каком языке он писал.

Итак, переводчики неизвестны, а жаль! Наверное, читателю было бы любопытно узнать, кому принадлежат беспомощные и просто безграмотные обороты, которыми пестрят страницы перевода, скажем, романа Ибаньеса. Не угодно ли: «Горреро от темени до затылка, остальной частью своей персоны он служил портным и помощником своему товарищу...» (стр. 15); «...он взвешивал всю громадность этой небрежности, равносильной вызову несчастья» (стр. 16); «Таковы уж годы, доктор, — с некоторой меланхолией ответил эспада. — Мы стареемся» (стр. 20); «Проворный малый стал зашивать и насаживать простые и двойные булавки по всему телу маэстро, превратив его одежды в одно целое» (стр. 22); «Он чувствовал, что сегодня будет неудача и что половина цирка вскочит, крича и бранясь, называя его бессовестным и неблагодарным относительно тех, кто способствовал его возвышению» (стр. 194).

Поскольку издательство не сочло нужным обнародовать фамилию переводчика, полную ответственность за косноязычность и безграмотность текста должен нести редактор — В. Звездаева.

Серьёзные, хотя и не столь вопиющие недостатки есть и в анонимном переводе, напечатанном в Симферополе. Если Смоленск и Симферополь лишили читателей возможности высказать переводчикам упреки, то Курск — возможности по-

благодарить за вполне корректный перевод.

Всё это воскрешает обычаи тех изданий, которые вошли в историю книжного дела под печальным наименованием «пиратских». А это не к лицу нашим издательствам!

Л. С.



## ГЕОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИЯ

Кто бывал в Закарпатской Украине, знает, что в составе её населения есть венгры и что поэтому здесь выходит газета и издаются книги на венгерском языке. Но и тот, кто не бывал в Закарпатье, может это узнать: достаточно раскрыть в энциклопедии том со статьёй «Закарпатская область».

К сожалению, именно этого не сделали составители и редакторы солидного библиографического издания «Ежегодник книги СССР». В только что вышедшем томе «1955 год. 1-е полугодие» находим весьма странную библиографическую справку:

«Уй ханг. Сборник произведений венгер. писателей Закарпатья. Ужгород. Закарпат. обл. Кн.-журн. изд. 1954 год. Венгер.»

Что же странного в этой справке? Только одно. Описание книги, содержащей произведения советских литераторов, пишущих на венгерском языке, включено в раздел «Иностранная литература».

О. С.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН.** Рождение будущего. Очерки. «Советский писатель». М. 1956. 228 стр. Цена 4 р. 15 к.

Автор этого сборника очерков известен читателю, как писатель, чьё внимание обращено на животрепещущие проблемы, связанные с развитием промышленности, и на людей, осваивающих новую технику.

В очерке «Шагающий гигант» автор описывает создание славным коллективом конструкторов, инженеров и рабочих Уралмаша уникальной машины — большого шагающего экскаватора. С работой этого гиганта читатель познакомится из очерка «Строители», в котором действие переносится на Волго-Дон.

Прославленные люди труда — Анатолий Усков, Дмитрий Слепуха и многие другие отважные строители — герои очерков А. Злобина.

Два последних очерка книги даны пэд общим; заголовком «Заметки корреспондента». Здесь автор делится с читателем своими наблюдениями над работой уральских и харьковских машиностроителей (очерки «Уральские встречи» и «Стружка»).

**Е. БЕРЛЯНД-ЧЕРНАЯ.** Моцарт. Жизнь и творчество. Музгиз. М. 1956. 296 стр. Цена 1 р. 90 к.

В этом году Государственное музыкальное издательство выпускает вторую книгу, посвящённую гениальному австрийскому композитору Вольфгангу Моцарту. Если в первой книге автор её Т. Ливанова главное внимание обращает на связи русской культуры с музыкой Моцарта, то в аннотируемой книге Е. Берлянд-Чёрная делает попытку дать всесторонний обзор жизни и творчества композитора.

Это отранно: и советским музыковедам и исполнителям предстоит ещё многое сделать для раскрытия многогранной личности и творчества Моцарта.

Известно, что наследие Моцарта огромно. На протяжении своей недолгой жизни он написал семнадцать опер, сорок девять симфоний, тридцать шесть оркестровых сюит, двадцать шесть струнных квартетов и множество других музыкальных произведений.

Но многие даже лучшие творения Моцарта мало доступны слушателю, справедливо указывает автор книги. Происходит это потому, что их слишком редко исполняют. Они ещё ждут своего возрождения. И то, что книга напоминает о них, её немалое достоинство.

**50 ЛЕТ ПУШКИНСКОГО ДОМА (1905—1955).** Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1956. 246 стр. Цена 11 р. 55 к.

Исполнилось пятьдесят лет со дня основания одного из ведущих в нашей стране научно-исследовательских центров литературоведения — Института русской литературы — Пушкинского дома Академии наук СССР в Ленинграде. Этому юбилею посвящён вышедший в свет исторический очерк. Он написан коллективом научных сотрудников института. В книге обстоятельно изложена история возникновения Пушкинского дома и развития его научной деятельности. В Рукописном отделе института сосредоточено рукописное наследие великого поэта, а также богатейшие собрания древних русских рукописей и рукописей классиков русской и зарубежной литературы. Большие собрания культурно-исторического и художественного значения хранятся в Литературном музее и библиотеке института. Коллекции Пушкинского дома имеют бесспорно мировое значение.

За пятьдесят лет своего существования Пушкинский дом внёс значительный вклад в изучение русской и западноевропейской литературы. Непосредственное участие в деятельности Пушкинского дома в тридцатые годы принимали А. М. Горький, А. В. Луначарский и А. Н. Толстой. В книге показано, в каких направлениях развивалась и развивается научно-исследовательская работа института, и охарактеризована деятельность его отделов и секторов и ведущих сотрудников, исследовательские труды которых заслужили высокую оценку научной общественности.

К книге приложена подробная библиография изданий Пушкинского дома. Книга снабжена многочисленными иллюстрациями.

**МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ.** Издательство Московского университета. 1956. 488 стр. Цена 15 р. 65 к.

Книга состоит из опубликованных в своё время мемуаров различных авторов, главным образом питомцев Московского университета. В них освещена деятельность университета, общественная жизнь в его стенах, быт профессуры и студенчества. Мемуары напечатаны преимущественно в извлечениях и отрывках. Среди авторов — выдающиеся русские учёные, политические и общественные деятели, писатели: Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьёв, Н. В. Склифосовский, К. А. Тимин-

рязов, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, К. С. Аксаков, Я. П. Полонский и другие. Составителем использованы статья и письмо из ленинской «Искры» за 1901—1902 годы и воспоминания старейших революционных деятелей — создателя первого марксистского кружка в университете С. И. Мицкевича, вылающегося советского государственного деятеля Н. А. Семашко, армянского революционера Сурена Спандарина.

Хронологические рамки собранных в книге мемуарных материалов охватывают жизнь университета примерно за столетие — с середины десятих годов XIX века до Октябрьской социалистической революции.

Книга снабжена комментариями.

**И. И. ЛЕВИТАН.** Письма, документы, воспоминания. Государственное издательство «Искусство». М. 1956. 336 стр. Цена 18 р. 75 к.

До сего времени эпистолярное наследие И. И. Левитана публиковалось далеко не полностью, преимущественно в выдержках и цитатах. Между тем, взятое в целом, оно представляет большой интерес. В сборнике опубликованы письма художника к Чехову, П. М. Третьякову, В. Д. Поленову, А. Н. Бенуа, А. М. Васнецову и другим деятелям русской культуры. Письма содержат ценные для биографии Левитана фактические сведения, его суждения о своём творчестве, характеристики друзей и знакомых.

Воспоминания о Левитане принадлежат самым различным людям, встречавшимся с ним. Здесь и такие выдающиеся мастера литературы и искусства, как М. В. Нестеров, М. П. Чехова, Т. Л. Щепкина-Куперник, К. Ф. Юон, и скромные рядовые люди, когда-либо соприкасавшиеся с ним. Но все воспоминания рисуют нам Левитана как человека большого таланта и обаяния, глубокой эрудиции и широкого круга интересов.

**ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.** Сборник статей. Госполитиздат. М. 1956. 376 стр. Цена 7 р. 60 к.

Позысить уровень руководства сельским хозяйством; глубже изучать проблемы экономики, учиться лучше считать народную копейку — в выполнении этих указаний XX съезда КПСС существенную помощь окажет сборник, объединяющий ряд статей по важнейшим вопросам экономики сельского хозяйства, ранее опубликованных в партийной и экономической печати.

**О. К. ДОБРОЛЮБСКИЙ.** Микроэлементы в сельском хозяйстве. Сельхозгиз. М. 1956. 64 стр. Цена 85 к.

Проблема микроэлементов приобретает всё большее значение. Работы советских учёных доказали значительную эффективность использования марганцевых, борных, цинковых, медных и других микроудобрений для повышения урожайности разнообразных сельскохозяйственных культур.

Научно-популярная брошюра О. Добролюбовского, рассчитанная на широкие круги читателей, даёт интересные сведения о предпосевной обработке семян и внекорневом питании растений микроудобрениями, рассказывает о применении микроэлементов в животноводстве.

**Г. Т. ТАЙМАНОВ.** Развитие советской государственности в Казахстане. Юридическое издательство. М. 1956. 132 стр. Цена 4 р. 45 к.

В книге, представляющей собой краткий историко-юридический очерк, показано, как благодаря Октябрьской революции, пробудившей самосознание и активность казахского народа, была установлена Советская власть в Казахстане, как с помощью братских советских народов преодолелась вековая отсталость бывшей царской колонии.

**П. К. КОЗЛОВ.** По Монголии и Тибету. Географгиз. М. 1956. 232 стр. Цена 3 р. 80 к.

Центральная Азия всегда манила к себе русских путешественников и учёных. Они внесли большой вклад в изучение этой величественной и труднодоступной части Азиатского материка. Одним из наиболее выдающихся путешественников, открывшим неизвестные до того европейцам места Центральной Азии, был Пётр Кузьмич Козлов, начавший свою деятельность под руководством знаменитого Пржевальского. Козлов особенно прославился открытием в Монголии развалин мёртвого города Хара-Хото.

Книга «По Монголии и Тибету» представляет собой сокращённый рассказ о путешествии Козлова в 1899—1901 годах, впервые изданный в 1905—1906 годах под названием «Монголия и Кам». Написанная живым языком, свидетельствующим о литературном таланте автора, полная метких и глубоких этнографических наблюдений и всесторонних сведений о природе, она сохранила своё значение и в настоящее время.

**Н. Н. ДЕНИСОВ.** На реактивных самолётах. Военное издательство. М. 1956. 168 стр. Цена 3 р. 75 к.

15 мая 1942 года, когда на фронтах Великой Отечественной войны развёртывались ожесточённые сражения, на одном из глубинных аэродромов нашей страны было вывешено красное полотнище со следующими имевшими глубокий смысл словами: «Привет капитану Бахчиванджи — первому лётчику, совершившему полёт в новое». Испытание советского самолёта-истребителя «БИ», снабжённого ракетным двигателем, прошло успешно.

С тех пор наша реактивная авиация достигла замечательных успехов. О путях развития реактивной техники рассказывает книга полковника Н. Н. Денисова. Читателя она ознакомит с современными реактивными двигателями, с особенностями скоростного полёта, с советскими конструкторами — создателями первоклассных самолётов.

**В. КИНГИСЕПП.** Борьба против иностранных империалистов и их пособников. Эстонское государственное издательство. Таллин. 1956. 140 стр. Цена 3 р. 55 к.

Книга представляет собой сборник статей и листовок выдающегося сына Эсто-

нин, руководителя эстонских коммунистов, отдавшего жизнь в боях за свободу своей родины. Кингисепп беспощадно разоблачает коварные планы империалистических государств, которые в 1918—1920 годах были организаторами военной интервенции против Советской страны. Книга воскрешает героические события — борьбу эстонской компартии и народных масс против захватчиков и предательской политики буржуазных националистов.

**ПРЕОБРАЖЕННЫЙ КРАЙ.** Сборник Магаданское областное книжное издательство. 1956. 400 стр. Цена 9 р. 50 к.

«Северной пустыней», «Страной ледяного безмолвия» называли прежде Чукотку — суровый край, широко раскинувшийся на самой дальней северо-восточной окраине нашей страны. Теперь там создается промышленность, строятся заводы, рудники, жилые дома. Через непроходимую тундру прокладываются автомобильные дороги, проводятся линии высоковольтных электропередач.

Сборник содержит очерки о природе, экономике и культуре края, перед которым Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану открывают новые широкие перспективы. Во второй части книги собраны очерки и стихи местных писателей о Чукотке и её людях.

**С. Р. МИРОТВОРЦЕВ.** Страницы жизни. Медгиз. Л. 1956. 199 стр. Цена 8 р. 10 к.

Имя Сергея Романовича Миротворцева — крупного хирурга, замечательного врача, общественного деятеля — широко известно медицинским работникам нашей страны. Но адрес его книги гораздо шире. Это воспоминания человека, прожившего большую, содержательную жизнь, полную творческого труда на благо Родины. Воспоминания охватывают почти сорокапятiletний период жизни автора, начиная с русско-японской войны, участником которой он был, до победоносного завершения Великой Отечественной войны.

**Д. ЗАТУЛОВСКИЙ и Л. КРАСАВИН.** Дни на Памире. Профиздат. М. 1956. 191 стр. Цена 5 р.

О гордой и могучей красоте Памира, об отважных советских людях, штурмующих неприступные вершины гор, повествует эта книга «Рассказ в ней, — говорят авторы, — в основном соответствует действительному ходу событий, описания относятся к реально существующим местам». В книге изложена история двух альпинистских экспедиций, достигших высоты более семи тысяч метров над уровнем моря. Герои рассказа — советские альпинисты-рекордсмены.

### *Сдаются в печать...*

Издательство Академии наук СССР — крупнейшее и старейшее научное издательство в нашей стране. Оно существует более двухсот лет — с того времени, когда была основана Российская Академия наук.

Размах издательской работы резко увеличился после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1913 году продукция издательства составила 1440 авторских листов, а в 1953 году число их возросло до 15 тысяч. В текущем году оно будет доведено до 29 600. Количество названий книг и отдельных выпусков журналов увеличится с 1200 в 1955 году до 1450 в нынешнем.

Книги, выходящие в Издательстве Академии наук, отличает энциклопедическое разнообразие. Среди них произведения классиков отечественной и зарубежной науки, а также современных советских учёных, академические собрания сочинений классиков литературы. Издания сопровождаются подробными комментариями и научным аппаратом.

Отделение литературы и языка Академии наук СССР выпускает очередной, шестидесятый том (вып. 2) «Литературного наследства» — о декабристах-литераторах. Том посвящён Николаю Бестужеву как художнику. В книге впервые воспроизводится обширная портретная галерея декабристов и их жён, созданная Николаем Бестужевым. Представлены и его зарисовки Читинского и Петровского заводов. Книга содержит указатель ко всем трём томам «Декабристы-литераторы».

Институт языкознания подготовил к сдаче в производство том V «Словаря современного русского литературного языка», составленный коллективом авторов под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР С. Г. Бархударова и Э. И. Каратаева.

Институт мировой литературы имени А. М. Горького сдаёт в печать большой труд «Русская советская литература 1954—55 гг.». Книга имеет подзаголовок «Материалы научной сессии Института мировой литературы им. А. М. Горького». В ней помещён ряд докладов, прочитанных на сессии и посвящённых советской прозе, драме, лирике, поэме, кинодраматургии, сатире.

Пять книг подготовил Институт русской литературы. Это «Некрасовский сборник», вып. 2, «Вопросы советской литературы», т. IV (фольклор в русской советской литературе), «История русской литературы», т. IX, ч. 2, «Пушкин, Материалы и исследования» и работа Б. В. Томашевского «Пушкин», т. I.

В серии «Литературные памятники» выходят два тома избранных произведений Жан Поль Марата, народные сказания о герое Албании — «Повесть о Скандербеге», бессмертная поэма Фирдоуси «Шах-наме».

В текущем году будет завершён выпуск академического двенадцатитомного собрания сочинений В. Г. Белинского и шеститомного — М. Ю. Лермонтова. Выйдут в свет седьмой, восьмой и девятый тома собрания сочинений А. И. Герцена.

Институт истории искусств выпустит XI том многолетнего издания «Истории русского искусства». В книге помещены материалы о развитии советского изобразительного искусства и архитектуры с 1917 по 1934 год, в том числе около трёхсот иллюстраций, часть которых — цветные. Вскоре выйдет в свет работа академика И. Э. Грабаря «Новооткрытый Рембрандт».

Институт истории заканчивает работу над «Очерками истории СССР периода феодализма». В текущем году выйдут два тома по истории России XVIII века. Институт выпустит капитальную монографию А. Л. Нарочицкого «Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке в 1860—1895 гг.» и много других монографий и сборников научных работ.

Нашему великому соседу — Китаю — посвящены три книги, подготовленные в Институте востоковедения: В. М. Алексеев «Переводы китайской классической прозы», В. А. Масленников «Экономический строй Китайской Народной Республики» и «Некоторые вопросы китайской грамматики».

В ближайшее время читатели получат второй и третий тома избранных трудов крупнейшего советского востоковеда, знатока арабской литературы академика И. Ю. Крачковского.

Институт философии начинает издание труда «История философии» в двух томах. В нынешнем году выйдет первый том.

Работники литературы и искусства с интересом встретят книгу В. И. Серебровского «Основные вопросы советского авторского права», подготовленную Институтом права Академии наук СССР.

О всё более глубоко вторжении науки в различные области жизни лишний раз свидетельствуют хотя бы такие разнообразные труды, выходящие в Издательстве Академии наук СССР, как «Вопросы жизни моря» (Институт океанологии), «Растительность Крайнего Севера и её освоение» (Ботанический институт имени В. Л. Комарова), «Сборник работ по использованию солнечной энергии. Гелиотехника» (Энергетический институт), «Физика полупроводников» академика А. Ф. Иоффе и другие.

Актуальные проблемы науки трактует «Сборник научных трудов» выдающегося французского учёного, члена-корреспондента Академии наук СССР Фредерика Жолио-Кюри, «Влияние электрического поля атома на  $\beta$ -распад» члена-корреспондента Академии наук СССР Б. С. Джелепова и Л. Н. Зыряновой, «Структурная электронография» Б. К. Вайнштейна, «Волны в слоистых средах» члена-корреспондента Академии наук СССР Л. М. Бреховских.

В конце 1956 года выйдет «Астрономический ежегодник СССР на 1959 г.».

Вычислительный центр Академии наук СССР, применяя новейшее достижение науки — электронную вычислительную технику, подготовил рукописи А. В. Лебедева и Р. М. Фёдорова «Справочник по математическим таблицам».

Математический институт имени В. А. Стеклова сдаёт в печать труд коллектива авторов «Математика, её содержание, методы и значение» (в трёх частях).

Интересны работы Института физической химии. Назовём из них книгу Н. Д. Томашова «Основы теории коррозии металлов» и книгу члена-корреспондента Академии наук СССР С. З. Рогинского «Теоретические основы изотопных методов изучения химических реакций». Эта работа отражает растущую роль изотопов в современной науке.

Всё более широко автоматизируются трудоёмкие производственные процессы не только на промышленных предприятиях, но и в сельском хозяйстве. Этому вопросу посвящены труды Института автоматики и телемеханики, созданные коллективом авторов: «Телемеханизация в народном хозяйстве. Труды совещания» и «Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве».

Взгляды современной науки на строение Вселенной излагаются в книге Б. Г. Кузнецова «Теория относительности, квантовая механика и современная научная картина мира» (Институт истории естествознания и техники).

Выходят в свет книги крупнейших представителей французского материализма и атеизма XVIII века Поля Гольбаха «Письма к Евгению. Здравый смысл» и Сяльвена Марешаля «Избранные атеистические произведения».

Около двадцати книг, трактующих различные вопросы науки и техники, выйдет в научно-популярной серии Академии наук СССР.

В серии «Классики науки» выпускается работа знаменитого американского учёного Вениамина Франклина «Опыты и наблюдения над электричеством» и второй том собрания научных трудов основоположника эволюционной палеонтологии В. О. Ковалевского.

Из работ, подготовленных к печати академиями наук союзных республик, назовём книгу Д. И. Табидзе «Продвижение промышленной культуры винограда в новые районы Грузинской ССР» и книгу Н. Х. Нурджанова «Таджикский народный театр».

Всё больше выходит в издательстве работ, содержащих доклады советских учёных на международных конгрессах. Это — свидетельство крепнущих научных связей между Советским Союзом и другими странами.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**О преодолении культа личности и его последствий.** Постановление Центрального Комитета КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

**XX съезд Коммунистической партии Советского Союза.** Стенографический отчёт. Том I. 640 стр. Цена 11 р. 40 к. Том II. 560 стр. Цена 10 р.

**В. И. Ленин.** Горючий материал в мировой политике. Пробуждение Азии. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам. 144 стр. Цена 1 р. 65 к.

**В. И. Ленин.** Письмо к съезду. О придании законодательных функций Госплану. К вопросу о национальностях или об «автономизации». 32 стр. Цена 30 к.

**Вспоминания о В. И. Ленине.** Том I. 560 стр. Цена 20 р.

**Г. К. Орджоникидзе.** Статьи и речи (в двух томах). Том I. 516 стр. Цена 10 р.

**В. Ф. Асмус.** Декарт. 372 стр. Цена 8 р. 40 к.

**Вопросы социалистической экономики.** 360 стр. Цена 6 р. 60 к.

**К. Каутский.** Экономическое учение Карла Маркса. 232 стр. Цена 3 р. 85 к.

**Экономика промышленности СССР.** Учебник. 464 стр. Цена 10 р. 20 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Р. Азарх.** Дорога чести Роман-хроника. Книга первая. 236 стр. Цена 4 р. 40 к.

**А. Борцаговский.** Пропали без вести. Повесть. 238 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Е. Воробьев.** Лицом к солнцу. Путевые очерки. 328 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Н. Гнедич.** Стихотворения. 852 стр. Цена 14 р. 95 к.

**И. Довидайтис.** Любовь и ненависть. Рассказы. Перевод с литовского. 252 стр. Цена 4 р. 50 к.

**М. Иманжанов.** Первые месяцы. Повесть. Перевод с казахского. 244 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Ф. Кравченко.** Отамановы дубы. Роман. 568 стр. Цена 9 р. 90 к.

**В. Осинин.** Цветы и пепел. Стихи. 160 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Д. Остров.** Разные годы. Повесть и рассказы. 168 стр. Цена 3 р. 45 к.

**А. Рывлин.** Стихи о тебе. 120 стр. Цена 1 р. 15 к.

**В. Солоухин.** Золотое дно. Очерки. 244 стр. Цена 2 р. 90 к.

**А. Тимонен.** В заливе ветров. Повесть. Перевод с финского. 248 стр. Цена 4 р. 85 к.

**Т. Тэсс.** Главный редактор. Рассказы. 320 стр. Цена 3 р. 60 к.

**В. Урин.** Рекам снятся моря. Книга лирики. 244 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Г. Эмин.** Огни Еревана. Очерки. Перевод с армянского. 200 стр. Цена 2 р. 45 к.

**А. Эрлих.** Многие годы. Повести и рассказы. 472 стр. Цена 7 р. 70 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**О Ленине.** Воспоминания. Рассказы. Очерки. 448 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Джон Голсуорси.** Сага о Форсайтах. Перевод с английского. Том I. 762 стр. Цена 16 р. 45 к. Том 2. 692 стр. Цена 15 р. 50 к.

**Юрий Смолич.** Рассвет над Москвой. Роман. Авторизованный перевод с украинского. Книги I и 2. 684 стр. Цена 14 р. 65 к.

**Илзеф Каэтан Тыл.** Избранное. Перевод с чешского. 264 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Иван Франко.** Сочинения. В 10 томах. Перевод с украинского. Том 2. 584 стр. Цена 12 р.

**М. А. Шолохов.** Донские рассказы. 248 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Бернард Шоу.** Избранные произведения. В двух томах. Перевод с английского. Том I. 736 стр. Цена 16 р. 50 к. Том 2. 668 стр. Цена 14 р. 10 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Вопросы комсомольской работы.** Сборник. 128 стр. Цена 1 р. 15 к.

**П. Воронько.** Долг Стихи. Перевод с украинского. 112 стр. Цена 3 р. 10 к.

**С. Глуховский.** Подвиг известного солдата. 208 стр. Цена 3 р.

**Д. Краминов.** По Индии. Путевые очерки и зарисовки. 232 стр. Цена 5 р. 35 к.

**Л. Жагин.** Атавия Проксима. Фантастический роман. 480 стр. Цена 8 р. 65 к.

**М. Муратов.** Навстречу опасностям. Два путешествия капитанов В. Беринга, А. Чирикова, их сподвижников и спутников. 328 стр. Цена 6 р. 35 к.

**А. Мусатов.** Крутые тропы. Повесть. 160 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Н. Нечволодова, Л. Резниченко.** Юность Ленина. Повесть. 248 стр. Цена 5 р. 15 к.

**В. Прибытков.** Тверской гость. Повесть о путешествии Афанасия Никитина в Индию. 376 стр. Цена 8 р. 85 к.

**И. С. Соколов-Микитов.** Зелёный край. 159 стр. Цена 2 р. 15 к.



## ДЕТГИЗ

**В. Абрамов.** Детские странствия. Повесть. 158 стр. Цена 4 р.

**А. Безыменский.** На первых съездах комсомола. РКСМ. 1918—1920. Воспоминания делегата. 64 стр. Цена 70 к.

**А. Бикчентаев.** Большой оркестр. Повесть. Перевод с башкирского. 160 стр. Цена 3 р. 45 к.

**А. Бруштейн.** Пьесы. 432 стр. Цена 6 р. 30 к.

**А. Додэ.** Джек. Сокращённый перевод с французского. 308 стр. Цена 6 р. 40 к.

**М. Зверев.** Там, где белеют палатки юннатов. 128 стр. Цена 2 р. 85 к.

**А. Котовщикова.** Малышка с лесного озера. 96 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Майн-Рид.** Сочинения в шести томах. Том 1. 768 стр. Цена 15 р.

**И. Осипов.** Сокровище чёрных скал. 144 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Б. Полевой.** Горячий цех. Повесть. 212 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Н. Попов.** Путник. Повесть. 200 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Э. Сетон-Томпсон.** Уличный певец и другие рассказы. 112 стр. Цена 2 р. 85 к.

**В. Чаплина.** Мои воспитанники. Рассказы. 160 стр. Цена 3 р. 70 к.

**О. Чёрный.** Мусоргский. Повесть. 317 стр. Цена 9 р.

**Б. Шнитников.** Как я стал натуралистом. 184 стр. Цена 6 р. 60 к.

**М. Штительман.** Повесть о детстве. 328 стр. Цена 6 р.

**Д. Щербаков.** На самолёте по Арктике. 148 стр. Цена 3 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

**Франциск Мунтяну.** В городе над Мурешем. Роман. Перевод с румынского. 359 стр. Цена 10 р. 45 к.

**Джузеппе Реджис.** Экономическая география Италии. Перевод с итальянского. 90 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Социалистический подъём в китайской деревне.** Сборник избранных статей. Подготовлен Канцелярией ЦК КПК. 503 стр. Цена 11 р. 35 к.

**Алина и Чеслав Центкевич.** Завоевание Арктики. Перевод с польского. 372 стр. Цена 20 р. 45 к.

**Жн Шо.** Страна гор и рек. Перевод с китайского. 183 стр. Цена 5 р.

## «ИСКУССТВО»

**Е. Андриканис.** Записки кинооператора. 216 стр. Цена 11 р. 85 к.

**А. Буров.** Эстетическая сущность искусства. 290 стр. Цена 12 р.

**К. Ломунов.** Драматургия Л. Толстого. 466 стр. Цена 11 р. 25 к.

**В. Пудовкин.** Избранные статьи. 462 стр. Цена 29 р. 30 к.

**С. Эйзенштейн.** Избранные статьи. 452 стр. Цена 27 р. 50 к.

## ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Вольтер.** Избранные произведения по уголовному праву и процессу. Перевод с французского. 340 стр. Цена 13 р. 35 к.

**Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР.** Официальный текст с изменениями на 1 апреля 1956 г. и с приложением постановительно-систематизированных материалов. 142 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Ф. Кони.** Избранные произведения. Статьи и заметки. Судебные речи. Воспоминания. 888 стр. Цена 15 р. 55 к.

**А. Б. Сахаров.** Ответственность за должностные злоупотребления по советскому уголовному праву. 212 стр. Цена 7 р. 30 к.

**Судебные речи известных русских юристов.** 688 стр. Цена 12 р. 25 к.

**Уголовный кодекс РСФСР.** Официальный текст с изменениями на 15 января 1956 г. и с приложением постановительно-систематизированных материалов. 224 стр. Цена 1 р. 85 к.

## «ЗАРЯ ВОСТОКА»

(Тбилиси)

**Голос солдатского сердца.** Стихи солдат, сержантов и офицеров Закавказского военного округа. 107 стр. Цена 3 р. 20 к.

## ТАТГОСИЗДАТ

(Казань)

**А. Исхак.** Стихи. 139 стр. Цена 3 р.



Главный редактор **К. М. Симонов**  
Редакционная коллегия:

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,  
**М. К. Луконин**, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 26/VII 1956 г.

Подписано к печати 27/VIII 1956 г.

А 09984. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1708.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени **И. И. Скворцова-Степанова**, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.